

10

НОВОБЫТЪ  
МИР

1951

НОВОБЫТЪ  
МИР

10

---

1951

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVII

№ 10

Октябрь, 1951 г.

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР БЕК — Новый профиль, повесть	3
ВЛАДИМИР ЖУКОВ — Два стихотворения	62
ИГОРЬ КОБЗЕВ — Секретарь райкома, стихи	65
СЕРГЕЙ АНТОНОВ — Дожди, рассказ	67

### ИЗ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ

АЙБЕК — В столице Пакистана. Перевод С. Липкина	89
РАМЗ БАБАДЖАН — День рождения Навои. Перевод С. Липкина	91
УЙГУН — Любовь к жизни. Перевод Н. Гребнева	93
ЗУЛЬФИЯ — Невеста. Перевод Н. Гребнева	95

---

ГОВАРД ФАСТ — Тридцать серебряников, пьеса. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова	97
--	----

### НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. МАРШАК — Из лирики Гейне	131
-----------------------------	-----

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

В. ШАЛАГИНОВ — Судья	138
----------------------	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. МЕЛЬНИКОВ, Л. ЧЕРНАЯ — Гитлеровские генералы под звёздно-по- лосатым флагом	189
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРИС СОЛОВЬЕВ — Поэмы о покорении природы	213
Л. ЛЕВИН — Агитатор Партии. (О творчестве П. А. Павленко)	225

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	260
-------------------------------	-----

М. Козьмин. Поэты мира в борьбе за мир.— М. Исаковский. Заметки об одной статье.— Б. Брайнина. Хорошо делать — значит, хорошо жить.— А. Тарасенков. Два потока.— Ю. Баргнев. Малое заслонило большое.— А. Барто. Избранные стихи Е. Грутневой.— Вл. Николаев. Испытание характера.— З. Кедрина. Творения народного поэта.— С. Львов. Очерк о Маргине Андерсене-Нексе.— П. Топер. Германия вчера и сегодня.

(См. на обороте)

---

### ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	297
Кандидат юридических наук Л. Савинский. В новой Албании.— Б. Владимиров, Д. Давыдов. Народы Африки в борьбе за мир и свободу.— М. Стурва. Американцы в Испании.— А. Никифоров. Империя мошенников и гангстеров.— Д. Милютина, Л. Лунгина. Атомная дипломатия США.— Инженер М. Давыдов. Покорение энергии рек.— Ю. Милёнушкин. По дорогам медицинской науки.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Август-сентябрь 1951 года)	318

---

---

АЛЕКСАНДР БЕК

★

## НОВЫЙ ПРОФИЛЬ

*Повесть*

1

**И**з машинописного бюро принесли удостоверение. В нём говорилось, что инженер Андрей Михайлович Шумейко, старший калибровщик завода «Югосталь», командирован на строительство Гидроузла и уполномочен выяснить на месте все вопросы, связанные с качеством нового профиля, изготовленного по заказу стройки.

Главный инженер Казаринов прочёл бумагу, вставил чернилами после слов «нового профиля» три буквы ШКО (что означало «шпунт корытсобразный, опытный») и подписал.

— Каким путём вы думаете ехать? — спросил он.

— До реки машиной. А там в порт и пароходом.

— Пароходом? Не самый быстрый способ передвижения.

— Так ведь погодка... Не подвёл бы самолёт. Однако, если вы возражаете...

В ответ главный инженер лишь повёл из стороны в сторону бритой крутолобой головой, как бы отклоняя вопрос о возражениях.

— Хочется проехать по реке, — продолжал Шумейко. — Сейчас ведь на неё посмотришь новым глазом. Вот какой она была в те времена, когда только начинали строить великие гидростанции и каналы. А потом... Придёт денек, опять буду стоять на палубе, смотреть и сравнивать век нынешний и век минувший...

— А я на вашем месте вряд ли смог бы сейчас интересоваться видами... Меня и то каждую минуту точит мысль: почему, чёрт возьми, наш шпунт не годен?..

Шумейко помрачнел. Есть люди, в наружности которых даже и к срока годам сохраняется что-то мальчишеское: круглые щёки, пухлые губы, широко открытые глаза. Таким был и Шумейко, металлург-прокатчик, старший калибровщик огромного южного завода. Он и обижался по-мальчишески: легко краснел, надувал губы. К каждому слову главного инженера он привык относиться с уважением. Казаринов тоже был прокатчиком по специальности, прошёл школу Кузнецкого завода, поработал в своё время и оператором на рельсовом стане, и начальником смены, и механиком рельсо-балочного цеха. Там же, в том же великолепно оборудованном цехе Кузнецкого завода, он провёл два или три года в калибровочном бюро и знал вдоль и поперёк крупносортную прокатку.

Сдержанный, немногословный, он порой учил Шумейко упорству, целеустремлённости, твёрдости характера. «Надо помнить, — говорил он, — что ни один новый профиль никогда легко не удавался. Надо приготовиться к тому, что пройдёт и день, и два, и восемь, и шестнадцать, а

металл не будет слушаться, не пойдёт в ваши калибры. И вера пошатнётся. Проще всего отступить, бросить это дело. Но надобно упорствовать».

## 2

Да, пришлось поупорствовать, чтобы прокатать стальную шпунтовую сваю — новый профиль металла, новый не только для «Югостали», но и для других наших заводов.

В строительном деле издавна пользовались деревянным шпунтом. Здесь уместно кратко пояснить значение слова «шпунт». В «Толковом Словаре» Владимира Даля введено выражение «паженные сваи» — от слова «паз». Вряд ли можно считать удачным это придуманное или, быть может, где-то найденное местное речение. Зато само толкование слова блестяще, поражает, как всегда у Даля, свежестью и точностью. В словаре значится: «Шпунтовые сваи, паженные, где каждая входит продольным гребнем своим в паз другой, и все составляют одну плотную связь, и при хорошей работе даже не пропускают воды».

В ином, составленном в наши дни, словаре употреблено при объяснении слова «шпунт» чудесное меткое выражение «сплотка» — «сплотка с пазом соседней доски».

Вот такой профиль, ещё неведомый прокатчикам, такие полосы стали, которые могли бы составить единую стенку или сплотку металла, завод по заказу Гидростроя взялся изготовить для одной из великих строек коммунизма.

Конфигурация шпунта была разработана совместно московским научно-исследовательским институтом и калибровочным бюро завода. Первую наметку, принятую в дальнейшем за основу, дал Шумейко. Затем он же, Шумейко, занялся калибровкой. Подготовка к горячему опробованию заняла несколько месяцев. Наконец, работа над шпунтом была перенесена из бюро в цех. В борьбу за новый профиль включились мастера и рабочие прокатчики... Да, пришлось поупорствовать не одному Шумейко. И профиль был освоен. Торжественно отправили первую партию ШКО. По заводским путям прошли гружёные платформы с надписью: «Великой стройке коммунизма от металлургов «Югостали». И вот...

Вот на столе Казаринова телеграмма от управления Гидростроя, сообщающая, что профиль оказался непригодным. Правда, такого утверждения в телеграмме не содержалось, но как ни вертел её Шумейко, сколько раз ни перечитывал, сомнений не было: никакими усилиями строителям не удавалось забить шпунтовый ряд, шпунтины заклинивались, не шли. Но почему? Неужели главный инженер, который только что так обидно сказал: «А я на вашем месте вряд ли смог бы сейчас интересоваться видами», — неужели главный инженер мог предположить, что Шумейко не пытал себя этим «почему»?

— Приеду и увижу, — произнёс калибровщик.

— Теперь вот ещё что, — сказал главный инженер. — Я считаю необходимым вызвать на завод Василия Павловича. Попросим министерство, чтобы его к нам командировали. Обстоятельства такие, что... Посоветуемся со стариком. Что вы об этом думаете?

— Я? Да... Конечно, нужно вызвать.

## 3

Спустя четверть часа Шумейко задумчиво стоял в своём служебном кабинете у покатога чертёжного стола. Впрочем, эту комнату никто не называл кабинетом. На подоконниках лежали образцы разных профилей,

деревянные, слегка обгоревшие формы, опытные отливки из свинца. Здесь же можно было увидеть и отрезки ШКО. Паз или замок, расположенный вдоль обеих кромок полосы, напоминал в поперечном сечении приоткрытые клещи или несколько разжатый кулак. Входя одна в другую, шпунтины как бы смыкались, сцеплялись меж собой этими клещами. Нелёгкая задача! Бывали дни, когда даже Шумейко казалось, что в грубых массивных механизмах прокатки немислимо получить такой сложный фасонный замок. И всё-таки он был получен!

Шумейко поворачивает в руках, разглядывает отрезок или так называемый темплет шпунта. Резкие частые удары металла о металл доносятся из соседней комнаты. Там идёт непрерывная работа над новыми калибрами валков. Слесари-шаблонщики, почти сплошь молодёжь, вырезают из листовой стали с точностью до десятых долей миллиметра те самые фигуры последовательных превращений полосы в готовый сорт, те самые калибры, которые Шумейко умел вообразить, впервые создать на чертеже.

Однако умел ли? «Считаю необходимым вызвать на завод Василия Павловича», — только что сказал главный инженер. И Шумейко ответил: «Да... Конечно, нужно вызвать».

Всего шесть или семь месяцев назад этот покатый стол, на который сейчас смотрит Шумейко, был столом Василия Павловича. Весь этот небольшой, выкрашенный в розовый цвет домик, приютившийся возле рельсо-балочного цеха, домик, в котором разместились калибровочное бюро и мастерская шаблонов, звался тогда «будкой Василия Павловича». Шумейко нравились такие словечки, прозвания. Он любил подмечать своеобразные характерные выражения, кое-что даже записывал, умел слушать голос народа, живую заводскую речь. Сейчас он подумал, что вот «будкой Шумейко» ещё никто эти комнаты не окрестил. Во всяком случае самому Шумейко ни разу не довелось слышать таких слов. И вдруг это кольнуло его. И снова мысли вернулись к шпунту. Какую же ошибку, какой же промах он допустил, создавая новый профиль? И нет Василия Павловича. Нет возможности его спросить...

Василий Павлович всегда сидел вот здесь, на этом стуле. Возле, на подоконнике, обычно лежала голубая коробка сигарет. Он вынимал свой старый прокуренный мундштук, разламывал длинную сигарету надвое, с удовольствием закуривал и, поглядывая то на Шумейко, то на расплывающиеся клубы дыма, размышлял вслух, размышлял всегда о калибровке. Он, Василий Павлович Колесников, принадлежал к тем редким людям, которых называют кудесниками и чародеями металла. Вернувшись после войны с Урала на родной юг, на восстановленный из развалин завод «Югосталь», Василий Павлович несколько лет служил тут старшим калибровщиком. В помощники он взял Шумейко. Оставшись вечным холостяком, Василий Павлович отдал, казалось, всю свою нежность металлу. На завод, на свою ежедневную службу, он всегда являлся будто на свидание: морщинистые щёки были выбриты, седые, чуть-чуть с чернью, волосы причёсаны на прямой пробор. Очень скромный, стесняющийся высказывать своё мнение по вопросам, в которых считал себя недостаточно сведущим, Колесников с удивительной проникновенностью и теплотой рассуждал о металле. Шумейко любил его слушать.

Василий Павлович имел обыкновение говорить про металл — он: «Он упрямый. Он не хочет течь в калибрах так, как это нужно нам. Он течёт сам по себе. Это течение нужно угадать. Уловить его желание. И так направить, так опрадать это течение, чтобы попасть в тон собственному его желанию. Ваша фантазия, ваше воображение работает над этим. Это искусство, искусство. Вы, калибровщик, постигаете душу

металла». Шумейко, шутя, отвечал: «Это, Василий Павлович, идеализм. Приходите-ка к нам на кружок по философии. Мы там малость пощипаем ваши теории». Василий Павлович смущался: «Ну, если я не совсем так выразился...» — «Нет, Василий Павлович, вы выразились очень хорошо. Выразились поэтически. Ведь не верите же вы всерьёз в душу металла...» — «Как сказать... Я верю в то, что он самостоятельный. И не легко поддающийся. Не всякая узда по нём приходится. Нужен долгий опыт, и привязанность к нему, и способность видеть в мечтах его течение, чтобы направить его так, как хочет этого человек». — «И ещё нужно горячее желание, нужен энтузиазм!» — «Это уже по вашей части. Тут вас нечему учить».

Задумчиво стоя у своего стола, Шумейко сейчас словно видел лёгкую, несколько смущённую улыбку Василия Павловича, видел мундштук с дымящейся короткой сигаретой в его старческих, желтоватых от никотина пальцах.

Конечно, завод никогда не расстался бы с Колесниковым, но его всё же отвоёвал научно-исследовательский институт чёрных металлов. По распоряжению министра Василий Павлович был полгода назад переведён туда. Что говорить, это талант необыкновенный!

И этот самый человек избрал Шумейко своим помощником, учеником. Но есть ли в нём, Андрее Шумейко, жилка истинного калибровщика? Такого, который наделён чудесным даром понимать и чувствовать то, что Василий Павлович называл «душой металла»?

Колесников оставил Шумейко здесь вместо себя, доверил ему своё дело. За это время Шумейко улучшил ручки для швеллера 24, что удешевило этот сорт; далее, по чертежам Шумейко цех выпустил новую мощную балку для высотного здания Московского университета, балку, которую доселе не прокатывали в нашей стране; затем с необычайным увлечением, с энтузиазмом, которому, как выразился Василий Павлович, его нечего было учить, порой ночами напролёт предаваясь грёзам калибровщика, видя в воображении протекающий меж валков металл, он занялся шпунтом, новым профилем для строек коммунизма.

Шумейко знал, что тонкую сложную фигуру замка, напоминающую приоткрытые клещи, почти невозможно или, во всяком случае, очень трудно прокатать; знал, что сходные профили ранее не удавались, но именно это теперь вдохновляло его. Ему хотелось послужить великой стройке коммунизма в полную меру сил, совершить для неё что-то небывалое, особенное, чудесное. Все прокатчики разделяли такое стремление. На этом, собственно говоря, Шумейко и основывался в своих замыслах и расчётах.

Его помощниками были не только те, кто трудился вместе с ним в небольшом домике, в бывшей «будке Василия Павловича», но и многие рабочие и инженеры рельсо-балочного цеха. Шумейко втайне считал это новой методикой калибровочного дела, сознательно развивал такую методику. И всё же, как видно, сорвался... Почему же? Почему?

## 4

Попрощавшись со всеми в калибровочном бюро, пошутив с шаблонщиками, которые вышли на крыльцо, на солнышко, провожать своего начальника, Шумейко направился в ворота рельсо-балочного цеха. Он всегда избирал этот путь — вдоль линии прокатки, уходя из своего бюро.

Невысокий, очень подвижной, в выгоревшей синеватой полотняной куртке, в потрёпанной кепке, сдвинутой на коротко стриженный затылок, старший калибровщик шатал по узкому проходу, а рядом за железными

перильцами, то навстречу Шумейко, то в обратном направлении, легко перегоняя его, неслись раскалённые светящиеся полосы, обдавая лицо жаром. В отдалённом конце цеха, за спиной Шумейко, то и дело взывала круглая пила, рассекающая на равные отрезки выданную из чистового калибра полосу. Скрежет пилы, вгрызающейся в горячую, ещё багровеющую сталь, сопровождался всякий раз фонтаном искр, взлетающих под самую крышу.

Цех издавна катал этот профиль — трубную заготовку, кругляк. Полоса проходила обычные калибры — квадрат, ступеньку, ребро, овал, круг, — и всё же сегодня было как будто что-то новое, что-то особенное в равномерном скольжении раскалённых заготовок. Да, сегодня кругляк задавался в валки на новых скоростях. Шумейко невольно остановился. Одна за другой пунцовые сияющие полосы, пока что ромбовидные в поперечном сечении, бегущие по массивным вращающимся роликам, со всего разгона послушно попадали в нужный калибр, в так называемый ручей между валков, обжимающих, вытягивающих сталь, придающих ей всё более близкий к кругу профиль.

Полоса шла, словно учёная, не виляя, никуда не тычась понапрасну. Казалось, несущийся, пышущий жаром металл был одарён разумением, к нему на всём его пути нигде как будто не притрагивалась рука человека, вооружённого каким-либо инструментом. На самом же деле его бег всё время направлялся, корректировался разными входными и выходными линейками, проводками, стальными кантующими пальцами. Когда-то на станах прежнего, уже устаревшего типа рабочие-вальцовщики, вооружённые длинными клещами или особыми ломиками, подводили полосу к калибру, подталкивали её туда. Ныне инструмент вальцовщиков как бы отделился от их рук, он превратился в автоматические устройства. Таким образом, и рабочие-вальцовщики в новейших прокатных цехах стали, по существу, людьми новой профессии — теперь они ухаживали за автоматикой, заменившей все ручные инструменты, налаживали, настраивали её.

Вон они, несколько вальцовщиков, стоят, будто ничего не делая, возле клетки, у пары валков, пропускающих пламенеющий металл. Кто-то из них, заметив остановившегося калибровщика, подбежал к перилам и одним движением легко перемахнул через них. Мгновение спустя он уже здоровался с Шумейко. Кепка, рубаха из прубой парусины, такие же штаны — всё это было пропитано чёрной лоснящейся смазкой, всё это утратило первоначальный цвет. Тёмный налёт металлической пыли, оседавшей здесь всюду, лежал на широком молодом лице, свежий чёрный штришок смазки наискось пролегал на выпуклости лба, и ярко блестели живые серые большие глаза. Это был старший вальцовщик молодёжно-комсомольской бригады Володя Боровик. Мягкий мощный шум механизмов, несколько напоминающий рокот водопада, мешал говорить, и Боровик, показав кивком головы на пробегающие огненные брусья, спросил лишь улыбкой и глазами:

— Ну как, хорошо?

— Очень хорошо, — ответил взглядом Шумейко.

Недавно этот самый улыбающийся сероглазый Володя Боровик в трудную минуту, когда новый профиль для великой стройки после множества повторных попыток упорно не удавался и в сердце Шумейко уже заползало уныние, внёс неожиданное предложение от всей своей молодёжной бригады. Одна из главных трудностей изготовления шпунта заключалась в том, что тонкие края, перья полосы, из которых в заключительных стадиях прокатки формировался замок, быстро остывали, темнели и уже не поддавались обжатно в последних калибрах. Не потерять



температуры, бороться за температуру — под таким девизом велась пробная прокатка нового профиля. И Боровик предложил увеличить скорость вращения роллангов, убыстрить темпы прокатки.

Убыстрить? Но ведь уже и так были достигнуты, казалось бы, самые высокие, технически возможные скорости.

В Америке, например... Володя отмахнулся от Америки: разве там есть рабочие-скоростники или, скажем, молодёжно-комсомольские бригады? Америка уже отстала. Помощник начальника цеха по оборудованию не спорил. Он лишь сослался на проект, наш советский проект Ново-Краматорского завода. «Такие скорости там не предусмотрены», — говорил он. — «А мы там предусмотрены?» — мгновенно парировал Боровик. — «Нет, не могу взять на себя ответственности. Вы обязаны понять, что при малейшей неточности удар полосы в торец линейки или по валку будет настолько силен, что...» — «А у нас неточностей не будет. Молодёжно-комсомольская бригада берёт на себя такое обязательство и вызывает все другие смены на соревнование».

Главный инженер коротко сказал: «Попробуем». Для новых скоростей механик цеха вместе с обер-мастером, коноводом всех вальцовщиков и операторов, сконструировали новые приспособления, позволяющие направлять полосу наверняка. И в один прекрасный день из последнего калибра вынеслась, наконец, светломалиновая длинная шпунтина с отлично удавшимся замком, в котором, как и следовало, все размеры были соблюдены до десятой миллиметра.

И всё-таки на стройке шпунт почему-то забракован. Однако Шумейко отогнал терзавшие его мысли о шпунте. Глядя на проносящиеся полосы, он видел возможность изменить калибровку кругляка. Да, теперь, после того, как был прокатан шпунт, уже ни один профиль нельзя катать по-старому.

Вальцовщик будто угадал мысли калибровщика. Склонившись к уху Шумейко, он прокричал:

— Дialeктика, Андрей Михайлович. Всё течёт, всё изменяется.

Володя Боровик всю зиму проучился в кружке по истории партии, которым руководил Шумейко. Тот засмеялся в ответ и тоже закричал:

— Правильно, Володька! Как сказал Тарас Шевченко: «все иде, все минае и краю не мае...»

Боровик закивал, заулыбался, показывая ровные белые зубы, и вновь, легко перескочив через перила, вернулся на своё место у клетки. Старший калибровщик пошёл по цеху дальше.

## 5

Ещё нечто новое было сегодня в цехе.

Навстречу Шумейко по высветленному множеству подошв стальному полу быстро шла девушка в белом халате. В каждой руке она держала блестящие алюминиевые судки.

— Зина, что я вижу? — ещё издали закричал Шумейко. — Не верю своим глазам. Победа?

Зина не стала кричать. В её лице, которое никто не назвал бы точёным, — выдавался нос, торчали скулы, — было столько живости, огня, что одним прищуром глаз, одной мелькнувшей лукавой гримаской она ответила: «Ещё бы! Разумеется, победа!».

Однако, когда она подошла к Шумейко, её лицо столь же живо изобразило гнев.

— Андрей Михайлович, вы же меня можете выдать!.. И так уже Васильевна догадывается.

Васильевне, грозному директору столовой, совсем не следовало бы о чём-либо догадываться. Шумейко примирительно сказал:

— Ну, расскажи, как у вас там... Как было дело?

Он, редактор стенной газеты, естественно, хотел знать все подробности. Видно, не зря газета провела целую кампанию, не зря строчил заметки славный рабкор «Вилка», что в белом халате стоит сейчас перед редактором. Из номера в номер газета бомбардировала столовую цеха, требуя, чтобы была введена подача горячих блюд к месту работы. Что делать, если непрерывный процесс металлургического производства не отпускает от себя надолго рабочих и мастеров? Что же, прикажете им удовольствоваться бутербродами? Нет, «Вилка» предлагала иное. И вот она добилась своего. Подавальщица Зина (Что? Нет, она не имеет ни малейшего понятия о том, кто писал эти заметки о косности директора столовой!) носит с нынешнего дня в прокатный цех судки, от которых поднимается вкусный парок, передаёт их на рабочие места.

— Сейчас, сейчас, Андрей Михайлович,— говорит она,— вот только отнесу.

И она быстро идёт к чистовой клетки. Там её уже ждут. Шумейко смотрит ей вслед. Подавальщица... Всего лишь подавальщица в цеховой столовой... И вместе с тем будущий металлург. По вечерам она учится в металлургическом техникуме. Молодые прокатчики — её друзья. Помнится, во дворце культуры она отчаянно отплясывала русскую с Боровиком... Что говорить, славная пара... Вот судки уже вручены вальцовщикам. Зина возвращается...

— Знаете, — заговорщицки шепчет она, наклонившись к Шумейко, — карикатуру, Андрей Михайлович, ещё не снимайте. Рано... Всё ещё может сорваться...

Она оглядывается — не заметно ли где-либо на горизонте директора столовой — и вдруг, рассмеявшись, машет рукой. Живое, лукавое лицо тотчас передаёт её мысль: «Ладно, пусть увидит!».

Зина поспешно излагает, как была воспринята карикатура, эта последняя капля, сломившая упорство директора. У Васильевны на рисунке был воинственный вид, из уст её вырывались фразы: «Судков нет. Подавальщиц нехватит. Не допущу обедов в цех!». И Васильевна, увидев, как её разрисовали, два часа ходила по двору, не могла войти в столовую.

Зина хохочет, затем становится серьёзной, говорит:

— Теперь мы должны закрепить новый порядок... Это уже сделаем без вас... Можете, Андрей Михайлович, спокойно уезжать...

— Уезжать? Ты откуда знаешь?

— Всё знаю... Где же люди больше всего разговаривают, как не у нас, в столовой?

— И про шпунт говорят?

— Андрей Михайлович, вот увидите... Когда вернётесь, буду вас поздравлять с победой. И передайте там... Передайте на великой стройке...

— Что, Зина, что? Чего остановилась?

— Передайте им наш опыт. Чтобы там работники столовой тоже разносили обеды на рабочие места.

— Ого, ты, кажется, хочешь прославиться на весь Союз? Метод Зины Стечкиной...

— А что же? И прославлюсь.

Она вскинула голову, комично выпятила нижнюю губу, пожелала Шумейко счастливого пути и побежала. Шумейко с улыбкой следил за удаляющимся белым халатом. Молодец, товарищ Вилка!

Шумейко шёл, невольно подмечая всё вокруг.

Вон в застеклённой будке, поднятой на высоких металлических стойках над прокатным полем сидит в удобном кресле оператор-комсомолец Табаков. Ему жарко, кепка снята, к мокрому лбу прилипли волосы, ворот лёгкой рубашки распахнут, глаза внимательно следят за бегущей по роликам болванкой, только что выданной из нагревательной печи, широкие сильные кисти рук лежат, будто отдыхая, на деревянных ручках рычагов управления. Лёгкий, чуть заметный нажим рукояти — и болванка задана в валки. Во все стороны брызнули тяжёлые куски окарины. Очищенная от этой тусклой корки, сразу посветлевшая, засиявшая сталь выглянула, выбежала меж выходных линеек.

Ещё одно плавное движение руки Табакова — и пламенеющий брус заскользил назад, во второй пропуск. Крутящиеся, непрестанно охлаждаемые струями воды, валки снова захватили, быстро поволокли болванку. Она вытягивалась, удлинялась на глазах. Едва она вынеслась, как оператор в тот же миг положил её на бок, «скантовал» и опять послал вперёд, в новый калибр.

Её хвост ещё уходил в валки, а от нагревательных печей уже плыла к будке оператора следующая обросшая окариной штука металла.

И опять спокойная сильная рука нежно передвигала рукоятку. Внизу опять разлеталась во все стороны окарина, обнажалась солнечно-ясная розовеющая сталь и после нескольких обжатий убегала дальше к следующей клетке, к другой паре валков.

Прокатка спорилась. Наладившийся темп был, видимо, приятен Табакову, в уголках губ будто задержалась улыбка.

Этот молодой рабочий, непринуждённо управляющий головным агрегатом мощнейшего рельсо-балочного стана, уже упел на своём веку побывать солдатом, башенным стрелком-танкистом, прошёл ряд стран Европы, испытал великую гордость советского воина, освобождавшего народы, участвовал в штурме Берлина и затем в легендарном танковом марше-броске на Прагу, на помощь восставшим братьям-чехам. Демобилизованный, он вступил в иную славную армию — в армию восстановителей завода «Югосталь» и затем остался здесь работать на прокатном стане.

Шумейко увидел, как Табаков на миг обернулся к нагревательным печам; рука, державшая рычаг, быстро поднялась и подёргала висевший над головой шнурок. Несколько раз просвистел гудок, установленный на будке оператора. Эти сигналы были обращены к бригаде нагревательных печей. Там, видимо, несколько замешкались с выдачей очередного слитка, и Табаков уже поторапливал свистками: «Давай, давай металла, шевелись!».

Вдали, на печах, приоткрылось окно; оттуда, из огненного зева, на освещённые отблеском вертящиеся ролики, на эту своего рода беговую дорожку металла, мягко выпала нагретая болванка, ещё одетая в тусклую окарину, и поехала, поплыла к валкам.

Улыбка, прячущаяся в уголках губ молодого оператора, проступила яснее. Ого, стан задаёт темп нагревательным печам! И не только печам — всему заводу!

Табаков, подобно Володе Боровику, принадлежал к немалому числу рабочих цеха, которых старший калибровщик мог считать своими помощниками, как бы сотрудниками своего бюро, которые с пониманием дела, с воодушевлением, со смекалкой участвовали в создании новых сортов проката и в особенности нового профиля для великой стройки.

В первые дни горячего опробования шпунт не удавался прежде всего

на черновой клети, той, которой и управлял Табаков. Не получались, сминались в валках длинные тонкие перья или шпоры полосы... Недокатанные шпунтины, штука за штукой, сбрасывались в брак. Табаков терпеливо, спокойно вновь и вновь пытался пропустить нагретый почти добела металл через калибры, разработанные Шумейко. Стремясь поддержать мужество в комсомольце-операторе и — чего скрывать? — в себе самом, Шумейко однажды воскликнул: «Берлин брал? Неужели же это не возьмём?» — «Возьмём, — сказал Табаков и, глядя на металл, добавил: — Его надо перехитрить». — «Но как же? Как, Табаков, по-твоему?» — «Подумаем, Андрей Михайлович...»

И ещё день или два поразмыслив, Табаков предложил ввести дополнительную кантовку полосы, предложил перевертывать её, так сказать, вверх дном перед очередным пропуском. Соображения оператора были убедительны; Шумейко изменил чертежи; в вальцетокарной выточили новую пару валков; черновые заготовки шпунта стали, действительно, удаваться лучше.

И всё же... Всё же новый профиль не принят Гидростроем.

## 7

У главных ворот цеха, куда подходил Шумейко, был расположен ряд красиво отделанных щитов. В центре, в раме под стеклом находился портрет Генералиссимуса Сталина, нарисованного во весь рост. Гениальный человек, вождь людей труда, полководец масс, шагнувших в новую эпоху, которую по праву зовут эпохой Сталина, стоял величавый и спокойный.

Здесь же, среди прочих щитов, среди разных призывов и плакатов, была расположена доска почёта с фотографиями передовиков, лучших людей цеха, а в большой застеклённой витрине под замком хранилось переходящее Красное знамя, завоёванное прокатчиками «Югостали» в соревновании металлургов. В этом же красочном ряду висела и цеховая стенная газета «Рельсы коммунизма». Внизу последнего столбца под чертой было написано: «Ответственный редактор А. Шумейко».

На заводе знали, что у Шумейко есть писательская жилка. Вначале обнаружили его таланты драматурга. Он оказался автором юмористических сценок на местные темы, сценок, которые с успехом ставил заводской драмкружок. А затем стало известно — этого Шумейко не удалось скрыть, — что он пишет большую повесть-хронику о своём цехе.

Кому же и быть редактором стенной газеты, как не своему писателю? Так рассудило цеховое партийное бюро.

Шумейко полюбил газету, нашёл ей имя «Рельсы коммунизма». В каждом номере он непременно помещал фотографии и карикатуры. Порой карикатуры выпускались в свет отдельно, в виде своего рода экстренного приложения, называвшегося «Крокодил в рельсо-балочном цехе».

В качестве художников, авторов смешных рисунков, темы для которых Шумейко собирал от своих рабкоров, а также и придумывал сам, выступали два-три молодых прокатчика. К этому же делу, к рисованию карикатур, редактор притянул и своего старшего сына Сергея, ученика восьмого класса, увлекающегося живописью. Мальчику удавалось достигать некоторого портретного сходства. Это действовало особенно остро, привлекало все взоры к газете. Шумейко охотно дарил своему сыну акварельные и масляные краски, холсты, но неуклонно брал за это дань — карикатуры для цеховой газеты.

Редактор глядел на газету. В этом номере его перу принадлежали следующие строки: «Недалеко время, когда по новому судоходному ка-

налу пойдут корабли, на которых юноши и девушки нашего города отправятся учиться в Московский государственный университет, и сердце их наполнится гордостью за своих отцов и братьев, металлургов «Югостали», руками которых изготовлены балки для нового высотного здания университета и шпунты для канала и великой плотины».

Шпунты... Шумейко сдержал вздох. Неподаляку от газеты был приколот большой, с немного обтрепавшимися уголками, расчерченный в клетку, голубой лист, так называемая синька — обычный календарный график работы рельсо-балочного цеха на текущий месяц. Каждый инженер, каждый рабочий мог узнать, взглянув на этот лист, какой профиль будет прокатываться в то или иное число месяца. С завтрашнего дня по графику предполагалось катать шпунт. Но слово «шпунт» было уже зачёркнуто, вместо него химическим карандашом написано — «двутапровая балка».

Шумейко знал, что после телеграммы Гидростроя новый профиль, конечно, будет снят с плана прокатки, и всё же у него защемило сердце, когда он увидел вычеркнутое слово «шпунт». Круглощёкое лицо, всё ещё хранящее некоторую мальчишескую неопределённость очертаний, опять помрачнело, рука невольно нахлобучила сдвинутую на затылок кепку.

Шумейко обернулся к цеху. Весеннее солнце, падавшее наискось сквозь фонарь крыши, пронизывало струящиеся токи воздуха, поднимавшегося от непрерывно бегущих раскалённых полос. В неясной глубине цеха попрежнему взлетали искры от разрезаемого круглой пилой металла. Её завывания едва доносились сюда. Вблизи то и дело открывались заслонки нагревательных печей; из огненного зева мягко падали разогретые болванки и уплывали туда, где высилась будка оператора и чернели массивные агрегаты стана. В будке за непрерывно струящейся водяной завесой, заменяющей стекло в задней стене, виднелась взмокшая от пота голова и руки Табакова. Отсюда с трудом можно было уследить за плавными, как бы ласковыми движениями этих рук.

О, как хотелось Шумейко описать всё это — и портрет великого вождя у главных ворот цеха, и могучую технику, могучие механизмы прокатного стана и югостальцев, которые здесь, в этом цехе, перегнали Америку, перешагнули, перекрыли все американские нормы и коэффициенты. Шумейко замыслил в повести-хронике прославить свой завод, своих товарищей. Но вместо этого он, старший калибровщик, подвёл завод, подвёл рабочих, которые тоже творили новый профиль и торжественно проводили первый эшелон шпунта в далёкий путь на стройку коммунизма.

Где же она, в чём же она, его ошибка? Почему, почему же завод не смог дать стране новый профиль?

— Не смог? Ну, как бы не так, — безмолвно произнёс Шумейко. — Берлин взяли. Неужели же это не возьмём?

Где же она, в чём же она, его ошибка?

Шумейко сидел на палубе парохода «Генерал Доватор». Выдался пасмурный денёк. Ветер гнал по реке мутноватые, глинистого оттенка, волны со вспененными гребешками. Вешняя вода, кое-где захватившая неоглядные просторы, уже начала спадать. Высший уровень, какого она достигла в эту весну, был как бы отмечен на кустах лозы, густо разросшейся по берегам. Клонимые порывами бури верхушки ярко зеленели, а ниже, под своего рода чертой половодья, показавшийся на свет из убывающей воды лозняк желтел ещё не набравшими сил бледными листочками.

Устроившись спиной к ветру, расстегнув плащ, Шумейко достал из поместительного кармана своей свежей сурового полотна куртки большой блокнот в твёрдой обложке, карандаш и, открыв чистую страницу, стал писать весточку домой. Выведя первое слово «сыны», он опять посмотрел вдаль, на неприветливые взмученные волны, на обнажившиеся кое-где пески, темноватые под заволочённым небом. В мыслях вновь засверлил тот же вопрос: «Где же она, в чём же она, его ошибка?».

Он отогнал эту думу. Надо же написать своему семейству. Младший сынишка Вася взял с него обещание слать вести каждый день. Он так и сказал: «вести со стройки коммунизма». Затем, раскрыв перед Шумейко пустую коробку из-под печенья, добавил: «Твои письма будут храниться здесь». Серьёзно поглядев на отца, он поставил коробку в книжный шкаф, подаренный обоим мальчикам, на полку, где был наклеен ярлычок «Путешествия и открытия».

Ветер мешал писать, трепал листы блокнота, но Шумейко выводил: «Сыны! Погода как раз подходящая для будущего флотоводца. Шторм баллов на двадцать». Однако летописец-путешественник тут же спохватился. Молодой Василий Шумейко, которого он называл в письме будущим флотоводцем, не любил, когда взрослые подтрунивали над тем, что было дорого его мальчишескому сердцу. Он всерьёз занимался спортом, отлично нырял ласточкой, ходил под парусами на шверботе и собирал библиотеку, посвящённую подвигам русских моряков. Кем станут они, эти хлопцы, два сына Шумейко, жившие в весёлой комнате, одна стена которой была завешана географическими картами и портретами мореходов, а другую украшали акварели, подписанные инициалами С. Ш., изображавшие цветы, деревья, улицы и милые сердцу Шумейко просторы цехов, озарённых пламенеющей сталью? В семье издавна предполагалось, что дети, когда подойдёт время, изберут профессию металлургов. Это, однако, отнюдь не мешало отцу поощрять разные их интересы и увлечения, далёкие не только от выплавки или проката металла, но и от обязательных школьных дисциплин. Мама была строже. Шумейко знал: в нужную минуту всегда почувствуется её крепкая рука, мама не позволит своим трём стригункам (если в этом числе считать и его, Андрея) безрассудно разыграться. В общем, всему находилась мера. А насчёт профессии... Ну, если уж на то пошло, разве сыновьям заказаны другие пути, кроме металлургии? Разве мало чудесных профессий в нашей стране?

Вот и сейчас Шумейко описывал в своём первом послании дорожные наблюдения и встречи, рассказывал о том, люди каких профессий едут рядом с ним на великую стройку.

«Представляете, ребята, вчера ваш отец преспокойно сидел на палубе, и вдруг один из пассажиров вынул из коробки и направил на него огромный пистолет. Успокойте маму — я цел и невредим. А человек этот оказался совершенно мирной личностью. Он сконструировал новый пистолет для испытания прочности бетона. Будет стрелять в бетон. Чего только не изобрёл этот мой спутник. Его специальность — исследование прочности гидротехнических сооружений. Приборы, придуманные им, будут навек замурованы не только в бетон, но и в землю под плотиной. Провода от этих приборов побегут в лабораторию. Колебания стрелочек станут сообщать людям, каково давление на грунт, не оседает ли какая-нибудь часть плотины и много других тайн, которых не могут обнаружить водолазы и даже мальчишки, отлично ныряющие ласточкой».

Далее Шумейко написал о шофёре, который ехал с ним в одной каюте. Шофёр водил такси во Львове, но затосковал по большим делам.

«Дайте мне масштаб»,— говорил он, направляясь на строительство канала.

А утром в буфете один человек, севший за стол рядом с Шумейко, долго смотрел на нелюбезную сумрачную продавщицу и вдруг громко и сокрушённо сказал: «Эх, не любите вы торговать». Он ехал работать в торговой сети великой стройки.

«А ещё здесь присутствует,— с улыбкой продолжал строчить Шумейко,— некто, прозванный мною человек-загадка. Это громадный дядя, настоящий Карабас-Барабас. Свою бороду он вполне может засовывать в карман. Куда и зачем он едет, никто не знает. Он упорно молчит. Но я всё-таки узнаю, кто он таков, и обязательно сообщу об этом вам, сыны...»

Шумейко откинул страницу. Ещё несколько фраз, несколько шуточных слов мальчишкам. Затем круглощёкое лицо с широко раскрытыми глазами, всё ещё хранящее несколько расплывчатые очертания юности, поднялось от блокнота. Поглядев в пространство, Шумейко написал: «Берегите маму!».

Он мысленно увидел жену — всё ещё стройную, лёгкую, с шапкой поблёскивающих чёрных кудрей. Нина Казаченко, как и муж, была инженером-металлургом, работала в заводской лаборатории, в отделе новых сталей.

## 9

Они узнали друг друга в незабываемые годы первой пятилетки.

Начало этой любви... Шумная аудитория. Студенты-второкурсники Днепропетровского металлургического института ожидают очередной лекции по физике. Ряды уходят полукружьем ввысь. В огромные окна светит ноябрьское, всё ещё щедрое солнце. Внизу, близ кафедры, на длинном широком столе расставлены трансформаторы и реостаты. Рубильники на мраморном щите не включены. Там висит предупреждающий ярлычок: «Под напряжением 380 вольт».

Раскрывается дверь — и вместо профессора теоретической физики входит несколько человек: директор института, секретарь парткома и Антонов из райкома комсомола. Видимо, предстоит нечто серьёзное. Все разговоры обрываются.

На кафедру входит директор. В тёмных волосах уже пролегли седые нити. На отвороте пиджака — орден Красного Знамени. Это бывший металлист-ленинградец, слушатель вечерних общеобразовательных курсов в дореволюционные годы, большевик с 1916 года, комиссар подразделения в восемнадцатом, комиссар полка в девятнадцатом.

— Товарищи,— произносит он,— металлургическому гиганту на Урале, о строительстве которого каждый из нас знает, нужны молодые техники. Нужны безотлагательно, теперь же, этой же зимой, к пуску первой доменной печи и первого мартена. Там, на строительной площадке, открываются ускоренные трёхмесячные курсы, которые будут выпускать техников, необходимых заводу. Мы пошлём туда только добровольцев.

В аудитории тихо. Осеннее солнце играет, вспыхивает яркими радужными точками в подвесках большой люстры. Директор смотрит на пришедших студентов.

— Только добровольцев! — повторяет он.— Те, кто туда поедет, будут через три месяца уже работать на заводе. А оканчивать институт, приобретать знания и диплом инженера придётся несколько позже, на заочном отделении, без отрыва от основной работы. Таких аудиторий,— директор со сдержанной улыбкой обвёл вокруг рукой,— там ещё нет. Зато там воздвигаются самые большие в Европе доменные и мартенов-

ские печи. Там с первого же шага вы, те, кого я уже позволю себе называть «новоуральцами», будете осваивать самую передовую технику, самые новые металлургические агрегаты, каких на юге ещё нет.

Директор на несколько мгновений замолкает. Молчит и аудитория. Все ждут ещё каких-то его слов.

— Вы не найдёте там пока благоустроенных домов,— продолжает он.— Придётся, товарищи, пожить в бараках. Это стройка. Это создание могучей индустриальной крепости социализма на Востоке по плану великого Сталина. Я, товарищи, почёл бы за счастье и за честь поработать там.

Директор говорит с волнением. После его слов невнятный гул идёт по аудитории. Потом сыплются вопросы.

— А кто там будет преподавать?

— А как с тёплой одеждой? Ведь там морозы в пятьдесят градусов...

— Товарищ директор, а правильно ли это — бросить сейчас учёбу?

Этот вопрос, выказанный вслух, вертелся, конечно на языке у многих. Как так — покинуть милый южный город? Расстаться с этим прекрасным институтом, куда ещё совсем недавно все они, нынешние второкурсники, мечтали поступить? Оставить близких и любимых? Уехать туда, где уже стукнули морозы, уже воют бураны? И всё же... Там, на Востоке, на площадке прославленного Ново-Уралстроя, день и ночь клепают высоченные домны, укладывают в котлованы бетон, монтируют заиндевевшие стальные конструкции, колонны будущих цехов, строят, возводят социалистический гигант металлургии — Ново-Уральский завод имени Сталина.

Те, кто останется, спокойно окончат институт. Вот и Антонов из райкома комсомола повторяет вслед за директором, что на площадке Ново-Уралстроя нужны только добровольцы.

Студент Андрей Шумейко поднимается со своего места. Тонкая, почти не загоревшая кожа на его лице внезапно розовеет. Он принял решение, он сейчас скажет об этом. Однако его опережает взволнованный звонкий голос.

— Можно мне сказать?

Шумейко оглядывается. В одном из верхних рядов вскочила Нина Казаченко. Андрею запомнилось это мгновение. На фоне окна чётко обозначен, словно вырезан, её силуэт, её вскинутая голова с шапкой кудрей. На свету виднеются даже отдельные встрёпанные волоски. Она непривычно серьёзна, крупные губы, более крупные, нежели такие, что считаются красивыми, почти всегда улыбались, но сейчас...

— Я поеду! — твёрдо произносит она.— Запишите меня.

— Ну, нет...

Это выкрикивает Андрей. К нему поворачиваются привыкшие к его шуткам товарищи, некоторые заранее улыбаются.

— Ну нет, первым номером меня...

Второкурсники смеются. Седоватый директор, с орденом Красного Знамени на отвороте пиджака, одобрительно смотрит на Шумейко.

Встаёт ещё один студент, тоже записывается добровольцем. За ним следует четвёртый, пятый...

...Снова трансформаторы и реостаты. Образцы железных руд. Фильтры, пробирки и колбы с реактивами. Микроскопы, спектроскопы под чехлами.

Горят электролампы, на которых ещё нет абажуров. Идёт собрание комсомольцев Центральной лаборатории Ново-Уральского завода.



Лаборатория ещё не имеет своего здания и размещена в крыле заводоуправления. Приходится тесниться. Комсомольцы проводят перевыборы бюро. Сидят на скамейках, табуретах, ящиках, некоторым нехватило мест, они стоят, а тут же, в этой комнате, занятой отделением анализа железных руд, пылают почти бесцветным огнём газовые горелки, поднимается пар из кипящего раствора, девушка-лаборантка в рабочем халате дробит руду в электрической шаровой мельнице. Другая лаборантка прильнула к глазку микроскопа. Форточка раскрыта. Врывается клубящийся студёный воздух. За окнами, на которых нет ещё ни штор, ни занавесок, тёмный вечер. Впрочем, нет, не тёмный. Всюду сверкают прожекторы и фонари. Землекопы и в этот час взрывают, разбивают кувалдами и кайлами, вынимают мёрзлый грунт. Покачиваясь, плывут полосы света от автомобильных фар. На вершине недавно задутой первой доменной печи Ново-Уральска — самой большой в Европе — гирлянды сияющих лампочек. Неподальёку, тоже в высоте, вспыхивают голубые огни электросварки. Там вырастает домна № 2. А из невидимой во мгле, уходящей в небо цилиндрической трубы первого мартена вымахивает огненный султан, выющийся по ветру, словно алый вымпел, красный флаг революции.

Собрание комсомольцев ЦЗЛ, — что означает центральной заводской лаборатории, — продолжает обсуждать кандидатуры в состав нового бюро.

— Нина Казаченко, — произносит председатель. — Кто, товарищи, выскажется за?

Сама Нина стоит, наклонившись над градуированной склянкой. Она, руководитель отдела, заканчивает вместе с лаборантками срочный анализ.

— Кто выскажется о Казаченко?

С разных сторон раздаются голоса:

— Можно не высказываться. И так все её знаем.

Её, действительно, все знают. На ускоренных курсах, где готовили молодых техников для пусковых объектов Ново-Уральского завода, Нина училась лучше всех. Она увлекалась химией, охотно помогала товарищам составлять формулы химических преобразований, заражала всех своим увлечением. Здесь, как и на Днепре, её называли Казачком. Могло показаться, что она уже много зим проходила в валенках, они как будто вовсе не мешали её быстрому шагу. На ней ладно сидела туго подпоясанная ватная стёганка. Чёрные волосы, выбивавшиеся из-под бобриковой серой ушанки, немедленно белели на морозе. Крупные губы постоянно улыбались.

Заодно с другими курсантами она участвовала в субботниках на «Мартенстрое», таскала носилки с битым кирпичом, а потом в торжественный день пуска, опять-таки наравне с товарищами, произвела спектральный и химический анализ первой стали, выплавленной в первой мартеновской печи Ново-Уральска.

В Центральной заводской лаборатории, куда она попала вместе с несколькими выпускниками курсов, её, девятнадцатилетнего техника, очень скоро назначили руководителем группы анализа железных руд. Теперь через её руки проходили все пробы руд, поступающих на заводские пути. Она отвечала за то, что разные примеси, содержащиеся в образцах и в особенности вредные, — цинк, медь, сера, — будут своевременно и точно выявлены. Кроме того, поставив себе целью закончить своё инженерное образование, Нина Казаченко училась на заочном отделении Уральского металлургического института.

Сейчас в этой же комнате, где идёт собрание, она заканчивает анализ

пробы. Её пальцы испачканы фиолетовой, почти чёрной пылью. На лицо тоже села пыль руды. Из-за этого кажутся подведёнными большие глаза, которыми она оглядывает собрание. За столом возле председателя сидит Шумейко. Ему хочется встретить её взгляд, поймать её улыбку.

Представитель райкома комсомола поддерживает кандидатуру Каза-ченко.

— Должен вам, товарищи, признаться,— говорит он,— что у нас есть намерение посоветовать новому бюро избрать Нину Казаченко ответственным секретарём вашей комсомольской организации.

Нина отодвигает пробирку, выпрямляется.

— Нет,— кричит она,— я снимаю свою кандидатуру. Нельзя мне быть секретарём. И в бюро я не смогу работать.

— Почему?

— Потому что... Ребята, я хочу стать настоящим инженером. Знаю-щим, квалифицированным. Таким, каких требует наша промышленность... А всякие отвлечения, всякая общественная работа... Нет, это невозможно...

На минуту в комнате водворяется молчание. Слышно, как падают капли фильтруемой смеси.

Кто-то задаёт вопрос:

— То есть комсомол мешает тебе стать инженером?

Нина отвечает не сразу. Вернее, вместо ответа она произносит:

— У нас есть другие... Те, которые согласны быть членами бюро и даже секретарями. А мне и так нехватает времени... Нет, вы меня не заставляйте. Лучше не выбирайте.

Нина стоит в испачканном рабочем халате и как будто улыбается полными губами.

— А мы тебя и не выберем.

Этот возглас собрание поддерживает неясным грозным гулом. Андрей Шумейко уже не ловит взгляды Нины. Его круглощёкое, очень юное, мягких очертаний лицо сейчас нахмурено.

Вот, значит, как относится она к комсомолу. Для него, Шумейко, с мальчишеского возраста комсомол был дороже семьи, родного дома. Он, деревенский парнишка, не видевший до четырнадцати лет паровоза, выросший в гнетущей бедности, вынужденный батрачить вместо того, чтобы ходить в школу, впервые узнал в комсомоле радости истинно человеческой жизни, радости творческого дела. С каким восторгом он, ещё не слишком большой грамотей, клеил впервые в жизни стенную газету, орган сельской ячейки комсомола. Комсомол послал его на учёбу. Сначала это были районные курсы, куда он, простой деревенский малец с нежным округлым лицом, которого почти не брал загар, пришёл босиком. Далее, путёвка на рабфак, рабочий факультет Днепровского металлургического института, путёвка опять же от комитета комсомола. С комсомолом связано всё лучшее, всё самое дорогое в его жизни. Как же не отдать за это своему комсомолу, своей партии и великой революционной Родине всё, всё, что понадобится бы от него?

А вот у Нины Казаченко нет времени для комсомола. «Вы меня не заставляйте...» Да разве нужно заставлять? В эту минуту она была ему чужая.

На бюро комсомола ЦЗЛ обсуждался вопрос о Казаченко, о её поведении на собрании.

Бюро собралось в шлифовальной мастерской, в небольшой комнате, где изготавливались для исследования под микроскопом шлифы новоураль-

ской стали. Заседание ведёт вновь избранный секретарь Андрей Шумейко. Он спрашивает, обращаясь к Нине:

— Ты попрежнему считаешь, что общественная работа в комсомоле мешает стать настоящим инженером?

Она похудела, смуглые щёки втянулись, брови сдвинуты, две морщинки обозначились на лбу. Но она не опускает, не отводит глаз под взглядом Шумейко.

— Нет, я этого вовсе не считаю. И тогда не считала. Я говорила только о себе.

— Как это только о себе?

— Я себя знаю...

— А вот мы-то, оказывается, тебя не знали,— вырывается у Шумейко.

Пожалуй, ему одному понятна вся горечь этих слов. Нет, Нина тоже почувствовала её.

— Товарищи, ну как вам объяснить? — Она волнуется, на щеках пятнами горит румянец. — Ведь я... Я хочу стать хорошим инженером, таким, который...

Её перебивают:

— Хорошим советским инженером?

— А каким же?

— И поэтому не можешь быть хорошей комсомолкой?

— Нет, я просто хотела сосредоточиться... Понимаете, всё внимание, все силы... — Нина говорит, не оканчивая фраз. — Я так представляла себе... Я изучу сейчас специальность, овладею техникой... Не буду пока ничем отвлекаться, только наука, только работа...

— погоди, — раздаётся голос одного из комсомольцев. — А революция? А борьба за социализм? На это ты не хочешь отвлекаться?

— Нет, но...

— погоди... Ты думаешь, что сейчас нашей стране нужны узкие специалисты? Да? Думаешь, узкие специалисты — это люди будущего?

Нина молчит. Её продолжают атаковать вопросами.

— Разве ты не хочешь быть инженером-коммунистом?

— Знаешь ли ты, что при коммунизме человек будет разносторонне развитым? Или не веришь в коммунизм?

Нина молчит.

— Так что же, — сурово говорит секретарь комсомольского комитета Шумейко. — Отвечай. Что же, хороший инженер не может быть хорошим комсомольцем, коммунистом?

— Нет, я так не думаю. — И Нина повторяет. — Я говорила о себе. Я себя знаю... Я не умею совмещать. А если...

— Что если?.. Не сможешь работать, как все мы?

— Не знаю... Боюсь, что стану гусем...

— Гусем?

— Да. Гусь и летает, и бегаёт, и плавает. Но летает он хуже орла, плавает не так, как рыба. А разве он может бежать, как олень?

Шумейко тотчас парирует:

— А ты не думала о том, что сделаешься камбалой?

— Камбалой?

— Да. Рыбой, которая зряча только с одной стороны. Половиной рыбы.

Андрей видит перед собой большие блестящие чёрные глаза, видит растерянное лицо девушки и думает о том, как не похожа она, Нина Казачок, на уродливую рыбу камбалу. Пожалуй, она скорее напоминает именно оленя. Однако Андрей не меняет тона:

— Бывают люди,— продолжает он,— про которых можно сказать «половина человека». Разве ты хочешь быть такой?

Нина не отвечает. Лишь отрицательно качает головой. Затем выговаривает:

— Ребята, неужели вы собираетесь исключить меня из комсомола?

Эти слова произнесены так искренне, с таким отчаянием, что подруга Нины, член комсомольского бюро, нарушая всякий порядок, кричит ей:

— Нинка, ведь тебе же говорят: будь комсомолкой. Все хотят тебя видеть настоящей комсомолкой. Любим же тебя!

Секретарь бюро Шумейко строго обрывает девушку. Особенно неуместными ему кажутся слова: «любим же тебя!» Что это ещё такое? Он предлагает перейти к прениям.

Один за другим члены бюро серьёзно, сурово говорят о Казаченко. Затем принимается решение: объявить выговор комсомолке Нине Казаченко за её неправильное поведение на собрании.

## 12

...Весна. Лёгкие перистые облака в голубом небе. Вечернее солнце уже касается горы, окрашивая край неба шафранными, нежными тонами.

Многое переменялось на площадке Ново-Уралстроя. Четыре трубы выстроились над четырьмя мартенами, уже плавящими сталь. А рядом верхолазы уже монтируют две следующие трубы. Далее, по оси завода, идут строительные работы второй очереди. В разных местах вынимают и вывозят землю, бетонируют фундаменты, поднимают железные колонны зданий. Некоторые здания уже выстроены. Цех-блуминг уже пущен. Там, над этим цехом, едва заметно крутятся конусообразные кирпичные трубы нагревательных колодцев. Ещё дальше встают просвечивающие железные каркасы будущих прокатных цехов.

Молодой металлург в сиреновой майке, в серой кепке, сдвинутой на коротко подстриженный затылок, сидит на бетонной баллюстраде у въезда на рабочую площадку мартеновских печей. Поблёскивают рельсы, уложенные заподлицо с кирпичным полом. Цех так просторен, что прямо туда, к печам, через сквознину торцовой стены, подаются гружёные составы. С баллюстрады взгляду открыт весь печной пролёт.

Юноша безотчётно следит за движениями могучей завалочной машины, посматривает на сталевара, зачерпнувшего из ванны длинной железной ложкой пробу; наблюдает за игрой света, падающего из приоткрытого окна печи, и в то же время не упускает из виду небольшой двери, ведущей в лабораторию мартеновского цеха.

Да, сталеплавильный цех Ново-Уральска уже имеет свою лабораторию. Там работает Нина Казаченко, руководя группой спектрального анализа. Ей, способному молодому химику, доверили это немалое, простое дело. Другие лаборанты, получившие подготовку в ЦЗЛ, тоже разлетелись по цехам. Почти все они серьёзно изучают производство чёрного металла. Андрея Шумейко, например, перевели на блуминг. Новую для него специальность прокатчика он начал осваивать с самой низшей ступени, став рядовым рабочим нагревательных колодцев.

И ведь это не кто иной, а именно он, Андрей Шумейко, восседает сейчас на бетонной баллюстраде. Он, видимо, закончил свой рабочий день. Из-под серой кепки торчат ещё не просохшие после душа волосы. Свежая майка и отутюженные брюки сменили спецовку. Уже немало времени сидит он здесь, у въездного проёма, упорно наблюдая за процессами сталеварения. Это занятие не мешает, однако, ему искоса поглядывать на ничем, казалось бы, не примечательную, упомянутую выше,

дверь. Наконец, эта дверь открывается. Руководитель группы спектрального анализа появляется оттуда, быстро идёт к выходу. Минуту спустя Нина Казаченко уже за пределами цеха. На ней, как обычно на работе, немаркое темносинее платье, волосы подвязаны красной косынкой. Остановившись у рельсовых путей, она смотрит на закат, подставляет лучам смуглое лицо. Верхушки нежнозелёных тонких уральских берёзок на горе освещены солнцем. Как хорошо сейчас, наверное, там, в берёзовой рощице, что близ строительной площадки. Прекрасный тихий вечер. Но для Нины он будет, как всегда, рабочим вечером. Надо готовиться к зачётной сессии, к экзаменам за третий курс. А погулять?.. Нет, она себе этого не может разрешить. Что же, ещё придёт денёк, когда она даст себе волю, разгуляется. Тогда только держись. А сейчас домой... Крепкие ноги в тапочках, в подвёрнутых носочках, уже несут её вдоль бетонной балюстрады.

Она проходит так стремительно, что молодой металлург в сиреневой майке, спохватившись, еле догоняет её.

— А говорила, что не бегаешь, как олень...

— Ты? Откуда ты здесь?

— Понимаешь, случайно заглянул... Давно не был на мартене... Хотел посоветоваться с тобой по одному вопросу...

Он сам замечает, что у него получается неладно. Серая кепка совсем съехала на подстриженный затылок. У Нины лукаво вспыхивают глаза. Ресницы тотчас тушат этот блеск.

— Пойдём,— небрежно бросает Шумейко, хотя они давно уже идут.— Мне надо с тобой поговорить.

— О чём?

— О стали.

— О чём?

Шумейко, наконец, удаётся преодолеть смущение, которое неожиданно негаданно охватило его в первую минуту этой встречи.

— Хочу посоветоваться с тобой,— повторяет он.— Завтра дают на одну смену нагревательные колодцы в полное моё распоряжение. Предстоит провести одно исследование. Я этого добился.

Он энергично взмахивает кулаком, подтягивает рукава сиреневой майки, и Нина думает, до чего же он ещё похож на мальчишку, этот исследователь, что получает на целую смену нагревательные колодцы в полное своё распоряжение.

— Знаешь,— продолжает Шумейко,— ведь наши колодцы никак не могут нагреть нужного количества металла. Держим блуминг на голодном пайке.

— Знаю, слыхала. Но почему же?

— Старший сварщик объясняет это так: потому что для нагрева не хватает газа. И он старается заполучить в рабочее пространство, сжечь как можно больше газа. Давай положим этому конец.

— Мы?

— Мы. Посмотри-ка...

Андрей указывает на трубы нагревательных колодцев. Там курится, расплывается в небе еле заметный дымок.

— Посмотри,— говорит он.— Старший сварщик попросту не знает химии. Ведь несгоревший газ уносит с собой тепло. Надо уменьшить подачу газа, и в колодцах станет горячее. Завтра на колодцах буду старшим я. Понимаешь, химик?

— Понимаю. Ты уже сделал расчёты?

— Конечно. Просмотришь со мной, а? Хотя... Хотя товарищ Казаченко, кажется, не умеет отвлекаться?

Нина смеётся и первая поворачивает к нагревательным колодцам.

— Нам не обязательно туда, — говорит Шумейко. — Посидим где-нибудь на воле.

— Нет, пойдём на место действия. Там будет видней.

Они идут по территории завода. Солнце уже скрылось, заря стала багровой, кое-где в лёгких сумерках зажглись фонари. Вечер не приостанавливает стройки, не прекращает движения на площадке. Экскаватор, выпускающий из железной трубы клубы чёрного дыма, копает выемку, выгребает в отвал землю своим ковшом-лопатой. Проезжают машины, проезжают лошади, запряжённые в гружённые землёй грабарки. Слышны тяжёлые мерные удары и свист отработанного пара. Это забивают так называемой «бабой» сваи в слабый грунт. Быстро крутятся барабаны бетономешалок. Укладчики бетона забирают на тачки готовую смесь, везут, опрокидывают в опалубку, трамбуют.

Вот и здание блуминга. Сквозь раскрытые ворота видна линия нагревательных колодцев. Машинист специального крана то и дело достаёт оттуда светящиеся разогретые болванки и несёт к блумингу.

Нина и Андрей сидят под открытым небом, где уже засияла первая звезда, сидят на твёрдом стальном слитке у штабеля таких же слитков. У него в руках раскрытая записная книжка, в ней все его расчёты. Нина предлагает поправочный коэффициент. Они спорят, намечают программу завтрашнего дня, программу действий Андрея, которые, несомненно, повысят производительность блуминга.

...Уже всё обдуманно, обсуждено. Ни одной цифры уже не разберёшь в записной книжке — сюда в тень штабеля не добирается даже смутный свет луны, вышедшей на своё дежурство. Надо бы идти по домам, но они сидят, не двигаются, молча смотрят, как вскидывается, выбивается пламя из-под чугунных крышек нагревательных колодцев. Странное волнение всё сильнее охватывает обоих. Пожалуй, оба знали, что такой вечер когда-нибудь придёт, оба его ждали. Вечер самого обыкновенного майского дня...

Эту дату навсегда запомнили и праздновали в семье Шумейко. Повод был вполне достаточным — план и расчёт, разработанные у штабеля слитков, принесли победу. Однако сыновья так и не знают, что в этот вечер их родители впервые поцеловались.

### 13

С тех пор прошло восемнадцать лет. Андрею Шумейко выпало на долю счастье страстно, глубоко полюбить, счастье, которое дано совсем не каждому. И узнать ответную, не менее преданную, не менее сильную любовь.

Все эти годы они работали рядом, она в лаборатории сталеплавильного цеха, он на прокатке. Вместе они стали инженерами, оба вступили в партию.

Шли годы, определялся профиль каждого из них. Нина специализировалась на создании новых марок стали. Он, осваивая разные квалификации на прокатке, всё более находил вкус в калибровке, начал работать в калибровочном бюро.

Над многими сталями, многими новыми сортами металла они потрудились вместе — она в лаборатории мартеновского цеха, он на крупно-сортном стане. Вот и теперь, когда они опять живут на юге, на восстановленном после ужасных разрушений заводе «Югосталь», у них вновь и вновь общие работы.

Сталеплавильный цех дал новую специальную марку стали — шпунтовую сталь, — которая соединяла в себе особую мягкость, пластичность

в прокатке с высокой механической прочностью и устойчивостью против коррозии. Без такой стали не удалось бы прокатать шпунт. И всё же...

Всё же пришлось ему, инженеру Шумейко, разработавшему калибровку шпунта, прочесть телеграмму Гидростроя, которая, если говорить прямо, означала, что новый профиль неудачен. Но почему же?

— Гляди веселей, инженер Шумейко, — сказала, прощаясь, Нина. — Я убеждена, что шпунт удался. Не верю, что ты не смог его сделать. Поезжай и разберись, а мы будем тебе завидовать, что ты побываешь на великой стройке.

## 14

«Берегите маму», — написал Шумейко. Налетевший порыв ветра ухитрился выдернуть у него из-под руки и стал трепать несколько листов блокнота. Да, на таком ветру писать всё же трудновато.

Захлопнув блокнот, Шумейко посмотрел на полноводную вспененную реку, разлившуюся вширь на полтора или два километра. Слева, на обрывистом, высоком берегу, недоступном паводку, тракторы-«сталинцы» вспахивали неоглядный клин земли. Сизые клубочки газа выбивались из выхлопных труб. Шумейко вспомнились знаменитые слова, написанные два десятилетия назад, слова, которые он, пропагандист, помнил наизусть: «Сталинград. Тракторострой. ...50 тысяч тракторов, которые вы должны давать стране ежегодно, есть 50 тысяч снарядов, взрывающих старый буржуазный мир...»

А скоро вместо тракторов, преобразовавших Россию, сюда, в эту степь, придут новые машины, приводимые в движение электричеством, — электротракторы, электрокомбайны. Всюду встанут шеренги стальных мачт, в небе между мачтами протянутся чёрные, слегка провисающие линии проводов, по которым заструится ток. Стройки коммунизма превратят в электроэнергию стихийную силу этой реки. Вешняя вода, — вот эта самая, которая бьёт в борт парохода и разлетается мутными брызгами, которая далеко залила заросший лозой песчаный низкий дикий берег, которая из года в год веками без пользы скатывалась в солёное море, — будет задержана плотиной, останется в огромнейшем водохранилище и, обузданная человеком, послушная ему, пойдёт по распределительным каналам в степные пространства — вот туда, за горизонт, где издавна нехватает воды. Всё здесь переменится. Перед мысленным взором Шумейко вставали заводы электрометаллургии, которые вскоре появятся на этих берегах. О, как украсят такие заводы эту реку, эту степь! Да вон славная площадка для завода.

Стоя у ограждения верхней палубы, куда нет-нет — и долетала водяная пыль, срываемая ветром с гребешков, глядя на разлив, на берега, на тракторы, Шумейко вдруг остро ощутил, что мир, в котором он живёт, это мир непрерывных изменений, в котором постоянно возникает, борется и торжествует новое. Он смотрел вдаль и словно видел небывалые дела, которые ещё предстоят поколениям революции, людям сталинского времени. Сколько великого уже совершено на веку Шумейко: Октябрьский штурм, гражданская война, первые сталинские пятилетки, победа в жесточайшей войне, сокрушение гитлеризма, освобождение подавленной, порабождённой фашистами Европы. А впереди на горизонте времени, который уже ясно различим, — новые подвиги, новые высоты, коммунизм.

Подгоняемый ветром, слегка покачиваясь на разошедшейся волне, пароход неуклонно шёл вперёд. Ветер хлестал Шумейко сзади в коротко подстриженный затылок, трепал полы плаща, плащ парусил, будто помогал движению парохода. Да, Шумейко плывёт вместе с кораблём своей

страны. Всегда несколько восторженный, он глубоко вбирал грудью этот ветер, несущий водяную пыль, дышал воздухом бури, воздухом борьбы.

Наглядевшись, Шумейко спустился на нижнюю палубу, где были расположены служебные помещения и каюты. Проходя по коридору, он на минуту задержался у одного из раскрытых окон машинного отделения. Оттуда струился жаркий дух, запах горячей смазки. Мерно вращались, поблёскивая обточенной сталью, мощные сочленения паровой машины. Сквозь решётки, уложенные вместо пола, можно было рассмотреть кочегарку. Там, в чреве парохода, то и дело распахивались заслонки топков. В огненных отвесах виднелись обнажённые до пояса рабочие, черноватые от угольной пыли, которые неустанно подгребали лопатами уголь и с размаху кидали его в пламенеющие жерла.

«Вот он — век минувший, — подумал Шумейко. — Скоро по реке пойдут новые суда, ещё неведомые, невиданные электроходы».

И опять ощущение непрерывных изменений мира, в котором он живёт, охватило Шумейко.

## 15

Неподалёку от машинного отделения помещался красный уголок. Ещё утром, заглянув в одно из окон, выходящих в коридор, Шумейко подметил это местечко, где можно было почитать газеты и журналы или сыграть в шахматы. Здесь он спокойно допишет письмо. Сядет около иллюминатора, вынет блокнот... Однако не тут-то было. Прокатчика как будто ждали в этой комнате. Едва он показался в дверях, как прозвучал возглас:

— Браток, срочно требуется один забойщик. Просим, заходи, забьём козла.

Это жаргонное выражение любителей игры в домино «забьём козла» было отлично знакомо Шумейко. Ему не часто случалось играть в домино — пожалуй, лишь в доме отдыха, в дни отпуска. Паренёк, пригласивший Шумейко, вглядевшись в него, смущённо поправился:

— Не браток, а дядько... Извиняюсь, не рассмотрел...

— Налетел, Мишка, на мель, — не замедлил подтрунить один из сидевших за столом.

— Ничего, Миша, забьём. Будешь моим напарником. Идёт? — произнёс Шумейко.

Ему приглянулась улыбающаяся загорелая физиономия паренька. Миша был немногим старше его мальчишек, но держался куда солиднее. В разрезе распахнутого ворота чёрной потёртой косоворотки виднелась флотская тельняшка.

— Ты, Миша, матрос?

— Я? Я здесь старшим штурвальным, — Миша постарался сказать это небрежным тоном.

— Старшим штурвальным? Такой малец? — Вот о ком Шумейко напишет своему будущему флотоводцу. — И тебе доверяют вести пароход?

— Через часок приходи наверх, к штурвальной будке. Поглядите.

Игра началась. Ставили кости с громким пристуком. Шумейко и Миша прекрасно понимали друг друга. Иногда, нарушая правила игры, Миша подавал глазами знаки, мигал своему напарнику. Старший штурвальный веселился. Противная сторона — два молодых матроса — была разбита наголову. Выиграв, Шумейко не мог удержать довольной улыбки. Со вкусом сыграли и следующую партию. Потом Миша сказал:

— Ну, мне надо итти. Время готовится на вахту.

Он посмотрел в иллюминатор. Пароход держался подмытого водой, оползающего берега. Обнажились, плетями повисли над рекой корне-



вища деревьев. Некоторые стволы уже рухнули и, ещё держась корнями в грунте, лежали верхушками в воде.

— Глядите,— проговорил Миша,— скоро тут будут совсем другие берега. Везде на оползнях и на песках будет поставлена стальная стенка. Уже и металл делают для этого. Стальной шпунт, слышали?

— Слышал,— растерянно ответил Шумейко.

У него опять сразу защемило сердце. Ведь тут ещё никто, ни Миша, ни его товарищи, никто не знал, что шпунт не удался. И опять в уме засверлил прежний вопрос: почему же? Почему?

## 16

Шумейко уступил своё место новым игрокам.

Устроившись за другим столом, где лежали газеты и журналы, он опять достал блокнот. Надо было закончить послание домой, написать несколько хороших слов жене. Это она, Нина, сказала ему на прощанье: «Не верю, что ты не смог его сделать».

Всю свою жизнь... Да, как он мечтал о шпунте! Забросил всё, по ночам видел, как металл течёт в калибрах. Мечтал, что этот шпунт — сплоченная стальная стена, стальной ряд, забитый глубоко в землю, через который не проникнет вода,— мечтал, что этот шпунт станет широко известным в народе, полюбится народу... Шумейко далеко занёсся в своих мечтах. Не только на великих или просто больших гидростанциях, но и на любой колхозной плотине виделся ему стальной шпунт. Сейчас такие плотины насыпают из земли, укрепляют деревянными сваями, кольями, перевитыми плетнём, и всё же почти каждую весну полая вода рвёт, уносит немало таких запруд. А когда появится шпунт,— всем доступный, всем известный, массовый, дешёвый сорт металла,— забьют шпунтовый ряд поперёк речки или ручья: вот и плотина. Никакой паводок её не стронет, век будет стоять.

Профиль мирной жизни, мирных дел, всем нужный, известный каждому — вот о чём мечтал Шумейко, разрабатывая калибровку шпунта. И, конечно же, такой шпунт будет у народа,— даст ли его Шумейко или другой калибровщик.

Да. или другой калибровщик... Ведь сказал же главный инженер: «Я думаю, необходимо вызвать Василия Павловича». И Шумейко ответил: «Да, конечно, нужно вызвать».

Сейчас в воображении он увидел любимого учителя. Пачку сигарет в голубой коробке на подоконнике... Мундштук в пожелтевших от никотина пальцах... Однажды, в сумерках, когда в комнате, где находились рабочие столы Василия Павловича и его ученика Шумейко, никто из них ещё не повернул выключателя, не зажёл света, старый калибровщик вдруг сказал:

— Как-то встретил я нищего... Слепого нищего...

Он подошёл к окну, не глядя на Шумейко. Тот молчал. Это так редко случалось, чтобы Василий Павлович говорил не о металле, не о калибровке. Что же он скажет дальше? Шумейко боялся неосторожным словом спугнуть настроение старика.

— Его вёл мальчик, и он пел,— продолжал Василий Павлович,— в его песне были слова: «Я половина человека»...

— Половина человека? — воскликнул Шумейко.

Когда-то, много лет назад, ещё в Ново-Уральске, на одном из заседаний бюро комсомола он сам, Андрей, употребил это выражение.

— Да... Половина человека... — повторил Василий Павлович. — И знаете...

Он вставил в мундштук сигарету, но не закурил, не чиркнул спичкой, продолжая сумерничать.

— Знаете... Мне показалось... Показалось, что и я... Я тоже половина человека...

Высказав эту, очевидно, мучившую его мысль, Василий Павлович, не стал вдаваться в разъяснения. Он попрежнему смотрел в окно. Жалость охватила Андрея. Он сразу понял, о чём говорит его учитель. Все большие чувства старика-калибровщика — любовь к Родине, служение ей, долг, товарищество — находили лишь одно проявление: в калибровке, в прокатке профилей чёрного металла. Все свои привязанности, все силы души он отдал работе, размышлениям о металле, чертёжному столу. Широкая, красочная, сверкающая жизнь, пронизанная мечтой о будущем, пронеслась мимо. К нему она вторгалась лишь в образе новых профилей металла.

Оба молчали, ученик и учитель... Василий Павлович отошёл от окна, зажгёт спичку, поднёс к сигарете, Андрей увидел его морщины, выветившие хорошие глаза, глубокие складки у губ. И снова нахлынула жалость.

И всё же... Всё же вот теперь, когда обнаружилось, что с новым профилем стряслась какая-то ещё никому на заводе не ясная беда, в которой, возможно, виноват калибровщик, приглашают, зовут его, Василия Павловича, того, кто сам себя назвал «половиной человека». Что же, может быть, и надо быть таким? Может быть, именно такие люди, узкие специалисты, не знающие иных интересов, кроме излюбленной профессии, и создают новые профили? И может быть, непонятная ошибка, которая произошла теперь... Шумейко не хотелось формулировать дальше, но он всё же это сделал... Может быть, ошибка в том, что он, Андрей Шумейко, человек не того профиля?

Подняв голову, он взглянул в темноватое, выходящее в коридор окно. В стекле неясно предстали его черты. Не слишком почтенная физиономия. Даже Миша, восемнадцатилетний хлопец, назвал было его «братком». Круглые щёки, круглый подбородок. Всегда будто удивлённые глаза с высоко поднятыми светлыми бровями. Кажется, всё в этом лице ещё голько формуется. Нет определённых резких линий. Нежная, почти не принимающая загара кожа. Нет, он не нравился себе... Нет, не гож ты, не пригож, Андрей... Конечно, вся ошибка, вероятно, в том, что он не из тех людей, которые создают в технике новое.

В письме домой, которое он тут, в красном уголке, заканчивал, не отразились эти мысли. К чему писать о них, о минутах уныния? Только одной Нине он когда-нибудь это расскажет. А сейчас... Сейчас, родные, ваш отец плывёт очень весело, сидит в красном уголке, глядит через иллюминатор на реку, разлившуюся в последний раз, — да, да, в последний, широким разливам на ней больше не бывать, вся внешняя вода будет задерживаться плотиной в водохранилище, в новом степном море, — видит берега, которые, как уже знают речники, скоро укрепят шпунт.

И вдруг это же слово — шпунт — опять донеслось от стола, где играли в домино. Предыдущие реплики Шумейко слышал в пол-уха:

— Ну, забойщик, ставь, — говорил кто-то.

— Нет, товарищи, я не забойщик. Если хотите знать, я закопёрщик...

— Ишь ты... Закопёрщик... С чем же это кушают?

— Закопёрщик, это, товарищи, значит заправила, заводила на копровых работах... Эй, копра, на дело! Шпунт будем забивать на великой стройке... Вот кто я таков!

Шумейко вскинул голову. Шпунт? Он не ослышался?

Закопёрщик оттрекомендовался художавый, малорослый, как это можно было видеть, хотя он и сидел, человек со смуглым от постоянного пребывания на воздухе, — на жаре и на морозе, — лицом. На высоком лбу пролегли глубоко прорезанные тонкие морщины. По игре глаз, по размягчённой, умиротворённой улыбке, по некоторым запинкам в речи и размашистому жесту можно было безошибочно определить, что закопёрщик или, как он о себе сказал, заводила на копровых работах, — в лёгком подпитии. Среди пассажиров, зашедших в красный уголок, Шумейко приметил и чернобородого молчаливника, кого в своём письме он окрестил Карабасом-Барабасом, именем страшного бородача из сказки «Золотой ключик», вселявшего некогда робость в сердца его мальчишек. Карабас, как и Шумейко, внимательно смотрел на закопёрщика.

Меж тем, разговор за столиком, где «забивали козла», продолжался:

— С бригадой едете? Или в одиночном порядке?

— Нет, чудак-человек, не в одиночном... Туда сейчас двинулся весь «Основстрой».

— Как?

— «Основстрой»... По сооружению оснований. Это наше звание: основстройевцы. Где монументальные сооружения, там и мы. Только я вернулся с отпуска, и сразу давай, давай, Ануфриев, без задержки на стройку коммунизма. Все уже уехали, дело за тобой... Ну, это нам уже известно, где запарка, там Ануфриев... Где кладём основы, там Ануфриев...

Не нарушая хода игры, закопёрщик ставил камни, когда ему пришла очередь, и разглагольствовал.

Бородач встал и подошёл к играющим. Дослушав очередную тираду закопёрщика, он произнёс:

— Где же вы работали?

Шумейко предполагал, что у такого атлетического сложения человека будет обязательно богатырский голос. Однако Карабас заговорил неожиданно тихо. К тому же он пришепётывал — не вполне чисто произносил некоторые буквы. Сквозь чёрную заросль усов блеснули металлические, нержавеющей стали, зубы. Очевидно, обе челюсти были заменены протезом. Шумейко пригляделся и увидел, что борода скрывала след тяжёлой раны на обращённой к нему стороне подбородка, впадину-шрам, где уже никогда не вырастет ни одного волоска.

— Э, дорогой товарищ, — воскликнул Ануфриев, — спросили бы лучше, где я не работал... Москву знаешь? Театр Красной Армии знаешь? Кто под него свай забивал? Ануфриев. Малый театр знаешь? Кто ему выправлял осадку? Кто был закопёрщиком?

Далее Ануфриев помянул набережную Москвы-реки, причалы Севастополя, Мурманска, Владивостока, скиповые ямы в Магнитогорске, домны в Чусовой, коксовые батареи в Губахе, паровые молота на Кировском заводе в Ленинграде — везде он побывал, везде строил основания, заколачивал сваи или шпунт.

— А ШКО ты забивал? — попрежнему тихим голосом спросил Карабас.

Шумейко сидел, не шелохнувшись. Лишь высоко поднятые светлые брови, пожалуй, всползли ещё выше. Неужели всё это наяву? Неужели и вправду тут, на пароходе, люди, о которых ещё вчера он не имел никакого представления, казалось бы, случайные попутчики, толкуют о его детище, даже называют марку профиля?

— ШКО? Нет, такого не слышали.

— Услышишь, — коротко сказал чернобородый. — Молотами двойного действия ты орудовал?

— Ну, это освоили... Стерлитамакского завода...

— Как они в работе?

— Хороши... Тонкая машина... Это молота «всех побивахом»...

На лице Барабаса вдруг выразилось такое удовольствие — губы расплзлись в улыбке, небольшие глаза засветились, — что закопёрщик воскликнул:

— Это, должно, ваши? Не конструктор ли вы будете?

— Нет... Я по внедрению... Должность такая — внедренец, понимаешь?

— Значит, внедряете Стерлитамак?

— Занимался этим... А теперь я в Краснощёкове. Пустили там такой заводик, что... Про краснощёковские молота слышал?

— Слухи слыхивал... Это какие же?

— Какие? Краснощёково знаешь?

— Ну, скажем, знаю...

— Нет, видать, не знаешь... Это Сибирь... «Во глубине сибирских руд»... Самая что ни на есть сибирщина. А теперь там такие молоточки сотворили... Такие молоточки, лучше чем Стерлитамак... Останешься доволен... Удар лёгонький... Вот так поглаживает...

Могучим, устрашающим кулаком «внедренец» несколько раз лёгонько стукнул в воздухе. Видны были несмываемые следы смазки и металла, давно въевшиеся в его пальцы.

Он присел к столу, немного потеснив игроков.. Беседа приняла нетерпливый характер.

— А это, если позволите спросить, у вас откуда? — Ануфриев показал на страшный шрам, прикрытый чёрной бородой.

— Это... Под Корсунь-Шевченковским.... Теперь ничего... Восемь месяцев слова не мог молвить.

— А мы прошли южнее... Прямо на Румынию. Кантемирская гвардейская стрелковая. Разрешите доложить: гвардии старший сержант Ануфриев... Где запарка — там старший сержант Ануфриев. Везде закопёрщик.

Ануфриев, видимо, хотел пуститься в воспоминания, но Шумейко не терпелось. Он направился к Карабасу. Впрочем, и в мыслях калибровщик уже не называл его так. Шумейко было стыдно и досадно, что этого человека, так страшно раненного на войне, он избрал в своём письме объектом шутки. И кроме того... Кроме того, этот милый чернобородый внедренец только что произнёс три буквы «ШКО».

Шумейко подошёл к нему и, волнуясь, порозовев, спросил:

— Вот вы сказали ШКО? У вас забивали этот профиль?

— Я не дождался... Шпунт к нам ещё идёт. А я... Вызвали с нашими молотами сюда на стройку. Экстренно вызвали... И вы тоже по шпунту?

Шумейко коротко ответил:

— Да...

Ануфриев весело сказал:

— Ясно, по шпунту... Все мы едем по поводу шпунта. Вон сколько народу стронулось, — тут и Сибирь, тут и Москва. Всей Россией поднялись... Так неужели не забьём?

Кто-то пошутил:

— Раз Ануфриев тут, стало быть, забьём. Одно слово: «Основстрой»...

Но закопёрщик не подхватил шутки.

— Мы все «Основстрой», — серьёзно проговорил он. — Основстроевцы, понятно?

Сумерки. Ветер утих. На реке зажглись красные и зелёные огоньки бакенов.

Шумейко давно бросил своё письмо в почтовый ящик на небольшой пристани. Последнее добавление он вывел на уже заклеенном конверте. «Опускаю письмо в заслуживающем внимания месте. Пока это только пристань Хуторки. А через три года здесь будет огромный порт. По-больше Ростовского. Здорово?».

Теперь Шумейко стоит на верхней палубе у штурвальной будки, где за рулевым колесом восседает Миша. На старшем штурвальном уже не косоворотка с небрежно распахнутым воротом, а рабочая форма речника — суконная чёрная куртка, так называемая форменка, и чёрная фуражка с красивым, вышитым серебряной канителью гербом.

Уже близка конечная остановка парохода, пристань «Гидрострой». Почти все пассажиры уже вышли на палубы, вглядываются вдаль или в проплывающие, не ясно различимые в полумгле берега. Можно разглядеть нескончаемые горы булыжника, сложенные на береговой излучине. Усилилось движение на реке, подчас проносятся моторные лодки, катера, обозначающие себя освещёнными окнами и сигнальными разноцветными фонариками. Прощумит такое встречное судно, и опять тихо на широко разлившейся реке... Уже не свистит ветер, улеглась волна, от спокойной воды, в которой уже играет отражение звёзд, исходит глубокий тёмный блеск. Слышно лишь, как ударяют по воде плицы колёс парохода.

Темнеет. Уже не распознаешь булыжника на берегу. И вдруг вдали на подёрнутом чернотой небе показалось лёгкое, смутноватое, будто предрассветное, сияние.

— Она, — произнёс Миша. — Великая...

Голос его прозвучал торжественно. Никто не отозвался. Все глядели туда, на проступавшее всё яснее, явственнее с каждой минутой белое зарево электрических огней. Можно было подумать, что впереди очень большой город, в котором ярко освещены множество площадей, тысячи улиц. Потом на бледном мерцающем фоне стали выделяться отдельные более яркие туманности, своего рода озёра светящихся точек. Казалось, до них ещё очень далеко. Миша сидел, выпрямившись, на своём посту. Подчиняясь его рукам, уверенно поворачивающим штурвальное колесо, пароход продолжал огибать излучину... В какой-то момент из-за поворота неожиданно ударил в глаза ослепительный прожекторный луч. Шумейко невольно зажмурился. Полоса света двигалась, обгоняя пароход. Теперь можно было увидеть, что не один, а несколько прожекторов, укрепленных на кузове большого, высокого, словно ангар, экскаватора, поворачиваются вместе с этим кузовом вслед за длинной стрелой, выносящей из выемки по крутой дуге повисший на стальных канатах ковш. Вот ковш, почти серебристый в белых электрических лучах, неслышно опрокинулся. Тёмная неясная масса вынутого грунта посыпалась в отвал. Медленно поднялась, за клубилась пыль. Но ковш вместе со стрелой уже отправился обратно, гребень отвала исчез в сумраке, пучки ослепительного света снова прошлись по реке, по пароходу, заставляя жмуриться.

— Шагающий, — произнёс Миша...

— Почему шагающий? — спросил кто-то.

— Имеет механизм шагания, — ответил штурвальный, — шагает по великой стройке. А почему великой? — задал он риторический вопрос и, выдержав паузу, торжественно продолжил: — Потому, что сколько веков человечество не живёт, ещё не бывало таких строек.

Он поднял руку, взялся за шнур, потянул вниз. Низкий протяжный гудок — салют приближающейся великой стройке — разнёсся над рекой.

Вот и фонари пристани... Пароход осторожно, плавно, подвалил к барже. Затихли плиты, брошены чалки, спущены мостки.

Виднеются силуэты автобусов, грузовиков, легковых машин на берегу. Можно попрощаться с парохомом, выходить.

## 19

Кабинет начальника строительства Ивана Аникеевича Свешникова. Шторы на окнах не задёрнуты. За стёклами — сияющая электричеством белая ночь стройки. Всё время слышно, как мимо дома мчатся и мчатся машины. По стенам кабинета, где горит лишь настольная лампа, то и дело проползают световые полосы от проносящихся автомобильных фар.

На рябоватом лице Свешникова большой, — что называется, утиный, — нос. Руки, которые сейчас держат письмо, поданное калибровщиком Шумейко, знавали, несомненно, лопату и молот. Пальцы сильные, широкие, с коротко подстриженными крепкими ногтями. Большой палец правой руки искалечен — на том месте, где положено быть ногтю, розовеет мягкая округлость, словно маленькая кулыта. На висках пролегла седина.

— Садитесь, садитесь, товарищ Шумейко. Значит, прямо с парохода?

Прежде чем начать разговор, Свешников вызывает секретаршу, даёт ряд распоряжений. Затем говорит:

— Кстати, позвоните в гостиницу... Товарищ только что...

— Знаю. Уже, Иван Аникеевич, позвонила.

Он отпускает секретаршу, оглядывает севшего в глубокое кресло металлурга.

— Так, — неопределённо выговаривает начальник стройки. — Это вы, товарищ Шумейко, работали над нашим профилем?

— Я.

В другой момент Шумейко не сказал бы так. Он назвал бы имена многих товарищей по заводу, инженеров и рабочих. Однако тут, когда следовало отвечать за неуспех, он произнёс «я». Пауза. Свешников внимательно смотрит на моложавое, с нежным румянцем, округлое лицо представителя завода. И Шумейко вдруг смущается.

— Конечно, не один я, — объясняет он. — Все работали над новым профилем, весь цех. Но закопёрщик я.

— Закопёрщик? Уже и в забивке кое-что понимаете?

— Нет, не особенно. Не могу этим похвастаться. Сегодня на пароходе встретил закопёрщика.

— А, кадры «Основстроя»? Хорошо, подъезжают основстроявцы... Ну-с, товарищ закопёрщик... — У Свешникова неторопливая спокойная манера, он не прочь в подходящую минуту пошутить, но Шумейко чудится, что начальник стройки разговаривает с ним подчёркнуто сухо. — Ну-с, товарищ закопёрщик, неладно с вашим детищем. Мы уже больше месяца бьём шпунт и, по существу, ничего не забили.

— Ни одной шпунтины?

— А что нам одна? Одну-то ещё загоняем. А вот следующую в сплотку с первой не можем забить.

Шумейко знал, что услышит здесь эти или подобные слова, но теперь, когда они прозвучали, он, как и на заводе перед синькой, в которой было вычеркнуто слово «шпунт», опять чувствует боль. Помолчав, Свешников спрашивает:

— Скажите, вы себе ясно представляете, какую службу у нас будет нести ваш шпунт?

— Конечно, я... Все мы... Более или менее...

— Так... Давайте-ка это проясним.

Придвинув к себе большой блокнот, Свешников отрывает чистый лист и быстро набрасывает очертания плотины. Искалеченный палец без ногтя верно ему служит, крепко придерживая острый карандаш.

— Посмотрите,— говорит Свешников,— мы ставим плотину на песчаном грунте. Вот это всё пески. Ниже — включения галечников. Ещё ниже поясок водонепроницаемого мергеля. Видите, я его помечаю. Вода будет прорываться сквозь песок под бетонное сооружение. Если мы это дозволим, река постепенно подмоет плотину. Поэтому мы решили преградить путь фильтрационному потоку шпунтовым заслоном, сплошным металлическим фартуком, который достигнет,— видите? — достанет, когда его забьют, этой прослойки мергеля.

Глядя на чертёж, Шумейко слушает объяснения начальника стройки. У этого человека с мужицким лицом, с широкой рабочей рукой, точная речь инженера-гидротехника. В эту речь, своеобразно окрашивая её, нередко врываются иные, так называемые простонародные слова, вроде «дозволим». Иван Аникеевич говорит и чертит, изображает на своём наброске расположение шпунтовых рядов. Снова немного помолчав, дав металлургу время рассмотреть набросок, он спрашивает:

— Ну, а если мы не сможем заколотить шпунт? Как же тогда?

И сам отвечает:

— Есть другое инженерное решение...

На том же листе он рисует это другое решение, требующее очень значительных или, говоря точнее, огромных дополнительных работ по бетонированию ложа реки, примыкающего к верхнему бьефу.

— Видите,— объясняет Свешников,— этот вариант позволяет нам перемочься без шпунта. Однако,— тут он опять поднимает маленькие умные глаза на калибровщика,— тогда мы оттянем по крайней мере на год пуск Гидроузла. Нарушим своё обещание.

— Из-за того, что?.. Из-за шпунта?

— Да... Когда товарищу Сталину доложили, что шпунт не идёт, то...

— Товарищу Сталину докладывали про шпунт?

— Конечно. Когда он узнал... что... Одним словом, к нам на подмогу уже прибыл «Основстрой». И не только «Основстрой»... А вам, товарищ Шумейко, надобно, по-моему, прежде всего определить, нет ли в этом профиле таких пороков, что... Чего покраснелись? Затронул честь мундира?

— Иван Аникеевич, я... Я совсем не покраснел... И моя задача именно в том... В том, что вы сказали...

— Тогда ладно...

Затем Свешников говорит о трудностях, обнаружившихся при попытках забить шпунт. Он входит в подробности, охотно отвечает на вопросы Шумейко.

— Завтра, товарищ Шумейко, в котловане сами всё увидите.

— Завтра? А сейчас?

Шумейко хочет сию же минуту, тут же, ощутиться в котловане, где безуспешно бьют шпунтовый ряд. Ему досадно, что он не попытался вопреки непогоде полететь, а обрадовался возможности проплыть по реке. Подумаешь, летописец-путешественник... А Свешников хохочет. Маленькие глаза совсем сощурились. У него раскатистый, заразительный, моментами поднимающийся до высокого дискангового тембра, смех...

— Не круто начинай,— выговаривает он.— Круто кончай.

Шумейко понимает, что пора прощаться. Только вот этот листочек,

этот чертёж, что набросал начальник строительства, ему хотелось бы взять с собой.

— Чтобы поразмыслить? — спрашивает Свешников.

— Да, — неопределённо отвечает Шумейко.

Неудобно признаться, что этот набросок плотины, сделанный начальником стройки, этот исторический документ займёт своё почётное место в коробке с надписью «Вести с великой стройки».

— Значит, условились, товарищ Шумейко. Сейчас на боковую, а с утра за дело. По рукам?

Улыбаясь, он встаёт и протягивает прокатчику широкую, словно лопа-та, руку с большим пальцем без ногтя.

## 20

И вот, наконец, утро. Ещё очень рано. В номере гостиницы полутемно. Свет проникает сквозь зазоры между занавесью и окном. Боясь разбудить соседей, Шумейко осторожно приподнимает край ниспадающей шторы. Не спится ему в первую ночь по приезде. На улице блистают обращённые к встающему солнцу стены домиков. По просторной, до черна накатанной асфальтовой дороге то и дело проносятся грузовики, сопровождаемые длинными тенями. Шумейко быстро, бесшумно одевается. В какой-то момент, словно посмотрев на самого себя со стороны, он усмехается: куда, чёрт возьми, его несёт в такую рань? Разве что-нибудь переменится в судьбе шпунта, если он, Шумейко, явится ни свет, ни заря в котлован?

Он выходит из гостиницы. Неподалёку остановка автобуса, курсирующего по маршруту Управление — Котлован. Ещё с вечера Шумейко заметил на столбе фонаря зелёную дощечку, объявляющую об остановке. Скорей бы подошла машина. Но, посмотрев на золотистое, пока ещё не ослепительное солнце и вдруг ощутив холодок рассвета, он спрашивает, что, пожалуй, никакого автобуса сейчас не будет. Рано. Так что же? Стрелка на дощечке указывает маршрут. Вперёд.

Он идёт по улицам городка строителей. Некогда оглядываться. Но всё же... Как изменились времена. Двадцать лет назад, когда он, Андрей Шумейко, вместе с группой товарищей приехал на площадку Ново-Урал-строя, на гигантскую стройку тех годов, немало народа там размещалось в бараках, в палатках, в землянках, отсюда лепившихся к фронту работ. Барак, куда поместили прибывших курсантов, был сложен из прессованной сухой соломы, соломыта. Хороший удар в стену кулаком — и кулак на улице. Сейчас Шумейко с улыбкой, с гордостью вспоминает об этом. Да, кое-что испытали, выдюжили, кое-что создали, свершили на родной земле. Ещё в те времена, в первые сталинские пятилетки, заложили основание коммунизма. Хорошо сказал вчера на пароходе закопёрщик: «Все мы основстроевцы, понятно?» Замечательное слово «основстроевец», «поколение основстроевцев».

Зато теперь, где они, землянки? Вдоль широких проспектов просторно расположились одноэтажные и двухэтажные дома, то бревенчатые, свежие, с не обшитым ничем срубом, то штукатуренные — кремевые и голубые. Около некоторых разбиты палисадники. На траве, на листьях акации, тамариска, густых выющихся побегах винограда блестят капли росы. На одном из перекрёстков глазу вдруг открылся горизонт. Уходили вдаль стальные мачты высоковольтной передачи. Поднимались, двигались в утреннем голубом небе длинные стрелы экскаваторов. Они, видимо, не прекращали работы всю ночь. Из ковшей, вскидываемых ввысь, тёмными горами падала, лилась земля. Свежая насыпь отмечала прорытое в степи, исчезающее за небосклоном русло. В другой стороне высился



ряд порталных кранов. Над опорными рамами, напоминающими огромные буквы «П», тоже ряли стрелы, обтянутые чёрными нитями тросов. Сейчас один из кранов осторожно опускал висящий в воздухе на стальных канатах большой металлический каркас. Несколько ближе к городку вставляли башни бетонных заводов-автоматов с наклонными загрузочными галлереями.

Следуя повороту дороги, Шумейко повернул туда — к кранам, к бетонным заводам. Ему почудилось, будто в картине, которую он старался разглядеть, была некая странность. Казалось, в пейзаже чего-то не хватало. Но чего же? Шумейко пытался сосредоточиться на этом неопределённом ощущении, отыскать ответ, но другое впечатление отвлекло его.

Вдоль улицы, по которой он шёл, тянулась толстая, почти в метр диаметром, стальная труба. Один из стыков, туго схваченный болтами, видимо, недавно протекал. Возле него выросла гряда песка с пологими правильными склонами, будто приглаженными морской волной. Вода уже стекла с этого курганчика. Шумейко остановился. Как он ни стремился скорее в котлован, тут он не мог прошагать мимо. Он тронул ногой отлогую сыроватую поверхность — подошва не отпечаталась в песке. Он надавил сильнее, даже ударил ботинком, однако песок был твёрд, как монолит. Потом он, металлург-калибровщик, не удержался и провёл рукой по стальной поверхности трубы. Интересно, где катали такую громаду? Наверное, на новом большом стане в Заднепровье... Шумейко уже сообразил, что перед ним трубопровод знаменитого землесосного снаряда, перекачивающего на многие километры неисчислимые количества так называемой пульпы — смешанного с водой песка. Вон идёт полукругом светлый сливающийся с блистающим небом контур насыпанного или, верней, намытого крыла плотины. Да, да, туда, опираясь на железные стойки, простираясь над степью, подходят несколько пульпопроводов. Но где же землесосные снаряды, эти необыкновенные машины или может быть даже своего рода заводы, перебрасывающие, перекачивающие грунт?

Шумейко оглянулся. Линия пульпопровода исчезала за поворотом. Куда же она ведёт? Где дымовые трубы этих землесосных заводов? Где дымки над ними? Он обвёл взглядом горизонт. И вдруг понял, чего не хватало в пейзаже. В небо не поднималось ни одной трубы, нигде не клубился дым. Лишь два или три паровоза дымили на путях, да и то слегка, будто стеснялись своей отсталости. И ещё стлалась полоса дыма над не видимой отсюда рекой, по всей вероятности, из трубы парохода.

А экскаваторы, краны, бетонные заводы, землесосы — всё это действовало без топлива, без кочегарок и котлов, всё это приводилось в движение электричеством. Величественная гидростанция, одна из тех, которым предстоит создать в стране новую электрическую технику, сама создавалась такого рода новой техникой, электрической техникой коммунизма.

Городок остался позади. Шоссе вырвалось в степь. Шумейко глубоко вдохнул свежий утренний воздух и зашагал быстрее. Он шёл, боясь потерять минуту и в то же время стараясь не упустить ни одной, ни малейшей подробности в картине, которая представляла его взгляду.

Как-то сразу придвинулись, выросли, приобрели рельефность опорные рамы порталных кранов. Пожалуй, он уже близок к цели. Наверное, там-то и вырыт котлован. Оттуда катят и катят самосвалы, гружённые песком. Порой из угадываемой выемки показывается кончик экскаваторной стрелы, прочерчивает короткую дугу и исчезает. Железная кон-

струкция, которую опускал кран, тоже уже скрылась. Лишь попрежнему натянуты державшие её ниточки канатов.

Туда, к подножью кранов, въезжает по железнодорожной колее маленький зелёный мотовоз в голове нескольких платформ, на которых выстроены конусообразные, характерных очертаний, бадьи с бетонной смесью.

Шумейко невольно ускоряет шаг. Конечно, там, именно там укладывают бетон, воздвигают массив будущей плотины. Конечно, там же и забивают шпунт. Однако новое впечатление опять заставляет его остановиться. Он и не подозревает, что его глаза, всегда широко раскрытые, сейчас стали ещё шире. Перед ним раскинулся совершенно удивительный завод или цех великой стройки. Впрочем, территория, где велись работы, поразившие прокатчика, называлась, как он вскоре узнал, не заводом и не цехом, а двором — арматурным двором. Из железных прутьев и стержней здесь монтировали огромные блоки, каркасы арматуры, необходимой в железобетонных сооружениях. Такая арматура заделывается, заливается бетоном, пронизывает во всех направлениях его толщу.

В последние годы Шумейко не раз случалось видеть, как сооружаются металлургические печи, станы, большие дома. Доводилось и работать вместе со строителями, помогать им в монтаже рельсо-балочного цеха. Он знал, что ныне постоянно применяется передовой, скоростной способ строительства, когда целые крупные блоки, например, кольца брони доменных печей, приводы станков, перекрытия зданий, собранные в стороне, затем ставятся, водружаются на место. Однако здесь его поразила масштаб, размах этого отдела арматурных заготовок, чисто заводская организованность, слаженность работы.

Виднелись выкрашенные алюминиевой краской, словно посеребрённые будки операторов. Из ближней выглянула девушка. На лице Шумейко так ясно были выражены его переживания — удивление и восторг, — что девушка не сдержала улыбки. Тотчас отведя глаза, она продолжала уверенно, умело поворачивать рычажки на щитке управления. Ей, девушке с ямочками на щеках, в лёгком голубом платке, движениям её небольших рук подчинялась на этом участке транспортировка металла, подача стержней к правильным и резальным станкам.

Всюду тут, на вязке арматурных сеток, тяжёлый физический труд был заменён механизмами. Операторы, сплошь молодёжь, управляли автоматикой со своих постов. Даже точечная электросварка производилась механически.

Шумейко медленно прошёл вдоль всего двора, следя, как возникает каркас арматуры. Вот он и готов! Краны подхватывают, поднимают этот остов, похожий на огромную длинную корзину, сплетённую из круглых полос стали, переносят к поданному сюда поезду, опускают на платформы. Вот просигналил маленький зелёный мотовоз... И каркас отправился, пошёл туда, к порталным кранам. А механизмы продолжают чистить, выпрямлять, резать, гнуть стальной кругляк, вяжут следующую арматуру.

Шумейко шагает по обочине шоссе. Чем ближе к котловану, тем тесней в степи. К бетонным заводам тянутся длинные насыпи щебня, галечника, гравия.

Шумейко много слышал об этих необыкновенных заводах-автоматах, изготовляющих бетонную смесь. Таких автоматов ещё нигде нельзя было увидеть, только здесь — на великой стройке. Подойдя к одному из них, он опять задержался.

В своё время на площадке Ново-Уралстроя он испытал гордость,

наблюдая, как действуют первые советские бетономешалки, а теперь... И вдруг он почувствовал себя солидным пэжилым человеком. Как далеки годы его молодости. Кто поверит, что он видел, как бетонную смесь развозили на тачках, как утапывали её трамбовками и даже попросту ногами... А ведь ему всего-то тридцать восемь лет. Как мчится жизнь. Минёт два или три года, и никто уже не будет удивляться тому, перед чем он сейчас остановился. Казалось бы, всё совершалось очень буднично. Ленты транспортёра по наклонному мосту подавали на вершину приземистой прямоугольной башни и опрокидывали в приёмные воронки материалы для бетонной смеси. Затем скрытые в здании механизмы-автоматы сами производили дозировку, увлажнение, перемешивание и через выпускные бункера выдавали бетон, заполняющий в считанные секунды огромную бадью или кузов грузовика-самосвала.

Шумейко подошёл к машинисту мотовоза, наблюдавшему из своего окошка, как льётся бетон в бадьи, установленные на платформах. На розовых щеках и подбородке были заметны два или три небольших пореза — похоже на то, что парень лишь учился бриться. Из-под кепки выбивался пышный, светлый, как лён, чуб, который, видимо, являлся предметом особой заботы молодого машиниста.

Поздоровавшись, Шумейко сказал:

- Ну и завод. И много на нём рабочих?
- Там? Откуда много? Завод ведь автоматический.
- Весь завод?
- Да. А чего в этом особенного?

Что ответить ему, несколько шеголеватому, славному парнишке, для которого техника коммунистического общества, это — «ничего особенного»? Шумейко промолчал. Вдруг его снова охватило нетерпение, он опять заторопился.

- Как тут поближе, поскорее пройти в котлован?
- В котлован? Садитесь, подвезу...

Шумейко быстро взобрался по железным приступкам в небольшой чистенький вагончик, где уже жужжал мотор.

— Только извините, жарко, — сказал машинист. — От мотора жарко. Ну, это уже отживает.

— Что отживает?

— Мотовозы. Скоро их отставим. Пустим тут электровозы.

Дав гудок, он плавно стронул, повёл поезд. Шумейко ещё раз внимательно оглядел его. Да, ничего особенного — обыкновенный паренёк с великой стройки.

## 22

Наконец, он у котлована, где воздвигается железобетонная плотина.

Шумейко стоит на песке, на пологом откосе котлована, возле небольшой деревянной красной будочки. Такие будочки-киоски, далеко заметные из-за своего алого цвета, опоясывают всю чашу котлована, виднеются и на гребне и на склонах. Вероятно, их здесь около сотни.

От одной будочки к другой быстрым лёгким шагом ходит-похаживает юноша-казак в светлоголубой рубашке с засученными рукавами. На голубом чётко выделяется маленький темнокрасный значок с золотыми буквами ВЛКСМ. Комсомолец заглядывает в окошки, порой отворяет дверь, прислушивается к ровному, едва уловимому гудению электромеханизмов и опять, закрыв киоск, предоставив самой себе машину, идёт дальше. Уже второй раз он приближается к Шумейко.

А тот всё смотрит и смотрит в котлован, на картину великого строительства. Вчера вечером, когда пассажиры с палубы парохода «Генерал

Доватор» вглядывались в берег, в полумглу, в далёкое ещё зарево электрических огней, им вдруг ударил в глаза, заставил зажмуриться слепящий, яркий белый свет прожекторов шагающего экскаватора. Как ни странно, но теперь, в этот свежий ранний час, когда обширнейшая выемка, куда смотрит Шумейко, наполовину ещё затенена, он опять испытывает нечто подобное, глаза поражены будто блеском, сиянием.

Позже в письме домой Шумейко именно этим словом и определил своё впечатление: сияние. Он так и написал: «сияние новой техники».

В отдалённой части котлована, напоминающего очертаниями чашу знаменитого московского стадиона «Динамо», — но увеличенную в несколько раз, — вгрызались в грунт экскаваторы-«уральцы», расширяя выемку, а в центре уже был уложен слой бетона, целый бетонный плац, такой ровный, гладкий, что хоть бегай там на роликовых коньках. Туда, на эту твёрдую гладкую поверхность, так называемую водобойную площадку, будет ниспадать скатывающаяся с плотины вода. А пока среди блистающего бетонного поля стоят два стандартных сборных домика с радиомачтами на крышах, с выбегающими в разные стороны проводами телефонной связи — два домика, где, видимо, расположен полевой штаб стройки. Близ штаба водружён большой щит-плакат, надписи на котором ясно различима: «Товарищи строители, выполним обещание, которое дали любимому Сталину. Пустим реку через плотину в сентябре этого года».

В сентябре. До срока остаётся лишь четыре месяца, а плотина.. Плотины ещё не было.

С края на край, во всю ширину котлована, переброшена покоящаяся на высоченных металлических устоях эстакада, помост, где проложены рельсовые пути для поездов и кранов. Над эстакадой вскинута те самые порталные краны с опорными рамами в виде огромных букв «П» с поднятыми ещё выше стрелами, краны, которые час назад Шумейко увидел издали, с перекрёстка в городке строителей.

Краны опускали в котлован очередной блок арматуры. Много таких блоков уже было установлено у подножья эстакады. Они уже составляли целый ярус, куда с разных сторон лились потоки бетона. Бадьи, доставляемые мотовозами, опорожнялись на эстакаде. Оттуда свисали длинные каучуковые чёрные хоботы, сквозь которые стекали, ложились в основание плотины массы бетонной смеси. Очень толстые, будто в самом деле хоботы огромных мамонтов, они слегка покачивались, отливая тёмным блеском. Но отчего же эта бетонная смесь так удивительно подвижна, так легко растекается, заполняя объёмы арматурной вязки? Кого бы порасспросить об этом?

Бетон поступал в котлован и другим путём — на семитонках-самосвалах минского автомобильного завода. Эти машины, легко распознаваемые по марке завода, по силуэту зубра на боковой крышке капота, шли и шли непрерывной чередой по отлогому спуску на дно котлована. Один за другим самосвалы останавливались у широкого ленточного транспортёра, их стальные кузова принимали наклонное положение, задний борт открывался, и весь груз бетона сползал на движущуюся широкою ленту. Разгрузившись, машина тотчас отъезжала, её место занимала следующая, за которой уже стояли, как бы переминаясь в нетерпении, другие ожидающие своей очереди самосвалы. Лента уносила бетон к арматурным сеткам, а грузовики подходили и подходили.

Но как же здесь уплотняется, трамбуется бетон? Где люди, которые железными пиками штыкуют уложенный бетон и затем уплотняют его тяжёлыми трамбовками? А что делают вон те рабочие в резиновых

сапогах, которые накладывают на гладкую поверхность бетона металлические, видимо, пустотелые, лёгкие плиты? К этим плитам тянутся чёрные шнуры электропровода. Неужели это вакуумирование бетона? Отсасывание из него влаги?

А что происходит по другую сторону эстакады, где будет водонапорная часть? Ярус арматуры загораживает тот отрезок котлована, но оттуда доносятся тяжёлые мерные удары, там всё время всплывают облачка пара. Это не шпунт ли забивают?

Шумейко поворачивается туда, прислушивается, но на глаза опять падаются те же красные будочки, похожие на киски прохладительных вод. Зачем они здесь? Каково их назначение?

Молодой казах приближается к Шумейко. Если калибровщик был поражён сиянием новой техники, как бы исходившим из этой огромной чаши, из пространства, в котором были сосредоточены буквально тысячи всяческих больших и малых механизмов, то юноша-казах заметил как бы отблеск этого сияния на лице Шумейко. Удивительно, каким восхищением светится лицо этого солидного человека в светлом полотняном костюме со сдвинутой на затылок кепкой. Да, конечно, солидного, такого плотного, основательного и всё-таки — в этом убеждают его широкие глаза, высоко вздёрнутые чуть намеченные брови, и всё его лицо, восторженное, несколько растерянное, — всё-таки ещё совсем молодого.

Подходя, казах улыбается ему и встречает ответную улыбку.

## 23

— Здравствуйте, — произносит Шумейко.

— Здравствуйте, — тотчас откликается казах.

— Скажите, можно у вас спросить...

Не дожидаясь, пока Шумейко кончит фразу, казах с готовностью быстро восклицает:

— Пожалуйста, пожалуйста...

Шумейко спрашивает о красных павильончиках. Для чего они расставлены? Для чего нужны машины, находящиеся в них?

— Пожалуйста, — повторяет казах. — Можно смотреть. Можно и воды попробовать...

— Воды? Какой воды?

Казах снова улыбается, показывая ровные, белые зубы. Ему приятно, что он, по обычаю своего народа, может хоть чем-то угостить этого обратившегося к нему человека, — по всем признакам, пришедшего сюда впервые. Отворив будочку, лёгкий, узковатый в кости юноша в голубой рубашке быстро достаёт стакан, наклоняется, поворачивает маленький кран. На земляной пол бьёт тонкая сильная струя. Хозяин передаёт гостю наполненный, прозрачный, как хрусталь, стакан.

— Спасибо, — говорит Шумейко. — Не знаю, как вас называть...

— Джабиль, — отвечает комсомолец. — Электрик Джабиль Агишев.

Он с гордостью выговаривает слово электрик. Шумейко медленными глотками пьёт. В воде, очень чистой, холодной, — какой-то странный и, пожалуй, приятный, будто железистый привкус. Такой воды Шумейко никогда ещё не пробовал. Держа стакан, он вопросительно смотрит на электрика.

— Земля! — восклицает тот. — Такой вкус даёт земля.

Затем он объясняет, что насосы непрерывно осушают котлован, сосут воду из земли. Ведь здесь же совсем рядом, в двухстах метрах от противоположного, вон там, края котлована, течёт река. Громадная русская река, которая будет повернута сюда, пропущена через плотину.

Нижняя отметка котлована на восемнадцать метров ниже уровня реки. Вода немедленно бы затопила тут всё, если бы не эти будочки, эти электронасосы.

— Смотрите, — указывает Джабиль, — внизу есть даже немного пыли. Смотрите, где едут машины. Вот как там сухо. Это моё... Моя ответственность...

Его чёрные, узкие глаза блестят. Жизнерадостность, полнота переживаний, словно переливаясь через край, находит выход в очень живой жестикуляции.

С готовностью, со знанием дела, свободно пользуясь специальными терминами, он, электрик-комсомолец, отвечает на разные вопросы Шумейко. Высота плотины? О, плотина будет выше эстакады. Будет даже выше, чем кончики стрел, на порталных кранах. Здесь река прыгнет вниз с высоты двадцати пяти метров. Вся эстакада со стальными столбами останется в теле плотины, будет замурована как арматура в массиве бетона. Хоботы, свисающие с эстакады? О, это не просто хоботы, а виброхоботы. Вы слышали об этом? Вибрирующие хоботы. При вибрировании сцепление между частицами бетонной смеси ослабевает, масса приобретает текучесть, стремится заполнить целиком все просветы арматуры. Конечно, это электрические хоботы. А как же? Он даже обижен, этот молодой электрик, таким вопросом Шумейко. Здесь всё действует от электричества. Откуда энергия? Смотрите, вон стальные мачты, провода. По этой линии мы получаем сюда ток из Днепрогэса.

— Из Днепрогэса? За тысячу километров?

— Да, — энергично подтверждает Джабиль. — Из кольца Днепрогэс — Донбасс. Это наша база.

— Чёрт возьми. Я этого не знал.

Джабиль улыбается. Восхищение Шумейко доставляет ему, электрику-казаху, рабочему великой стройки, нескрываемое удовольствие. Шумейко смотрит на его радостное смуглое лицо, на блестящие глаза. И калибровщику вдруг припоминаются первые бригады казахов-землекопов на площадке Ново-Уралстроя.

...Зима. Изморозь повисла в воздухе. Затвердевшую, схваченную стужей землю бурят, взрывают, глыбы раскалывают стальными клиньями, по которым с размаху бьют кувалдами. Траншее шинного туннеля роет бригада казахов. На многих лисьи малахайи, пёстрые восточные ватные халаты, уже кое-где порванные, истрепавшиеся, с торчащими из дыр ключьями ваты. Они тоже бьют кувалдами по стальным клиньям, бьют неумело и несильно, с трудом откалывая куски земли. Часто садятся отдыхать. Некоторые озираются на смутные в тумане стальные громады домен, извергающие синее пламя. Древний, даровитый народ с большой самобытной культурой, казахи впервые тогда приобщались к индустрии.

А этот подвижной, ловкий электрик Джабиль был в те времена ещё совсем малышом, трёхлетним или четырёхлетним мальчонкой.

Шумейко тогда видел такого. Как-то на дороге, пересекающей из конца в конец площадку Ново-Уралстроя и уходящей далеко в горы, появилась странная процессия... Медленно переступают верблюды, на них неподвижно восседают люди с монгольскими, как бы бесстрастными лицами. Впереди старики аксакалы. Никто из них не глядит по сторонам, словно не удостаивая взглядом этот мир, эту непонятную силу, вторгшуюся в пустынные горы. Гудят домашние печи, над одной полыхает вырвавшийся из печи газ; по рельсам проходят ковши, наполненные жидким чугуном; дым паровоза, стелющийся над этими ковшами, озарён огненными отблесками; в разливочном пролёте маргеновского цеха взле-

тают тысячи искр, там выпускают плавку, а у них, у кочевников, медленно проезжающих здесь на верблюдах, непроницаемые замкнутые лица.

Но на одном из верблюдов сидит позади аксакала мальчик. Он оборачивается, хочет всё рассмотреть, схватить узкими зоркими глазёнками. На минуту он замирает, перестаёт вертеться, видимо, после замечания всадника, но любопытство, тяга к этому необыкновенному, сверкающему миру, берёт верх, он снова оглядывается, поворачивает туда и сюда голову.

А может быть это и был Джабиль, нынешний электрик, комсомолец, рабочий стройки коммунизма?

Попрежнему, словно хозяин, он показывает гостю то и другое; ему хочется ещё и ещё видеть восторг на лице Шумейко.

— Слышите, — произносит Джабиль, — слышите, как там стучат?

— Да, да, всё время слышу. Что это?

— Это забивают шпунт. Стальные шпунтины... Знаете для чего они нужны?..

Но этот славный человек дальше не слушает. Он торопливо уходит. Уходит туда, откуда слышатся удары, где загоняют в землю шпунт. Джабилю обидно. Надо бы этому приезжему ещё разъяснить, что такое шпунт.

## 24

Шумейко идёт к эстакаде. Уже совсем ясно слышится резкий металлический стук. Солнце ещё не добралось до самой высокой стрелы на порталном кране, но на него уже во все глаза не взглянешь. Оно играет в стёклах, в радиаторах и в крыльях новеньких, всё время продвигающихся грузовиков. И небо, что было ещё блёклым, расцветным, когда Шумейко начал свой путь, стало ярче, синее, в нём отчётливее выступили чёрные, уходящие за горизонт мачты электропередачи с глянцевыми, поблёскивающими изоляторами.

Где он видел всё это — утреннее солнце, вереницы машин, мачты, провода? И вдруг вспоминается картина, та, что висит у него дома над его столом, — «Утро нашей Родины». Озарённый восходящим солнцем стоит с обнажённой головой, под открытым небом, спокойный величавый Сталин. А вокруг просторы родины, вокруг тот мир, который создан его гением, социалистическая могучая прекрасная страна.

Проносится мысль: сегодня он, Шумейко, видел не только вот эту степь, вот этот котлован, некую часть великой стройки, — ему выпало счастье увидеть Сталина в его величайших делах. Шумейко об этом расскажет на заводе, на собраниях, на своём политкружке. Невольно намечался план беседы, некоторые её опорные устои. Не раз на занятиях кружка он разбирал, анализировал то, что именуется «стилем в работе», стилем Сталина. Одна из характерных черт этого стиля — массированное применение средств наступления в направлении главного удара. Ещё в годы гражданской войны Сталин требовал массивного применения артиллерии, создавал массивную ударную силу советской конницы. Все знаменитые сталинские удары, которыми был разбит, уничтожен разбойничий, захвативший почти всю Европу, фашизм, опять-таки требовали небывалого по своему размаху сосредоточения, массирования артиллерии, авиации, танков. Теперь, здесь, на мирном поле, на великих мирных стройках снова проявляется та же самая черта сталинского стиля, сталинского гения — массированное применение самой новой техники.

Шумейко знает: буржуазные философы, слуги империализма, усердно доказывают, что технику движет война, что милитаризм необходим для прогресса индустрии. А вот здесь, сегодня, каждый может воочию, своими глазами узреть, какой блистательный технический прогресс достигается во имя мира, великой мирной цели.

И снова в воображении встала картина «Утро нашей Родины» — ясное, спокойное лицо вождя. Её, эту картину, можно было бы назвать и по-другому: «Полководец мира». Да, полководец мира. Никогда ещё Шумейко так ярко этого не ощущал, как сегодня здесь, на великой стройке.

Да, сегодня он повидал Сталина — Сталина, который день за днём следит за этой стройкой мира. И знает даже о шпунте.

Шумейко зашагал быстрей.

## 25

Тропинка, протоптанная по песчаному откосу, ведёт под железную эстакаду, перегораживающую котлован. Шумейко проходит под эстакадой. Остаётся ещё несколько шагов, и он, наконец, у цели. Шумейко останавливается то ли потому, что сильно забилось сердце, то ли просто от того, что отсюда, с этой возвышенной точки, открылась вся панорама забивки ШКО.

На рельсах, проложенных по дну котлована, установлены несколько металлических башенных копров. Силой пара поднимается к вершине копра стальная чушка, так называемая «баба». В какой-то момент стоящий у копра рабочий дёргает длинную верёвку, ведущую наверх к коромыслу парораспределительного крана, пар с шумом устремляется наружу, и «баба» падает, ударяя по торцу шпунтины.

Было нечто очень знакомое в этой картине. Конечно, ещё на площадке Ново-Уралстроя Шумейко видел такие же «бабы». Да что Ново-Уралстрой? Испокон века подобным же способом, даже без паровой машины, а вручную, при помощи ручного ворота, поднимающего «бабу», забиваются всякие сваи. Но здесь почему-то стальные шпунтовые сваи не идут, не поддаются мерным нескончаемым ударам «бабы».

Невесёлая картина представляется взору калибровщика. Вот он и встретился со своим детищем. В разных местах торчат загнанные на некоторую глубину в землю одинокие шпунтины, подчас искривлённые, которые уже никто не пытается забивать дальше. Их концы расплющены, разбиты многими тысячами ударов. Некоторые, тоже с размочаленными головами, выдернуты из земли и валяются там-сям, согнутые, смятые. В них не сразу признаёшь те ровные, прямые, с сизоватым отливом — только что из-под валков — полосы шпунта, которые ушли сюда на железнодорожных платформах с торжественными надписями: «Великой стройке коммунизма от металлургов «Югостали».

Нет, здесь, по эту сторону железной эстакады, глаз не встречает той красоты, того сияния, что как бы излучал главный фронт работ. Восторженное, удивлённое выражение давно сошло с лица Шумейко. Даже вздёрнутые брови опустились, сдвинулись друг к другу, образовав поперечную морщинку на выпуклом, незагоревшем лбу.

Мимо копров, мимо погнутых, брошенных свай Шумейко идёт к домику, где разместилось управление «Основстроя». И вдруг его окликает звонкий голос:

— Товарищ Шумейко!

Он оглядывается. На стеллажах, покрытых свежими досками, кое-где уже зачёрнёнными маслом, монтируется какой-то механизм. Легко пероскочив через тавровую балку, лежащую на двух стойках-опорах,



к Шумейко быстро подходит улыбающийся молодой рабочий в сапогах, в замасленной брезентовой куртке, туго стянутой ремнём. В первый момент Шумейко чудится, что перед ним, откуда ни возьмись, вальцовщик Боровик... Тот вот так же легко перескакивал через стальные перила, ограждающие прокатное поле. В довершение сходства на лбу этого парня косою тёмный штришок смазки. Или царапина? Да, да царапина. Он выше, тоньше станом, чем плотный, коренастый Боровик. Кто же это?

— Товарищ Шумейко, не узнаете? Ступина не узнаете?

Шумейко неловко признаться, но он не помнит, кто такой Ступин, этот паренёк, что так открыто улыбается ему.

— Ступин, Василий Ступин, — повторяет рабочий, — мы же восстанавливали «Югосталь»... Забывали сваи под рельсопрокатный стан. Я был у вас в политкружке. И писал заметки. Ну «Боёк». Помните, «Боёк»?

— Боёк? — восклицает Шумейко. — Так бы сразу и сказал.

Он мгновенно вспоминает стесняющегося нескладного подростка, в ту пору только ещё выпущенного из ремесленного училища, масленщика на компрессорах, который приносил ему, редактору стенной газеты, заметки, подписанные «Боёк».

Они садятся на свежие доски — обрешётку стеллажа. Слесари ведут сборку, кто-то залез под обрешётку, лёг там, словно шофёр на спину, из-под стеллажа торчат лишь большие сапоги. Ступин кричит туда сквозь доски:

— Филипп Филиппович, встретил знакомого... Позвольте перекурку...

Получив разрешение, Ступин не закуривает, — он не из курильщиков, хотя отдых всё равно называет перекуркой.

Присев, Шумейко на минуту чувствует усталость. Шутка ли такой конец: Управление — Котлован. Столько необычайных впечатлений, одно за другим...

А здесь, по эту сторону эстакады... Здесь он нахмурился. Теперь, когда он с откоса оглядел мрачную, — да, да, этого нечего скрывать, — печальную панораму забивки шпунта, ему особенно приятна эта неожиданная-негаданная встреча редактора с рабкором, с Васей Ступиным, «Бойком», который знает, помнит «Югосталь», рельсопрокатку, стенгазету «Рельсы коммунизма».

— Боёк, Боёк, — говорит Шумейко. — Вот здорово. Как же ты сюда попал?

— А с «Основстроем». Я, Андрей Михайлович, теперь помощником механика.

— Ого! Скажи-ка мне, помощник механика, как тут со шпунтом? Знаешь, где его катали?

Конечно, Ступин знает. На каждой шпунтине оттиснуто слово «Югосталь». Шумейко рассказывает Бойку, как изготавливали этот профиль, как уже торжествовали, но... В чём же, Вася, тут загвоздка? Думал об этом? Конечно, Боёк думал. Ещё бы не думать.

— Ну выкладывай, выкладывай, Боёк. Глаз у тебя острый, рабковский, — говорит Шумейко. — Наверное и здесь строчишь заметки?

— Здесь? Мы здесь ещё не начали выпускать газету... Только неделя, как прибыли.

— Плохо. Редактор, видно, спит.

— Где тут разоспаться? Монтаж, молота новые подходят... — И Ступин смущённо добавляет. — Редактор-то я...

— Ты? Почитаем, поглядим твою газету...

— Андрей Михайлович, а если бы мы первый номер вместе?.. Поможете?

— Своему рабкору? Конечно, помогу...

— Меня ведь недавно, только перед отъездом из Москвы выбрали редактором.

— Ты теперь москвич?

— Под новый Московский университет основание подвели... Там был лозунг: «Мы строим, мы и учиться будем в нём».

— Обязательно учись. Какой же ты наметил факультет?

— Ещё окончательно не знаю. — Ступин вдруг смутился. — Думаю, на литературный... Как, товарищ Шумейко, ваше мнение?

— Чего застенялся? Способности у тебя есть. Очень хорошо.

— А мне, Андрей Михайлович, иногда приходит мысль: может быть это нехорошо. Увлекаюсь механикой, электрикой, дизелями, моторами, а хочу на литературный... Может, надо выбрать что-нибудь одно из двух: или технику, или...

Ступин не понимает, почему Шумейко вдруг залился смехом.

— Боёк, Боёк... Мы с тобой, кажется, очень похожи. И думки одинаковые. Признавайся, повесть пишешь? Об «Основстрой»?

— Только, товарищ Шумейко, никому не говорите.. «Основстрой» у меня назван совершенно по-другому «Фундаментстрой». А? Как вам кажется?

— Хорошо. Очень хорошо. Отлично... Только, вот, Боёк, загвоздка...

Они сидят на свежих досках, слегка пахнущих сосной. Ступин внимательно доверчиво смотрит на Шумейко. Тот показывает на торчащие шпунтины.

— Только вот, Боёк, загвоздка... Шпунт-то у нас с тобой не идёт... Скажи, в чём дело?

— Так сразу не скажешь...

— Значит... Э, неважные дела, Боёк...

— Ну, товарищ Шумейко... Да, сейчас сюда везут молота со всего Союза. Молота новой конструкции, пневматические, дизельные, электрические...

Далее Ступин говорит, что некоторые молота уже смонтированы, пущены в работу в другом месте, на шлюзах, где по проекту тоже следует быть шпунтовой стенке. Но успеха ещё нет. Мучают перекосы, заклинивания в замках.

Из-под обрешётки выбирается тот, кого Ступин называл Филиппом Филипповичем. Шумейко с удивлением видит чернобородого внедренца с сибирского завода, Карабаса-Барабаса. Сибиряк улыбается, узнав Шумейко. Сквозь заросль усов поблёскивают стальные зубы.

— Скоро повстречались, — говорит он. — Будем знакомы. Мнухин... Филипп Филиппович Мнухин.

Шумейко отрекомендовывается.

— Поздненько выбрались, — произносит Мнухин.

Он не вполне ясно произносит некоторые буквы, пришепётывает. Может быть, Шумейко ослышался?

— Поздненько? А вы когда же сюда явились?

— С парохода. Вместе с молоточком. — Мнухин употребляет уменьшительную форму, хотя его молоточек занимает несколько громадных ящиков, стоящих на песке, частью уже раскрытых. — И уже монтируем. Хотите поглядеть?

С этого часа для Шумейко слились день и ночь.

День и ночь, в три смены, велись работы на участке «Основстрой», как, впрочем и повсюду, во всех пунктах стройки. В котловане не знали темноты. Не знали даже сумерек. Чуть меркло небо, как осветители включали тысячи фонарей, прожекторов, ламп дневного света.

Шумейко вошёл в жизнь «Основстрой». Даже в гостинице он жил по соседству с несколькими инженерами и техниками основстроевцами, тоже обитавшими там. Как-то само собой случилось, что вместе уезжали в котлован, вместе возвращались на отдых.

В вечерний час Шумейко прилёт на койку. Смыкаются, тяжелеют веки. Сквозь дрему он слышит, как дежурная в коридоре отвечает кому-то по телефону:

— Товарища Сороковых? Кажется, в номере...

Гм, звонок товарищу Сороковых. Это интересно. Кому, зачем понадобился главный инженер «Основстрой»? Вот он идёт по коридору, полнеющий пятидесятилетний мужчина, Михаил Афанасьевич Сороковых. Он, как и Шумейко, недавно прикорнул. Наверное, так и вышел из номера в просторных пижамных штанах и в рубашке-сетке с короткими рукавами. Его потревожили, но можно поручиться, что ему не изменит хорошее настроение и неутомимость.

— Слушаю, — раздаётся его зычный голос. — Да, да, он самый... Что? Поданы на пути разгрузки? Сколько вагонов? Шикарно! А шеститонная прикатила? Я спрашиваю, шеститонная баба прибыла?

Получив утвердительный ответ, Сороковых довольно крикает и хлопывает себя, как в бане, по голому полному бицепсу. Задав ещё несколько вопросов, он гулко кричит в трубку:

— Выгружайте и везите сразу же на место. Сегодня же начнём монтировать. Сейчас я к вам выезжаю...

Его голос слышен во всех комнатах на этаже. Машина стоит под окном. Шумейко вскакивает. Какой там отдых!

— Михаил Афанасьевич, я с вами...

— Слышали? Завтра ахнем шеститонной! Прошу, прошу...

Несколько минут спустя они уже в машине. Сороковых сидит на переднем сидении, рядом с шофёром, несколько откинувшись назад. Он переделался в тёмную рубашку с галстуком, в рабочий коричневый костюм, в котором не постесняется забраться на копёр, на кран или под стеллажи сборки. Кепка лежит на коленях. Ветер овеивает вьющиеся седоватые пряди. Сороковых с удовольствием затягивается толстой папиросой.

Он работает в «Основстрое» давно, ещё со времён первой пятилетки, с самого учреждения этого треста, созданного, как было сказано в постановлении правительства, для сооружения искусственных оснований и сложных фундаментов. Сороковых полюбил кочевую жизнь строителя, вечный напор, темп пятилеток, находил вкус в решении трудных технических задач, имел организаторскую жилку, волю, неистощимый запас сил. Несколько лет назад он был назначен главным инженером треста. Теперь, по его мнению, «Основстрой» — образцовая организация. Имеются отстоявшиеся, проверенные на многих стройках приёмы работы. Сконструированы копры «Основстрой», паровые бабы «Основстрой». Ещё не было случая, чтобы «Основстрою» не удалось заколотить сваи.

Обернувшись к Шумейко, он произносит, — далеко не впервые, — эту фразу. Всякий раз, когда Сороковых видит волнение, встревоженность в широких глазах Шумейко, ему хочется поделиться своим постоянно чудесным настроением. Разве не бывало, что дело не ладилось?

Он, главный инженер, не сидел у себя в Москве, выезжал на место с бригадой закопёрщиков, поддавал жару, темпа, все впрягались и вытаскивали. Пусть товарищ калибровщик перестанет нервничать.

— Хотя ШКО это профилёк, доложу я вам... Нелёгкий профилёк... Да не переживайте же, голубчик... Шеститонная приехала. К утру смонтируем и стукнем. Нет такой сваи, чтобы не поддалась шеститонной бабе. Полезет, полезет, как миленькая, в грунт. Знаете, как говорят, пищит, а лезет.

И Сороковых крякнул, будто хватил добрую чарку водки.

## 27

Копёр шеститонной паровой бабы смонтирован, установлен на рельсы. Подъёмный трос, пропущенный через проушину бабы, натягивается, влечёт её вместе с резиновым шлангом паропровода к вершине копра. Верхолазы укрепляют направляющие стрелы, приводят бабу в положение изготовления для удара.

Вовсю светит полуденное майское солнце. С эстакады попрежнему стекают через виброхоботы массы жидкого бетона, заполняющего ячейки арматуры. Всё глубже погружаются в бетон железные устои эстакады. Попрежнему стрелы порталных кранов спускают в котлован новые и новые каркасы, сплетённые из мелкосортных круглых профилей.

А внизу, на песке, на участке «Основстройка», стальной крюк подтаскивает обвязанную тросами шпунтину и медленно поднимает её. Вскоре эта длинная, в двадцать пять метров, корытообразная, уже чуть порывевшая полоса металла колышется, покачивается в воздухе. Её заводят в замок уже забитой, торчащей на несколько метров, соседней шпунтины. Команды подаёт Ануфриев, тот, кто ещё на пароходе отрекомендовался заводилой на копровых работах. Разумеется, он уже не в том благостном, умиротворённом состоянии, каким был за игрой в домино, глаза внимательны, чётко каждый жест, обращённый к машинисту подъёмного крана или к рабочим копра.

— Вира... Майна... Майна... — выкрикивает он.

Наконец, шпунтина на месте, вошла своим замком в замок соседней. Оба замка тщательно вычищены, обильно смазаны, поднятая шпунтина, сомкнутая с забитой, легко скользит вниз под действием собственного веса и упирается в песок. Теперь надо начинать забивку.

Шумейко стоит возле этой пары шпунтин, приглядывается, наблюдает. Замок погружённой в грунт полосы внизу, то есть ниже уровня земли, заполнен, плотно засорен песком. В этом-то главная трудность забивки. Надо не только вогнать на заданную глубину шпунтину саму по себе, но и вытолкнуть, выбить песок, закрывший узкий, очень точно прокатанный просвет замка. Песок там застревает, царапает, заедает, заклинивает сталь. Может быть, калибровщику следовало бы сделать замки попросторнее? Нет, на это нельзя пойти. Само назначение шпунта, борьба с фильтрацией, с просачиванием воды, требует высокой точности в сплотке стальной стены.

Кран, установивший шпунтину, отодвигается, уступая место копру.

Ануфриев издаёт клич закопёрщика, приступающего к бойке:

— Эй, копра, на дело!

Попыхивая паром, копёр подвигается к шпунтине. Ануфриев проводит мелом на тёмной поверхности металла резкую белую черту. Глядя на такую метку, легче следить, как погружается шпунтина. Затем закопёрщик взбирается по железной лестнице на одну из верхних площадок копра и тем же куском мела выводит на свае её номер — 163.

У Шумейко, внимательно следящего за всем, ёкает сердце: «Чёрт возьми, сколько штук уже испорчено». Рабочие копра заняли свои места. Двое держат длинные верёвки, тянущиеся к бабе, к коромыслу парораспределительного крана.

Ещё раз всё оглядев, Ануфриев на своей площадке взмахивает рукой, словно командир-артиллерист, подающий команду «огонь», и выкрикивает:

— Давай.

Рабочий дёргает верёвку, наверху над бабой вылетает белый, словно ватный, клубок пара, и баба тотчас низвергается, наносит первый удар всей своей шеститонной массой. Видно, как дрогнула свая. Белая отметка подалась к земле.

— Пошла, пошла, — кричит Ануфриев.

Рабочие поочередно дёргают верёвки, баба то поднимается под давлением пара, то при его выхлопе срывается, обрушиваясь на торец шпунтины. Шумейко притрагивается к свае. Он, калибровщик, как бы ощущает напряжение металла от этих ударов. ШКО выдерживает эти удары. Сотрясаясь, он толчками уходит и уходит в землю. Профиль специально сделан корытообразным, чтобы не гнуться, не сминаться при таких напряжениях, и толщина рассчитана на удары самой тяжёлой бабы. И всё-таки Шумейко чувствует всем своим существом, как трудно металлу... А удары мерно падают...

Проходит много часов. Вместо дневного светила зажглись сотни электрических солнц. Уже другой закопёрщик ведёт бойку. А свая всё та же — № 163. Она ушла на добрый десяток метров в землю. Но по меловой отметке всем видно, что глубже шпунтина не идёт. Шеститонная баба нескончаемо поднимается и падает, но шпунт упёрся. Ещё, ещё сыплются удары... И вдруг металлическая полоса начинает гибаться. Это пока едва заметно, но забивку тотчас прекращают.

Шумейко словно потемнел. Нельзя сказать, что он осунулся, щёки всё равно оставались круглыми, но на лбу, над переносицей, морщинка, и брови хмуρο сдвинулись.

Что же делать? Ещё усиливать этот профиль? Увеличивать его жёсткость? Сделать его более тяжёлым, более грубым? Нет, чутьё калибровщика восстаёт против этого... Ведь затрачено столько усилий, чтобы прокатать тонкое перо, шпору полосы, выдать из чистовой клетки лёгкий прочный замок. Теперь отказаться от всего этого? Всё отяжелить?

Шумейко с неприязнью смотрит на грубую стальную гирю, бабу, которая требует более грубого шпунта.

— Давай, давай, ребята, выправлять, — кричит закопёрщик.

— Давай, давай! — раздаётся зычный голос Сороковых.

Рабочие обвязывают сваю стальными канатами, оттяжками и с помощью лебёдок выправляют её. И опять бухают, бухают удары. И снова день... Снова яркое майское солнце. Опять у копра командует Ануфриев. Выситя та же шпунтина № 163. С каждым выхлопом пара падает, падает шеститонная баба. При каждом ударе баба упруго отскакивает — это знак, что свая упёрлась, не идёт глубже. Но закопёрщик продолжает упорно бить. Вдруг лопается одна оттяжка, следом обрывается другая, шпунтина снова слегка клонится.

Приходится опять останавливать забивку. Главный инженер «Основстроя» Михаил Афанасьевич Сороковых досадливо побряхтывает. К нему подходит Ануфриев.

— Не идёт, Михаил Афанасьевич. Отказывается.

— Вижу, голубок... Вижу — пшщит, а... А не лезет...

— Что же будем делать, Михаил Афанасьевич? Может, ещё вдарить?..

— Погоди... Надо нам с тобой подумать. Поработать головой. Пока кончай...

Ануфриев возвращается к копру, подаёт команду, древнюю команду закопёрщиков, кончающих бойку:

— Копра, с дела!

Лебёдка оттаскивает копёр.

Из песка вздымается, торчит ещё одна недобитая шпунтина.

Неподалёку стоят Шумейко и Боёк.

— Скоро, наверное, выбросим все эти бабы, — говорит Ступин.

Шумейко усмехается.

— В скрап? На переплавку?

— А что? Увидите, так оно и сбудется... Уж ежели эта бабища не помогла, то... Слово-то какое... Вдруг на такой стройке... баба... Вы, товарищ Шумейко, ведь уже посмотрели стройку... Видели технику?

— Да... Там, за эстакадой, уже век электричества, а тут...

— Век пара, — подхватывает Ступин. — Истинная правда. В этом, по-моему, и причина. Профиль новый, тонкая вещь...

— Тонкая? — Шумейко не удерживается, чтобы не переспросить.

— Очень... Всё в аккурат. Размерчики тютельница в тютельную. А забиваем... Забиваем бабой... Вот и всё...

## 28

— Вася, дай-ка плоскогубцы, — просит Мнухин.

Бригада основстроевцев под началом молчаливого Мнухина собирает последние узлы пневматического молота двойного действия Краснощёковского завода. Тут помогает и Шумейко. Он уверяет, что совсем забыл прокатное дело. Какой он там калибровщик! Он «основстроевец», механик, закопёрщик. Нет, без всяких шуток, не может же он бездельничать, ходить и наблюдать, когда все работают.

— Не зевай, Боёк... Берись-ка за боёк, — говорит он.

— Андрей Михайлович, вы всё-таки псевдоним не разглашайте.

— Ты думаешь, народ не догадывался, кто такой у нас «Боёк»? Государственная тайна? Ладно, псевдоним твой кончился. Ты теперь редактор. Подписываешься полностью: ответственный редактор Ступин.

Мнухин присоединяет шланг сжатого воздуха. Потом вытирает тряпками или, как говорят, концами, замасленные большие руки. Приближается долгожданная минута — испытание собранного молота.

— Вася, открывай воздух, — негромко велит Мнухин.

Поворот рукояти — и молот застучал. Часто, часто застучал вхолостую. Мнухин послушал, остановил, что-то отрегулировал, опять пустил, опять послушал. Какое у него хорошее, можно сказать, вдохновенное лицо. И дёрнуло же остряка Шумейко назвать его Карабасом-Барабасом. Мнухин что-то произносит, но в трескотне молота нельзя расслышать ни одного слова. Филипп Филиппович опять выключает воздух. Молот затихает, теперь слышен пришепётывающий голос:

— Пошли, испробуем, ребята... Благо ночь, начальников поменьше...

Через некоторое время молот подвешен к длинной стреле башенного крана. Поворачиваясь, описывая огромную дугу, стрела несёт его в воздухе к линии будущего шпунтового заслона. Поглядывая на молот, бригада идёт вдоль эстакады. Не смолкает мерный металлический стук баб. Шеститонная отставлена, но другие продолжают действовать, упорно колотить. Впереди всех шагает Вася Ступин. Ему не терпится испробовать в деле молот, необычный новый молот, который он собственными

руками собирал. В электрическом свете чернеет недобитая шпунтина № 163 с оборванными тросами. Ступин шагает мимо.

Но Мнухин зовёт:

— Вася, стой...

Он не может крикнуть, но десяток голосов дружно подхватывают:

— Вася, сюда. Вернись.

Мнухин оглядывает торчащую, поднимающуюся почти до помоста эстакады шпунтину № 163, потом подмигивает бригаде.

— Ребята, не добить ли эту?

Кто-то высказывает сомнение:

— Чего порченное трогать?

Но Ступин уже загорелся.

— Добьём, Филипп Филиппович. Вот это будет ловко... Сейчас её подтянем...

Боёк — уже преданный сторонник «внедренца» из Сибири, рьяный патриот краснощёковского молота. Покажем этим бабам, чёрт их поberi! Он бежит в кладовую.

Вскоре свая № 163 обвязана новыми тросами. Работают лебёдки. Натягиваются тросы. Шпунтина вновь поставлена строго вертикально. Ступин проверяет по отвесу прямизну.

— Хорош! — кричит он.

Филипп Филиппович ещё раз сам всё оглядывает. Мотнув головой в знак одобрения, он отдаёт новые распоряжения своей молодой ватаге. Надо очень точно установить молот на шпунтине, закрепить его там. По рельсам подъезжает кран. Мнухин взбирается в кабину машиниста. Вася с товарищами крепят молот к свае. Шумейко снова придёт только смотреть. Стоя на песке, он глядит вверх. Этот молот будет работать без копра. Он, как и другие молоты двойного действия, не обрушивается на сваю силой своего веса, а наносит специальным бойком частые лёгкие удары. И кроме того, краснощёковский молот умеет и кое-что ещё.

Вот он застучал... Звук очень мягкий, вероятно, молот опять пока пущен вхолостую. Но что это? Свая стала подёргиваться, чуть-чуть пошла наверх. Ого, какой молот! Действительно чудо-молоточек! Тянет заклинившуюся сваю на себя. Теперь звук переменялся, стал жёстче, это уже ударяет сталь о сталь. И вдруг шпунтина, которая не поддавалась страшным ударам шеститонной бабы, медленно поползла вниз. Заметно, как близится к земле белая отметина и цифра 163.

Шумейко смотрит на часы. Двадцать минут третьего. Прожекторы и лампы, размещённые в сотне или, может быть, в тысяче точек на эстакаде, на кранах, на копрах, на фонарных столбах дают ровное, словно дневное, без резких теней, освещение. Да, хорошо испытывать новый механизм в такой спокойный глухой час. Ну и удивится же Сороковых, когда утром увидит, что номер 163... Позвольте, а кто же это идёт к шпунтине? Кто гаркает на весь котлован:

— Андрею Михайловичу моё...

Да, да, это он, полнеющий, неутомимый, жизнерадостный Михаил Афанасьевич Сороковых. А вот съезжает с откоса газик, подкатывает сюда. Из машины выходит начальник стройки Свешников. Уже собираются? Уже знают об испытании?

Наступает утро. Молот всё работает. Уже забыты номера 163 и 164. Стоит, медленно погружаясь, шпунтина 165.

Шумейко уже нечем помочь бригаде сборщиков, он больше не зако-

пёрщик, не механик. Он часто присаживается на доски или на лежащие шпунты и сидит так, уставившись на своё детище. Его новый плащ, в котором он чувствовал себя на пароходе почти щёголем, сейчас измят, запачкан ржавчиной, песком. Шумейко этого не замечает. Он поглощён иным: у него на глазах забиты сваи ШКО 163, 164, идёт в грунт 165. Чудесное утро. Вася Ступин уже сдал смену, ушёл переодеваться и сейчас подходит к фронту забивки в пиджаке, в поблёскивающих чёрных ботинках. Подмышкой толстая книга. На корешке отгиснуто «М. Горький. В людях». Много читать в эти дни не приходится, но у Бойка правило: хоть страницу в день. Можно будет почитать в автобусе... Впрочем, надо ещё успеть по дороге домой заглянуть, будто невзначай, на арматурный двор, где работает некая девушка. Можно безустали глядеть, как движениям её небольших рук подчиняется транспортировка металла, подача стержней к плавильным и резальным станкам. Как удачно получилось, что эту девушку тоже направили на великую стройку с площадки на Ленинских горах в Москве, стройплощадки нового Московского университета. Вечером надо будет предпринять более серьёзное ознакомление с арматурным делом. А пока... У Бойка множество всяких планов... Прежде всего, надо бы выспаться после ночной смены... Затем... Но он не уходит, смотрит и смотрит, как работает краснощёковский молот.

И вдруг... Молот звучит по-иному. Его стрекот, звук частых ударов металла о металл сразу стал резче. Все настораживаются. Сколько ни гляди, белая черта застыла на месте. Шпунтина уже не погружается. Молот продолжает бить. Напрасно...

По знаку Мнухина выключают воздух. Он сам, чернобородый внедренец, поднявшись к молоту, переводит его на обратный ход. Молот опять пущен, свая дёргается, двигается вверх... Молот её снова забивает... Нет, она упёрлась, не идёт в грунт.

Всем понятным жестом Мнухин прекращает забивку. Молот смолкает, внедренец спускается с площадки крана. Шумейко идёт ему навстречу.

— Филипп Филиппович, это... Это из-за чего?

Ему хочется спросить, не подвёл ли профиль, не обнаружили ли сейчас какие-то пороки ШКО, но эти слова застревают в горле. Внедренец понимает калибровщика.

— Нет, дело не за вами, — говорит Мнухин. — Молот немного соскользнул от сотрясения и... И внецентренный удар... И перекос шпунтины.

— И что же делать? Нельзя поправить?

— Не поправишь... Надо выдёргивать.

Ступин стоит, вытянув шею, прислушиваясь к тихому пришепётывающему голосу. Как же это так? Нельзя поправить...

К Мнухину подходят Свешников и Сороковых. Начальник строительства расспрашивает сибиряка. Тот повторяет объяснение. Свешников выслушивает, задаёт несколько вопросов, потом отпускает внедренца.

— Теперь дождём, — восклицает Сороковых, — теперь пойдёт... В основном, Иван Аникеевич, задача решена...

— Вы думаете? — произносит Свешников.

Маленькими умными глазами он пристально смотрит на главного инженера «Основстроя». Свешникову ясно, что этот энергичный весёлый, громогласный инженер отстал, закоснел в своих навыках, приёмах, сжился с устаревшей техникой... Закоснел... Нет, пожалуй, лишь начал коснеть... В нём ещё много живого. Он ещё, пожалуй, восприимчив к толчкам и урокам жизни. Ещё сможет, пожалуй, догнать.



— Вы думаете? — произносит Свешников. — Так и будем работать с перекосами, с выдёргиваниями?

— Дожмём, — говорит Сороковых. — И ведь... Ведь никаких более совершенных молотов у нас с вами, Иван Аникеевич, нет... И ждать нечего...

— Вот как?.. От профессора Крайнюкова телеграммы не было?

— Нет, Иван Аникеевич... Ничего не было.

— Ну, будет... И сам он скоро у нас будет...

## 30

Шумейко привык держать слово. Он каждый день пишет своему семейству. В его блокноте, из которого он выдернул первые листки ещё на пароходе, почти не осталось чистых страниц. Только вот беда — написал-то он много, но как-то так случилось, что несколько дней ничего не отсылал. Не успевал дописать, оставлял незаконченным.

Сегодня, вернувшись в гостиницу из котлована после первого опробования краснощёкового молота, Шумейко приводит в порядок свои дела. Проглядев блокнот, он решает: пусть так и катят домой эти отрывочные записи, вёсти со стройки коммунизма. Вместе с тем у него приготовлен сюрприз сыновьям: плотный конверт большого формата с отпечатанным в типографии штампом стройки. Это он выпросил для них у Елизаветы Николаевны, секретаря Свешникова. Такой конверт особенно приятно вложить в коробку, что стоит в книжном шкафу на полке, где красуется ярлычок: «Путешествия и открытия».

.....

«Мальчики, были бы вы со мной, — таковы первые слова одного из незаконченных писем, — сколько бы мог я вам показать. Вчера я взобрался на крышу бетонного завода и пожалел, что со мной нет нашего живописца Серёжи. Приезжий художник рисует с крыши панораму стройки. Невозможно рисовать, жалуется он. Это так же трудно, как набросать портрет ребёнка. Даже самые крупные портретисты редко берутся рисовать детей, слишком всё в них переменчиво, всё подвижно, не ухватишь глазом. Трудно рисовать эти места. Всё тут меняется. Вчера стоял сарай, художник постарался изобразить, как блестит его просмолённая толевая крыша, а сегодня нет ни крыши, ни сарая, бульдозеры тут прокладывают дорогу, экскаваторы-канавокопатели роют кювет. А завтра и их тут уже не будет... Как же быть художнику? Что же рисовать?

С каждым днём вырастает и плотина... А город? Временный городок строителей отсюда скоро уберут, а постоянный город вырастает на холмах, которые не зальёт вода. Там тоже всё в движении. Сегодня фундамент, послезавтра коробка из блоков, а ещё через несколько дней — чудесное здание... А река, которой мы любовались с крыши... В реку опрокидывают с баржей щебень, булыжники»...

.....

А вот это письмо Шумейко начал писать в котловане.

«...Ребята, скоро здесь будет вода, огромное, шириной до тридцати километров, зеркало воды. Сейчас это трудно представить. Ухают, стучат паровые бабы, лягает, звенит железо. Всюду песок. От проходящих машин поднимается пыль... Иногда совсем забываешь о том, как изменится всё здесь к следующей весне. А потом взглянешь вокруг, на небо, на солнце и вспомнишь: здесь засверкает необозримая водная гладь. И тишина... Вернее, однотонный ровный шум водопада. Но этот гул не будет отпугивать птиц... Над водой, над нашим новым степным морем

полетят белые чайки. Пойдут пароходы... Они ждут своих флотоводцев... Васенька, ты обязательно побываешь в этих просторах»...

«Нина! всю жизнь мы с тобой делаем металл, но мы не думали, не представляли, что он таким потоком, такой массой может пойти в одно место, на одну стройку.

Краны, эстакады, мотовозы, экскаваторы, копры, арматурные каркасы, землесосные снаряды, трубы пульпопроводов — всё это наше, всё это металл. Тысячи, десятки тысяч тонн металла. Прибавь ещё к этому наш шпунт. И не забудь про автомашины. Здесь они ходят нескончаемыми вереницами. Куда ни взглянешь — всюду грузовики, стальные самосвалы. А помнишь, как все мы следили за восстановлением «Запорожстали»? Помнишь эти заголовки во всех газетах: «Борьба за тонкий стальной лист». Вот он где теперь, автомобильный лист «Запорожстали» — здесь, на великой стройке коммунизма, в тысячах машин Гидростроя.

Мы с тобой должны гордиться своей профессией металлургов. Мы — счастливые металлурги. Выпускаем металл не для войны, не для разрушения, видим, что он идёт на самые великие мирные дела».

«Знаете, мои хорошие, великая стройка — это огромная лаборатория нового. Очень многое из того, что будет здесь, — будет впервые в мире.

Когда-нибудь мы с мамой привезём сюда своих мальчишек. Как всякий отец, я, конечно, добавлю: если они будут хорошими мальчиками, — и мы увидим рыбоход. Рыбоход заделывают в плотину, рыба пойдёт по нему в водохранилище.

Плотина будет очень красивой. Словно сложенной из цельных обтёсанных огромных камней. Уже здесь построен специальный завод облицовочных плит — каждая плита, как большущий камень.

На будущих берегах водохранилища уже высаживают рощи. Мы с вами разложим костёр на берегу, и пламя заиграет в воде. Настоящий пионерский костёр, хотя среди нас есть только один пионер Вася. Но ведь все остальные члены нашего семейства тоже были когда-то пионерами»...

«Можно без конца стоять на эстакаде и любоваться укладкой бетона в котловане.

Я вам уже писал про виброхоботы... Это изумительная штука: вибрация, виброметоды бетонных работ. По залитому свежим бетоном пространству ходят девушки в резиновых сапогах, держа в руках небольшие стержни. Каждая из девушек опускает на минуту, нет, не на минуту, а на четверть минуты, палочку в бетон, вынимает и снова опускает в другом месте, рядом. Эти палочки — электровибраторы. Они вибрируют в бетоне, делают его жидким, текучим, и он сам собой уплотняется, заполняет все пустоты...

У нас на забивке шпунта тоже, наверное, будет испробован способ вибрации, вибропогружения. Ждём из Москвы конструктора виброаппарата. Обязательно, мои родные, вам всё подробно опишу. Ведь этого ещё никогда на свете не бывало»...

Боёк свободен. Ещё утром он как бы невзначай прошёлся по арматурному двору. Теперь в час, когда кончается дневная смена, у него опять пробудился живейший интерес к делу вязки арматурных каркасов.

Он приделся, волосы после душа почти высохли, их удалось причесать почти ровнёхонько на пробор. Он вышел бы без кепки, но надо хоть малость прикрыть почерневшую царاپину на лбу. Стараясь не испортить складку на брюках, он усаживается на штабель стальных стержней арматурного двора.

Когда-то, лет двадцать назад, на бетонной баллюстраде у въезда в сталеплавильный цех Ново-Уральского завода сидел другой юноша — в сиреновой майке — и с интересом поглядывал в печной пролёт... А ещё через двадцать лет... Наверное, и тогда будут среди девушек работники по спектральному анализу, а также и операторы, управляющие транспортёркой стальных стержней к правильным и резальным станкам.

Кажется, оператор уже заметил товарища Ступина. Из будочки, крытой алюминиевой краской, выглянула физиономия с ямочками на щеках, в лёгком голубом платке, выглянула, увидела помощника механика из бригады «Основстроя», опустила глаза, скрылась. Нет, нет, не думайте, что она его ждала. Собственно говоря, если хотите знать, она его даже не заметила. Просто, надо было посмотреть, как идёт транспортёрка. Лево́й рукой она поворачивает чёрный рычажок, ногой нажимает педаль: на ленту транспортёра ложатся связки прутков, придвинутые автоматическими стальными пальцами. Хорошо... Ещё поворот рычажка... Так... И больше ничего на свете её не занимает.

«Ладно,— думает Ступин.— Не заметила? А нам это и не требуется».

Он склоняется над книгой. Максим Горький. «В людях». Уже несколько дней в свободные часы он увлечённо читает её, но сегодня что-то мешает ему. Хочешь не хочешь, а перекошенная шпунтина, которую надо выдёргивать, так и стоит перед глазами. Как Мнухин сказал? Внецентренный удар? А ведь вначале все так радовались успеху... Кругом всё время раздаётся негромкий лязг железа. Ступин поднимает голову и невольно следит за процессом вязки арматуры. Следит далеко не в первый раз. Любопытное дело. Целые огромные каркасы собираются, скрепляются тут, в стороне от плотины, и уже готовые отправляются туда, на эстакаду. Интересно, кто придумал такой способ? Раньше арматуру всегда завозили на место бетонных работ в виде отдельных прутков, стержней. А теперь вон какие блоки! Два крана поднимают громадный остов, для которого подано несколько платформ.

Раздаётся звонок. Этот трезвон — знак окончания смены. На часах ровно пять. Надя сдаёт сменщице пост, быстро — в глубине будки — достаёт зеркальце, поправляет волосы, косынку. Теперь немного, совсем немного пудры. Вы думаете, она для кого-то прихорашивается? Нет, ведь она же никого не видела.

Спустившись с лесенки, она направляется к площадке, откуда пойдут в городок машины. Десяток шагов, другой... Быстренько, быстренько. Сейчас он нагонит, покраснеет, воскликнет: «Вот так повстречались». Но сзади не слышно шагов. Девушка в голубой косынке идёт медленней, затем останавливается, затем слегка поворачивает голову назад.

Васи Ступина нет... Что такое? Где же он? Ах да, ведь она забыла в будке что-то очень важное... Конечно, конечно, там, кажется, осталась вчерашняя газета. Надя решительно меняет направление и идёт обратно.

Боёк не видит её. Он давно уже вскочил со штабеля и воззрился на поднятый краном каркас. Надя не может сдержать улыбки. Вот так же недавно её насмешил Шумейко, впервые глядевший на арматурный двор. Но у Васи сейчас совсем глупое лицо. Кепка набекрень, сбоку на лбу наискось пролегла заживающая тёмная царापина. Книга забыта на пачке стержней. Надя не знает, что перед ней изобретатель, озарённый

вдохновением, догадкой. Тысячи лет изобретатели в подобные минуты восклицают: эврика, нашёл, сообразил.

Надя подходит:

— Вася, ты? Вот не ожидала...

— Надя. Надька... Схватил... Нашёл, ты понимаешь?

— Нет, ничего не понимаю.

— Схватил... Пойдём.

— Куда?

— В котлован... Пойдёшь со мной? Мы сделаем... Мы...

— Мы?

— Да... Мы выставим стенку... Будем забивать стенкой... Соображаешь?

Нет, она ещё ничего не соображает... Но хотя Надя совершенно случайно подошла к Бойку, теперь она идёт рядом с ним, идёт бог знает куда, в степь, в далёкий котлован. По дороге Вася ей докладывает все подробности про ШКО. Как хорошо рассказывать, когда на тебя так понимающе глядят милые глаза и ты видишь такие знакомые ямочки на щеках.

— Надя, это так просто... Мы заранее соберём стенку из шпунта... Вот как у вас, на арматурном дворе, заранее собирают каркасы. Сделаем сплотку из ста или двухсот шпунтин... Поставим эту стенку... Представляешь? Так он у нас стенкой и пойдёт.

— Бежим, — говорит Надя.

Они берутся за руки. Кто сказал, что Надя не героическая девушка? Смотрите, какой хороший вечер, а она уступает его этой, как её, шпунтовой стенке.

— Вася, а к кому мы?

— Конечно, к Мнухину. Это такой человек... Это такой... погоди, ведь он сейчас в гостинице...

И они поворачивают. Автобус подвозит их к гостинице. Лихорадка творчества пожирает Васю. Скорей, скорей к «внедренцу». Ступин отворяет дверь...

Надя деликатно остаётся ждать его на скамейке у входа в гостиницу. Она рада, конечно, за этот шпунт, но всё же...

Вот и книгу он уронил. Она с нежностью прочитывает заголовок: «М. Горький. В людях». Это книга Васи, он её читает. Надя печально глядит на молодые топольки, чуть шумящие листвою на лёгком ветре. Уже смеркается... Слегка розовеют облака. Что может быть лучше этого часа?

Из гостиницы выходит Ступин. Грустный, растерявшийся.

— Надя...

— Что случилось? Ошибка?

— Он спит...

— Спит?

Значит?.. В мыслях проносится: значит можно пойти погулять. Может быть, этот Мнухин проспит до самой ночи.

— Спит, — повторяет Ступин. — И, конечно, нельзя его будить.

Наде хочется воскликнуть: «Ну ясно, нельзя», но она тихо произносит:

— Почему нельзя? По такому случаю можно и разбудить...

— Можно?.. Надька, ну до чего же ты всегда... Всегда правильно скажешь.

Он устремляется к двери, затем оборачивается и секунду смотрит на девушку в голубой косынке, смотрит так, что Надя понимает: этот вечер всё равно принадлежит ей.

Поутру Ступин вместе с Мнухиным, с Шумейко, с несколькими основстроевцами, собиравшими сибирский молот, планируют на месте, в котловане, как сплотить, выставить стенку шпунта. Они удобно расположились всё на тех же стеллажах, перевернув три-четыре доски свежей чистой стороной наверх.

У Мнухина на коленях альбом ватмана; на доске коробка цветных карандашей. Филипп Филиппович любит всё изобразить чётко, наглядно. Он уже всей душой принял мысль Бойка. Конечно, если шпунтины будут заранее сомкнуты замками, если каждая будет погружаться меж двух направляющих, то не станет перекосов, искривлений...

Ступин ещё не может успокоиться, щёки его горят, он всех перебивает, вносит предложения. Чернобородый сибиряк понимает его состояние, но понемногу стаскивает его с небес на землю.

— Не заносись, Вася. Об этом и без тебя умные люди думали. Но рассудим-ка. Это непростое дело. Ведь высота шпунтины двадцать пять метров, а и следующую, чтобы завести в замок, надо поднять на столько же. Шутка ли. Где такие краны? В общем, придётся на опорных рамах двух порталных кранов монтировать новый кран.

Боёк не может скрыть разочарования:

— Строить новый кран?

Ему не терпится тут же, сегодня же составить стенку, опробовать такой способ забивки.

— Зачем новый, — восклицает он, — когда с этим справится шагающий... У него вылет стрелы семьдесят метров.

— Шагающий? Это ты хватил, — подаёт голос один из участников бригады. — У шагающего и без нас по горло дел.

На стройке о шагающем экскаваторе говорят как о живом существе. Он вместе со всеми трудится, шагает по степи. Мнухин подтверждает:

— Шагающего не дадут... Нужно другое решение...

Здесь же на доске сидит Шумейко. Он тоже волнуется, как и Боёк, но, конечно, умеет сдерживать свои чувства. Всё время он молчал, но сейчас вступает в разговор:

— Филипп Филиппович, надо подумать вот о чём... Мы же хотим, чтобы шпунтом мог пользоваться каждый колхоз. Но если нужна эстакада, а на эстакаде порталные краны, а на них ещё новый кран, то...

— Э, товарищ Шумейко... Об этом мы позаботимся... Выпустим в Краснощёкове специальный кран для шпунта... Со складной выдвижной стрелой... Хочешь — выдвинь её на двадцать метров, хочешь — на пятьдесят... Пожалуйста, каждый колхоз может воспользоваться... Но... Но теперь-то пока этого нет, надо на месте найти выход.

Мнухин начинает чертить, ему подаются советы, у него уже немало помощников, приверженцев — рабочих-основстроевцев. Ещё совсем недавно Шумейко думал, что он применяет свою особенную методику, привлекая к калибровке рабочих, прокатчиков. Теперь он видит, что это методика многих людей советской страны, рабочий стиль страны, переходящей к коммунизму.

Несколько голов склонилось над чертежом. Так всех их и застаёт тётя Даша, рассыльная при управлении «Основстроя».

— Товарищ Мнухин, вам бумажечка... Распишитесь, будьте добреньки.

На папиросной бумаге напечатано приглашение на техническое совещание у главного инженера «Основстроя».

— А мне? — спрашивает Шумейко. — Есть там для Шумейко?

Тётя Даша перебирает тонкие листочки.

— Вот для вас, товарищ Шумейко... Распишитесь...  
 — Совещание о забивке, — прочитывает Мнухин.  
 — Ясно, о забивке... — Ступин поворачивается к тётке Даше. — А нам приглашение?

— Нам, милоч, надо погодить. Нас там не спрашивают.  
 Что за глупые шутки? Но тётка Даша уже отошла, уже прикрепляет к доске объявлений большой лист бумаги.  
 — Это кстати. На совещании, Вася, — говорит Мнухин, — с этим и выступим.

— Нам выступать не придётся, мы там не требуемся, — буркает Боёк.

— Ну, не горячись... Сейчас разработаем чертёж. И пойдёшь со мной...

Шумейко поднимается.

— Постойте... Поглядим, что там написано.

На доске объявлений, на белом листе, что прибила тётка Даша, выведено:

...«СОВЕЩАНИЕ в кабинете главного инженера по вопросу забивки шпунта...

Приглашаются инженерно-технические работники.

Присутствие обязательно».

Шумейко удивлён. А рабочие? Почему Сороковых не пригласил рабочих? Даже не сказано «желательно». Чёрт возьми, это просто дико.

— Да, никуда не годится, — говорит Мнухин, — пойдёте-ка, Андрей Михайлович, к Михаилу Афанасьевичу... Скажем ему...

— Нет, — восклицает Шумейко. — Ступин! Где здесь редактор Ступин? Давай выпустим-ка «Крокодил»...

...Из альбома Мнухина вырваны два листа ватмана, мобилизованы все цветные карандаши. Уже выводится заголовок «Крокодил в котловане». На твёрдой шершавой бумаге появляется некое подобие шагающего экскаватора. За ковш, за канаты, за стрелу цепляются люди. Правда, они скорее напоминают фигурки, составленные из спичек, художников здесь не нашлось («эх, пригодился бы сейчас Серёжа, старший сынок», — думает Шумейко), но смысл ясен. Под рисунком подпись: «Рабочие ведущих профессий «Основстроя»: Шагающий, помоги! Перебрось на техническое совещание у главного инженера. Иначе туда нам не попасть».

В качестве последнего штриха Шумейко выводит наверху эпитафия: «Приглашаются инженерно-технические работники. Присутствие обязательно». В уголке Боёк ставит свою подпись: ответственный редактор Ступин.

Ярко разрисованный лист повешен на доску объявлений рядом с извещением о собрании.

У доски останавливаются основстроявцы. Слышится смех, одобрительные возгласы.

По участку «Основстроя» идёт Свешников, быстрый, озабоченный, с острым, всё примечающим взглядом. Подходит к доске объявлений. Читает. Смеётся.

Потом вынимает карандаш и, не откладывая дела в долгий ящик, приписывает к строке: «приглашаются инженерно-технические работники» ещё одну строчку: «и рабочие ведущих профессий «Основстроя». И ставит свои инициалы «И. С.». Большой палец, изуродованный, без ногтя, отлично ему служит, крепко прижимая карандаш.

Техническое совещание «Основстроя», о созыве которого извещал листок на доске объявлений, происходит под навесом, у фронта работ. Никого не смущает, что здесь склад досок, шпал, металла, что не всем хватило места. Собралось много народу — инженеры, техники, рабочие. Участники совещания сидят на табуретках, на досках, кое-кому пришлось разместиться просто на брезенте, разостланном на песке.

За столом сидит Михаил Афанасьевич Сороковых, жизнерадостный, уверенный, как всегда. Он одобрительно смотрит на Ступина.

— Хорошая мысль... теоретически правильно задумано. Всё дело только за краном.

Он снимает трубку телефона, прикреплённого к столбу.

— Дайте начальника стройки... Кабинет Свешникова... Алло... Лизочка? Рад слышать ваш голос, — Сороковых не забывает быть любезным. — Соедините, дорогая, с Иваном Аникеевичем.

Некоторое время длится молчание. Все ждут.

— Иван Аникеевич? Да, Сороковых. Иван Аникеевич, звоню прямо с совещания. У нас тут есть одна идея. Доложили Мнухин и Ступин. Ступин... А? Что? Редактор? Верно, есть за ним такое. Он, Иван Аникеевич, у нас помощником механика. Суть предложения в том, чтобы бить стенкой... Заранее выстраивать шпунт...

И Сороковых кратко излагает начальнику стройки идею, которую только что обсуждали на совещании. Свешников соглашается предоставить «Основстрою» два порталных крана.

— Что? Вибратор? — продолжает Сороковых. — Завтра, Иван Аникеевич, особо соберёмся по поводу вибратора, послушаем профессора. Да, он здесь... Присутствует.

Сороковых взглядывает на высокого лысеющего человека, который, повесив на гвоздь фетровую шляпу, сидит на небольшом, величинной с табурет, ящике. Повесив трубку, главный инженер улыбается.

— Сегодня же приступим к делу. А кроме того, — товарищ Свешников просил отнестись к этому с особым вниманием, — кроме того, завтра все мы прослушаем сообщение приехавшего к нам профессора Анатолия Сергеевича Крайнюкова о погружении свай методом вибрации.

От себя Сороковых добавляет:

— На доклад профессора приглашаем рабочих ведущих профессий.

С табурета поднимается долговязый, одетый пока что аккуратнее других, ещё не потерявший на стройке столичного вида, конструктор вибропогружателя.

— Зачем завтра опять собираться? — говорит он. — Моё сообщение будет кратким. Давайте я сейчас же вам всё покажу. Минутное дело, Михаил Афанасьевич, а?

— Вы, Анатолий Сергеевич, сразу нашими темпами жить начинаете... Ну как? — обращается Сороковых к собранию. — Не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

Собрание откликается одобрительным гулом. Все с интересом смотрят на Крайнюкова. Он уже откинул крышку ящика, на котором сидел.

— Михаил Афанасьевич, куда бы поставить вибратор?

— Тащите прямо на председательский стол. На самое почётное место. Ребята, помогите-ка профессору.

— На этот стол? Нельзя...

— Почему нельзя? Крепко стоит. Выдержит...

Сороковых двумя руками пробует пошатнуть стол. Тот недвижим,

словно вкопанный. Впрочем, он и в самом деле вкопан. На толстый столб, глубоко сидящий в земле, набита прочная столешница из струганых досок. На такой стол действительно можно поставить изрядную тяжесть. Сороковых живо встаёт со своего места, полнота не мешает ему быть подвижным, энергичным. Но Крайнюков всё же не соглашается.

— Михаил Афанасьевич, сидите, не беспокойтесь. Стол я не займу. Но Сороковых командует:

— Давайте, давайте, ребята, сюда...

— Ну, если уж вам так угодно, — произносит Крайнюков с тонкой, едва заметной улыбкой.

Двое рабочих легко поднимают, ставят на стол аппарат Крайнюкова. Это, собственно говоря, небольшой электромотор, а под ним — скрытый стальным кожухом самый механизм вибратора.

Возле стола на штабеле досок, рядом с Мнухиным, рядом с рабочими расположился Ступин. Он подался вперёд, вытянул шею, чтобы лучше видеть. Неужели этот небольшой лёгкий механизм сможет сделать то, что оказалось не под силу шеститонной бабе?

Электромотор уже подключён к сети. Крайнюков всё с той же почти незаметной улыбкой прижимает рубильник к контактам. И вдруг стол — добротный, прочный, врытый в землю стол, за которым только что сидел главный инженер, — мгновенно по самую столешницу уходит в песок. Ахнув, Сороковых успевает схватить свои лежащие на столе часы. Прижатая к песку, столешница трещит. Крайнюков выключает аппарат, стихает лёгкое жужжание мотора. Профессор спокойно поправляет галстук, будто сейчас произошёл ничем особенно не примечательный случай.

— Немного неловко получилось, Михаил Афанасьевич, — говорит он. — Но я же предупреждал. Разрешите, я теперь сам установлю вибратор.

Аппарат водружён на штабель леса. Крайнюков рассказывает, как он напал на мысль о погружении свай способом вибрации.

— Я, товарищи, раньше работал над проблемой борьбы с оседанием фундаментов. Вы знаете, какие бывают в этом деле неприятности. Здания, расположенные по соседству с паровыми молотами, сильно садятся в грунт. Ведь волны распространяются в грунте, как во всякой другой среде. Изучение этих волн стало моей специальностью.

Крайнюков, естественно, не касается подробностей своей биографии. Основстроевцы пока не знают, что этот высокий лысеющий профессор в чесучёвом пиджаке когда-то, в дореволюционном Петрограде, был мальчиком на побегушках у владельца двух кинематографов. С катушкой, частью фильма, мальчик Крайнюков мчался по городу из одного кино в другое, оставлял свою ношу, схватывал уже показанную, прокрученную часть и с ней бежал обратно. Так он и носился каждый вечер между этими двумя кинематографами, чтобы владелец мог извлечь двойной доход с одной взятой на прокат кинокартины. После революции Толя Крайнюков прижился к отряду Красной гвардии, побывал на многих фронтах, затем в мирные дни начал учиться, о чём мечтал давным-давно, был принят на рабфак, закончил несколько лет спустя политехнический институт и стал заниматься тем, что назвал сейчас своей специальностью: изучением волн, распространяющихся в грунте.

— Исследования выяснили, — говорит Крайнюков, — что вибрация в грунте вызывает самую большую осадку. Это и навело меня на мысль: нельзя ли искусственно вызвать, создать такие волны, чтобы



ссадка происходила не на сантиметры, а на метры, и не в год, а в минуту. Сейчас, товарищи, я вам кое-что покажу.

Он поднимает высокий стакан. Наполняет его песком, сверху кладёт блестящий стальной шарик. Силой собственной тяжести шарик немного вдавливаются в рыхлый песок. Крайнюков ставит стакан на вибратор.

— Включаю, — говорит он.

Все встают, теснятся к аппарату. Момент лёгкой незаметной вибрации — и стальной шарик скользнул вниз, исчез в песке. Крайнюков поднимает прозрачный сосуд над головой. И без того рослый, он ещё привстаёт на доску. Всем видно доньшко. Сквозь стекло отчётливо проступает стальной шарик, очутившийся на дне. А теперь ещё один заслуживающий внимания опыт. Крайнюков вынимает из кармана другой шарик. Обыкновенный целлулоидный розовый шарик для настольного тенниса.

Шумейко, конечно, стоит тут же, следя за происходящим удивлёнными глазами. Жаль, думает он, что рядом нет сыновей, — им бы поглядеть эти опыты.

Крайнюков подкидывает лёгкий шарик, тот стучается о доску и упруго отскакивает. Мячик положен на дно высокого стакана, сверху насыпан до краёв песок. Поворот рубильника. Почти незаметно сотрясается, дрожит вибратор. Розовый шарик выскакивает, словно из воды, на поверхность песка. Вот она — вибрация!

— С древнейших времён, — говорит Крайнюков, — человек загонял сваи в землю методом удара. Других способов не существовало. Мы, советские люди, впервые вводим новый принцип погружения свай. Мы применяем метод вибрации. Нам принадлежит приоритет или честь открытия. Вибратор подобного типа уже опробован при погружении труб в нефтяной промышленности. Теперь применим виброметод здесь... Вместе, товарищи, будем тут, в полевых условиях, совершенствовать, доводить машину... Верно?

Крайнюков невольно адресует к пареньку, высокому, как и он сам, с царапиной на лбу, с горящими щеками, к Васе Ступину, который не может оторвать глаз от вибратора.

— Я, товарищи, — продолжает профессор, — останусь здесь до тех пор, пока мы не добьёмся полного успеха. Буду работать, как прораб... Мне нужны помощники. Хорошие механики найдутся?

— Найдутся, — раздаётся со всех сторон.

Ануфриев протискивается поближе к вибратору, похлопывает по стальному кожуху...

— Можете надеяться, — говорит он Крайнюкову.

Вася Ступин молчит. Его уже пленила необыкновенная машина, он мечтает узнать, понять её, поработать с ней, но ведь рядом стоит Мнухин. Может быть, ему, внедряющему сибирский молот, будет обидно, что Васю так притянул, привлёк вибратор. Однако чернобородый сибиряк легонько подталкивает Ступина вперёд. И негромко произносит:

— На такой стройке люди найдутся.

Уже выставлена стенка шпунта. Она тянется на двести метров, простираясь от бокового склона почти до середины котлована. Шпунтины стоят в ряд, замок в замок, единой сплоткой. Шумейко любит этим стальным тёмным заслоном — вот они встали, богатыри, теперь их не перекосят, не согнут, не изуродуют удары. Одна за другой, нерушимой стенкой, шпунтины пойдут в грунт.

И они действительно идут. Находясь на площадке башенного крана, Мнухин руководит забивкой. Там, высоко над дном котлована, свежий ветерок с реки треплет его бороду.

После сообщения Крайнюкова о виброметоде погружения свай Филипп Филиппович отнюдь не приуныл. «Великое дело вибропогружатель, — размышлял он, — но и наш молоточек, краснощёковский, не попадёт в отставку. Вибраторы пока работают лишь в песчаных грунтах. Как же быть, если придётся иметь дело с глинами, галечниками, известняками? Как быть, если в песке на пути шпунтины повстречаются прослойки иных пород? Нет, без молоточка пока что не обойдёмся. Хорошо было бы смонтировать на одном кране с длинной выдвижной стрелой и вибратор, и краснощёковский молот! Может быть, так оно и станется. И Краснощёковский завод ещё прославится на всю страну такими агрегатами».

Молот стрекочет. Частыми лёгкими ударами он понемногу вгоняет сваи в землю. Одну на несколько метров вглубь, потом на столько же вторую, третью... Молот приходится переставлять, всякий раз заново крепить, но стенка, шпунтина за шпунтиной, мало-помалу оседает.

А на другом конце выстроенного шпунтового ряда подготавливается опробование вибратора. Ануфриев, знатный закопёрщик, привыкший командовать «вира... майна...», тут сам занял место верхолаза, сам закрепил вибратор на торце крайней шпунтины. Туда, к вибратору, тянется толстый пучок электропроводов.

Внизу, на песке, собралось много народу. Тут и долговязый профессор, чесучёвый пиджак которого уже далеко не так свеж, как в первый день приезда, и грузноватый Сороковых, и калибровщик Шумейко. Среди столпившихся рабочих виден Боёк. Как всегда, он не умеет скрыть своего нетерпения. Теперь, когда по его предложению бригада краснощёковского молота осваивает метод забивки шпунта единой стенкой, Васю разбирает волнение за судьбу новой машины — за этот более крупный, но всё же лёгкий, даже изящный вибропогружатель, уже привинченный к шпунтине. Ведь есть же разница — загнать в песок обыкновенный садовый стол или такую вот железную громадину. Что, если вибратор подожит, поработает на верху стены, а она, эта стальная тяжёлая завеса, так и будет выситься, не достаивая этот мелкий предмет своим вниманием?

Приготовления кончены. Крайнюков кладёт ладонь на рукоять рубильника. Лёгкое движение. Контакты сомкнуты, дан ток... И на глазах у всех крайняя шпунтина, к которой прикреплён вибратор, заскользила в грунт. Она именно скользит, быстро уходит. Вот и не видно белой стметины. Вот и её номер — 286 — скрылся в песке. Погружение замедляется, становится будто затруднённым, Крайнюков выключает ток. Шпунтина выглядывает, как по проекту ей и полагается, на три метра из земли. Она была погружена всего за полторы минуты.

Ануфриев с помощниками отвинчивает вибратор. На лице закопёрщика — гордость, удовлетворение. Глаза словно говорят: «Где новые деда, там и Ануфриев! Где кладем основы, там Ануфриев!» Поднявшись на площадку крана, он крепит вибратор к следующей свае. Эта пошла в землю, как и первая. И опять — всего за полторы минуты.

Шумейко едва верит тому, что он видит. Упрямые шпунтины, измучившие строителей Гидроузла, не поддававшиеся страшным ударам шеститонной бабы, теперь как бы сами, без малейшего насилия, под действием почти неуловимой, незаметной вибрации идут в грунт. На круглом лице калибровщика снова изумление. Опять вздёрнулись, взлетели его белёсые брови.

Пожалуй, один Крайнюков не разделяет общего восторга. Он озабочен.

— Тяжеловато идёт, — говорит он.

— Тяжеловато? — переспрашивает Шумейко.

— Да... трудно ему. — Крайнюков показывает вверх, на вибратор. — Очень тяжёлый, грубый профиль...

— Грубый?

Нет, Шумейко не ослушался. Конструктор вибропогружателя действительно назвал ШКО тяжёлым, грубым профилем. Как же так? Ведь ещё недавно Шумейко гордился своим заводом, своим цехом, выпустившим такой тонкий, точный профиль... Ведь здесь, на стройке, Шумейко размышлял над тем, не следует ли отяжелить, укрепить ШКО, сделать его более прочным, более жёстким... И вдруг эти слова: «очень тяжёлый, грубый профиль...»

Очередная шпунтина быстро уползает в грунт... Вот её ход замедляется. Да, очевидно, аппарату Крайнюкова уже не легко передавать ей вибрацию. Профессор явно неспокоен. И будто в подтверждение его слов, которые он только что сказал Шумейко, из вибратора с треском вылетает длинная голубая искра.

Тотчас шпунтина останавливается. Вибрация прекращается. Что-то случилось с аппаратом. Его отвинчивают, быстро разбирают. Причина полтомки налицо: треснул вал вибратора.

— Ничего, — говорит Крайнюков. — Сделаем другой вибратор... Помощней, потяжелей... Приспособимся к этому профилю.

Шумейко взволнован. Постепенно в воображении возникают первые, ещё смутные очертания нового, видоизменённого шпунта. Он, калибровщик Шумейко, обязан дать профиль подстать новому способу забивки — самому передовому, небывалому, действительно достойному великой стройки коммунизма. Зачем придавать шпунту корытообразную форму, предназначенную для сопротивления тяжёлым ударам бабы? Зачем сохранять такую толщину, нужную опять-таки лишь для устойчивости при забивке? Новый шпунт будет плоским, более тонким. Все очертания, все размеры будут служить лишь одной цели, для которой в подобных случаях и предназначен шпунт: борьбе с фильтрацией.

Предстоит работа всем помощникам калибровщика Шумейко, рессо-балочникам «Югостали». Нелегко будет прокатать ещё более тонкое перо. И понадобится новая сталь. Прежняя уже не подойдёт. Будет, Нина, работа и тебе!

Новый профиль всё яснее вырисовывается в фантазии калибровщика.

## 35

Машина несётся по территории завода. Шумейко сидит рядом с водителем. Остаются, в стороне Доменные печи, над которыми вечно колыхается тяжёлый, рыжеватый дым. Здесь, возле доменного цеха, даже асфальт стал коричневым. Ветер крутит, гонит вихорьки темнорыжей, почти фиолетовой рудной пыли. Её запах, — чуть отдающий серой, газком, — приятно почуять снова.

А вот и мартен. Через торцовый проём виден каскад искр и словно ожившее в огненных отсветах волнистое железо крыши. Теперь близок и прокатный цех. Быстро придвигаются высокие конические трубы нагревательных колодцев.

Шумейко притрагивается к плечу шофёра.

— Завернём на мигнутку на мартен...

— К лаборатории?

Шумейко молча кивает. Конечно, к лаборатории. К Нине.

Машина остановлена у бетонной балюстрады, почти такой же, как и у въезда в сталеплавильный цех Ново-Уральска. Шумейко быстро идёт, почти бежит по площадке печного пролёта. Одна дверь... другая... Лаборатория. Отделение новых сталей. Комната инженера сталеплавильщика Нины Шумейко.

Она склонилась над микроскопом, наведённым на шлиф стали. Видна лишь смуглая рука, осторожно передвигающая винт, и копна чёрных кудрей. Неподалёку на мраморном столе пламенеет горелка. Там работает молодая лаборантка.

Андрей Шумейко негромко окликает:

— Нина!

Она мгновенно отрывается от микроскопа. Улыбаются крупные губы, кончики которых как и в молодости загнуты чуть вверх. С годами смуглое лицо пополнилось, плечи округлились, в чёрных глазах засветилось спокойствие. Красивее ли она теперь, чем двадцать лет назад? Андрей не смог бы на это ответить, он этого не знает. Для него она теперь ещё милей.

Он стоит в измятой, сдвинутой на затылок кепке. На полотняном костюме, выстиранном, проутюженном перед отъездом домой, темнеют неотмывшиеся пятна смазки. Широко открытые глаза блестят. Он как и Нина, улыбается. Что-то новое есть в его лице, в его улыбке. Сразу даже не определишь, что именно. Кожа почти не загорела, осталась такой же нежной. Белёные брови так же смешно вздёрнуты. Но всё же, пожалуй, губы теперь прорисованы как-то иначе. И не только губы.

— Нинка! Я на одну минутку...

Он быстро обнимает, быстро целует её. Лаборантка деликатно рассматривает на свет пробирку. Несколько откинувшись, Нина смотрит на любимое лицо. Да, что-то новое. Но что же?

— Поздравляю, — говорит она.

— С чем?

— А как же? Мы же всё уже знаем... Профиль годен.

— Годен? Ах, да... Совершенно правильно. Но знаешь, — Андрей оглядывается на лаборантку, приближает к уху жены, шепчет. — Нинка, он не годен.

— Как? Что ты говоришь?

— Не годен. Тяжёл для новейшего метода забивки. Ну, для вибропогружателя. Вы получили моё письмо о вибропогружателе?

— Десять раз перечитали... Мальчишки надоели мне со своей коробкой.

— А как они?

— Очень хорошо. Некому было их баловать.

— У, какая строгая мама.

— Андрей, а насчёт ШКО ты меня дурачишь?

— Честное слово, не дурачу.

— Почему же тогда... Почему же ты такой счастливый?

Он опять подаётся к её уху.

— Придумал новый профиль.

— А этот?

— Этот будем считать старым... Пойдёт для краснощёковских молотов. А для вибропогружателя... Для вибропогружателя сделаем новый... Тонкий, плоский, лёгкий... Металла пойдёт вдвое меньше. Нинка, вся калибровка у меня в уме уже готова... Надо только...

— Что, милый, надо?

— Сталь. Нужна новая сталь... Чтобы мы могли при прокатке тоньше дать замок. Ты понимаешь? Сталь ВШ. Вибро-шпунтовая.

Он смеётся, берёт её за плечи, смотрит в её чёрные глаза. Она протягивает ему шлифованную пластинку стали, четырёхугольное металлическое зеркало.

— Взгляни-ка на себя... Взгляни, какой ты...

— Ну, какой же?

— Новый, — тихо отвечает жена.

В самом деле. Если бы он взгляделся в отражение, он увидел бы, что его облик изменился. Рисунок губ стал определённый, морщинка легла между бровями, и даже линии подбородка прочерчены яснее. В лице сохранилась молодая нежность, но теперь никто бы не сказал, что оно только формируется.

Да, Шумейко теперь знает о себе: он человек, который может создавать новые профили. В дни поездки это выкристаллизовалось в нём, выразилось в его лице.

Но ему некогда себя рассматривать. Едва взглянув в шлифованный металл, он прижимает к себе Нишу, крепко целует её в губы — те самые губы, которые слишком крупны для того, чтобы их назвать красивыми, — и выбегает из лаборатории.

## 36

И вот он идёт к себе в калибровочное бюро через рельсопрокатку. Опять его встречает у главных ворот цеха портрет Сталина, нарисованного во весь рост. Сталин стоит, величавый и мудрый. Рядом на щите стенная газета «Рельсы коммунизма». Ого, редколлегия выпустила свежий номер... Молодцы.

Сегодня же начнём готовить следующий, расскажем прокатчикам о их победе. Ещё в дороге у Шумейко сложилась в уме статья. Она будет называться «Новый профиль». В ней он расскажет о своей поездке, своих встречах, о новом профиле советского человека времени перехода к коммунизму. Хотелось бы и книгу, повесть-хронику о своём цехе, которую он всё-таки допишет, назвать так же: «Новый профиль».

В цехе катают ШКО. В противоположном конце линии прокатки, в неясной глубине цеха, взлетают и взлетают искры над циркулярной пилой, словно приветствуя Шумейко. Из своей застеклённой вышки его увидел оператор Табаков, улыбнулся, поднял руку, смахнул со лба бысеринки пота и потянул за шнур. Тотчас над будкой засвистел гудок — сигнал бригаде нагревательных печей: «Давай, давай металла, шевелись». Он, бывший танкист, советский солдат-освободитель, ныне оператор головного агрегата рельсопрокатного стана «Югостали», задаёт темп не только нагревательным печам, всему заводу. Прокатка спорится. Уходят, уплывают к чистой клетке и дальше к пиле раскалённые полсы нового профиля. Нет, уже не нового. Впрочем, Табаков ещё не знает об этом — не знает, что в воображении калибровщика уже родился новый шпунт. Он обрадуется этому. Для него самое милое — подумать, поломать голову над чем-то новым, ввести, освоить невиданное, необычное... Шумейко улыбается ему. Поработаем, потрудимся, Табаков, вместе...

По высветленной множеством подошв насечке стальных плит быстро шагает навстречу Шумейко подавальщица Зига, она же рабкор «Вилка», в зелёных тапочках, в подкрахмаленном белом халате. В обеих руках — пустые судки. Она спешит, но, конечно, на минутку задержится, столкнувшись с редактором.

— Внедрили! — восклицает она. — Теперь крепко!

Будто монтер или вальцовщик, она поднимает большой палец. Её лукавое живое лицо победоносно.

Спохватившись, она поздравляет Шумейко.

— С чем, Зина?

— Сами знаете... Вот...

Она показывает на проносящиеся мимо, обдающие жаром полосы шпунта.

— Васильевна-то... Узнала, что вы приезжаете, и...

— Откуда же узнала?

— Э, где же и новости, как не у нас? Узнала и сказала... Нет, вы никогда не угадаете... Сказала: «Ну, в будку Шумейко я сама буду носить обед».

— Что ты говоришь?

— Истинная правда... Ну, Андрей Михайлович, я побежала...

Зелёные тапочки ловко заскользили по насечке стальных плит.

Будка Шумейко... Он впервые это слышал... Неужели это уже заводское выражение?

Вон снова знакомые лица. Кто там, у чистовой клетки? А, Боровик — старший вальцовщик молодёжно-комсомольской смены. На стройке Шумейко иногда вспоминал его, глядя на Бойка. У Боровика, как всегда, испачкан смазкой лоб. А у Бойка на лбу долго оставался след царпины... Перед глазами Шумейко возник котлован, ровная длинная стенка забитого шпунта, такая, какой она была, когда Шумейко, уезжая, кинул на неё последний взгляд. Да, сплоченная, единая стена...

И у Шумейко возникает мысль: все мы — Боровик, Боёк, Зина, Табачков, Свешников, Филипп Филиппович, штурвальный Миша, закопёрщик Ануфриев, электрик Джабиль Агишев, профессор Крайнюков. Нина, он — калибровщик Шумейко, — все, кто по праву называет себя советским человеком, это единая стена, нерушимая сплотка металла.

Знакомой дорожкой он приближается к выкрашенному в розовый цвет домику, к калибровочному бюро рельсопрокатки. В этот солнечный горячий день входная дверь раскрыта. Шумейко останавливается у порога. Его ещё никто не замечает. И вдруг он слышит глуховатый, словно немного дребезжащий голос своего учителя Василия Павловича. Старый калибровщик разговаривает с шаблонщиком, комсомольцем Сашей Веховым.

— У тебя, Саша, получается, как по плану Маршалла. Много обещаешь, а ничего не даёшь.

Вот как? Василий Павлович рассуждает о плане Маршалла.

Вехов молчит... Василий Павлович продолжает выговаривать:

— Энтузиазма что-то маловато у тебя... А без энтузиазма, Саша, новые профили (старый прокатчик так и произносит — профили) не получаются...

Неужели это он, кто когда-то смущённо говорил: «Энтузиазм это по вашей части»? Нет, Василий Павлович, это и по вашей части. И не такой уж вы старый человек. Сейчас я вас обрадую: мы будем говорить о калибровке. О новом профиле.

И Шумейко входит в свою будку.



---

---

ВЛАДИМИР ЖУКОВ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### НА УРОКЕ СЛОВЕСНОСТИ

Сердца неуёмного биенье  
Чувствует курсант и командир.  
Тема сочиненья — «Миру — мир!»...  
Битый час сидим над сочиненьем.

Слово к слову трудно подгонять,  
Но не в этом главное сокрыто, —  
Главное: как можно сочинять,  
Если всё душою пережито?

До предела в памяти свежа  
Кровь на льду  
И на металле ржа,  
Под ногами — сплывшаяся глина,  
Спутанной «колючки» паутина,  
Чёрный дым. И мы — у рубежа.

По привычке  
Тронув русский чуб,  
Над листом забылся помкомвзвода:  
Где-то у сожжённого завода  
Видит он обломки мёртвых труб,  
Жёсткий снег,  
и всё в дыму, в дыму.  
И уже не вмоготу ему.

А в гнилом болоте, возле Мги,  
Слышится ему во тьме промозглой  
Голос друга: «Коля, помоги...»,  
А ему и бог уж не помог бы...  
По путям-дорогам фронтовым  
Повернул на Запад помкомвзвода, —  
К вражескому логову — в Берлин  
По дорогам памятного года.

Над Москвой салютные огни,  
Торжества великого преддверье...

В классе — тишь.  
Поскрипывают перья

Да хрустят солдатские ремни.  
 Взад-вперёд, от двери до окна,  
 Мягко ходит офицер-словесник.  
 Фронтовик: большие ордена!  
 И, пожалуй, даже мой ровесник.

Я б хотел его предостеречь:  
 Воздержись хоть раз от порицанья,  
 Коль сверх меры в письменную речь  
 Просочатся знаки восклицанья —  
 Нелегко солдату сочинять,  
 Да и тема — самая святая:  
 Расходилось сердце — не унять,  
 Вот и может выпасть запятая.

Строит враг перед своим концом  
 Подлый план разбойного похода,  
 Злобствует в Корее...  
 Обо всём  
 Кровью сердца пишет помкомвзвода.

В четырёхстраничный габарит  
 Уложи такое сочиненье!  
 — Миру — мир! — сам Сталин говорит —  
 Помкомвзвода пишет заключение...

### ВСТРЕЧА

Я долго гостил в кишлаке Тюя-Гум  
 С другими на равных началах.  
 Хвалиться не буду: Тамара Ханум  
 В Ташкенте меня не встречала.  
 Я слишком простой для того человек,  
 Невидная слишком персона.  
 А встретился мне загорелый узбек,  
 Едва я коснулся перрона.  
 Он так почернел, словно век по морям  
 Под солнцем тропическим плавал.  
 И я от души ему отдал «салам»,  
 И мы столковались на славу!  
 «Рахман» да «баракка»,  
 Моя да твоя —  
 Вот всё, что я выучил за ночь...  
 Толкую ему: — Из Иванова я...  
 А он мне: — Иваныч, Иваныч!  
 И вовсе не так-то уж скоро я смог,  
 В речь русскую жесты вплетая,  
 Представить ему свой привычный станок,  
 И как челноки пролетают.  
 Потом отыскался толмач. И шутя  
 Друг друга мы поняли оба.  
 Он долго смотрел на ткача — на меня,  
 А я на него — хлопкороба.  
 А дальше — мы в сквере сидели вдвоём,



И он протянул мне как другу  
 Изрядно набитую кетменём  
 Большую и сильную руку.  
 И столько сердечности и теплоты  
 Вдруг вылилось в этом пожатье,  
 Как будто всю жизнь мы с ним были на ты,  
 Как самые кровные братья.  
 Как будто? Но это же истинно так!  
 Мы братья по сердцу и делу.  
 Давно я стремился в зелёный кишлак  
 И думал о золоте белом,  
 Давно я мечтал средь далёких друзей  
 За тысячи вёрст оказаться —  
 Под зноем прямых азиатских лучей  
 У белых ферганских плантаций!  
 Чтоб руки пожать и поклон передать  
 И, в гости зазвав непременно,  
 «Держинку» иль «Талку» друзьям показать  
 В дневную рабочую смену!  
 И вот я приехал, и вот мы сидим,  
 Толкуем о том и об этом —  
 Начнём об одном, а закончим другим...  
 Любуюсь узбекским я летом!  
 Ташкенту хвалу воздаю так и сяк,  
 А он мне: — Об этом довольно!  
 Ты город увидел? Поедем в кишлак —  
 Как там хорошо и привольно!  
 Увидишь такое, какого вовек  
 Не знали и сами узбеки —  
 Великое чудо свершил человек,  
 Познавший свободу навеки!  
 Ни чахлой былинки, ни капли воды  
 От века то пекло не знало,  
 А нынче такие бушуют сады,  
 Что в зелени тонут каналы!  
 Но разве об этом поведать смогу?  
 Бери чемодан!

Едем вместе...

Вот так и попал я в кишлак Тюя-Гум —  
 Воистину райское место.





Сёла вырастают в города,  
В деревнях растут из камня стены,  
Люди учатся,  
Шумит завод..  
Нет! Он постоянно, неизменно  
Вместе с Родиной своей  
Растёт!



---

СЕРГЕЙ АНТОНОВ

★

## ДОЖДИ

*Рассказ*

1

Среди бумаг, принесённых с почты тётей Пашей, был пакет из управления. На форменном бланке было написано:

«Начальнику строительства моста через реку Валовая у села Отрадное тов. Гурьеву.

На Ваш 147/06 от 13 июня сего года.

В текущем квартале дополнительного количества автомашин на Ваш объект выделено не будет.

Как показывают элементарные подсчёты, строительство моста через реку Валовая обеспечено вполне достаточным количеством автотранспорта для выполнения (сверху вписано карандашом — а при желании и перевыполнении) плана.

Только безответственностью (сверху вписано карандашом: и на планователем отношении к порученному делу) можно объяснить тот факт, что план перевозок песка, щебня и гравия на строительстве моста через реку Валовая систематически не выполняется, чем, по существу, оттягивается на зиму окончание бетонных работ и тем самым ставятся под серьёзную угрозу сроки строительства.

Предлагаю в недельный срок ликвидировать недопустимое отставание с вывозкой песка, щебня, гравия на строительную площадку моста через реку Валовая, для чего:

- а) использовать весь наличный автотранспорт на основных работах;
- б) организовать двухсменную работу в карьерах;
- в) обеспечить малую механизацию погрузочно-разгрузочных работ;
- г) полностью использовать выделенные наряды на гужтранспорт...»

И дальше шло ещё много пунктов, в которых перечислялись простые, легко выполнимые вещи.

Секретарша начальника строительства Валентина Георгиевна дочитала бумажку до конца, занесла её в журнал переписки с вышестоящими инстанциями и задумалась.

Ей представились непрерывные дожди, идущие днём и ночью вот уже две недели; размокшие дороги, скользкие, как мыло; машины, гружённые щебнем и гравием, со стоном, берущим за душу, дёргающиеся в колеях; лица водителей, посиневшие от холода и бессонницы; маленькая фигурка страдающего одышкой начальника строительства Ивана Семёновича, заляпанного грязью по самую фуражку, райисполкомовские представители, не разрешающие срывать колхозные подводы с полёвых работ; насосик «лягушка», выбивающийся из сил в каменном карьере.

Было хмурое утро. По крыше наскоро сколоченного барака, в котором помещалась контора строительства, барабанил дождь. Из-за стены доносились раздражённые голоса Ивана Семёновича и прораба левого берега.

«У начальника сегодня достаточно неприятностей, — подумала Валентина Георгиевна, — доложу позже». Она достала из ящика папку с тиснённой золотом надписью «к докладу», которую купила ещё в конце войны в Риге на свои деньги, положила в неё бумажку и стала точить карандаши. Иван Семёнович любил, чтобы у него на столе было много разноцветных заточенных карандашей.

Снаружи толкнули фанерную дверь. Дверь распахнулась, задрожав, как от озноба. В приёмную вошла мокрая девушка лет восемнадцати с кнутом, сунутым за голенище сапога.

— Начальник дома? — спросила она.

— А вы кто? — спросила в свою очередь Валентина Георгиевна, зачехляя зелёный карандаш.

— Я — бригадир возчиков из колхоза «Новый путь». Курепова, Ольга. Пускай начальник справку пишет. Завтра домой едем.

— По такому поводу я не могу беспокоить начальника строительства, — сказала Валентина Георгиевна, прикрывая глаза, чтобы подчеркнуть значение последних слов. — Обратитесь к прорабу.

— Да прораб ничего не понимает... Не понимает, с какой стороны гужи закладывать. Я ему толкую, что председатель нас на пять дней нарядил, а мы уж седьмой работаем. А он справку всё одно не пишет. Нам одобрения на поля возить надо.

— Ну, я не знаю. Начальник строительства не может заниматься вашим вопросом. Он занят.

— Занят, так подождём.

Мокрая бригадирша села на скамью и стала выжимать из юбки воду.

— Здесь, девушка, учреждение, а не сарай, — строго сказала Валентина Георгиевна.

— Да всё одно пол мыть надо, — ответила девушка, продолжая своё занятие. — Вон как заляпали. Одно к одному.

Валентина Георгиевна старалась поддерживать в своей комнате порядок солидного учреждения, внушающего уважение к начальнику, который здесь работает, и к делу, которое он делает. Сама она всегда являлась на работу аккуратная, строгая, в тщательно отглаженной блузке, под которой просвечивали какие-то розовые ленточки, и в длинном мужском галстуке. Чёрные волосы её были туго зачёсаны, и в них кое-где проблескивала седина.

Уборщица тётя Паша боялась секретарши как огня и раза по три в день мыла полы. Однако при всём старании Валентины Георгиевны приёмная выглядела временной. Кроме письменного стола, там стояла только неуклюжая скамья, да и ту перед каждым производственным совещанием вносили в кабинет начальника, вносили с криком и стуком, потому что скамья была длинная, а приёмная — узкая. Вид портила и электрическая лампочка, притянутая бечёвкой к столу для того, чтобы по вечерам удобнее было работать и чтобы посетители не стучались о неё головами.

Валентина Георгиевна заточила уже четвёртый карандаш, когда из кабинета вышел прораб левого берега и, что-то бурча под нос, отправился на участок.

«Теперь придётся доложить», — подумала Валентина Георгиевна и пошла к Ивану Семёновичу. Прочтя бумажку, Иван Семёнович рас-

строился, попросил позвать Тимофеева — начальника транспортного отдела и принести сводку работы автотранспорта.

Тимофеев явился небритый, усталый и равнодушный.

— Вот смотрите, — тыкая пальцем в сводку, говорил Иван Семёнович. — Из шестнадцати машин на линии восемь. Как же это у вас так получается?

— На линии двенадцать машин, Иван Семёнович, — глядя в окно на серое небо, сказал Тимофеев, ожидая, когда начальнику надоест этот ни к чему не ведущий подсчёт.

— Какие двенадцать машин! — Иван Семёнович встал, вынул из медного стаканчика красный карандаш и с силой бросил его на сводку. Он не умел сердиться и знал за собой эту слабость. — Правильно взяты восемь... Как же так, товарищ Тимофеев?

— Кузьмичёв и Куваев на профилактике, Степанов поехал в город с заведующим столовой... Вы сами разрешили...

— Вот видите. Я на один рейс только разрешил, а они каждый день ездят...

Тимофеев молчал, глядя в окно с таким видом, будто ему всё равно, что сейчас ему скажут.

— Ну, одиннадцать, — продолжал начальник. — Где ещё пять?

— Валов и Коркина без резины. Ахапкин за горючим уехал... Да что тут машины считать... По такой погоде на лодках надо правый возить, а не на автомобилях.

— Ну хорошо. Где ещё две?

— Полуторка в распоряжении прораба левого берега... По вашему распоряжению.

— Что?

— По вашему, говорю, распоряжению, — раздражённо произнёс Тимофеев.

— А шестнадцатая?

Валентина Георгиевна с беспокойством ждала, когда дело дойдёт до этой шестнадцатой машины. Два дня назад упрямый Тимофеев, вопреки запрещению начальника, отправил её в дальний рейс к каким-то своим приятелям менять «лягушку» на более мощный насос для каменного карьера. Из-за дождей машина где-то застряла, и теперь не было ни машины, ни насоса. Валентина Георгиевна смотрела на своего начальника — невысокого, полного человека с одутловатым раздражённым лицом и добрыми, голубыми, как у ребёнка, глазами; на небритого, равнодушного ко всему Тимофеева; смотрела на обоих людей, которые так же, как и она, сознавали, что дело совсем не в машинах, а в погоде, и в глубине души понимали всю пустоту этого разговора, — и ей было жаль их обоих.

— Так где же всё-таки шестнадцатая? — повторил Иван Семёнович.

— Работает шестнадцатая. Тут неверно сложили.

— А это мы сейчас проверим. Валентина Георгиевна, поднимите, пожалуйста, сводки прорабов.

Расстроенная не меньше начальника, Валентина Георгиевна пошла к себе. На скамье всё сидела бригадирша в измятой юбке.

— Я ведь не уйду, пока справки не дадут, — заговорила она. — Вы думаете, мы законов не знаем?! Мы таких занятых начальников перевидали ой-ой-ой сколько. Вот приезжал к нам уполномоченный по картошке нашими конями распоряжаться, так его, знаешь, как турнули...

— Прошу вас выбирать выражения, — оборвала её Валентина Георгиевна, оскорблённая до глубины души тем, что опытного инженера

и руководителя больших работ сравнивают с каким-то уполномоченным по картошке.

— Что? Что это? — спросил, появляясь в дверях Иван Семёнович.

— Да вот к вам не пускают, — заговорила бригадирша. — Срок наш вышел, харчи кончились, на поля надо назём возить, а прораб справку не даёт.

— Да что вы! — сказал Иван Семёнович.

— Ей-богу, правда. Говорит, задание не выполнили... А какое тут может быть задание, когда за семь километров за этим гравием приходится ездить. Когда за оврагом на горку поднимаемся — второго коня припрягаем... Не вытянуть по такой погоде.

— Да что вы! — снова сказал Иван Семёнович.

— Ей-богу, правда. Вот на берегу есть гравий, километрах в двух отсюда. Если бы с берега возить, мы бы тебе, товарищ начальник, ещё вчера два плана бы перевозили. Думаете, нам интересно смотреть, как бетономешалка стоит?

— Без разбора гравий нельзя, красавица, возить, — мягко сказал Иван Семёнович. — Можно возить только тот, который подходит по твёрдости. А мягкий, известняковый — нельзя.

— Нельзя — так нельзя. Вы сами справку будете писать или на машинке?

— Ты немного погоди, красавица, — Иван Семёнович неумело, словно горячую печку, похлопал девушку по плечу. — Давай условимся похорошему; повозите вы ещё три денька...

— Каких три денька? Да что вы, товарищ начальник!

— Да погоди, погоди. Ты комсомолка? Ну сама посуди, как же так получится: наполовину не выполнили задание и дезертировали. Комсомольцы так не поступают. Стыдно.

— Ничего, не застыдимся.

— Да что ты, такая... Я бы на твоём месте до конца строительства не уезжал. Видела, какие у нас женихи ходят: молодые, красивые, техники, бетонщики, шофера...

— Куда мне ваших шофёров. У меня мужик есть, — спокойно сказала бригадирша. — А если справку не дадите — так уедем.

Валентина Георгиевна слушала, как начальник, которого ждёт масса дел, терпеливо уговаривает бригадиршу, ни словом не упоминая ни о напряжённом положении на стройке, ни об обидной несправедливой бумаге из центра, слушала, как он пытался убеждать, совестить, шутить, хотя шутить не умел, так же как не умел по-настоящему сердиться, смотрела на его седую голову, на его смущённую улыбку, и глухое раздражение против этой упрямой девчонки поднималось в ней.

Иван Семёнович, наконец, махнув рукой, сказал устало:

— Напишите, Валентина Георгиевна, справку, пусть едут... Ничего не поделаешь, — и ушёл в кабинет.

— Как вам не стыдно, — всерьёз проговорила Валентина Георгиевна, как только за ним закрылась дверь. — Сами видите, что дожди, что машины буксуют, что начальник поседел за эти дни, а вы — справку... Мост-то вам нужней, чем нам... — и губы её задрожали.

— Ну ладно, ладно вам... — удивлённо и испуганно сказала девушка. — Завтра ещё поработаем, только справку напишите.

Раздался стук в стену. Валентина Георгиевна пошла к начальнику. Он что-то писал, видимо забыв о шестнадцатой машине. Тимофеева не было.

— Вот я тут... — сказал Иван Семёнович с большими паузами, про-

должая писать, — выписываю те документы... которые вы должны подготовить... сегодня к вечеру. Сегодня еду в Москву, — он решительно бросил карандаш. — Надо им там доказать, что сейчас не на машинах, а на лодках приходится материалы возить.

## 2

Вскоре после отъезда Ивана Семёновича погода направилась, засияло горячее солнце, и Валентина Георгиевна смогла, наконец, отправиться на работу в своих любимых белых туфлях.

В кабинете Ивана Семёновича стало пусто и гулко. На окне стояли высохшие, насорившие по подоконнику цветы.

Одинаково красиво заточенные карандаши торчали из медного стаканчика вверх остриями.

Всегда, когда Иван Семёнович уезжал, у Валентины Георгиевны портилось настроение. В эти дни было особенно заметно, что сотрудники интересуются ею только в связи с начальником. Печатать было почти нечего, стука в стену не раздавалось, телефон звонил редко. Кроме того, Валентина Георгиевна беспокоилась, как там в Москве Иван Семёнович обходится один и кто ему разыскивает нужные справки.

К обеденному перерыву она исполнила все текущие дела, напонила отделам о представлении декадной отчётности и пошла нарвать свежих цветов.

Мост строился примерно в полутора километрах от конторы, и с крутого берега издали были видны опоры, поднимающиеся над спокойной водой. На одной из опор было пусто, а на двух других копошились люди, и Валентине Георгиевне вспомнилась фраза, которую она недавно печатала под диктовку Ивана Семёновича: «ввиду недостатка инертных, сконцентрировать бетонные работы в первую очередь на второй и третьей опорах».

Через реку тянулся временный мостик на неошкуренных оранжевых сваях. Проект этого мостика Иван Семёнович набросал в течение десяти минут на коробке «Казбек», и Валентине Георгиевне тогда казалось, что этот мостик обязательно провалится. По мостику на вагонетках подвозили к опорам бутовый камень, бетон, подтоварник, арматурное железо, скобы, гвозди и множество других материалов, названия которых едва умещались на восемнадцати страницах заявки отдела снабжения. Везли и агласно-жёлтую дюймовку свежего распила, ту самую, по поводу которой несколько дней тому назад Валентина Георгиевна сорвала голос, передавая телефонограмму: «Срочно отгружайте дюймовые доски, срываются бетонные работы».

Чем ближе подходила Валентина Георгиевна к мосту, тем явственней различала в бодрящем слитном шуме стройки отдельные звуки: и отчётливый, долетающий с опозданием стук сверкающего на второй опоре топора — от первого, пробного удара обухом по гвоздю до последнего, оглушительно-победного, когда длинный гвоздь загнан по шляпку; и пенье пилы на третьей опоре, сперва тихое, срывающееся, когда упрямое полотно приходится направлять большим пальцем на путь истинный, а затем звонкое и волнистое, когда смирившаяся пила входит во вкус и брызжет струями опилок; и глухое шлёпанье дизель-бабы, заколачивающей сваи у правого берега; и хватающий за душу скрежет гранитного щебня о сталь барабана бетономешалки; и торопливое туканье движка за насыпью, то утихающее, то усиливающееся, словно движок то убегает куда-то, то возвращается; и неожиданный гром разгружаемых брёвен на правом берегу.



И ко всему этому деловому шуму, стуку и грохоту, который после многодневных расчётов, споров, заседаний и утверждений возник по воле уехавшего в Москву Ивана Семёновича, Валентина Георгиевна имела определённое касательство, и это радовало её. Она шла по упругому слою слежавшейся стружки, по коварным брёвнам, норovingим выкатиться из-под ног, по свежештампованному ребристому следу пяти-тонного самосвала, и с ней изредка здоровались люди, которых она не помнила в лицо. Она поднялась по осыпающемуся откосу левобережного подхода и пошла дальше, мимо барж, снаряжаемых для подачи на плаву пролётного строения, к своей любимой полянке, где росли лютики, ромашки и ещё какие-то красенькие цветы, названия которых Валентина Георгиевна не знала.

Полянка эта находилась между узким рукавом реки и ельником, состоящим из молодых ёлочек с хвойными крестиками на макушках. Когда поднимался ветерок, цветы приходили в движение и как будто играли в пятнашки, а ёлочки смешно раскланивались друг с другом. Шум стройки почти не доносился сюда, и только изредка лениво проплывающий обрезок бревна с цифрой, написанной на торце мелом, напоминал об идущей невдалеке работе.

Собирая цветы, Валентина Георгиевна мечтала. Она мечтала о том, что Ивана Семёновича назначат начальником управления и у него будет кабинет с шёлковыми шторами и звонком для вызова секретарши, и в приёмной будут стоять одинаковые шкафы, и в каждом шкафу одинаковые папки с автоматическими шивателями, и номера на корешки Валентина Георгиевна будет наклеивать, вырезая цифры из прошлогодних календарей, и папок будет так много, что по ночам Иван Семёнович станет посылать за ней машину, чтобы разыскать нужную бумажку. Так мечтала Валентина Георгиевна, а мимо неё бестолково, словно клочки бумажки, подхваченные ветром, пролетали мотыльки. Валентина Георгиевна работала с Иваном Семёновичем девятый год и не могла себе представить другого начальника. До этого она лет десять работала машинисткой в машинном бюро технического издательства. Во время войны, когда машинное бюро расформировали, она отправилась в воинскую часть и упросила принять её на любую должность. Её оформили в качестве вольнонаёмного секретаря-машинистки к инженер-капитану Гурьеву, и с тех пор она всё время путешествовала с ним со стройки на стройку. Внешняя суровость и замкнутость Валентины Георгиевны мешали ей подружиться с товарищами по работе. Единственное увлечение её странно кончилось: однажды во фронтовой газете она увидела портрет моряка, похожего на Чкалова, и, пораженная его подвигом, она напечатала ему письмо в двух экземплярах. Один экземпляр она оставила себе, а второй отправила через газету моряку. Переписка завязалась. Валентина Георгиевна в то время работала в военно-дорожном управлении, где-то под Тихвином, моряк воевал под Ленинградом. Письма шли часто и регулярно. В одном из писем моряк попросил у Валентины Георгиевны карточку. Она срезала с доски почёта свою фотографию, послала её и стала считать дни. Однако после этого письма переписка внезапно оборвалась — и Иван Семёнович, знавший все несложные секреты Валентины Георгиевны, старался убедить её, что моряк, конечно, погиб, хотя сам в этом не был уверен.

Нарвав цветов, Валентина Георгиевна подошла к берегу и села на пенёк, посмотрев предварительно, нет ли поблизости ящерицы.

Рукав реки казался бездонным от отражения густых облаков и нежного голубого неба. На спокойной воде, среди клеёнчатых листьев лилий изредка возникали, словно от упавшей капли, медленные круги

и вздрагивал белый цветок, тронутый рыбой. Потрескивая крыльями, низко над водой гонялись друг за другом стрекозы. Противоположный берег реки и дальний лес в тёплом воздухе виднелись словно в тумане.

Не обращая на всё это внимания, Валентина Георгиевна, со строгим лицом оценивая каждый цветок, составляла букет и так была погружена в это занятие, что не слышала шагов Тимофеева.

— Начальнику? — спросил Тимофеев, глядя на цветы.

— Да. В кабинет начальника, — поправила Валентина Георгиевна, взглянув на Тимофеева через плечо.

— Скоро приезжает?

— Да. Дня через два.

— Можете его порадовать. По вывозке гравия почти дотянули до плана. Вот что значит без дождичка.

— Да. По данным метеорологов, завтра тоже не будет осадков.

— Что это вы так неловко цветы перебираете, Валентина Георгиевна?

— Пальцы болят. Нервное или от машинки — не знаю, — ответила Валентина Георгиевна, тронутая тоном его голоса.

Тимофеев сел на землю, осторожно собрал упавшие с колен её лютки и подал.

— Почему вы всегда небритый? — спросила Валентина Георгиевна, чуть краснея и боясь, что он взглянет на её лицо.

— А для кого бриться?

— Для себя.

Тимофеев о чём-то подумал и вздохнул.

— Незачем и времени нет. Работа у нас идёт как-то бестолково. Главный прорыв с вывозкой инертных, а последний лигроин тракторам отдали. Трактора в любую погоду смогут работать, а для машин эти минуты — золото. Завтра машины станут.

— Да? — сухо сказала Валентина Георгиевна, чувствуя в словах Тимофеева упрёк Ивану Семёновичу.

— Вот вам и да. Все мы хорошо, да вразброд работаем. Не кулаком бьём, а пятернёй. Хозяина нет. Оттого и пальцы у нас болят.

— Благодарю. Больше не надо подбирать, — раздражённо сказала Валентина Георгиевна.

— Не надо — так не надо, — Тимофеев поднялся и зашагал к мосту.

Переждав, пока он скрылся за холмом, пошла на работу и Валентина Георгиевна. Вечером дел оказалось немного, и она довольно рано вернулась в деревню, погладила блузку, почитала Чехова и рано улеглась спать.

В полусне ей вдруг показалось, что в ведомости, составленной по просьбе начальника перед его отъездом в Москву, она напечатала 107 кубометров уложенного бетона вместо 127. Она вскочила со своей раскладушки, быстро оделась и, побавиваясь темноты, побежала в контору смотреть копию. Всё оказалось правильно: было напечатано 127 кубометров.

Валентина Георгиевна успокоилась и вернулась домой очень поздно, когда на мосту одиноко постукивала дизель-баба.

Через два дня вернулся Иван Семёнович с каким-то незнакомым человеком. С приездом начальника у Валентины Георгиевны появилось много крупных и мелких дел, и ей некогда было рассматривать приезжего. Она заметила только, что он наклоняет голову, переступая порог,

и носит под пиджаком жилетку. На следующий день с самого утра приезжий снова появился в конторе в сопровождении Ивана Семёновича, и Валентина Георгиевна рассмотрела его подробнее. Это был высокий и сильный, начавший лысеть мужчина лет тридцати пяти — тридцати восьми. На нём был выгоревший чёрный пиджак, такая же жилетка и заправленные в казённые керзовые сапоги брюки. Из кармана жилетки торчала маленькая логарифмическая линейка. Лицо и руки его густо загорели, словно он только что приехал с курорта, и на руках росли волосы.

Вместе с Иваном Семёновичем приезжий прошёл в кабинет, и Иван Семёнович, высунувшись из полуоткрытой двери, предупредил, чтобы к нему никого не пускали.

— Да, — сказала Валентина Георгиевна. На строительство часто приезжали инспекторы и ревизоры из управления, и она привыкла к этому.

После обеда, когда она печатала инструкцию противопожарной безопасности, подошёл Тимофеев и вполголоса спросил, кивнув на дверь:

— Ну, как вам показался новый?

— Что за новый? — не поняла Валентина Георгиевна.

— Да что вы, не видите? — удивился Тимофеев. — Иван Семёнович-то дела сдаёт.

И тут вдруг Валентина Георгиевна поняла, почему Иван Семёнович просил принести то документацию, связанную с техническим проектом, то акты на скрытые работы, то бухгалтерскую отчётность, почему велел никого не пускать в кабинет. Она пробовала печатать дальше, но в каждой строчке стала делать ошибку и бросила.

Не первый раз Ивана Семёновича переводят на другой объект, но всегда об этом раньше всех узнавала Валентина Георгиевна. Начальник вызывал её в кабинет, сообщал, что они отправляются тогда-то, туда-то, предупреждал, чтобы никому пока об этом не говорить, давал наставления, связанные с отъездом.

Валентина Георгиевна была оскорблена тем, что узнала об отъезде от Тимофеева. Дождавшись, когда новый начальник вышел из кабинета, она решительно поднялась и, не постучавшись как обычно, вошла к Ивану Семёновичу.

Иван Семёнович сидел за столом, но не на своём обычном месте, а сбоку, на табуретке, и что-то писал. Взглянув на Валентину Георгиевну, он ничего не сказал и продолжал писать, ещё ниже наклонив свою седую голову.

— Иван Семёнович, мы уезжаем? — спросила она.

Начальник медленно выпрямился, смущённо посмотрел на Валентину Георгиевну и проговорил:

— Да, приходится ехать... Ничего не поделаешь... Меня назначают начальником технического отдела управления. Говорят, что постарел для производства... Ничего не поделаешь... Вот ведь беда, не замечаем мы старости...

И он улыбнулся грустной улыбкой.

— Когда же нам собираться?

— Видите ли, Валентина Георгиевна, — сказал Иван Семёнович, тщательно поправляя буквы в недописанной бумаге. — Мне придётся уехать на этот раз одному... Начальник управления приказал, чтобы ни одного работника со строительства я не увозил с собой... Ничего не поделаешь...

— А как же я? — удивилась Валентина Георгиевна.

— Ничего, ничего... — Иван Семёнович встал и так же неумело, как тогда бригадиршу, похлопал её по плечу, — немного поработаете, а там я вас вызову... А сейчас неудобно... Да и что вам за охота тащиться за мной, за стариком, в душный город...

— Да, — машинально сказала поражённая Валентина Георгиевна.

— То ли дело на строительстве... — печально продолжал Иван Семёнович. — Река, лес, поле... Чистый воздух...

На следующий день Иван Семёнович остался дома собирать вещи, а новый начальник со странной фамилией Непейвода водворился в кабинете. Он был уже там, когда Валентина Георгиевна пришла на работу. Дверь в кабинет была открыта настежь.

— Валентина Георгиевна! — крикнул из кабинета новый начальник, громко и отчётливо произнося каждую букву.

«Господи, он уже знает моё имя-отчество», — вздрогнув, подумала Валентина Георгиевна и, стараясь не торопиться, вошла в кабинет.

Непейвода сидел, разложив по столу волосатые руки, и письменный стол показался Валентине Георгиевне гораздо меньше, чем при Иване Семёновиче. Начальник смотрел на секретаршу, чуть склонив голову набок, отчего казалось, что он разглядывает её иронически.

— Да, — сухо проговорила Валентина Георгиевна.

Непейвода смотрел всё так же молча в упор, в переносицу Валентине Георгиевне, смотрел долгим, изучающим взглядом до того пристально, что переносица зачесалась.

— Уберите, пожалуйста, эти разноцветные карандашники, — сказал Непейвода. — Мне тут некогда будет картинку рисовать. Достаточно одного карандаша.

— Да, — отозвалась Валентина Георгиевна.

— И ещё. Скажите, чтобы поставили вот здесь, в углу, рукомойник.

— Что?

— Рукомойник. Механизм, из которого умываются. — Начальник поднялся во весь свой рост, и тень его упала Валентине Георгиевне на ноги. Она посторонилась от тени. — И корыто или ведро. Мыло и полотенце я принесу сам.

— Где же я возьму рукомойник?

— Вот ещё проблема. Рукомойника не найти. На худой конец пусть принесут банку из-под олифы и шестидюймовый пвзодь. Я сам сделаю рукомойник.

— Да, — сказала Валентина Георгиевна.

— И потом отпечатайте вот это в виде приказа, — он подал испанный беглым почерком клочок бумаги, — и разошлите по участкам. Сегодня же.

Глаза его сказали «всё». Валентина Георгиевна вышла.

Она села за свой столик, надела на пальцы резиновые колпачки и стала печатать:

«П р и к а з № 69.

село Отрадное

26 июня 19... года

С сего числа приступил к исполнению обязанностей начальника строительства моста через реку Валовая.

Основание: Распоряжение начальника Главного Мостового Управления от 21 июня сего года за № 3751/ОК».

Валентина Георгиевна сняла колпачки, написала на трёх экземплярах «С подлинным верно», расписалась и заплакала.

После отъезда Ивана Семёновича на строительстве всё пошло вверх дном. У прораба левого берега отобрали полуторку, а сам прораб перестал быть прорабом левого берега, а стал называться прорабом бетонных работ строительства; земляные работы на подходах правого берега были прекращены; прораба правого берега назначили заведовать карьерами, а человек шестьдесят рабочих перебросили на ремонт подъездных путей к гравийному карьере. Тракторы и некоторые другие механизмы остановились, потому что пять тонн начальник приказал залить в НЗ, а остальным горючим стал распоряжаться Тимофеев, который ничего, кроме своих автомашин, не заправлял. Откуда-то новый начальник узнал о заброшенном гравийном карьере на берегу реки, видимо о том самом, про который говорила бригадириша возчиков, притащил оттуда целый мешок земли и гальки, высыпал в кабинете и велел послать на анализ. Новый начальник с самого рассвета ездил по карьерам и по строительной площадке, приезжал грязный, осыпанный щебёночной и цементной пылью, раздевался в кабинете до пояса и мылся, разплёскивая по стенам воду. В те считанные часы, когда он находился в конторе, дверь кабинета была распахнута настежь, и он принимал всех без разбора и без доклада и не стучал в стенку, как бывало Иван Семёнович, а кричал на весь дом «Валентина Георгиевна!», когда нужна была какая-нибудь справка. В конторе стали появляться новые люди: работники райисполкома, представители райкома партии. С ними у Непейводы сразу же установились отличные отношения, и он часто звонил в райцентр и оглушительно хохотал в трубку.

Больше всего от нового начальника доставалось Тимофееву, хотя он и стал одним из главных людей строительства. Однажды начальник увидел железную бочку с горючим, лежащую на солнцепёке. Он вызвал Тимофеева и велел написать и вывесить на складе горючего такой плакат: «Из бочки, оставленной под солнцем, испаряется за день столько горючего, сколько хватило бы на пятьдесят километров пробега трёхтонки». Тимофеев в это не верил, но плакат поручил написать и сам повесил. Потом начальник откуда-то узнал про обмен «лягушки» из каменного карьера. Он приказал отвезти насос обратно и вычесть стоимость израсходованного горючего из зарплаты Тимофеева. Тимофеев пришёл было спорить, но начальник сказал, что не станет с ним разговаривать до тех пор, пока он не побреется. Тимофеев побрился, начальник его принял, но приказания не отменил.

Валентине Георгиевне казалось, что так же, как и она, все остальные недовольны новым начальником и с сожалением вспоминают об Иване Семёновиче. Она очень тосковала о нём, и в тот день, когда увидела на чертеже, только что присланном из Москвы, знакомую подпись и новый титул Ивана Семёновича: «Начальник технического отдела», обрадовалась так, словно получила от него письмо. Она долго думала, с кем бы поделиться своей радостью и наконец подозвала тётю Пашу.

— Вы узнаете эту подпись? — спросила она загадочно.

Тётя Паша не узнавала.

— Да это же Иван Семёнович подписал! Он теперь работает в Москве и рассылает проекты на все строительства.

— Вот ведь как... — неопределённо проговорила тётя Паша и, подумав, добавила: — Полы-то сейчас мыть или после?

Валентина Георгиевна обиделась и спрятала чертежи, но когда вошёл Тимофеев, не удержалась и вынула их снова.

— Узнаёте подпись? — спросила она.

— Как же. Вот сейчас старик на месте сидит. Ну-ка покажите... —

он начал внимательно разглядывать чертёж. — Смотрите-ка, запроектировали какую толщину: двенадцать сантиметров асфальтобетона. Что они там — белены объелись, что ли. Ещё придётся и асфальтобетон возить — не перевозить.

— Значит, так следует по техническим условиям, — строго заметила Валентина Георгиевна. — Иван Семёнович знает.

— Ну что же. Если следует по техническим условиям, перевезём, — примирительно сказал Тимофеев. — Теперь дела веселей пошли.

— Дела пошли веселей потому, что кончились дожди, — Валентина Георгиевна вспыхнула.

— И дожди кончились, и работаем умней. Все силы брошены на обеспечение вывозки — на самое узкое место.

— Вам хорошо рассуждать. Вы сейчас в центре внимания. А послушайте, что говорят прорабы.

— Прорабы ничего не говорят. Это тогда они много говорили. А теперь им некогда — работать надо.

Слова Тимофеева поразили Валентину Георгиевну. Уж кто-кто как не Тимофеев, у которого с приездом нового начальника кончилась спокойная жизнь, должен бы ценить и поминать добрым словом Ивана Семёновича. А он ходит бритый, улыбается и не сомневается в том, что перевезёт на своих шестнадцати машинах всё что только ему захочется.

В этот день Валентина Георгиевна поймала себя на гадкой мысли: ей хотелось, чтобы снова пошли дожди. Условия были слишком неравными для сравнения нового начальника со старым. Вот если опять пойдёт дождь, застрянут на дорогах машины, зальёт карьер, остановятся бетономешалки — вот тогда всем и станет ясно, что Иван Семёнович лучше Нелейводы.

И Валентина Георгиевна стала ждать дождя.

В избе, где она жила вместе с хозяйками-колхозницами и двумя чертёжницами, говорили как-то, что если гусь стоит на одной ноге — значит будет холод и дождь.

Утром, отправляясь на работу, Валентина Георгиевна выходила во двор и, в душе презирая себя за это, смотрела на гусей. При её приближении гуси тихо переговаривались между собой, будто им были известны её тайные мысли.

Однажды, проснувшись, она увидела, что хозяева завтракают при свете лампы. В комнате было сумрачно, и ей показалось со сна, что ещё продолжается вечер. Первое, что она увидела, выглянув в окно, была ворона. Ворона сидела под козырьком крыльца противоположного дома и отряхивалась, как собака. Шёл серый обложной дождь. Хозяйка сердито выбрасывала из сундука сапоги и галоши. Валентина Георгиевна быстро оделась, раскрыла зонтик и, напевая под нос, пошла в контору.

В кабинете начальника было полно народу.

Десятников-строителей закрепляли за дорогами. На тяжёлые места посылали тракторы, заправленные горючим из НЗ, для выволакивания застрявших машин. Был отдан приказ сделать над опорами крыши и ни под каким видом не прекращать бетонные работы. Начальник пытался дозвониться до Москвы, но линия была повреждена. В общем стояла такая кутерьма, что у Валентины Георгиевны разболелась голова. Наконец начальник уехал, контора опустела, и Валентина Георгиевна смогла заняться своими обычными делами.

Часа через два залепанный грязью и мокрый начальник примчался в контору, снова пытался звонить в Москву и снова безрезультатно. Тогда он стал умываться и, умываясь, диктовать Валентине Георгиевне текст телеграммы:

— Молния. Начальнику производственного отдела управления. Написали? Несмотря на то, что образцы гравия карьера берегу Валовая были посланы лабораторию неделю назад, результатов испытания нет. Написали? Визуальному заключению гравий вполне пригоден для бетона, соответствует техническим условиям. Прошу немедленно телеграфного сообщения результата испытаний, — продолжал начальник, разбрызгивая во все стороны воду, — или начну применять гравий дело. Точка. Не могу больше итти поводу ваших медлительных работников.

— Мы это пишем в управление? — намекнула Валентина Георгиевна, деликатно пытаюсь обратить внимание начальника на резкость выражений. Но начальник не понял намёка.

— В управление. А что? — сказал он, брызгая ей на чулки.

— Ничего, — ответила она и подумала: «Какое мне, в конце концов, до этого дело». — Итак, я написала: «медлительных работников»...

— Так. Пишите: дальнейшем прошу оперативнее оказывать помощь местам делом, а не формами циркулярами. Непейвода. Всё. И позовите начальника производственно-технического отдела.

«Вот оно и начинается, — думала Валентина Георгиевна, подсаживаясь к машинке. — Как дождь пошёл, так сразу телеграмма в Москву на сто рублей». Перепечатав текст, она пошла в кабинет за подписью. Непейвода взял карандаш, чтобы расписаться, но задумался и сказал начальнику производственно-технического отдела:

— Если они так сильно зашились с анализами, как вы говорите, то все наши телеграммы — чепуха. Через неделю нам нужны уже не анализы, а готовые опоры. Вы не знаете, когда из этого карьера в последний раз брали гравий?

Начальник отдела не знал.

— И вы не знаете?

Валентина Георгиевна тоже не знала.

— Кого бы послать в деревню разузнать об этом? — спросил Непейвода. — Да побыстрей бы.

Стали думать, кого послать. Но в связи с плохой погодой почти все люди были на линии. Оставшийся в производственном отделе техник перedelывал проект плана на июль, с которым и так очень запаздывали. Все люди были заняты. Начальник посмотрел на Валентину Георгиевну и внезапно спросил:

— Вы верхом ездите?

— Что? — удивилась она.

— Нет, наверное, не ездите, — разочарованно продолжал он. — Я думал, что в армии научились.

— В армии я ездила на машине. Иван Семёнович всегда предоставлял мне кабинку, — и она значительно прикрыла глаза.

— Но сейчас, — начальник посмотрел в окно, — на машине нельзя проехать. Не смогли бы вы пойти в деревню и узнать об этом карьере у местных жителей или у председателя колхоза? А?

— Хорошо, — сказала Валентина Георгиевна, пожав плечами и думая о том, что если инженеры стали дорожными мастерами, почему бы ей не стать курьером.

— Только вам придётся итти пешком.

— Да, конечно.

Она вышла в приёмную и, прислушиваясь к визгу дождя, надела резиновые сапоги, лёгонькое пальто с плечиками, подняла воротник, взяла зонтик и направилась к выходу.

— Валентина Георгиевна, — сказал начальник.

Она немного обернулась, не желая встречаться с ним взглядом.

— Неужели вы так думаете итти?

— А как же мне итти?

— Вы промокнете до нитки. Подождите.

Он вынес из кабинета большой, заскорузлый брезентовый плащ с военными пуговицами и с многозначным числом, напечатанным на полё чёрной краской. От плаща пахло табаком.

— Надевайте, — сказал начальник, раскрывая плащ.

Плащ оказался большим даже для высокой Валентины Георгиевны. Начальник застегнул его на все пуговицы, подвернул рукава и натянул на шляпку жёсткий капюшон.

— Вот теперь хорошо. А зонтик оставьте... Если в одной деревне не узнаете — идите в другую. Желаю успеха.

Валентина Георгиевна сунула в карман припасённый на завтрак бутерброд, завернутый в кальку, и вышла.

Дождь лил нудный, равномерный, без грома и без молнии, но густой и непрозрачный. Впереди было плохо видно. Река казалась белой от падающих капель и словно кипела. Дорога набухла, была скользкой, и Валентина Георгиевна перепрыгнула через канаву на траву. По траве итти стало легче. Из-под ног тяжело выпрыгивали мокрые лягушки, похожие на солёные огурцы. Дождь гулко, как по крыше, стучал по капюшону, но внутрь не проникало ни одной капли, и Валентине Георгиевне показалось даже приятным шагать в длинном, просторном плаще по мокрому полю. «Как в беседке», — подумала она, поёживаясь.

Хозяева удивились её неурочному появлению. Никаких сведений о гравийном карьере они дать не могли и не знали даже об его существовании. Видимо, этот карьер был давным-давно заброшен. Хозяин посоветовал наведаться к дорожному мастеру, который жил на краю деревни. Дорожный мастер, парень молодой и весёлый, достал дорожную ленту, аккуратно вычерченную на миллиметровке, нашёл условный знак карьера, возле которого указана была мощность (около 5 000 кубометров гравия), но сказал, что дорожники этим гравием не пользуются. Когда из карьера брали материал и для какой цели — он не знал и твёрдо заявил Валентине Георгиевне, что об этом не знает никто из деревенских.

— Вот в «Колосе», в соседнем колхозе, — сказал дорожный мастер, — сохранились ещё старики, которые работали до революции у подрядчиков на железной дороге — те, наверное, копались в этом карьере.

И Валентина Георгиевна отправилась в «Колос».

Путь туда был много трудней. Приходилось подниматься на гору, спускаться в овраги. По обе стороны покатой и скользкой дороги чернела пашня, и, пройдя полкилометра, Валентина Георгиевна еле волочила сапоги, увешанные тяжёлыми, как свинец, комьями глины. Из увязающих в грязи резиновых сапог вынимались ноги. Плащ набух и давил на плечи. Валентина Георгиевна шла, всё больше раздражаясь бессмысленностью данного ей поручения и всё сильнее подозревая Непейводу в том, что он послал её мокнуть под дождём в отместку за неприязненное к нему отношение.

Вскоре ей захотелось есть. Она вспомнила о бутерброде, остановилась, осматриваясь, где бы посидеть, но кругом темнела рыхлая пашня, редкие кусты и грязная дорога. Кроме того, бутерброд превратился в жёлтое месиво, состоящее из теста, кальки и крошек табака, и всё это пришлось выкинуть. «Вот бы Иван Семёнович увидел меня в таком положении», — подумала Валентина Георгиевна, двинувшись дальше. Длительность пути начинала её беспокоить. Дорожный мастер говорил, что «Колос» находится в пяти километрах от деревни, а Валентина Георгиевна считала, что прошла уже не меньше восьми.



«Уж не заблудилась ли я», — подумала она, боясь признаться себе в том, что на развилках двух дорог всегда выбирала ту, по которой, казалось, легче итти. Постояв немного в надежде, что появится человек, и никого не дождавшись, она решила итти вперёд и сворачивать на развилках всё время на левую дорогу. Пройдя таким образом ещё около часа, она, наконец, увидела смутно темнеющие сараи, вышла на огорода какой-то деревни и постучалась в первую попавшуюся избу. Ей крикнули, чтобы заходила. Она прошла тёмными сенями, в которых спасались от дождя куры, и очутилась в просторной горнице. За столом обедали три человека: старушка, девушка и парень, глазами похожий на старушку. Он поднялся и помог Валентине Георгиевне снять плащ, до того жёсткий, что казалось, если его поставить, он так бы и остался стоять. Старушка принесла тёплые валенки и посоветовала снять сапоги.

— Боже мой, уже пятый час, — сказала Валентина Георгиевна, взглянув на ходики.

— Да вы откуда сами-то? — спросила девушка и, увидев мужской галстук, воскликнула: — Лёшка, да это ведь с моста тётенька!

Валентина Георгиевна пригляделась и узнала ту самую бригадиршу, которая приходила за справкой.

— Ясно, с моста, — продолжала бригадирша. — Опять за подводами?

— Нет, нет... Вас как звать? Кажется, Оля?

— Да, — засмеялась бригадирша. — Сколько у вас народа, а меня, смотри-ка, запомнили... Знакомьтесь, это муж мой, Алексей. А это бабка. Вы его не бойтесь, он на вид только такой, а на самом деле тихий.

Алексей, парень лет двадцати двух, но уже с солидными манерами главы семейства, отставил тарелку и сказал:

— Не видишь, что ли, — с дороги человек. Сперва поесть подай, а потом стрекочи.

— Нет, нет... Благодарю вас... — говорила Валентина Георгиевна, страшась, как бы хозяева не приняли всерьёз её отказа. Но старушка уже осторожно вытягивала из буфета старинную, стоявшую на ребре, тарелку, стараясь не потревожить чашек и рюмок. Оля, прижав к груди каравай, отрезала крупные ноздреватые ломти.

— Чего это вы к нам? — спросила она.

— Я заблудилась. Мне нужно в «Колос».

— Нужно в «Колос», а мы — «Новый путь». Вон какого крюка дали! — сказала из кухни старушка.

— А что вам в «Колосе» надо? — не унималась Оля.

— Хочу узнать о карьере, про который вы тогда говорили.

— Вот что. Значит, из того карьера теперь брать гравий будете... Нужда-то, она заставит.

— Когда из него брали гравий? — спросила Валентина Георгиевна, погружая ложку в густые щи.

— Из него давно не берут, — сказала Оля, — весь обрыв кустами зарос.

— Оттуда гравель на железную дорогу, я думаю, брали, — сказала старушка из кухни.

— Когда это было?

— Ещё до войны.

— До какой войны?

— Ещё до той. До тихой войны. При царе.

— А позже?

— Позже, я думаю, на дорогу брали.

— Ты, бабушка, не знаешь, так не путай, — сказал Алексей, поднимаясь из-за стола и надевая пальто. — На дорогу-то мы от кривой бал-

ки возим. А этот карьер, про который они говорят, километров за пятнадцать отсюда. На что нам из такой дали возить.

— У кого бы узнать точно? — спросила Валентина Георгиевна. — Мне это очень нужно.

— У нас вам точно узнать не у кого... — раздумывая, проговорил Алексей.

— Мне об этом карьере изыскатели рассказывали, — перебила его Оля, — они сейчас в райцентре все, старичок там у них есть, ихний начальник, он и говорит.

— Старичок тоже в райцентре?

— Тоже, я думаю, там...

— Как его фамилия?

— Фамилия? Вот фамилию позабыла...

— Это у которого рука сохнет? Не Мошкарров ли? — откликнулась из кухни старушка. — Помнится мне, что Мошкарров.

— Да не путай ты, бабушка, — сказал Алексей. — Когда не знаешь, так не путай. Это тот сухорукий, который у Евграфовых стоял? — обратился он к жене.

— Тот самый.

— Обождите-ка, я сейчас Евграфова спрошу.

Алексей ушёл. Минут через десять он вернулся. С ним пришёл бородатый мужчина в шинели, накинутой на плечи.

— Комаров его фамилия, — объявил Алексей. — Комаров, Василий Игнатьевич.

— Погоди, я сам скажу, — остановил его бородатый мужчина, снял шинель, отёр об неё мокрые руки и присел к столу. — Это вы с моста? — почтительно спросил он. — Так вот, берите бумажку и записывайте, чтобы не позабыть. Пишите: Комаров, Василий Игнатьевич, инженер путей сообщения. Удивительный человек, всё тут от края до края знает: и землю, и дороги, и самые малые мостики. Он вам на любой вопрос справку даст. Живёт он сейчас в райцентре, недалеко от Советской площади. Как пройдёшь, стало быть, мимо кино, так вот во второй заулочек поворачивай, четвёртый или пятый дом слева, там увидишь железную крышу над крыльцом...

Бородатый мужчина долго объяснял, как найти Комарова, как будто ему это было нужно больше, чем Валентине Георгиевне.

— Сколько отсюда до райцентра? — спросила она.

— По шоссе считают восемнадцать километров...

— Хорошо. Сейчас вернусь и доложу начальству.

— Я в МТС еду, — сказал Алексей. — Хотите, подвезу? Мне по пути.

Когда он кончил запрягать, Валентина Георгиевна попрощалась и вышла во двор. Был девятый час вечера. Дождь теперь не лил, а сыпался отдельными каплями, холодными и острыми, и в темноте шум дождя стал слышнее, чем днём. Валентина Георгиевна ощупью нашла телегу, уселась в мокрое сено, Алексей сказал: «Подберите ноги, сейчас будет столб» — и они тронулись. Бородатый мужчина шёл рядом, держась за телегу и всё объяснял, как найти Комарова, хотя Валентина Георгиевна уже благодарила его и говорила, что всё поняла. Наконец он отстал. Больше чем полпути Валентина Георгиевна ехала с молчаливым Алексеем, но утомилась от этой поездки не меньше, чем от ходьбы, потому что телегу заносило то в одну, то в другую сторону и почти опрокидывало. Остальные пять или шесть километров она шла пешком, размышляя, что рабочий день кончился, что в избе её ждёт крынка с

тёплым, парным молоком, провисшая чистая раскладушка и томик Чехова.

Вдали показались огни конторы. Электрический свет вырывался в вечернюю мутную мглу плотными прожекторными лучами. Войдя в приёмную, которая впервые показалась ей родной и уютной, Валентина Георгиевна сняла резиновые сапоги, надела туфли и пошла к начальнику.

— Ну как, узнали? — нетерпеливо спросил он, бросив писать.

— Нет. Никто не знает.

— Плохо! — отрезал начальник и снова принялся писать что-то.

— В райцентре есть какой-то Комаров, инженер, — продолжала Валентина Георгиевна, глядя на его волосатые руки, — он много лет работал, говорят, начальником изыскательской партии...

— Что говорит Комаров?

— Так он же в райцентре.

— Значит, вы его не видели?

— Конечно, нет... В деревне мне объяснили только, где он живёт.

— Надо будет съездить к нему, — подумав сказал начальник.

— Хорошо.

— Сейчас я вызову машину.

— Сейчас ехать? — удивилась Валентина Георгиевна. — Но...

— А когда же. До райцентра — хорошее шоссе... Алло, дайте автоколонну... Час туда, час обратно. К тому же вы поедете в кабине. ...Алло, кто это? Товарищ Тимофеев? Скажите, чтобы заправили полуторку... Да... В райцентр... — он положил трубку. — Если вы привезёте благоприятные сведения, Валентина Георгиевна, то поможете строительству больше, чем все наши машины. Понимаете?

— Да, — ответила Валентина Георгиевна и пошла снимать туфли и надевать резиновые сапоги.

Шофёр, который повёз Валентину Георгиевну, оказался утомительно говорливым парнем. Он не переставая рассказывал содержание кинокартин, и этому не предвиделось конца. Валентина Георгиевна сначала честно слушала его, потом задремала, потом проснулась и снова начала слушать.

Дождь всё шёл, и в свете фар казалось, что капли пулями летят в радиатор.

Ехали быстро. На ухабах в кузове грохотало запасное колесо. Город показался в первом часу ночи. Людей на улицах почти не было.

— Теперь куда? — спросил шофёр.

— Я и сама не знаю, куда, — сказала полусонная Валентина Георгиевна, — куда-то к Советской площади.

Шофёр открыл дверцу, крикнул кому-то «Эй, малый!» и долго спрашивал не видимого в темноте пешехода. Потом поехали дальше и, наконец, выехали на площадь, где в свете фонарей виднелись закрытая парикмахерская, закрытый «Гастроном», закрытая фотография и закрытое кино. Возле дверей кино стояла фанерная афиша с оплывшими синими буквами. В одном из окон трёхэтажного дома за спущенной занавеской светился уютный оранжевый абажур, и Валентине Георгиевне почему-то показалось, что там сейчас играют в лото.

— А теперь куда? — снова спросил шофёр.

— От кино во второй переулок, и там где-то живёт инженер Комаров, — устало ответила Валентина Георгиевна. — Прямо не знаю, как мы его найдём среди ночи.

— Разыщем инженера Комарова, — уверенно сказал шофёр.

Они заехали в тёмный переулок. Шофёр выскочил из машины и стал

бесцеремонно стучаться в дверь ближайшего дома. В доме зажгли свет, открыли окно, стали говорить. Потом окно захлопнулось. Шофёр стучал всё дальше и дальше. «Перебудит всю улицу», — равнодушно подумала Валентина Георгиевна, засыпая. Проснулась она от тряски.

— Куда мы едем? — испуганно спросила она.

— К инженеру Комарову, — отвечал шофёр. — Вон они, два окна светятся. Вы идите, а я пока свечу почищу.

На крыльце Валентину Георгиевну ждал маленький подвижной старичок в халате и кепке. Она прошла за ним по коридору, цепляясь жёстким плащом за велосипед, за корзину, за вешалку, и очутилась в комнате, оклеенной обоями. Посреди комнаты стоял стол, накрытый чистой скатертью, у стены низкий диван, на котором было постлано Комарову, возле другой стены — ширма. За ширмой слышалось ровное дыхание спящего человека. На столе стояла тарелка, и на неё был натянута мокрая тряпка.

— Вы с мостового перехода через Валовую, — шёпотом, но оживлённо проговорил старичок, моргая ещё не привыкшими к свету глазами. — Очень рад... Присаживайтесь, пожалуйста. Извините, что не могу угостить чаем... Хозяйка спит... Я ведь тоже вроде вас — скиталец.

Валентина Георгиевна шёпотом объяснила, что ей нужно.

— Как же, я этот карьер прекрасно помню. — Старичок улыбнулся. — Я его и нашёл ещё студентом-практикантом, когда бегал купаться на Валовую со своим приятелем, ныне профессором Ленинградского института инженеров транспорта. За эту находку подрядчик, который строил ветку железной дороги, поставил вашему покорному слуге четверть водки, а предки нынешних колхозников избили до полусмерти, сломали руку... А потом, гораздо позже, кажется, в тысяча девятьсот двадцать шестом году, судортрансовские работники по моему совету использовали этот гравий для искусственных сооружений...

— Он годен для бетона?

— По механическим свойствам — вполне. Только вот гранулометрический состав чем-то не отвечает техническим требованиям, но ведь это пустяки. Пропустите через сита, добавьте крупную фракцию... Да вот, зачем далеко ходить, на нашем шоссе, на сто девяносто четвёртом пикете железобетонный мост, — правда, не такой красавец, как ваш, но всё-таки два пролёта по шесть метров, — из этого гравия сделан, и стоит хоть бы что... — шептал старичок.

— И возле Белых Крестов, — неожиданно сказали из-за ширмы.

— Да, да, — уже полным голосом заговорил Комаров, кивая ширме. — Это, Таисия Ивановна, на двести сорок первом пикете, плюс сорок или плюс пятьдесят, не помню.

— Благодарю вас, — поднялась Валентина Георгиевна. — Пойду. Извините, что я тут всех разбудила.

— Пожалуйста, пожалуйста. Милости просим, если ещё что-нибудь понадобится, — говорил старичок, машинально переходя на шёпот. — Милости просим...

Валентина Георгиевна вышла на крыльцо и забралась в кабинку.

Машина рванулась с места, выехала за город и помчалась по шоссе, рассекая лужи, освещая фарами путевые знаки, блестящую листву кустов, покрашенные известью надолбы. Валентина Георгиевна заснула, и ей снилась дорога, струящаяся как река под колёса машины, надолбы, лужи, и когда полуторка подъехала к конторе, ей показалось, что она совсем не спала.

Чувствуя ломоту во всём теле, она вышла из кабинки и сняла в приёмной плащ. Переобуться у неё нехватило сил, и она отправилась к начальнику прямо в резиновых сапогах.

Начальника не было. В кабинете на его месте сидела тётя Паша и читала газету.

— Где Непейвода? — спросила Валентина Георгиевна.

— В карьер поехал. Велел вам дожидаться.

— А ты тут что делаешь?

— Если телефон звонить станет, велел спрашивать, кто звонит.

— Ну ладно. Ты иди. Я дождусь его. Кстати, кто тебе позволил брать газеты начальника?

— А что? Чай, не сгорит у меня в руках газета...

«Вот до чего дошло, — думала усталая Валентина Георгиевна, чуть не падая на табуретку в приёмной, — даже тётя Паша ни в грош не ставит меня. Даже тётя Паша». Острая жалость к себе наполнила её сердце и, быстро вынув листок бумаги, она вставила его в машинку, надела на пальцы колпачки и напечатала:

«Уважаемый Иван Семёнович!»

Она хотела написать, что ей стало невыносимо трудно, что её обижают, что она не имеет ни друзей, ни родных, что перейти ей на другую работу сложно, потому что у неё нет квартиры, что она попрежнему надеется, что он возьмёт её к себе, что ему будет легче с ней, чем с любой другой секретаршей.

Но вот что у неё получилось:

«Напоминаю вам, что не передумала работать с Вами, если, конечно, на моём месте сидит менее удовлетворяющий вас, чем я, человек. Кроме того, я не смогу приехать в Москву, если мне не будет обеспечена комната. Прошу Вас срочно сообщить, каковы в этом отношении перспективы, так как я, очевидно, не останусь здесь на осень, а перейду в другую, более стабильную организацию. Новости у нас следующие: кончили бетонировать вторую и третью опоры, кончаем и первую, завтра приступим к укладке арматуры на эстакаде. Скоро начнём брать гравий с берегового карьера. Выход машин на линию — девяносто процентов.

Уважающая Вас Валентина Георгиевна.»

## 5

Часа в три ночи Непейвода собрал начальников отделов, поехал на сто девяносто четвёртый пикет, нашёл мост, о котором говорил Комаров, и при свете трёх карманных фонариков стал стучать кувалдой по крылу береговой опоры, крикая, как заправский молотобоец. Бетон оказался крепче железа. «Вот вам и лабораторное исследование», — сказал Непейвода, и они поехали обратно.

В шесть часов утра на береговой карьере перегнали трактор со скреперами, начали вскрышные работы, подготовку подъездов, установку грохотов для просеивания гравия, и к полудню первые машины прибыли на стройку с новым материалом.

На другой день суточный план перевозок был перевыполнен. Шофёры, которых раньше считали главными виновниками медленных темпов строительства, повеселели, вошли в азарт, постоянно спорили с погрузчиками, что машина недогружена, и велели сыпать материал до верхней доски борта, объясняя это тем, что хорошо нагружённая машина меньше буксует.

Между тем дождь шёл и шёл, шёл третий день с короткими перерывами, и к нему как-то все приспособились, привыкли. В стенгазете Тимофеев довольно удачно изобразил контору строительства в виде подводного царства, служащих, включая и Непейводу, в виде рыб и только Валентину Георгиевну — русалкой.

Вечером Непейвода позвал её и протянул бумажку:

— Прошу напечатать в трёх экземплярах, — сказал он. — Один — в дело, другой — вывесить на доску приказов, третий — в бухгалтерию. И разрешите поздравить вас.

Не понимая, в чём дело, Валентина Георгиевна пожалала его только что вымытую, приятно-холодную руку и вышла.

Она приготовила бумагу для печатания: один лист хороший — для подписи начальнику, и два других — для бухгалтерии и доски приказов, но вошёл Тимофеев, грязный и оживлённый.

— Вы знаете, сколько сегодня мои пескари вывезли из вашего карьера? — заговорил он.

— Меня это совершенно не интересует, — обрезала Валентина Георгиевна, прикрыв глаза и стараясь показать, что сердится на него за то, что он нарисовал всех — рыбами, а её одну почему-то русалкой.

— Ну что же, — несколько смутившись, проговорил Тимофеев. — Не интересует, так не интересует, — и пошёл к начальнику.

Валентина Георгиевна взяла листочек бумаги и прочла написанное характерным почерком Непейводы, крупными и такими же отчётливыми, как его голос, буквами:

#### «В п р и к а з.

За отличное выполнение задания по установлению качества гравия в карьере у реки Валовая, что позволило значительно перевыполнить план вывозки в сложных условиях,

премировать секретаря-машинистку Островскую В. Г. денежной премией в размере месячного оклада».

Она горько усмехнулась, надела резиновые колпачки на пальцы, удобнее поставила табурет и, чтобы показать начальнику своё отношение к премии, напечатала об этом в общем приказе по отделу кадров между параграфами о том, что слесаря авторемонтной мастерской Матвеева считать вернувшимся из отпуска и что технику ПТО Румянцева считать по мужу фамилию — Смирнова.

Начальник подписал приказ, и она вывесила его среди других бумажек...

Однажды, когда Тимофеев выходил из кабинета, Валентина Георгиевна остановила его.

— Вот телеграмма из управления, — сказала она. — Результаты исследования показали, что гравий берегового карьера пригоден для бетонных работ.

— Мы и сами знаем, что пригоден, — отвечал Тимофеев, — но, вероятно, придётся поворачивать оглобли, возвращаться к старому.

— Как так к старому! — Валентина Георгиевна возмутилась. — Я ходила всю ночь, а вы будете возить из старого.

— Да посудите сами: вдоль обрыва возить нельзя: обрыв подмыло, того и гляди обвалится, а другой дороги от вашего карьера нет.

— Сделайте другую дорогу.

— Это легко только на машинке напечатать — сделайте дорогу длиной четыре километра.

— Ну внизу, берегом возите.

— Вы ещё посоветуйте, чтобы по воде машины поехали...

— Я с вами серьёзно разговариваю...

Но Тимофеев вдруг щёлкнул пальцами, лицо его исказилось, и он бросился к начальнику.

— Товарищ начальник! — услышала Валентина Георгиевна его торжествующий голос. — На барже... на барже нам надо везти гравий из этого карьера. Нагрузить сразу тысячу кубометров — и конец!..

— Что же, вы предлагаете снять с баржи снаряжение для пролётных строений? — спокойно спросил начальник.

— Шут с ним, со снаряжением. Снимем и поставим.

— А где возьмёте катер?

Валентина Георгиевна прекратила печатать и прислушалась. Она понимала, что предложением Тимофеева сразу решалась вся транспортная проблема — дешёво и быстро. Сердце её сильно билось.

— Да, действительно, нужен катер, — разочарованно протянул Тимофеев.

— Ну, предположим, катер мы достанем. Я позвоню в леспромхоз — дадут катер. А как здесь фарватер? Всюду ли пройдёт гружёная баржа?

— Пройдёт! Я сейчас организую промер дна.

— Хорошо. Проверьте фарватер, а тогда и решим, как быть с этим карьером.

Тимофеев выбежал из кабинета и умчался. «Ведь за один раз мы свезём столько гравия, сколько всей нашей автоколонне не перевозить и за десять дней. Это просто невероятно!» — думала Валентина Георгиевна, и ей уже представлялась баржа, гружённая гравием из её карьера, подплывшая к самому мосту, радостные лица бетонщиков, прорабов, Тимофеева. — «Это будет праздник...»

Валентина Георгиевна ждала минут десять. «Вероятно, он забыл, — подумала она, — надо ему напомнить».

Она вошла в кабинет. Начальник пил чай.

— Вы не забыли позвонить в леспромхоз? — спросила Валентина Георгиевна.

— Зачем? — спросил начальник, наливая чай как в трактире, сразу из двух чайников, из маленького и из большого.

— По поводу катера, — Валентина Георгиевна спохватилась, что из этих слов начальнику становится известно её подслушивание, и покраснела.

— Ах вот что, — начальник взглянул на неё и ухмыльнулся. — Вот посмотрим, что покажет промер дна, а тогда и будем звонить во все колокола. О своём карьере заботитесь?

— Я о строительстве забочусь, — ответила Валентина Георгиевна и, гневно подняв голову, вышла, очень недовольная собой.

А дождь всё шёл, реденький, нудный. По стеклу единственного окна приёмной капризными дорожками текли капли. Низкое небо было сумрачным и печальным. Дело шло к вечеру, а Тимофеев с промерами дна не являлся. «Боже, когда же кончится эта слякоть», — подумала Валентина Георгиевна.

— Тётя Паша, — спросила она, — ты, кажется, здешняя.

— А как же. Здешняя, — ответила тётя Паша.

— Ты не знаешь, река в этих местах глубокая?

— А как же. Глубокая. Есть места — с ручками будет.

— А мелкие места есть?

— Есть и мелкие. А что? Или вы купаться собрались?

Валентина Георгиевна вздохнула и принялась ждать Тимофеева. Результаты промеров он принёс только на следующее утро. Они оказались удовлетворительными, и Непейвода попросил Валентину Георгиевну дозвониться до леспромхоза. В леспромхозе о катере ничего определённого не сказали, обещали позвонить через полчаса, и Валентина Георгиевна стала ждать этого звонка, ежеминутно поглядывая на часы.

Чтобы занять себя, она начала разбирать только что пришедшую почту. Один пакет был из управления. Она аккуратно отрезала кромку конверта ножницами, вынула хрустящую бумажку и прочла:

«Откомандировать секретаря-машинистку Островскую Валентину Георгиевну в распоряжение отдела кадров управления».

Вот оно! Не забыл о ней всё-таки Иван Семёнович.

Валентина Георгиевна хотела обрадоваться, и не могла.

«Я понесу начальнику эту бумагу позже, — подумала она. — У него и без того сейчас много хлопот».

Хлопот действительно было много. Леспромхоз выделить катер отказался, и по этому поводу пришлось звонить в райисполком, однако и там ничего не вышло.

Только вечером Валентина Георгиевна вручила Непейводе приказ управления.

— Ну что же, — сказал он. — Собирайтесь в путь. Дела пока сдайте Смирновой. — И стал перебирать следующие бумажки.

С минуту Валентина Георгиевна молча стояла у стола.

«Интересно, сердится он или доволен, что я уезжаю», — думала она, глядя на его чистые руки.

— Но Смирнова не всё время будет секретарём? — спросила она наконец, так и не поняв, сердит начальник или доволен.

— Конечно, нет.

— А кого же вы возьмёте?

— Найду кого-нибудь... Сейчас не до этого.

Валентина Георгиевна постояла ещё с минуту и вышла.

На станцию вёз её тот же самый шофёр, с которым она ездила к инженеру Комарову. Теперь он вёл машину молча, и Валентина Георгиевна поняла, что он не одобряет её отъезда. С начальником проститься не удалось, потому что он уехал в город по поводу катера. Шофёр привёз Валентину Георгиевну на маленькую станцию, попрощался и сразу уехал возить гравий. Пассажиров, ожидающих поезда на Москву, было немного, но у всех были провожающие. Только Валентина Георгиевна сидела одна с чемоданом и узлом.

Минут за пятнадцать до прихода поезда в зале ожидания появился Непейвода, разыскал глазами Валентину Георгиевну и подошёл.

— У меня к вам просьба, — сказал он. — Если вам нетрудно, свезите яблочки моим ребятишкам. — И он протянул небольшую посылку, неумело, видимо, им самим обшитую чёрными нитками. — На почту сдавал — не берут... Говорят, не так зашито...

— Пожалуйста, — согласилась Валентина Георгиевна, вставая.

— Сидите, сидите. Вы теперь мне не подчиняетесь, — улыбнулся Непейвода. — И вот открытка. Вы впишите вот здесь, на пустом месте, свой адрес, опустите её, и за гостинцами зайдёт жена...

Валентине Георгиевне было как-то удивительно слушать, что у такого человека есть жена, ребятишки, что он говорит о гостинцах, что в начале открытки твёрдым, разборчивым почерком написано: «Милые, дорогие мои!»

— Катер дают? — спросила Валентина Георгиевна.

— Дают. На карьер отправили транспортёры, завтра подтянем баржу и начнём грузить.

Подошёл поезд. Непейвода отнёс вещи в вагон, разложил по полкам. Потом вышел и остановился на перроне, под дождём, покуривая.

— Вы идите, — сказала Валентина Георгиевна, — зачем вам мокнуть.

— Ничего. Привык.

Ей захотелось сказать этому человеку на прощание что-нибудь тёплое, как-нибудь извиниться за сухое, слишком официальное отношение



к нему, но она не могла найти подходящих слов, и, когда засвистел главный, произнесла быстро:

— Я оставила в левом ящике свою папку «К докладу». Возьмите её своему секретарю.

— Благодарю вас,— сказал Непейвода.

Поезд незаметно тронулся. И несмотря на то, что уезжала Валентина Георгиевна, а Непейвода оставался, ей показалось, что она стоит на месте, а Непейвода, и маленькая станция, и шоссе, по которому она ночью ездила в город, и блестящие деревья, и пахучая от дождя земля, и низкое, мягкое небо — всё это двинулось и медленно начало уплывать от неё. Она вдруг вспомнила тётю Пашу, нескладного, умного Тимофеева, любопытную бригадиршу Олю, бородатого мужчину в шинели, инженера Комарова, обиженного шофёра, и ей стало горько от того, что все эти люди, начавшие уважать её, всё быстрее и быстрее вместе с этой землёй уплывают вдаль и, быть может, никогда ни с одним из них ей не удастся встретиться.

Она вспомнила о катере, о барже, о своём карьере, обо всём том, что стало в последние дни нужным и важным ей. А поезд шёл и навсегда уносил её от всего этого.



---

## *Из узбекских поэтов*

АҒБЕК

★

### **В СТОЛИЦЕ ПАКИСТАНА**

В небе саранча висит густая —  
Стая ненасытных облаков.  
Будто лихорадкою страдая,  
Никнут полумесяцы флажков.

Пыльно. Душно. Воздух пышет жаром.  
Всё пылает: улицы, мосты.  
Трудно раскалённым тротуарам —  
Скамьям и постелям бедноты.

Цвет меняют наглые рекламы,  
Славят чужеземные плоды,  
Но, как видно, бедняки упрямы:  
Не идут в торговые ряды.

Здесь за маленький кусочек теста  
Или сахарного тростника  
Много требует купец бесчестный:  
Крови требует у бедняка!

На любом углу — портреты Джинны:  
Безбородое лицо скопца.  
Изредка прошелестят машины,  
Двигутся верблюды без конца.

Пить вино запрещено в Карачи,  
Также запрещён насущный хлеб.  
Люди, будто загнанные клячи,  
Задыхаясь, возят педикей.

Англичане, с шеями, как брёвна,  
В педикебе маленьком сидят,  
На людское горе хладнокровно,  
Словно саранча, они глядят.

Всё смешалось в этот день горячий:  
Англичане, пыль и саранча.

Вот лежит на улице Карачи  
Нищий, угасая, как свеча.

Но гляди: рабочие шагают,  
Слышит площадь поступь их рядов.  
Серп и молот в их руках сверкают,  
Серп и молот из живых цветов!

*Перевод С. Ляпкина.*



---

РАМЗ БАБАДЖАН

★

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАВОИ

Загорелась душа моя, взял я перо,  
Что любовью к поэту согрето.  
От цветов и плакатов в Ташкенте пестро  
В этот день — день рожденья поэта.

Сколько бурной воды с тех времён утекло —  
Целых пять многотрудных столетий.  
От сиянья весны в нашем доме светло,  
А весна — в небывалом расцвете!

Всюду видим и волю, и силу свою.  
Степь сверкает в ночи, как столица.  
Близок день — непокорную Аму-Дарью  
Мы заставим себе подчиниться.

Посмотри, Навои, как расцвёл Беговат,  
Как чудесно востока сиянье,  
Как в степи великаны-мартены стоят, —  
Разве знали о них в Хорасане?

И седой Самарканд, и завод наш гигант  
Вдохновенья даруют истоки.  
Не узбекская даль, а узбекская сталь  
Знаменита теперь на Востоке!

Чтоб узнать благодатные звёзды Кремля,  
Нам не нужно таблиц Улугбека<sup>1</sup>.  
Посмотри, как богата узбека земля  
И как молодо сердце узбека.

Здесь иные законы, иные пути,  
И, как море, стремленья безбрежны.  
Если ж хочешь знакомых героев найти, —  
Посмотри на Восток зарубежный.

Посмотри: Индостан и разут, и раздет,  
Полон страха, и боли, и смуты,  
Ибо Трумэн решил захватить «семь планет» —  
От Антарктики и до Калькутты.

---

<sup>1</sup> Улугбек — великий астроном (XV век). Созданные им звёздные таблицы до сих пор сохраняют научное значение.

Посмотри: изнемог аравийский скакун,  
Задыхается в путях свобода,  
И бредёт без Лейли одинокий Меджнун  
Вдоль английского нефтепровода.

Посмотри на Стамбул, посмотри на Кабул,  
На старинную крепость в Герате,  
Где дехканин попрежнему спину согнул,  
Где святоши погрязли в разврате.

Посмотри на Иран, где несчастья приют,  
Где живёт лишь богатый в довольстве,  
Где нечистые духи плетут и плетут  
Сеть интриг во дворце и посольстве...

Тот Восток на советский Восток не похож,  
Как недуг не похож на цветенье,  
И не там ты лежишь, а у нас ты живёшь,  
По-узбекски поёшь, и по-русски поёшь,  
Обретая второе рождение.

*Перевод С. Липкина.*



---

УЙГУН

★

## ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Любви этой нету границы.  
В зелёных садах соловьи  
И прочие певчие птицы  
Поют от избытка любви.

И смерти на зло и на зависть  
Дожди над садами весной  
Проходят, чтоб в яблонях завязь  
Оформилась в плод молодой.

Цветы раскрывают бутоны,  
Травой покрывается луг,  
И ласточки смотрят влюблённо  
На жизнь и цветенье вокруг.

А я не цветок и не птица,  
И жизнь я люблю горячей.  
Что может на свете сравниться  
С великой любовью моей!

Любовь, не твоя ль это сила  
Огнём озарила меня,  
Кетмень в мои руки вложила,  
Творить научила меня?

Любовь — моё счастье. С тобою  
В мартенах я плавил металл...  
В пустынях каналы я строил,  
Пустыни в сады превращал.

Когда же на землю отчизны  
Напала кровавая рать,  
Во имя любви своей к жизни  
Мы насмерть умели стоять.

Осколки летели в траншеи,  
И бой задышался в крови,  
Но смерть отступала, бледнея  
Пред силою нашей любви.

И мы из далёкого края  
Вернулись — друзья по борьбе.

Любовь моя, жизнь дорогая,  
Как прежде, я верен тебе!

О жизнь, не твоё ли величье  
Приветствует молота звон;  
Тебе это пение птичье,  
Цветов благодарный поклон!

Во славу великой, любимой  
И труд наш и песня певца.  
Любовь моя — неуголима,  
Ей мною владеть до конца!

*Перевод Н. Гребнева.*



---

**ЗУЛЬФИЯ**  
★  
**НЕВЕСТА**

Пейте, гости!  
Ешьте, что угодно!  
Разве мало плова и вина?..  
Свадьба в нашем кишлаке сегодня,  
Ярким светом ночь ослеплена.

Полная луна с небесной выси  
Смотрит на невесту, чуть дыша.  
Как блестит на тубетейке бисер,  
Как невеста нынче хороша!

Девушка и смущена и рада,  
С плеч спадают две косы тугих.  
Смотрят гости, не отводят взгляда,  
Смотрит зачарованный жених.

Песенка «Яр-яр» уже звучала,  
Может, в третий иль четвёртый раз,  
Отражались в налитых бокалах  
Сорок с лишним пар весёлых глаз.

Ночь давно, но окна не закрыты,  
Ярким светом залит новый дом.  
Там сейчас походкой деловитой  
Входят в круг невеста с женихом.

Шире круг!  
И молодые оба,  
Окружённые со всех сторон,  
Заплясали под напев рубоба,  
Под хлопки гостей и бубна звон.

Девушка танцует и стыдится,  
Опускает голову на грудь,  
Не решается поднять ресницы,  
Чтоб мгновенье это не спугнуть.

Девушка, не бойся, дорогая,  
Много счастья на твоём пути.  
Пред тобой дорога золотая,  
Хорошо по ней вдвоём итти.



Ты не бойся, подними ресницы,  
Счастью быть ещё не мало дней.  
Это только первые страницы  
Книги жизни радостной твоей.

В вашей жизни будет много света,  
Много счастья...

Пусть она всегда  
Будет весела, как свадьба эта,  
И, как пляска эта, молода!

*Перевод Н. Гребнева.*



ГОВАРД ФАСТ

★

## ТРИДЦАТЬ СЕРЕБРЕНИКОВ

*Пьеса в 3-х действиях, 5-ти картинах*

*С английского*

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(в порядке их появления)

<i>Джейн ГРЭХЕМ,</i>	<i>ФУЛЛЕР,</i>
<i>Мильдред ЭНДРЮС,</i>	<i>Грэйс ЛЭНГЛИ,</i>
<i>Гильда СМИТ,</i>	<i>Остин КАРМАЙКЛ.</i>
<i>Лорри ГРЭХЕМ,</i>	<i>Фредерик СЕЛВИН.</i>
<i>Дэвид ГРЭХЕМ,</i>	

Действие происходит весной 1948 года в Вашингтоне.

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

#### Картина первая

Комната в доме Грэхемов, в одном из предместий Вашингтона. По убранству её вы сразу можете себе представить, как выглядит этот дом: сбитый из гладко обструганных досок, как и тысячи других таких же домов, принадлежащих людям среднего достатка, домов, выстроенных с претензией на ранне-американский стиль и окружённых небольшими, но заботливо возделанными садиками. Комната обставлена тоже в ранне-американском стиле; у её владельцев хватило на это вкуса, но не хватило смелости сделать её хоть чем-нибудь не похожей на тысячи таких же комнат, свидетельствующих о шести, семи или восьми тысячах годового дохода.

Слева дверь в виде арки ведёт в прихожую, справа — такая же дверь в столовую. На заднем плане — лестница наверх. Под ней — скно-фонарь; в выступе — мягкий диван. Всё это не лишает комнату овсей прелести. В ней — кушетка, обитая весёлым ситцем, два больших кресла и довольно привлекательная сборная мебель из полированной сосны. Справа в глубине — кабинетный рояль и столик с напитками. На стенах — несколько ковриков и гравюры.

Всё в комнате слишком правильно, слишком симметрично. Порядок несколько нарушает игрушечный трактор на полу.

На сцене Джейн Грэхем и Мильдред Эндрюс. Джейн Грэхем — тоненькая, красивая женщина, лет 29-ти. Её тёмные волосы и голубые глаза выдают в ней уроженку Юга; в голосе тоже заметно её южное происхождение. Сдержанная прямота и властная решительность сразу привлекают к ней внимание.

Мильдред Эндрюс — несколько старше, жёстче, лучше одета, более искусно накрашена. Она лежит на кушетке, а Джейн примеряет чехол на мягкое кресло. Джейн поглощена тем, что делает, и, разговаривая, иногда держит булавки во рту.

**Мильдред.** Меня это не касается. Если бы мне пришлось заниматься тем, что меня не касается, я бы, назерно, изгрызла все наши дорогие ковры. А Джим Эндрюс за них ещё не всё выплатил.

**Джейн.** Но ведь, может быть, это и не так. Вы же не знаете...

**Мильдред.** Конечно, меня при этом не было. И вещественных доказательств у меня тоже нет никаких...

**Джейн.** Вам было бы неприятно, если бы что-нибудь такое сказали о вас. Или о Джиме.

**Мильдред.** Вы думаете? От правды никуда не уйдёшь. Впрочем... А что вы слышали о мс-эм прелестном Джиме?

**Джейн.** Ничего.

**Мильдред.** Неужели он ни разу?.. (не докончив фразы, она пристально смотрит на Джейн). Если этот сукин сын посмеет к вам приставать, я... Он не пробовал, а, Джейн? Скажите правду. Только правду. Я возненавижу вас, если вы мне не скажете.

**Джейн** (спокойно продолжая свою работу). Ко мне никто никогда не пристаёт.

**Мильдред.** Слыхали!

**Джейн.** Несомненно.

**Мильдред.** Никто? А Леонард Агронский?

Она говорит это словно между прочим, но уж слишком небрежно. Джейн на секунду прерывает свою работу.

**Джейн.** Никто.

**Мильдред** (сниходительно улыбаясь). Что ж, может быть, и так. Наверно в вас есть что-нибудь особенное, если к вам не пристаю. Я бы, пожалуй, побоялась в этом признаться, даже если бы это была правда.

**Джейн.** А почему вы решили?..

**Мильдред.** Что именно, милочка?

**Джейн.** Нет, ничего.

**Мильдред.** Чистая гипотеза, только и всего. Эндрюс не любит Агронского. Мне Агронский нравится. Если бы он смотрел на меня так, как он смотрит на вас, я — а я ведь порядочная потаскушка — не стала бы сопротивляться...

**Джейн** (всё ещё спокойно). Я вижу, Агронский вас действительно занимает.

**Мильдред.** Меня занимают мужчины вообще. Все, кроме вашего Дэвида, дорогая. (Теперь уже Джейн обернулась и посмотрела на неё, не то сердито, не то рассеянно.) Простите меня. Я это, кажется, зря сказала.

**Джейн.** За что вы его так не любите?

**Мильдред.** Ну вот! Так мне и надо! Видите ли, дорогая, нельзя сказать, что я его не люблю. Я никак не отношусь к вашему парню — ни хорошо, ни плохо.

**Джейн** (теперь уже по-настоящему рассержена). Чёрта с два — никак!

**Мильдред.** Ну, ладно... Я его и правда недолюбиваю. Что теперь — дружба врозь?

**Джейн.** Не глупите. Я и не думала, что Дэвид вам может понравиться.

**Мильдред.** Теперь вы разозлились.

**Джейн.** Что же мне кувыркаться от радости? Чем он вам не нравится? Он просто несчастный, запуганный паренёк, который так и не стал взрослым.

**Мильдред.** Может быть. Это болезнь всех наших мужчин. Мне надое-  
ло, что они никак не могут стать взрослыми. По крайней мере те, кто  
отравляет воздух здесь в Вашингтоне. Все, кроме...

**Джейн.** Кроме кого?

**Мильдред.** Кроме Агронского. Я всё время о нём думаю, не правда  
ли? Интересно, думаете ли о нём вы? Какого чёрта вы не вышли за  
него замуж?

**Джейн.** А почему вы не вышли замуж за Гарри Трумэна и не научи-  
лись разливать гостям чай?

**Мильдред.** Нет, тогда может уж лучше за Авраама Линкольна?  
В оправдание я в следующий раз принесу вам мою метрику... Однако  
кошечка выпускает коготки!.. А я, моя дорогая, могу вам сказать, поче-  
му вы не вышли замуж за Агронского. И ваш Дэвид не имеет к этому  
никакого отношения.

**Джейн.** У вас дурные мысли, и вы злая.

**Мильдред.** Не отрекаюсь. А вам попадались в этом городе добрые?  
Если мужчины такие паразиты, женщина — хочешь не хочешь — неиз-  
бежно станет коброй в юбке.

**Джейн.** Пожалуйста, не надо больше говорить об Агронском. Не  
знаю, кто он вам... Мне он просто друг, вот и всё.

**Мильдред.** Для меня он мужчина, милочка. Настоящий мужчина,  
герой. Единственный герой мужского пола в моём каталоге. И не только  
потому, что Джим Эндрюс, за которым я имею счастье быть замужем,  
считает его красным. Агронский — человек. Понимаете? А кругом —  
дурной сон, кошмар, клоака. И всё это богобоязненные американцы  
сотворили на свою собственную голову.

**Джейн.** Замолчите. Вы сами выдумываете эту клоаку по своему об-  
разу и подобию. Здесь не меньше честных людей, чем везде.

**Мильдред.** Вы думаете? Блажен кто верует. Ладно, не будем ссо-  
риться.

**Джейн.** Мы не поссоримся, Мильдред.

**Мильдред** (взглянув на часы). Время истекло. (Встаёт.) Мне нужно  
бежать. Разговор этот долгий, мы его продолжим в какой-нибудь скуч-  
ный, дождливый денёк. (Направляется к двери, но, не дойдя до неё,  
останавливается.). Вечером увидимся? Вы на самом деле не рассерди-  
лись?

**Джейн.** На самом деле.

**Мильдред.** Слава богу! Ведь вы — мой единственный друг. Всё  
остальное в нашем доме принадлежит этому паразиту Эндрюсу.

Она быстро подходит к Джейн, целует её в макушку и выходит. Джейн на мину-  
ту остаётся на коленях подле кресла. Потом встаёт и смотрит ей вслед. Сбрасывает  
пола куски материи, пожимает плечами и поднимается вверх по лестнице.

Едва она успевает уйти, как из столовой появляется Лорри Грэхем. Это здо-  
ровая девочка лет пяти с польской, в комбинезончике, с косичками. Она входит, на-  
певая, бродит по комнате и замечает свой трактор. Садится подле него на пол и  
старательно натягивает резинку, чтобы завести его.

**Лорри.** Проклятая штука, никак не держится.

**Гильда** (входит из столовой и слышит это. Гильда — негритянка лет  
30-ти, с красивым и умным лицом. На ней передник и накладка горнич-  
ной). Не надо так говорить.

**Лорри.** Как так?

**Гильда.** Не надо говорить «проклятая».

**Лорри.** Ага! Ты сама так говоришь.

**Гильда.** Я не говорю. Я только сказала, чтобы ты так не говорила.

**Лорри.** Почему?

**Гильда.** Сама знаешь почему. Славу богу, не маленькая. Знаешь, какие слова можно говорить и какие нельзя.

**Лорри.** А почему ты сама так говоришь? Просто этот проклятый трактор всё время теряет резинку. Теряет и всё.

**Гильда** (сажаясь рядом с ней). Ну вот, опять. Дай-ка сюда трактор. И запомни раз-навсегда: если бы моя мама услышала, что я так говорю, мне бы попало как следует. Теперь я уже большая и могу говорить всё, что хочу. И буду говорить всё, что хочу, заруби это на своём маленьком носу. И потом, девочки не играют с трактором.

**Лорри.** А где твоя мама?

**Гильда.** Умерла.

**Лорри.** Что значит — умерла?

**Гильда** (кладёт игрушку и смотрит на девочку). Поцелуй меня, золотко. Я сумасшедшая, что так люблю тебя. Кому это нужно?

**Лорри** (отодвигаясь). Что значит — умерла, Гильда?

**Гильда.** Ну вот тебе и раз! Смерть — это тишина, моё золото. Смерть — это когда тихо-тихо, как ночью. Только эта ночь никогда не кончается. Будто засыпаешь и не просыпаешься. Ни борьбы, ни слёз...

Сверху по лестнице спускается Джейн.

**Лорри.** А я умру?

**Гильда.** Когда-нибудь умрёшь, золотко. Когда-нибудь и ты умрёшь. Этого никто не может избежать.

**Джейн.** Гильда! Как вам не стыдно!

**Гильда** (вставая). Почему, миссис Грэхем? Она меня спросила. Все они спрашивают рано или поздно, и рано или поздно им надо ответить.

**Джейн.** Не так.

**Гильда.** Вы её хотите спрятать от жизни? Надолго ли?

**Джейн.** Молчать! Не ваше дело! (Гильда смотрит на неё.) Извините, Гильда. Лорри, отнеси трактор наверх.

**Лорри.** А почему мне нельзя играть здесь?

**Джейн.** Потому, что нельзя. И вообще тебе пора ужинать. Отнеси трактор наверх и вымой руки. (Лорри берёт игрушку и идёт наверх.) Гильда...

**Гильда.** Я постараюсь вести себя как подобает прислуге, миссис Грэхем. Иногда я забываюсь, миссис Грэхем. Моя мать говорила мне бывало: никогда не забывайся, никогда, ни на секунду. А я вот — забвлась...

**Джейн** (подходя к ней). Гильда... вы у нас давно, вы меня уже знаете. Я ведь тоже иногда забываюсь. С кем этого не бывает?

**Гильда.** Ничего, миссис Грэхем. Это не имеет значения.

**Джейн.** Нет, имеет. Я вижу, у вас всё клокочет внутри. Простите меня. Я родилась и воспитывалась на Юге. Я сто раз вам об этом говорила. Ну вот, я повторяю вам это в сто первый. Я стараюсь вести себя как человек, и это не так-то легко. Мне это трудно. Иногда я думаю, что и всем это трудно. (Они стоят, глядя друг на друга. Лорри спускается по лестнице.) Лорри, ты вымыла руки?

**Лорри.** Угу.

**Гильда.** Я их снова помою на кухне. Пойдём, Лорри.

Они уходят в столовую, и Джейн некоторое время смотрит им вслед. Потом она встряхивает головой, подходит к столу с напитками и смешивает коктейль. В это время наружная дверь отворяется. Входит Дэвид Грэхем и прячет в карман ключи. Он довольно высок, прилично одет; на нём серый костюм и белая рубашка. Круглое, открытое лицо с правильными, но мелкими чертами, ничем не Примеча-

тельно. В нём есть то стандартное прямодушие, которое отличает большинство лиц, заполняющих студенческие общежития, афиши театра и кино, рекламы на страницах журналов; подобные лица встречаются повсюду, и ими принято олицетворять Америку. Они свидетельствуют о хорошем питании и даже о некоем мыслительном процессе. От полнейшей безликости их спасают очки. В общем, приятный молодой человек, не слишком сложной духовной организации.

Дэвид (швыряя газету на стул). Хэлло, Джейн!

Джейн. А? (Взглянув на него, она продолжает наливать коктейль.)

Дэвид. Только и всего? Чего это ты раскипятилась?

Джейн. Ничего. Хочешь выпить?

Дэвид. Да. Хочу выпить. И хочу, чтобы меня поцеловали. Желая всего того, что положено женатому человеку, целый день просиживающему штаны в конторе. Чем я провинился на этот раз?

Джейн (подходит к нему, протягивает ему коктейль и слегка прикасается к его щеке губами). Ничем ты не провинился. Просто я повздорила с Гильдой и немного расстроена. Моя вина. Ты тут совершенно ни при чём. Скоро пройдёт. За ваши ясные голубые глаза!

Дэвид (отхлебнув). За ваши! Но что же всё-таки случилось?

Джейн. Ничего. Глупость. Я не сдержалась и прикрикнула на неё. Вот и всё. Нет, неправда, не всё. В общем, ерунда. Не будем об этом говорить.

Дэвид. Вся эта комедия, которую ты разыгрываешь, поражает меня до чёртиков. Нельзя прислугу превращать в подругу.

Джейн. Я не превращаю её в подругу. Я просто не забываю, что она такой же человек, как и я. Вернее, стараюсь не забыть. Ну, хватит об этом.

Дэвид (опускаясь на стул). Ладно. В общем это естественно. Ты — интеллигентная южанка и чувствуешь свою вину перед ними. У тебя что-то вроде жадности искупления. Я веду себя гораздо проще с этими чернопузыми.

Джейн. Не смей!

Дэвид. Что?

Джейн (раздельно). Не смей произносить это слово. Это — мерзко.

Дэвид. Ты сегодня не в своей тарелке. Ладно, не хочешь — не буду. Но у меня это слово не вызывает тех ассоциаций, что у тебя. Мне не надо преодолевать в себе то, что тебе...

Джейн. Не будь идиотом.

Дэвид (ставит стакан и смотрит на неё с удивлением. Медленно) Мне следовало бы взбеситься...

Джейн. Но ты проявляешь чудеса терпения и деликатности...

Дэвид. Вот именно. Я проявляю чудеса терпения и деликатности. Сегодня, для разнообразия, я пришёл домой в разужном настроении. И я собираюсь сохранить его. Вы разрешите мне эту маленькую роскошь? (Входит Гильда.) Здравствуйте, Гильда.

Гильда. Добрый вечер, мистер Грэхем.

Дэвид. А где моя красотка-дочь?

Гильда. Ужинает. Но она не хочет есть.

Дэвид. Тогда это не моя дочь. Давайте я с ней поговорю. Я сейчас вернусь. (Берёт свой стакан и уходит в столовую. Гильда стоит в нерешительности, потом направляется вслед за Дэвидом.)

Джейн. Обождите, Гильда.

Гильда. Да, миссис Грэхем?

Джейн (холодно). Попытайтесь звать меня Джейн, хотя бы сегодня.

Гильда. Хорошо, миссис Грэхем.

**Джейн.** Не хотите? Так и будете носиться со своей обидой?

**Гильда.** Я не понимаю, чего вы хотите, миссис Грэхем.

**Джейн.** К сожалению, вы отлично понимаете. Чем я вам не нравлюсь? (Гильда стоит не отвечая.) Или, наоборот, чем нравлюсь? Я, Дэвид, Лорри? Дело ведь не в моём превосходстве, а в том, что вам ничего не стоит убедить меня в вашем превосходстве. Почему? Вот, что я должна понять. Все мы американцы. Я хочу поступать по совести. И Дэвид тоже. Почему же нам так трудно друг с другом?

**Гильда.** Мне очень жаль, миссис Грэхем...

**Джейн** (внезапно взрываясь). Ни черта вам не жаль! (Звонок.) Ну, ладно. Посмотрите кто там, Гильда.

Гильда идёт к двери. За сценой слышен голос Фуллера, который спрашивает, здесь ли живёт мистер Дэвид Грэхем. Гильда вводит его; это молодой человек среднего роста, лет 35-ти, тщательно, но скромно одетый, не очень приметный. Всем своим существом он чем-то напоминает Дэвида Грэхема, однако между ними есть едва уловимое, но существенное различие. Можно сказать, что в этом человеке некая специально воспитанная хитрость подменила ум, а несколько нарочитое самособладание — ту непосредственность, которой шеголяет Дэвид Грэхем. У Фуллера на ногах коричневые туфли; в руке мягкая панамка.

**Фуллер** (Джейн). Здравствуйте. Моя фамилия — Фуллер. Вы — миссис Грэхем?

**Джейн.** Совершенно верно.

**Фуллер.** Если вас не затруднит, я хотел бы видеть мистера Грэхема. Он дома?

**Джейн.** Он вас ждёт?

**Фуллер** (с улыбкой, словно извиняясь). Не думаю, миссис Грэхем. Но если он дома, я постараюсь ему объяснить, зачем я пришёл.

**Джейн.** Присядьте. Я его позову. Хотите выпить? Гильда, налейте мистеру Фуллеру martini или что-нибудь другое...

**Фуллер** (оставаясь стоять). Благодарю вас, не надо.

**Джейн** (задерживаясь на секунду). Не хотите? Может быть, вы всё-таки сядете? Простите, как вы сказали, вас зовут?

**Фуллер.** Фуллер. Ф-у-л-л-е-р. Мистер Фуллер.

**Джейн.** Ага. Благодарю вас, мистер... Фуллер. Я сейчас позову мужа. (Выходит. Фуллер стоит, вертя в руках шляпу.)

**Гильда.** Разрешите, я повешу вашу шляпу.

**Фуллер.** Вы служанка?

**Гильда.** Вы угадали. Я — служанка. Как это вы догадались?

**Фуллер.** Я подержу шляпу, если вы не возражаете. Отличная погода, не правда ли? Я хочу сказать — отличная для июня, прохладно.

Речь его педантична и невыразительна. Он не обратил никакого внимания на иронический выпад Гильды. Входит Дэвид Грэхем. За ним идёт Джейн. Позади — Лорри с куском хлеба в руках.

**Джейн.** Гильда, пожалуйста, уведите её. Дэвид, это мистер Фуллер.

**Фуллер.** Здравствуйте, мистер Грэхем.

**Лорри** (Фуллеру). А сколько вам лет?

**Джейн.** Лорри, прошу тебя, кончай свой ужин.

Гильда уводит Лорри. Джейн снова берёт стакан с коктейлем; Дэвид вопросительно смотрит на Фуллера.

**Фуллер.** Очень милый дом. И очень милая семья, мистер Грэхем. Прелестная девочка. Вам есть чем дорожить, мистер Грэхем.

**Дэвид.** Чем я могу быть вам полезен?

**Фуллер** (в его манере говорить есть какая-то предупредительность). Я присяду, если разрешите. Когда попадаешь в такую милую, приятную американскую семью, чувствуешь себя как-то неловко.

**Джейн.** Может быть, мне лучше уйти?

**Дэвид** (с некоторым раздражением). Почему неловко? Вам придётся извинить нас, мистер Фуллер. Но мы вечером приглашены в гости, а до этого нам нужно ещё пообедать. Поэтому не перейдете ли вы к цели вашего визита, если она у вас есть?

**Фуллер** (Джейн). Прошу вас, не уходите, миссис Грэхем. Я хотел бы, если позволите, поговорить с вами обсьми. (Он очень вежлив и подчеркнуто скромно.) Видите ли, это — чистая формальность. Я из министерства. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Это не отнимет много времени.

**Джейн** (стоит в стороне, потягивая свой коктейль. Дэвид и Фуллер сидят). Из какого министерства?

**Фуллер.** Юстиции, миссис Грэхем.

**Джейн.** Значит вы — секретный агент? Почему же вы так сразу не сказали?

**Фуллер** (доставая бумажник и вынимая оттуда несколько карточек). Нам неприятна эта кличка. Она пахнет мелодрамой и подразумевает вещи, которые едва ли существуют в действительности. Вот мои документы, мистер Грэхем.

**Дэвид** (беря документы и рассматривая их с беспокойством). Что ж, пожалуйста, мы будем рады помочь вам всем, чем сможем. Я не представляю себе, чем именно мы можем быть вам полезны. Я хочу сказать, что не знаю чего-нибудь такого...

**Фуллер.** Это — пустая формальность, ничего больше. Мы наводим справки об одном человеке. Его зовут Леонард Агронский... Нам указали на вас, как на его друзей. Вот и всё. Видите, как просто? Мне очень жаль, что я вынужден был к вам ворваться и помешать вам. Но мне казалось, что вечером легче всего застать вас обоих дома.

**Дэвид.** Мы знакомы с Агронским. Совершенно верно. Разве с ним что-нибудь случилось?

**Фуллер.** Надеюсь, что нет, но ведь это меня, собственно говоря, и не очень касается. Мне предложено выполнить простую формальность. Навести справки. Это чисто формальное обследование; мы его проводим по отношению ко всем государственным служащим, которые вызывают какие-либо сомнения. (Вынимает небольшую книжечку и открывает её.) По моим данным, он работает в министерстве торговли. Он государственный служащий и не удивительно, что им интересуются.

**Джейн.** Но он ведь давно на государственной службе, не правда ли?

**Фуллер** (пожимая плечами). Я этим не ведаю. Не хочется ли вам что-нибудь рассказать мне о нём, мистер Грэхем?

**Дэвид.** Что именно? Я много мог бы рассказать о нём, но я не знаю, что именно вам нужно. Я ведь довольно редко встречался с ним после войны. Я познакомился с ним там, в армии. С тех пор, да, это именно так, мы встречались с Агронским не чаще, чем раз в два месяца или около того...

**Фуллер.** Вы ведь служите в казначействе, мистер Грэхем?

**Дэвид.** Совершенно верно.

**Фуллер.** Уже почти три года, не так ли?

**Дэвид.** С войны. Я — статистик. Вам это, наверно, тоже известно?

**Фуллер.** Да... Но я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто мы занимаемся каким-то сыском. И так уж слишком много болтают о всяких там досье и тому подобном. (Снова заискивающе



улыбается.) Нас интересуют только факты. Мы знаем, например, что до войны вы работали в Нью-Йоркской страховой компании. Но ведь это правда, что Агронский помог вам устроиться на государственную службу?

**Дэвид.** Вроде того... Он ведь хорошо знал Филлипса. Филлипс больше не работает.

**Джейн.** Я не понимаю, какое это имеет к нам отношение. У Дэви хороший послужной список. Ведь вы же не о нём ведёте следствие?

**Дэвид.** погоди, Джейн, не вмешивайся! У мистера Фуллера своя работа, как и у каждого из нас. Я буду рад сообщить ему всё, что смогу.

**Фуллер.** (Его ни на секунду не покидает деловая сосредоточенность, которую он пытается прикрыть напускным смущением). Поверьте, мне всё это неприятно, но дело есть дело. Что бы вы могли сказать, мистер Грэхем, о политических убеждениях Агронского?

**Дэвид.** Не знаю, право. Думаю, что он — демократ. Должно быть сторонник «нового курса». Во всяком случае, был им во времена Рузвельта.

**Фуллер.** Нет, речь идёт о его политических взглядах в более глубоком смысле этого слова...

**Дэвид.** Не понимаю, что вы хотите этим сказать.

**Фуллер.** Известно ли вам, что Агронский родился не в Америке?

**Джейн.** А какое это имеет отношение к его взглядам?

**Фуллер.** Я просто довожу это до вашего сведения. Мне понятно, почему вы никогда не были с ним очень близки. Ведь он родился в России и приехал сюда, когда ему было семь лет. К тому же, он — еврей. Это всё — точные данные, мне хотелось бы знать, известны ли они вам? Конечно, вы не можете быть с ним в очень дружеских отношениях.

**Джейн.** Почему?

**Дэвид.** Ты отлично понимаешь почему, Джейн. Господи боже мой, неужели нельзя вести себя разумно?

**Джейн.** Я хочу вести себя разумно. К твоему сведению, я упражняюсь в этом с самого утра. Если мистер Фуллер желает разговаривать только с тобой, я с удовольствием посижу с Гильдой. Если же он намерен разговаривать и со мной, мне хотелось бы выяснить: какая связь между тем, что Агронский — еврей и родился за границей, и тем, может ли он быть нашим другом?

**Дэвид.** Мне кажется, мистер Фуллер подразумевал, что он человек не совсем нашего круга...

**Джейн.** Ты отлично знаешь, что он подразумевал совсем другое. Во всяком случае, Леонард был человеком одного с тобой круга, когда вы оба служили в армии.

**Дэвид.** Хорошо, хорошо. Но так это нас ни к чему не приведёт. Почему ты мешаешь мистеру Фуллеру объяснить, что именно он подразумевал?

**Фуллер** (примирительно). Да я ничего и не подразумевал особенного. Ведь это вы утверждаете, что вас с Агронским ничего не связывает. Однако тогда, когда вы с ним встречались, как он высказывался на политические темы? Точнее говоря: могли бы вы назвать его сторонником русских?

**Дэвид.** Бог его знает. В тех редких случаях, когда мы встречались, мы больше играли в бридж.

**Фуллер.** А в армии?

**Дэвид.** Ну, тогда мы все, если так можно выразиться, были сторонниками русских, не правда ли?

**Фуллер.** Это как сказать...

**Дэвид.** Думаю, что Агронский был их сторонником не больше других. Мы ведь были союзниками русских.

**Фуллер.** А как он относится к Франко?

**Дэвид.** К Франко?

**Джейн** (язвительно). Ну да, дорогой. Франко — это испанский диктатор.

**Дэвид.** Не такой уж я идиот, дорогая! Не знаю, как он относится к Франко. Я никогда не разговаривал с ним о Франко. Поймите, мистер Фуллер, в армии Агронский был офицером, а я — рядовым. Он не разговаривал со мной о таких вещах, даже если он о них и думал.

**Фуллер.** Ясно. (Закрывает записную книжку и смотрит на них обоих.) Однако из всего этого можно сделать определённые выводы... Не так ли? Я, например, мог бы сделать вывод, что вы не хотите нам помочь.

**Дэвид.** Я стараюсь вам помочь, мистер Фуллер.

**Джейн** (Фуллеру). Что это — угроза?

**Фуллер.** Мы не угрожаем, миссис Грэхем. Это приписывают нам авторы детективных романов. Однако мне кажется, если вы знаете человека, вы должны знать, что он думает и что он собой представляет. Вы должны знать, коммунист этот человек, республиканец или, скажем, баптист...

**Дэвид.** Может быть и так. Но я не знаю, коммунист ли Агронский, если именно это вас интересует.

**Фуллер.** А как вы думаете?

**Дэвид.** Понятия не имею. Я над этим не задумывался. Кстати сказать, я никогда не видел ни одного коммуниста. Поэтому мне трудно было распознать его, даже если бы я встретился с ним нос к носу. Что касается Франко... Агронский вряд ли хорошо к нему относится. Мы никогда об этом не говорили, но по тому, что я о нём знаю, мне так кажется... Агронскому не нравится фашизм.

**Фуллер.** Ни фашизм, ни... наоборот?

**Дэвид.** То есть как это, наоборот?

**Джейн.** Я не люблю Франко, значит я коммунистка?

**Фуллер.** Не знаю, миссис Грэхем.

**Дэвид** (с натянутой улыбкой). Что ж, в порядке информации могу сообщить вам, что она — не коммунистка. И я тоже.

**Фуллер.** А Агронский?

**Дэвид.** У меня нет оснований думать, что он — коммунист. Я не помню, чтобы мне приходилось разговаривать с ним о коммунистах...

Звонок. Джейн идёт к двери, здоровается с кем-то за сценой и возвращается в комнату. За ней идёт Грэйс Лэнгли, негритянка лет 30-ти, темнокожая, с умным лицом. Она держит себя с достоинством.

**Джейн.** Гильда на кухне, всё никак не может накормить Лорри ужином.

**Дэвид** (машинально, весь поглощённый разговором с Фуллером). Здравствуйтесь, Грэйс.

**Грэйс.** Добрый вечер, мистер Грэхем. Чудесный вечер, не правда ли?

**Дэвид.** Да... (Несмотря на внешнее сходство с Фуллером, у того перед ним в этой схватке — решающее преимущество. Дэвид судорожно пытается понять, какой от него в каждом случае требуется ответ.) Я знаю...

**Фуллер** (глядя на Грэйс). А каково ваше мнение, миссис Грэхем?

**Джейн.** Это миссис Лэнгли. Грэйс, познакомьтесь, мистер Фуллер.

**Грэйс.** Здравствуйтесь, мистер Фуллер.

Фуллер смотрит на неё неподвижным взглядом. Она встречает этот взгляд, поворачивается и уходит на кухню.

**Фуллер (Джейн).** У вас две прислуги?

**Джейн.** Нет, это подруга Гильды. Той девушки, которую вы видели раньше.

**Фуллер.** А... таким образом. Вы ведь южанка, миссис Грэхем?

**Джейн.** Да, я из Южной Каролины. (Фуллер медленно кивает головой, разглядывая Джейн с откровенным любопытством.) Разве это тоже преступление?

**Фуллер.** Напротив. Совсем наоборот. Вы говорите на моём языке, а я этого не могу сказать о большинстве нью-йоркцев. Точнее говоря, мне казалось, что мы говорим на одном языке. Вы что-то хотели сказать, мистер Грэхем?

**Дэвид.** Так, пустяки.

**Фуллер.** Если это касается Агронского, разрешите мне судить, пустяки это или нет.

**Дэвид.** Однажды в его доме я видел номер журнала «Нью мэссиз». Не знаю, как он туда попал и имеет ли это какое-нибудь значение...

**Джейн.** Дэвид!

**Фуллер.** Вы возражаете, миссис Грэхем?

**Джейн.** Я не вижу в этом никакого смысла. А если бы вы нашли номер «Нью мэссиз» здесь?

**Фуллер.** Разрешите мне, миссис Грэхем, самому решать, что имеет и что не имеет смысла. Мы все здесь — чистокровные американцы и преданы интересам нашей страны. Я, по крайней мере, надеюсь, что это так. (Дэвиду) А что представляют собой друзья Агронского?

**Дэвид.** (Смушение его и тревога всё более возрастают.) Обыкновенные люди... таких много здесь в Вашингтоне.

**Фуллер.** Что ж, вы хотите сказать, что таких, как Агронский, много в Вашингтоне?

**Джейн.** А что вы хотите, мистер Фуллер, чтобы мы сказали? Мы ведь ничего не скрываем. Вы не задаёте вопросов, вы предлагаете ответы.

**Фуллер.** Нет, это вы уклоняетесь от ответов, миссис Грэхем.

**Дэвид.** Джейн, прошу тебя, позволь мне самому заниматься этим делом. Если мистер Фуллер меня спрашивает, дай мне возможность ему ответить. Видит бог, я этого хочу.

**Фуллер.** Совершенно верно. Я не частный сыщик и не полицейский, вам нечего меня бояться. В случае чего, я целиком и полностью на вашей стороне. Весь вопрос в том, на чьей стороне Агронский? Вот почему я спросил вас о его друзьях. (Примирительно, с оттенком глубокой интимности) Почему бы вам не подумать, мистер Грэхем? Вот вам моя карточка. Прошу вас, подумайте. Я буду у себя в отделе до 12 ночи. Я знаю, вам не приходилось об этом раньше думать. Ведь это наше счастье, что большинству американцев об этом не приходилось думать. И все наши усилия направлены к тому, чтобы так было и впредь. (Поднимаясь, обращается к Джейн) Вы ведь согласны со мной, миссис Грэхем?

**Джейн.** Да, с этим я согласна.

**Фуллер.** Ну вот, теперь я верю, — вы оба простили мне, что я ворвался к вам таким бесцеремонным образом. У вас чудесная семья, мистер Грэхем. Я бы, на вашем месте, гордился ею и не пожалел бы отдать за неё последнюю каплю своей американской крови. Клянусь, я не пожалел бы на вашем месте!

**Дэвид.** Конечно... спасибо.

**Фуллер.** Благодарю вас за любезность. Доброй ночи.

**Дэвид.** До свиданья. Я провожу вас. (Провожает Фуллера в прихожую. Джейн готовится себе коктейль. Дэвид возвращается, стоит молча, глядя на Джейн.) Славный малый.

**Джейн.** Кто?

**Дэвид.** Я хочу сказать, что он мог быть куда хуже.

**Джейн.** Он отвратителен. Хочешь ещё выпить? Я хочу. Ещё и ещё. Кажется, я хочу сегодня напиться вдрызг.

**Дэвид.** Вот это мило... очень мило. Правильное, здоровое отношение к вещам. (Заложив руки в карманы, медленно шагает по комнате, шаркая подметками и глядя себе под ноги. Останавливается и смотрит, как Джейн пьёт.) Нам надо быть у Эндрюсов в девять. Играть в бридж.

**Джейн.** А я достаточно плохо играю и трезвая...

**Дэвид.** Я этого не говорю. Скажи, Христа ради, чего тебе надо?

**Джейн.** Ничего. У меня пакостное настроение. Имею я на это право? И твой новый «друг» — этот «славный малый» — не сделал его лучше.

**Дэвид.** Ты так говоришь, будто я его сюда звал. Но ведь это его работа. Ты хотела бы, чтобы я послал его к чёрту? Это было бы мило. Очень мило. Только этого мне нехватает. Я ведь вижу: тебя всё ещё злит история с Гильдой. Не понимаю, неужели ты не можешь отнестись к таким вещам разумно. Я знал много цветных в армии. И я с ними ладил, но никогда к ним не подлаживался.

**Джейн.** Не говори гадостей!

**Дэвид.** Хорошо, извини. Всё, что бы я сегодня ни говорил, — гадости.

**Джейн** (ставит стакан, подходит к Дэвиду и берёт его за локти, тихо). Дэви... не кажется ли тебе, что мы вот-вот перегрызём друг другу горло? (Он молча кивает головой.) Не думаешь ли ты, что не пройдёт и десяти минут, как мы возненавидим друг друга? (Он снова кивает.) Лучше не будем.

**Дэвид.** Не надо... Не будем.

**Джейн.** Поцелуй меня. (Дэвид обнимает и целует её.) Хочешь выпить?

**Дэвид.** Давай. (Джейн идёт к столику с напитками и готовит ему коктейль. Дэвид говорит медленно, с трудом.) От таких вещей я прихожу в панику. Я перестаю соображать. Перед глазами туман. А может быть, Агронский и вправду коммунист? Откуда я знаю?

**Джейн** (даёт ему стакан). Может быть, и вправду. К дьяволу!.. (Входит Лорри. За ней следом идёт Гильда.)

**Гильда.** Ну, сегодня мы поели как следует.

**Лорри.** Всё начисто. Даже тарелку было видно насквозь. А что мне за это подарят?

**Дэвид** (поднимает и целует её). Ах ты, моё чудо!

**Лорри.** А ты меня любишь?

**Дэвид.** Всю насквозь, как тарелку. Каждый кусочек. Всё, что вижу, всё люблю.

**Лорри.** Даже больше, чем маму, да?

**Дэвид.** Пожалуй...

**Джейн** (Гильде). Укройте её сегодня, Гильда. Кажется, будет прохладно.

**Дэвид.** ...пожалуй, немножко иначе, чем маму. По-особенному. (Гильде, небрежно) Мне хотелось бы, чтобы Грэйс пользовалась чёрным ходом, Гильда.

**Гильда** (выпрямившись). Я никогда не предлагала ей пользоваться парадным ходом, мистер Грэхем.

**Джейн.** Это я. Я ей велела. Ты это знаешь, Дэвид.

**Дэвид.** Ну, знаю. Но мне было трудно объяснить это Фуллеру. Ты заметила, как он на неё посмотрел?

**Гильда.** Если вы отдадите мне Лорри, я уложу её спать. (Голос её спокоен.) Я позабочусь, чтобы Грэйс больше не пользовалась парадным ходом.

**Джейн.** Гильда... (Умолкает, глядя на Дэвида.)

**Гильда.** Пойдём, золотко. Поцелуй папу и маму. (Лорри целует их по очереди.)

**Лорри.** А что ты мне подаришь, Дэвид?

**Дэвид.** Обязательно что-нибудь подарю, мой ангел. Беги.

**Лорри.** А что?

**Дэвид.** Я ещё не придумал. Ступай скорей наверх.

**Лорри.** А ты починишь мне этот проклятый трактор?

**Дэвид.** И не подумано, если ты будешь так выражаться. Марш спать. Спокойной ночи!

Гильда поднимается по лестнице. Лорри идёт за ней. Когда они ссорятся, наступает натянутое молчание. Дэвид разглядывает свой коктейль.

**Дэвид.** Ну, что ж, начинай. Задай мне жару.

**Джейн.** Не превращай меня в базарную торговку. (Почти ласково) Тебе не следовало этого говорить.

**Дэвид.** Будь оно всё проклято! Как по-твоему, что мог подумать Фуллер?

**Джейн.** О чём?

**Дэвид** (медленно подходит к стулу и опускается на него). Кто обращается с... этими... таким образом? Ты сделала из Гильды подругу... Ты со всеми этими обращаешься таким образом...

**Джейн.** Каким образом? По-человечески?

**Дэвид.** Ты думаешь, Фуллер это поймёт? Он ищет красных... а не человечности.

**Джейн** (подойдя к нему и глядя на него в упор). Почему я должна давать отчёт Фуллеру? Что я — коммунистка, что ли, если я пристойно обращаюсь с прислугой или позволяю её приятельнице входить через парадную дверь?

**Дэвид.** Погоди... я не знаю, что такое — коммунист. Я никогда их не видел. Господи, боже мой, может, я сам коммунист! Может, Агронский коммунист! Откуда я знаю? Но они говорят, что красные обращаются с этими... цветными именно таким образом. Он посмотрел на Грэйс... и я понял, что он подумал.

**Джейн** (ещё ласковее). Что случилось, Дэви? Что с тобой происходит?

**Дэвид.** Не знаю. Я в первый раз в жизни столкнулся с человеком оттуда. Я о них слышал. Но со мной это в первый раз. Ну и что ж, я испугался. Я — не герой. Это ФБР, и это мне не нравится.

**Джейн.** Не будем об этом думать. Брось, Дэви, ну улыбнись. (Садится к нему на колени.)

**Дэвид.** Теперь он напишет два донесения. Одно на Агронского, другое — на меня.

**Джейн** (вставая). Откуда ты знаешь?

**Дэвид.** Уж поверь, это так. Он это сделает.

**Джейн.** Ну, и что из того? Предположим, он напишет на тебя донесение?

**Дэвид.** А если Агронский коммунист? Что будет со мной? Ты когда-нибудь слышала, чтобы Агронский говорил что-нибудь плохое о России? Помнишь, что он рассказывал о советской медицине? Однажды в полку Агронский отпустил шутку по адресу капитализма. Он сказал...

**Джейн** (Она слушает и не верит своим ушам. Прерывает его со злостью). Замолчи, не то ты совсем рехнёшься.

**Дэвид** (вставая). Агронский тебе всегда нравился... Думаешь, я не замечал, как ты на него смотришь? Как ты его слушаешь?

**Джейн.** Дэви!

**Дэвид** (растерянно). Прости меня... (Шагает по комнате.) Господи, чего я тут только не наговорил...

**Джейн** (подходя к нему). Кончено. Со всем этим покончено. Раз и навсегда. Хочешь накормить меня обедом в ресторане и дать мне выпить ещё два коктейля, чтобы я стала совсем пьяная и в пух и прах проигралась в бридж? Хочешь, Дэви?

**Дэвид.** Договорились.

**Джейн** (поднимаясь по лестнице). Я люблю тебя, полоумный ты, дурень...

*Занавес*

### Картина вторая

Около полуночи в тот же день. Обстановка первой картины. Когда занавес поднимается, горит одна лампа. Слышен звук отворяемой двери. Входят Грэхем, Дэвид — впереди.

**Дэвид** (продолжая) ...дело не в проигрыше, а в их наглости. Мне наплевать на эти пять долларов. Но мне не нравится, что из меня делают дурачка.

**Джейн.** Господи, какая ерунда! Если бы Джим Эндрюс чего-нибудь стоил, он бы так не лез из кожи вон, чтобы выиграть. Может быть, тогда мы бы и поговорили о чём-нибудь раз в кои веки, вместо того, чтобы тратить жизнь на это дурацкое занятие.

**Дэвид** (зажигая лампу и закуривая). Почему ты думаешь, что я лучше Джима Эндрюса?

**Джейн** (улыбаясь). У меня есть на то свои основания.

**Дэвид** (опускаясь на стул). Какие? Эндрюс был видный и преуспевающий деятель при Рузвельте. А когда выгнали сторонников «нового курса», он стал уважаемым человеком при нынешнем правительстве. В войну ему дали чин капитана и направили в Пентагон. Увидишь, когда-нибудь он будет министром внутренних дел. А я... я так и останусь статистиком за 6 тысяч долларов в год. Вот чем, оказывается, я лучше Джима Эндрюса! Его отец — вице-президент Стального треста, а мой — всего-навсего аптекарь в Пеории.

**Джейн.** Ладно, облегчи душу. Ты — никто. Ты — бедный Дэвид Грэхем, который никогда ничего собой не представлял и никогда ничего собой представлять не будет.

**Дэвид.** А ты ведь и вправду так думаешь!

**Джейн.** Ты просто невыносим. И всё это потому, что я играла в бридж ещё глупее, чем всегда. Зачем мы сегодня туда пошли?

**Дэвид.** Потому что у меня нехватило духу отклонить приглашение Эндрюса. Потому, что я подлизываюсь к нему так же, как я подлизывался к Агронскому. Потому что я не настолько хорош, чтобы самому чего-нибудь добиться.

**Джейн.** Агронский этого не думал.

**Дэвид.** Откуда ты знаешь, что думал Агронский?

**Джейн.** Он говорил со мной о тебе. Что здесь удивительного? Он считает, что ты отличный парень.

**Дэвид.** Ну, тогда всё в порядке, тогда дело в шляпе. (С горечью) Агронский, видите ли, считает, что я отличный парень. Тебе не важно,

что я собой представляю. Но стоило Агронскому замолвить за меня словечко — и ты стала думать, что я и в самом деле кое-чего стою!

**Джейн.** Не понимаю, что ты говоришь.

**Дэвид.** Я спросил Джима об Агронском, когда ты выходила с Мильдред. Знаешь, что он сказал?

**Джейн.** Могу догадаться. Ему не должен нравиться Агронский. Какое это имеет значение?

**Дэвид.** Конечно, всё, что меня касается, не имеет никакого значения.

**Джейн.** Дорогой, я не намерена, на ночь глядя, пережёвывать всё сначала. Если тебе хочется заниматься самоистязанием, делай это один. Я иду спать. (Направляется к двери.)

**Дэвид.** Ехидна.

**Джейн.** Что?

**Дэвид.** Ничего... Просто Джим Эндрюс так обозвал Агронского. Он сказал, что Агронский — ехидна.

**Джейн.** Да ну?

**Дэвид.** Подумать только, что ты знаешь об Агронском куда больше моего! Тебя, кажется, ничем не удивишь.

**Джейн.** А почему меня должны удивлять глубокомысленные суждения Джима Эндрюса?

**Дэвид.** Если вы такие друзья с Агронским, почему ты ничего не сказала о нём, когда Фуллер тебя спрашивал?

**Джейн** (остановилась, не дойдя до лестницы, обернулась к нему, держась рукой за перила). Я не полицейский осведомитель.

**Дэвид.** Значит, Агронский — коммунист? Значит, даже если бы ты это знала, ты бы не сказала?

**Джейн.** Что до меня, он может быть даже марсианином. Если твой друг, мистер Фуллер, может считать меня коммунисткой потому, что я разрешаю негритянке входить через парадную дверь, — пусть он думает об Агронском всё, что угодно. Ни я, ни ты ему в этом помешать не можем.

**Дэвид** (вставая и глядя на неё в упор). Мило! А ты не подумала, что мне может влететь?

**Джейн.** Это мне приходило в голову.

**Дэвид.** Ну, и?..

**Джейн.** Как по-твоему, что я должна была сделать? Сказать Фуллеру, что Агронский — коммунист и что я об этом знаю?

**Дэвид.** Ты знаешь? Скажи. Ты должна мне сказать. (Идёт к ней.) Мне казалось, что я сам хорошо знаю Агронского. Я думал, что это мои военные таланты побудили его устроить мне работу. Но теперь я вижу, что ничего не знаю об Агронском. Когда дело касается евреев и чернопузых — я настоящий младенец. Моя невинная жёнушка, оказывается, может дать мне сто очков вперёд.

**Джейн** (очень холодно и негромко, в ответ на его крик). Прекрати этот разговор, Дэвид. Довольно.

**Дэвид** (уже сознательно распаляя себя). Я бы ещё многое мог сказать...

**Джейн** (прерывая его). Не говори, Дэвид. Довольно. Я иду спать. Спокойной ночи.

**Джейн** поднимается по лестнице и уходит, не оборачиваясь. Дэвид стоит неподвижно, провожая её взглядом, а после того, как она ушла, не сводит глаз с лестницы. Потом он медленно поворачивается лицом к прихожей и нервно закуривает. Он несколько раз жадно затягивается, подходит к ящику и бросает обгорелую спичку в пепельницу. Из столовой выходит Гильда; услышав шаги, Дэвид вздрагивает и резко оборачивается к ней лицом.

**Дэвид.** Что вам надо?

**Гильда** (спокойно). Я хотела погасить свет, мистер Грэхем. Мне показалось, что вы и миссис Грэхем ушли спать.

**Дэвид.** Откуда вы это взяли? Вы слушали?

**Гильда** (сдерживая закипающий гнев). Я не имею обыкновения подслушивать, мистер Грэхем. Я слышала голоса, потом голоса умолкли, а из кухни всё ещё был виден свет. Вы не имеете права обвинять меня в том, что я подслушиваю. Я не знаю, о чём вы разговаривали, и меня это не интересует.

**Дэвид.** Ладно. Извините.

**Гильда** (глубоко вдохнув воздух и закусив губу). Это — моя служба, мистер Грэхем. Мне нравится работать на миссис Грэхем, и я очень привязана к девочке. Но если вы хотите, я могу найти другое место.

**Дэвид** (внезапно теряя самообладание). Ко всем чертям! Можете делать всё, что хотите. Оставаться или уходить ко всем чертям. Это куда ещё мой дом! Желаете, чтобы я сказал более определённо? Вы уволены! Мне всегда были противны чернопузы, которые забывают своё место. Понятно?

**Гильда** (совершенно спокойно). Понятно, мистер Грэхем. Доброй ночи.

Выходит через столовую. Дэвид стоит и смотрит ей вслед чуть не целую минуту. Потом снимает очки и кулаком трёт глаза. Медленно поворачивается, оглядывает комнату, опускается в кресло. Сидит, как в воду опущенный, потом поднимается и гасит все лампы, кроме одной. Направляется к лестнице, останавливается, стоит в нерешительности, затем вынимает бумажник и достаёт оттуда карточку. Теперь, когда жребий брошен, его движения решительны, он нервно набирает телефонный номер.

Держит трубку, пока происходит соединение, затем говорит тихо.

**Дэвид** (в трубку). Алло... Фуллер? (Пауза.) Мистер Фуллер, это я, Дэвид Грэхем... да-да, помните, Дэвид Грэхем? Простите, что звоню вам так поздно. Ради бога, простите! Но вы знаете, как это бывает, когда человеку не даёт покоя совесть... Тут уж не будешь ждать утра. Ждать тут уж просто невозможно! (Пауза.) Как хорошо, что и вы так думаете. Совершенно верно: чувство долга всегда работает сверхурочно! Как это хорошо сказано. (Пауза.) Конечно... И вы поймёте, что мне нелегко это сделать. Вокруг этих вещей столько предубеждения, и человеку надо многое понять, чтобы до конца выполнить свой долг лойяльного американца. Видите ли, я лично был в армии и это... (Пауза.) Да, конечно. (Пауза.) Да, да. Вы это хорошо сказали. Я, может быть, и не догадался бы выразить это именно так, но вы правы. Это не значит, что я что-нибудь скрывал. Я старался быть с вами честным и откровенным до конца. Да и сейчас я не могу добавить ничего сенсационного. Я хочу сказать — ничего, что дало бы возможность сделать окончательные выводы... (Пауза.) Ну да, конечно... Я понимаю, что никогда нельзя быть совершенно уверенным в таких вещах... Но мы с женой вместе подумали... (в эту минуту на лестнице появляется Джейн. Она в халате; по мере того, как Дэвид говорит, она спускается со ступеньки на ступеньку, замирает внизу и смотрит на Дэвида остановившимся взглядом). ...и, к сожалению, вынуждены были признать, что Агронский вполне может быть красным. Ну да, мы сопоставили разные мелочи и, кажется, пришли к определённом выводу... (Пауза.) Да, я могу это сказать довольно решительно. Естественно, что он сам мне этого никогда не говорил. Если бы он говорил, я бы, конечно, с ним немедленно порвал. Но дело в том, что мы, в сущности говоря, прекратили наше знакомство. Я не мог перезарить его философию... (Пауза.) Да... Я хочу помочь



Когда вам будет угодно. (Пауза.) Не благодарите меня. Это я должен вас поблагодарить за то, что вы открыли мне глаза. (Пауза.) Спокойной ночи, сэр.

Дэвид кладёт телефонную трубку и, повернувшись, видит Джейн. Они смотрят друг на друга. Дэвид пожимает плечами и закуривает новую сигарету. Джейн идёт через комнату, не спуская глаз с Дэвида, и останавливается против него. Когда она начинает говорить, голос её вполне спокоен, но чувствуется, как она вся напряжена.

**Джейн.** Тебе стало легче, Дэвид? (Он курит, стараясь избежать её взгляда). Сбросил с себя бремя? (Он подходит к роялю, гасит сигарету в пепельнице. Стоит к ней спиной, потом резко оборачивается, но продолжает молчать.) Очистился? Когда ты предаёшься очищению, тебе следует разговаривать тише. Я бы ничего не узнала, если бы ты так не боялся, что твой «друг» чего-нибудь не расслышит.

**Дэвид.** Ради Христа, оставь меня в покое. Да, я это сделал. Вот и всё. Я сделал то, что считал правильным.

**Джейн** (в голосе её нотка жалости). Ты не считал это правильным, Дэвид.

**Дэвид.** Откуда ты знаешь? Ты так чертовски добродетельна! Всё, что делаешь ты,— всегда правильно. А то, что делаю я,— всегда неправильно.

**Джейн.** Нет... неправда.

**Дэвид.** Ты сама сказала: что бы я ни говорил, всё равно они будут думать об Агронском то, что им хочется о нём думать.

**Джейн.** Да, я это сказала.

**Дэвид.** Тогда чего же ты хочешь?

**Джейн** (качая головой). Бог мой, Дэвид. Неужели ты действительно меня об этом спрашиваешь?

**Дэвид.** Во всяком случае, дело сделано.

**Джейн.** А ведь Агронский устроил тебя на работу. Я знаю, что такое страх, Дэвид. Мне тоже было страшно, поверь мне...

**Дэвид** (прерывая её). Довольно читать мне мораль! Я не ребёнок и не хочу, чтобы мне читали мораль!

**Джейн.** Ты не ребёнок, Дэвид.

**Дэвид.** Что ты меня пилишь? Дело ведь всё равно сделано.

**Джейн.** Конечно, дело сделано. Конечно, сделано. (Идёт наверх.) Доброй ночи, Дэвид.

*Занавес*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

### Картина третья

Время — после полудня следующего дня. Место действия — кабинет Остина Кармайкла в казначействе. Это довольно большая комната, обставленная не слишком современно или богато, но производящая солидное впечатление. Видно, что это служебное помещение довольно значительного правительственного чиновника. Справа — стол красного дерева, стены окрашены в грязновато-зелёный цвет, которому так часто отдают предпочтение в Вашингтоне. Пол покрыт серым ковром. По обе стороны стола два обитых кожей стула. В глубине — широкое окно с жалюзи. Обстановку довершают кожаная кушетка и два стула с прямыми спинками. На стене справа — фотография президента в раме. Кроме неё, на стенах две гравюры. На одной изображён орёл, а на другой — заседание кабинета министров в XIX веке.

Стол аккуратно прибран, на нём мало бумаг. Когда поднимается занавес, косые лучи солнца падают в окно и освещают комнату.

Дверь красного дерева (слева) открывается, и входят Остин Кармайкл и Фред Селвин. Кармайкл — плотный человек лет 50-ти, среднего роста, несколько ожиревший. Он ходит, слегка вытянув шею и наклонив вперёд голову; немножко сутулится. У него крупные, но правильные черты лица и яркосиние глаза под густыми бровями. На нём летний костюм из рогожки. Селвин моложе, ему 40 лет с небольшим. У него узкое лицо; он худ и нервен. Кармайкл подходит к окну и задвигает жалюзи, преграждая доступ солнечным лучам. Движения его решительны. Он садится за стол. Селвин стоит рядом, заглядывая в папку с бумагами.

**Кармайкл.** Дайте-ка взглянуть, Фред. (Он протягивает руку за папкой, просматривая одну из бумаг на столе. Селвин даёт ему папку, он открывает её и перелистывает в ней бумаги. Селвин лениво пересекает комнату.) Они добросовестные люди, там, в ФБР, поверьте мне.

**Селвин.** Да, но прилежание заменяет им талант.

**Кармайкл.** Отдадим должное тому, кто этого заслуживает. Сознаться, когда мы здесь, в Вашингтоне, что-нибудь затеваем, мы это делаем лучше других.

**Селвин.** Много лучше, к несчастью.

**Кармайкл.** Это не такое уж несчастье, Фред. И перестаньте заниматься дешёвой философией... Надеюсь, вы читали это?

**Селвин.** Читал.

**Кармайкл.** Самый факт, что они прислали эту бумагу сюда, показывает: они ждут от нас действий. В ней, правда, нет ничего особенно порочащего, кроме разве того, что Грэхем дурак. Мне его даже жалко.

**Селвин.** Чёрта с два вам его жалко!

**Кармайкл** (добродушно). Вы действительно думаете, что мне доставляет удовольствие причинять... как это назвать? Ну, скажем... страдания?

**Селвин.** В известной мере. Ваш организм этого требует.

**Кармайкл.** Вы сентиментальны, Фред. Не добры, не сердечны, а просто сентиментальны. Мне кажется, что дома вы законченный негодяй. (Улыбается Селвину, который смотрит на него бесстрастно.) Не обижайтесь. Откровенность возвышает меня в моих собственных глазах. Я не сентиментален, но я никогда не бываю намеренно жесток. Вы должны это понять, Фред, для вашего же собственного блага.

**Селвин** (подходя к столу). Что вы собираетесь делать? Потребуете, чтобы он подал в отставку?

**Кармайкл.** А что мне ещё остаётся делать?

**Селвин.** Не пытайтесь свалить это на меня: вы же начальник отдела, а не я.

**Кармайкл.** Для меня всегда были загадкой высоко нравственные люди, которые больше всего на свете боятся действовать. Только мёртвые никому не причиняют зла, не правда ли? Я повторяю — что мне остаётся делать?

**Селвин.** Не знаю. Но даже вы должны признать, что всё это в корне неправильно.

**Кармайкл** (скрестив руки, откинувшись на спинку стула, с улыбкой). Даже я! Вы так кичитесь вашим моральным превосходством... Держу пари, Фред, что вы никогда не знаете, правильно вы поступаете или нет. А я этого не признаю. Нет ни зла, ни добра. Есть только прямая необходимость.

**Селвин.** А эта необходимость так очевидна?

**Кармайкл.** Совершенно очевидна. Всё, что происходит — это какой-то процесс. Люди дают толчок этому процессу, но сам по себе процесс

этот от них не зависит. Он совершенно бесчеловечен. Но он необходим для того, чтобы вы и я могли и впредь получать жалованье и делать то, что требуется для спокойствия нашей души. И не навязывайте мне абстрактную мораль: её нет.

**Селвин.** Интересно, как бы вы поступили, если бы вам прислали такой материал против меня?

**Кармайкл.** Вам не трудно угадать, Фред?

**Селвин.** Вы знаете, что Грэхема принял на работу Филлипс, а Филлипс был другом этого... как его?

**Кармайкл.** Агронского?

**Селвин.** Филлипс ушёл в отставку. Вы были очень дружны с Филлипсом, не правда ли, мистер Кармайкл? Вы часто с ним встречались.

**Кармайкл** (с ядовитой улыбкой). Что я должен — рассердиться или принять это за шутку? Чем вы занимаетесь в свободное время, Фред? Смотрите дурацкие фильмы про гестапо?

**Селвин.** Размышляю, мистер Кармайкл.

**Кармайкл.** Ах, вот как? Вы размышляете, Фред! Быть может, вы размышляете над тем, достаточно ли у вас сил, чтобы померяться со мной?

**Селвин.** Вопрос не в том, кто силен и кто слаб, мистер Кармайкл. (Он бледен и взвинчен.) Вопрос в другом. Вы собираетесь уволить Грэхема не потому, что он коммунист...

**Кармайкл.** Будем более высокого мнения о коммунистах, Фред.

**Селвин.** ...не потому, что он коммунист и даже не потому, что он получил работу через Агронского, а для того, чтобы сделать на этом карьеру.

**Кармайкл.** Не только себе, но и вам, Фред.

**Селвин.** Не впутывайте меня в это дело, мистер Кармайкл. Я сам построю своё благополучие. У вас никогда не было совести. У меня она была — немного, но была. Вы слишком дешево продаёте Грэхема.

**Кармайкл.** И вы думаете... (откидывается на стуле. С жёстким, деланным смехом) ...вы думаете, что я у вас в руках, Фредди. Агронский был приятелем Филлипса. Я был приятелем Филлипса. Следовательно... (Он неожиданно встаёт, говорит негромко и холодно.) Прикажете мне подать в отставку, Фред?

**Селвин.** Вы меня не испугаете, мистер Кармайкл. Прежде, может быть, вам это и удалось бы. А сейчас не удастся, сейчас — другая ситуация. Она открывает новые возможности. Я всегда считал себя человеком совести, мистер Кармайкл, и совесть моя была мне на пользу. Я никогда не дружил с такими людьми, как Грэхем, как Филлипс, как Агронский. Видите, какая у меня предусмотрительная совесть? Над этим стоит поразмыслить.

**Кармайкл** (со сдерживаемой яростью). Обуздайте ваши мысли, Фред... И не пора ли нам пригласить Грэхема?

**Селвин.** Вам не терпится?

**Кармайкл.** Сознаю, меня это занимает. Когда мы поднимаемся на гребень жизни, мы обычно доставляем при этом кому-нибудь неприятности. Но кого это останавливает? Вот почему люди убивают друг друга. Вот почему я могу спокойно наблюдать, как вы меня ненавидите. Вы напрасно тратите столько времени, размышляя о том, как от меня избавиться. Ничего не получится, Фред. Я крепче стою на ногах, чем вы. И у меня лучше тренировка в этих крысиных бегах. Я просто дольше в них участвую. Вашингтон — это сложная машина. Здесь всегда кто-то кого-то ненавидит и строит планы, как от него избавиться.

Но вы никогда не достигнете техники этого дела, Фред: тут действуют силы, которые вы понимаете слишком примитивно.

**Селвин.** Ах так? Благодарю вас, мистер Кармайкл. Должен я присутствовать при вашей беседе с Грэхемом?

**Кармайкл.** Думаю, что да. В конце концов, вы ведь ведаете личным составом.

**Селвин** (кивает, берёт трубку одного из телефонов на столе Кармайкла, говорит быстро и решительно). Пришлите сюда Дэвида Грэхема. (Кладёт трубку и пристально смотрит на Кармайкла, который перелистывает документы в папке.)

**Кармайкл** (не поднимая глаз). Всё это дело — игра слов. Вопрос ведь тут не в лойяльности, а в соотношении сил...

**Селвин.** Разве?

**Кармайкл** (всё ещё не поднимая глаз). ...и я не верю, что вы жалеете Грэхема больше, чем я. Вам себя жаль, Фред. Вы чувствуете опасность.

**Селвин** (флегматично). Может быть.

**Кармайкл.** И вас мучает тревога. Вы мысленно ставите себя на его место.

**Селвин** (холодно и многозначительно). Возможно. Но мне кажется, что и вам не избежать этой тревоги, мистер Кармайкл. Это может случиться, знаете ли. (Стук в дверь.)

**Кармайкл** (откладывая папку и улыбаясь). Впустите его, Фред.

Селвин идёт к двери и открывает её. Входит Дэвид Грэхем; он держит себя почтительно, в то же время он несколько встревожен.

**Дэвид** (подходит к столу). Вы меня вызывали, мистер Кармайкл?

**Кармайкл.** Вызывал, Грэхем. (Селвин идёт к окну и, слегка раздвинув жалюзи, выглядывает на улицу. Долгая пауза. Кармайкл изучает папку. Затем он закрывает её и смотрит на Дэвида с непроницаемым видом.) Маленькая неприятность, Грэхем. Вероятно, вы её ожидали?

**Дэвид.** Что именно, сэр?..

**Кармайкл.** Постараюсь объяснить вам. Вы, конечно, знаете, что каждое учреждение в Вашингтоне контролируется свыше. Наше не составляет исключения. Ничего удивительного! Этого требует международная обстановка. Да и будущие выборы не облегчают положения. В этих условиях неизбежны жертвы, и, к несчастью, вы стали одной из них.

**Дэвид** (озадаченно и испуганно). Я всё ещё не понимаю вас, мистер Кармайкл.

**Кармайкл** (вежливо улыбаясь). Вы знакомы с неким Агронским?

**Дэвид.** Да...

**Кармайкл.** Ведь это он рекомендовал вас Филлису?

**Дэвид.** Да... но я не понимаю...

**Кармайкл** (с ноткой нетерпения в голосе). Думаю, что вы понимаете, Грэхем. Я вызвал вас сюда, чтобы предложить вам подать в отставку.

**Дэвид** (совершенно ошеломлённый). Что?

**Селвин** (отворачивается от окна и делает несколько шагов к ним). Ради бога, Кармайкл... наша обязанность — объяснить ему, как обстоит дело.

**Кармайкл** (снова улыбаясь). Не возражаю.

**Селвин** (нервно потирая лицо). Дело в следующем, Грэхем. Вы встречались с этим Леонардом Агронским, а ему собираются снять голову. И его друзьям тоже. Вам лучше подать в отставку. Зачем вам проходить через тяжкую процедуру расследования вопроса о вашей

лойяльности и увольнение? Вам лучше подать в отставку. Лучше и для вас, и для отдела.

**Дэвид** (всё ещё не понимая). Но моя работа... моя работа не вызвала нареканий.

**Селвин**. Это не имеет никакого отношения к вашей работе, Грэхем.

**Дэвид**. Тогда в чём же вы меня обвиняете? Что я сделал?

**Кармайкл**. Насколько нам известно, Грэхем, вы ничего не сделали. Вопрос не в том, что сделали вы. Вопрос в том, что сделали с вами другие.

**Дэвид**. Но что? Что? Это всё, о чём я прошу. Скажите мне, что? В чём вы меня обвиняете? Какое преступление я совершил?

**Кармайкл** (терпеливо, даже ласково). Мы вас не обвиняем ни в каком преступлении, Грэхем. Мы просто констатируем тот факт, что вы поддерживали отношения с Агронским.

**Дэвид**. Но каковы были мои отношения с Агронским?

**Кармайкл**. Этого мы не знаем, Грэхем. Мы не комиссия по проверке лойяльности. Мы просто два человека, очутившихся почти в таком же положении, как и вы.

**Дэвид** (очень серьёзно). Мистер Кармайкл, вы считаете меня коммунистом?

**Кармайкл** (разводя руками, без улыбки). Какая разница?

**Дэвид**. Я думаю, что разница должна быть. Меня увольняют за то, что я коммунист, но никто не спрашивает, коммунист ли я, и не дают возможности доказать, что это не так.

**Кармайкл**. Вас никто не увольняет, Грэхем. Вас просят подать в отставку. И вас просят подать в отставку совсем не потому, что вас считают коммунистом.

**Дэвид**. Так почему же...

**Селвин** (прерывая его). Грэхем, мы не дети. Я не думаю, что вы коммунист. Я не думаю, что мистер Кармайкл считает вас коммунистом. Что касается меня лично, я не подозреваю вас в нелойяльности. Я никогда не замечал у вас даже признаков нелойяльности. Вы служили в армии, у вас хороший послужной список. И нам нет надобности препираться по этому поводу, как детям. Суть дела в том, что так или иначе вы замешаны в деле Агронского. Возможно, что ваши связи с ним носят самый случайный характер. Думаю, что так оно и есть. К несчастью, это не меняет дела. Решает его самый факт ваших отношений, а не их характер. Более того, я не знаю, коммунист ли Агронский. Я не думал об этом и я не знаком с Агронским. Но я знаю, что Агронский предстанет перед комиссией конгресса по обвинению в том, что он коммунист и связан с Советами или с партией, или... как это там называется?... Это значит, что каждый знакомый Агронского будет взят на заметку и, если он государственный служащий, должен будет дать объяснения комиссии по проверке лойяльности. Перед нами — и перед вами — выбор: либо вы отправляетесь в комиссию, либо вы подаёте в отставку. Полагаем, что для всех нас будет лучше, если вы подадите в отставку.

**Дэвид**. Но мне ведь нечего скрывать. Вот, что вы должны понять. Даже, если дело будет передано в комиссию по проверке лойяльности, я могу доказать, что мне нечего скрывать и что я не сделал ничего нелойяльного.

**Кармайкл**. Будьте разумны, Грэхем. Знаете, что произойдёт, если ваше дело будет передано в комиссию по проверке лойяльности и они предложат вас уволить?

. **Дэвид**. Но зачем им это делать? Вот что я хочу выяснить.

**Кармайкл** (сочувственно улыбаясь). Они уже выяснили всё, что им было нужно. Вам будет трудно найти работу... где бы то ни было.

**Селвин** (к которому Дэвид обернулся в растерянности). Это верно, Грэхем. Нечего закрывать на это глаза. Вы хлебнёте горя, если вас уволят за нелояльность. А это почти неизбежно. Нельзя отрицать факты. Дело не в том, кто вы сами, а в том, кто ваши знакомые.

**Дэвид**. Но, видите ли... ко мне уже приходили насчёт Агронского.

**Кармайкл** (с неожиданным интересом). Кто приходил?

**Дэвид**. Из министерства юстиции. Я даже постарался им помочь... насколько смог.

**Кармайкл**. Кажется, они смотрят на это иначе, Грэхем.

**Дэвид**. (Он говорит очень серьёзно, наклонившись над столом и упершись в него ладонями.) Послушайте, мистер Кармайкл, мне тяжело просить но... я думаю, что заслужил снисхождения. Я прожил всё, что зарабатывал — до последнего доллара — и, может быть, это плохо, но я сейчас без гроша. У меня жена и ребёнок. Послушайте... я служил в пехоте, мистер Кармайкл. Разве я могу быть нелояльным? Я люблю свою страну, как и всякий другой. Мои предки по материнской линии переселились сюда в 1659 году, а по отцовской и того раньше. Я не коммунист — даю вам честное слово, если хотите, могу поклясться в этом...

**Кармайкл** (с неожиданной резкостью). Не будем вдаваться в подробности, Грэхем. Я уже сказал вам, что мы тут ничего не решаем. Значит, вы не хотите принять наш совет. Значит, вы предпочитаете разбор вашего дела в комиссии, — что ж, поступайте, как знаете.

**Дэвид**. (Он выпрямляется и, глядя на Кармайкла, окончательно убеждается в своём поражении.) Понимаю.

Дэвид поворачивается и медленно идёт к двери. Селвин делает движение, словно хочет подойти к нему и что-то сказать. Но, пройдя несколько шагов, останавливается и молча глядит вслед уходящему Дэвиду. Затем оборачивается к Кармайклу, который откинулся на спинку вращающегося стула и глубокомысленно разглядывает противоположную стену.

**Кармайкл**. Неважно получилось, а? Вы что-то позеленели, Селвин.

**Селвин**. Вот как?

**Кармайкл**. Знаете, Селвин, у вас действительно редкостная совесть.

**Селвин**. Я начинаю думать, что всякая совесть — вещь редкостная.

**Кармайкл**. Вам не к лицу цинизм, Фред. Так или иначе, я не разделяю ваших угрызений. Этот Грэхем — субъект не слишком достойный. Когда к нему пришли из министерства, он им помог, верно? Он не проявил излишнего сострадания к Агронскому. Теперь его очередь. Как видите, наш век не рождает героев, Фред, и не создан для морали. У нас есть только одна мера.

**Селвин**. Какая, хотел бы я знать.

**Кармайкл**. Сила.

**Селвин**. Это не ново.

**Кармайкл**. Понятие не ново, а форма новая.

**Селвин**. В чём же её новизна, мистер Кармайкл? Я вижу весьма знакомые черты... весьма знакомые...

**Кармайкл** (прерывая его). Я бы на вашем месте не уточнял.

**Селвин** (мгновение пристально смотрит на Кармайкла, потом улыбается). Да, всё совершенно ясно, мистер Кармайкл.

## Картина четвёртая

Комната в доме Грэхемов; декорации первого акта. Приближается вечер. Прошло несколько часов после событий предыдущей картины. Когда занавес поднимается, Гильда сходит вниз по лестнице в сопровождении Лорри. Гильда зажигает две лампы, затем останавливается в нерешительности.

**Лорри** (протягивает Гильде книгу). Почитай мне.

**Гильда**. Что?

**Лорри**. Ты обещала почитать. Ты сказала, что считаешь.

**Гильда** (нетерпеливо). Не могу. Некогда.

**Лорри**. Но ты обещала. Ты мне обещала.

**Гильда** (сердито). Перестань. Не смей хныкать! (Лицо Лорри морщится, она плачет.) Не смей плакать!

**Лорри**. Не люблю, когда у тебя такое лицо.

**Гильда**. Какое лицо?

**Лорри**. Вот такое. Почему ты не сделаешь себе хорошее лицо? Почему?

**Гильда**. Откуда ему быть хорошим, когда жизнь такая проклятая.

**Лорри**. Видишь, видишь... ты сама сказала это слово. Ты сказала — проклятая — и ты на меня злишься. Почему ты такая нехорошая?

**Гильда**. Я не злюсь на тебя. (Садится на пол и обнимает Лорри.) Разве ты не понимаешь? Я злюсь совсем не на тебя... я злюсь на себя. Я себе осточертела... Ладно, пора браться за дело. За два года у меня скопилось столько хлама — нужно его разобрать и решить, что оставить, а что выбросить.

**Лорри**. Можно, я помогу тебе?

**Гильда** (поднимаясь и задумчиво глядя на Лорри). Ладно. Пойдём.

Уходят через столовую. Слышен звонок в передней. Пауза. Снова звонок.

**Джейн** (сверху). Гильда! (Звонок.) Гильда!.. Пожалуйста, откройте. (Снова звонок. Джейн сбегает, завязывая пояс купального халата. Отворяет дверь.) Мильдред! Откуда? Как хорошо!.. Я так рада вас видеть.

Входит Мильдред Эндриус. Она в пёстром платье и в туфлях на высоких каблуках, слишком накрашена для дневного света. В руках у неё три коробки с печеньем, перевязанные тонкой бечёвкой.

**Джейн**. Посмотрите, в каком я виде (показывает на себя). Сегодня у меня чёрный день.

**Мильдред**. Вы больны?

**Джейн**. Нет. Просто схожу с ума. А тут ещё Гильда пропала.

**Мильдред**. Все они одинаковы! Куда мне это положить?

**Джейн**. Что это?

**Мильдред**. Наш вчерашний выигрыш — в виде печенья. Я была в кондитерской, и всё там так аппетитно выглядело и так хорошо пахло, что я не удержалась.

**Джейн** (огорчённо). Напрасно, Мильдред. К чему это?

**Мильдред**. Терпеть не могу выигрывать в бридж... и играть тоже — особенно так, как играет Джим Эндриус. (Кладёт коробки на стул.)

**Джейн**. По-моему, он играет очень хорошо.

**Мильдред**. Он всё делает хорошо... Одно из свойств этой разновидности паразита. Дайте мне чего-нибудь выпить, милочка! Уже половина пятого. Я слежу за собой — теперь я не пью раньше пяти. Но немножко можно. (С любопытством приглядывается к Джейн.) Что случилось?

**Джейн**. Ничего. (Подходит к столику с напитками.) Послушайте, почему вы не разведётесь с ним, если вы его так ненавидите?

**Мильдред.** А пить-есть надо? И потом я уж не так сильно его ненавижу. Где ваша прелестная дочка?

**Джейн.** Наверно с Гильдой. Чего вам налить?

**Мильдред.** Налейте чего-нибудь покрепче и положите кусочек льда. (Разговаривая, она бродит по комнате.) К тому же, он не даст мне развода, даже если я попрошу... А я, пожалуй, и не попрошу. В Вашингтоне не разводятся, если хотят сделать блестящую карьеру, а Эндрюс собирается стать министром, или послом, или ещё чем-нибудь в этом роде... (Берёт у Джейн стакан.) А вы не выпьете?

**Джейн.** Выпью. (Наливает себе другой стакан.)

**Мильдред.** За ваше здоровье, детка. Вы — прелесть!

**Джейн.** Спасибо.

**Мильдред.** Не сердитесь на меня. Я этого не перенесу.

**Джейн.** Я не сержусь. Просто я окончательно запуталась.

**Мильдред** (садится). А кто не запутался? По крайней мере, ваш муж хоть иногда бывает похож на мужчину...

**Джейн.** Да...

**Мильдред.** А это уж чего-то стоит, правда? Но что произошло между вами? Это связано с делом Агронского?

**Джейн.** Откуда вы знаете?..

**Мильдред.** Слухом земля полнится. Сказать правду, каждый мой приход сюда приводит Эндрюса в ярость. Вот почему я захожу к вам так часто.

**Джейн.** О чём вы говорите, Мильдред?

**Мильдред.** Послушайте, милочка, вы ведь, так сказать, «ферботен» — под запретом. На время, конечно. Эндрюс просил меня вчера предупредить вас, что партия в бридж не состоится. Из-за этого у нас произошло такое побоище! Прямо красота! Даже для нас — красота!

**Джейн** (глядя на неё в замешательстве). Почему же вы не отменили игру, если вы этого хотели.

**Мильдред.** Потому, что иногда я вижу с особенной ясностью, что за паразит мой дорогой супруг.

**Джейн.** Он боится встретиться с нами из-за дела Агронского?

**Мильдред.** Конечно. Вот это — друг. Из всех друзей — друг! Только ведь друзей на свете вообще нет. Хотите, я прочитаю вам лекцию о мужчинах? Для себя я почти решила эту проблему. Только не знаю, можно ли вырыть для них достаточно большую яму.

**Джейн.** Постойте, Мильдред. Можете вы хоть на минутку сосредоточиться? Что общего между вашим знакомством с нами и Агронским?

**Мильдред.** Дорогая, не будьте душой. В Агронского собираются всадить такой заряд!.. Поэтому, если вы знаете Агронского или знаете кого-нибудь, кто знает Агронского, вам лучше уйти в кусты. А мой Эндрюс и так оттуда никогда не вылезает. Дайте мне ещё выпить. (Джейн берёт её стакан и наливает.) Только, прошу вас, не делайте из меня героиню. Я вам откроюсь: я была бы в восторге, если бы Эндрюса втянули в эту историю с Агронским. Но, увы, это только мечта. Его не втянут.

**Джейн.** Скажите, Мильдред, что собственно сделал Агронский?

**Мильдред.** Не знаю. И мне на это наплевать. Наверно, он красный или что-нибудь в этом роде... (Входит Лорри; её лицо и руки перепачканы.) Вот она, наша красotka!

**Лорри.** Хэлло, Мильдред, что ты мне подаришь?

**Джейн.** Лорри, сколько раз я тебе говорила...

**Мильдред.** Оставьте её в покое. Это самое практичное, что может



сказать женщина. (Лорри) Сейчас, детка. Сейчас я тебе что-то подарю. (Идёт туда, где лежат коробки с печеньем, и развязывает бечёвку.)

**Джейн.** Боже мой, Лорри, где ты так вымазалась?

**Лорри.** В подвале. С Гильдой.

**Джейн.** А что Гильда делает в подвале?

**Лорри.** Выбрасывает вещи.

**Джейн.** Какие вещи? Неужели весь дом сошёл с ума? Скажи ей, чтобы она пришла сейчас же. Нет, погоди минутку. Сначала принеси из кухни мокрое полотенце — я вытру тебе лицо и руки.

**Мильдред** (открывает одну из коробок и вынимает оттуда печенье в форме сердца). Вот тебе моё сердце... Оно тебе нравится?

**Лорри.** Очень! Красивое! (Тянется к нему).

**Джейн.** Сперва принеси мокрое полотенце. (Лорри бежит на кухню.)

**Мильдред.** Вы не сердитесь, что я дала ей печенье?

**Джейн.** Нет... Не в этом дело... Дело совсем не в этом.

Появляется Лорри с полотенцем. Джейн вытирает ей лицо и руки, а Лорри вырывается.

**Мильдред.** Ну, теперь, слегка подкрепившись, я пойду. Дорогая, если вам захочется поплакать на костлявом плече — милости просим.

**Джейн.** Спасибо.

**Лорри** (с печеньем в руке). Это так красиво! Мамочка, а съесть мне это можно?

**Джейн** (проводя Мильдред). Не сейчас. Сперва позови Гильду. (Лорри убегает.) Скажите, вы мне завидуете?

**Мильдред.** Конечно.

**Джейн.** А я собираюсь уйти от Дэвида...

**Мильдред** (останавливаясь и поворачиваясь к ней). Что?

**Джейн.** Я собираюсь уйти от Дэвида... Не знаю когда... сегодня, завтра или через десять дней... (По её лицу пробежала судорога.) Но я уйду. Вот, какие дела!

**Мильдред.** Вы сошли с ума!

**Джейн.** Напрасно я сказала вам это так, вдруг. Но мне надо было с кем-нибудь поделиться. Я целый день искала выхода. Впрочем, может быть, это тоже не выход. Забудьте об этом, Мильдред.

**Мильдред** (пытаясь её обнять). Бедная девочка! Отчего же вы...

**Джейн** (улыбаясь и отталкивая её). Нет, нет, пожалуйста, не надо. Я тут ничего не могу объяснить. Спасибо, что зашли. Теперь ступайте. Вот идёт Гильда.

**Мильдред.** Только не делайте ничего второпях. Пожалуйста, обещайте мне...

**Джейн.** Хорошо.

**Мильдред** уходит. **Джейн** возвращается в комнату, где **Лорри** показывает Гильде печенье.

**Лорри.** Смотри, Гильда... это моё. Но я дам тебе кусочек. Честное слово!

**Джейн.** Гильда, что с вами? Что это вы сидите весь вечер в подвале?

**Гильда.** Мне нужно было разобрать свои вещи, миссис Грэхем. Столько скопилось хлама... Привычка... не люблю выбрасывать вещи.

**Джейн.** А для чего вам разбирать их сейчас?!

**Гильда.** Я целый день пытаюсь вам сказать, миссис Грэхем... (горестно смотрит на Джейн.) Я ужожу...

**Джейн.** Что вы сказали?

**Лорри.** Куда ты уходишь, Гильда?

**Гильда.** Никуда... просто никуда. Лорри, пожалуйста, отнеси это печенье на кухню, и, если ты хорошо накроешь на стол, мы будем играть в гости... (прерывающимся голосом, глядя на ребёнка) ...это будет очень мило.

**Лорри.** Куда ты уходишь?

**Гильда.** Разве ты не хочешь играть в гости, Лорри?

**Джейн.** Лорри, делай то, что говорит Гильда. Тогда и я приду с вами играть.

**Лорри.** Хорошо... (Берёт печенье и уходит).

**Джейн.** Пожалуйста объясните мне толком, Гильда. Это — из-за глупой ссоры, которая была у нас вчера?

**Гильда** (качая головой). Нет...

**Джейн.** Тогда из-за чего? Из-за того, что Дэвид тут сказал насчёт Грэйс? Но вы ведь знаете, что вчера произошло. Он был расстроен.

**Гильда.** Нет. Вчера вечером я зашла сюда после того, как вы пошли спать, и здесь был мистер Грэхем... Он сказал мне, что я подслушиваю... Слово за слово, и он меня уволил. Вот и всё. Я весь день не знала, как вам об этом сказать

**Джейн** (подходя к Гильде). Он вас уволил?

**Гильда.** Да.

**Джейн.** Но что же всё-таки случилось?

**Гильда.** Я не знаю, что случилось, миссис Грэхем. Случилось то, что случается всегда. Это всегда случается, не правда ли... Господи, лучше я пойду работать на фабрику! Лучше я буду работать там за десять долларов в неделю, чем терпеть всё это! Я не раба, миссис Грэхем. Я такой же человек, как вы. Я люблю вашу девочку не меньше вашего! (С жаром) Вот, в чём моя беда. Когда я смотрю на неё — я не проклинаю её белую кожу. Когда я смотрю на неё — мне хочется плакать. Лучше я пойду на улицу. Лучше я стану девкой за пятьдесят центов, чем терпеть всё это, чем дрожать за каждый свой шаг здесь, где на меня смотрят, как на комок грязи...

**Джейн** (прерывая). Перестаньте, Гильда! Вы же знаете, что я так на вас не смотрю.

**Гильда.** Ничего я не знаю, миссис Грэхем. (Плачет.) Я больше ничего не знаю, миссис Грэхем.

**Джейн** (обнимая её). Не надо, дорогая, не надо. А кто из нас что-нибудь знает? С тех пор, как я научилась думать, я стараюсь понять этот мир, в котором мы живём. Я говорила себе: надо делать то, что ты должна делать, и всё будет хорошо. А иногда мне кажется, если делать то, что ты должна делать, — всё обрушится тебе же на голову. И вот так и случилось... Не знаю... (Звонок в передней.) Это Дэвид, Гильда. Поиграйте с Лорри. Всё равно мы сейчас ничего не решим. Пожалуйста, Гильда!

**Гильда.** Хорошо, миссис Грэхем. (Уходит в столовую. Джейн идёт в переднюю и открывает дверь. Входит Дэвид.)

**Дэвид** (угрюмо). Хэлло, Джейн. (Он идёт вялой походкой. Джейн, закрыв дверь, направляется к лестнице.)

**Джейн.** Вот уже битый час, как я не могу одеться. Сейчас накину платье и спущусь.

**Дэвид** (тем же тоном). Ладно.

Джейн поднимается по лестнице. Дэвид остаётся один в комнате. Помедлив, подходит к радиоприёмнику, включает его. Транслируется музыка, которую он не слушает. Он выключает радио, идёт к столику с напитками и prepares себе коктейль. Стоит, потягивая напиток. Гильда входит и замирает в дверях. Дэвид поворачивается и видит её. Очевидно, он позабыл, что произошло вчера ночью.

**Дэвид.** Хэлло, Гильда.

**Гильда.** Добрый вечер, мистер Грэхем. Я хотела сказать миссис Грэхем, что гости уже собрались.

**Дэвид.** Какие гости?

**Гильда** (ровным голосом). Здесь была миссис Эндрюс и принесла Лорри красивое печенье, а миссис Грэхем сказала, что хорошо бы поиграть в гости.

**Дэвид** (не слушая). Что?

**Гильда.** Это просто такая игра.

**Дэвид.** Ага... Понятно. Я скажу Джейн, когда она спустится. (Гильда уходит. Дэвид разглядывает свой стакан. Садится. Джейн спускается с лестницы; она уже в платье. Дэвид её не видит, пока она не подходит к нему вплотную). Ты, кажется, не очень рада меня видеть?

**Джейн.** Пожалуй, нет, Дэви.

**Дэвид.** Зачем приходила Мильдред Эндрюс?

**Джейн.** Забежала, чтобы занести печенье. Она купила его на свой вчерашний выигрыш.

**Дэвид.** Вот ещё! Неужели мы не можем позволить себе проиграть пять монет без того, чтобы нам не возвращали их натурой?

**Джейн.** Да, но она не может позволить себе их выиграть.

**Дэвид.** Ничего не понимаю.

**Джейн.** Сегодня трудно что-нибудь понять. (Идёт в столовую. Дэвид поднимается, идёт за ней, берёт её за локоть и поворачивает лицом к себе. Мгновение они стоят так, затем Дэвид отпускает её руку.)

**Дэвид.** Весь день я хотел представить себе, какая ты красивая... и не мог. Почему ты вышла за меня замуж?

**Джейн.** Потому, что я тебя любила.

**Дэвид.** А теперь? (Джейн не отвечает, стоит неподвижно. Дэвид берёт её за плечи, хочет поцеловать, она вырывается.) Ладно... (Возвращается на своё место.) Ничего не говори мне об этом... Ко всем чертям! (Садится и берёт стакан). За всё на свете!

**Джейн.** Дэви, лучше я тебе всё-таки скажу... Я мучилась весь день... тебе это понятно? Смешно, но я не пришла ни к какому решению. Ты сам нашёл это решение вчера ночью.

**Дэвид.** Что ты болтаешь?

**Джейн** (подходя к нему). Ты и я, Дэви... Разве ты не понимаешь? Неужели ты думал, что после вчерашнего всё может продолжаться как было?

**Дэвид.** Не понимаю, о чём ты говоришь.

**Джейн.** Это не так-то легко сказать. (Она приближается к нему. Говорит почти без выражения, но очень настойчиво). Это самое страшное, что мне когда бы то ни было приходилось говорить. Когда бы то ни было... Между нами всё кончено. Всё кончено.

**Дэвид** (вставая). Ты сошла с ума, Джейн?

**Джейн.** Быть может. Но я не могу иначе.

**Дэвид.** Объясни мне... Ведь это всё, чего я прошу! Такие решения не принимают за два часа! Вчерашняя ссора была у нас не первой. Что ты со мной делаешь, Джейн? Ты помешалась!

**Джейн.** Дэвид...

**Дэвид** (снова берёт её за плечи). Джейн, мы долго были вместе. Это нельзя зачеркнуть так просто. Ты ведь знаешь меня. Ты всегда знала меня.

**Джейн.** В том то и дело. Я тебя не знала до вчерашнего вечера... пока ты не продал Агронского.

**Дэвид** (опуская руки). Я продал Агронского... (Смеётся, почти исте-

рически. Поворачивается и отходит от неё, затем снова оборачивается к ней лицом) Я продал Агронского... Боже мой, это великолепно!.. Это просто великолепно! Я — Иуда... но где же тридцать серебряников? (Опускается на стул, закрыв лицо руками).

**Джейн** (с жалостью). Дэви..

**Дэвид** (не глядя на неё). Значит, между нами всё кончено? Сегодня у меня большой день. Сегодня я именинник. Ты бросаешь меня и прavitельство тоже. И всё это сегодня! В один день!

**Джейн**. Дэви... что случилось?

**Дэвид** (взглянув на неё). Тебе-то что? Хочешь меня пожалеть? Ведь я продал Агронского? В этом ты меня обвиняешь. А сегодня вызвала меня эта жирная свинья Кармайкл. Он сказал, что я должен подать в отставку, не то меня вызовут в комиссию по проверке лойяльности за то, что я был знаком с Агронским.

**Джейн**. Не может быть! (Вбегает Лорри.)

**Лорри**. Ты сказала, что мы будем играть в гости! (Ташит Дэвида за руку). Ну, а что же ты? Давайте же играть все в гости!

**Дэвид** (встает и берёт её на руки). Ну, да! Ну, да, мой ангел! Мы будем играть в гости. Мы устроим самый настоящий пир.

Выходит, неся Лорри на руках. Джейн смотрит ему вслед, затем идёт за ним.

*Занавес*

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### Картина пятая

Та же комната в доме Грэхемов. Десять часов вечера того же дня. Когда занавес поднимается — из столовой выходит Гильда и останавливается в нерешительности. Джейн, которая стоит у лестницы, поворачивается, смотрит на Гильду, потом подходит к ней и берёт её за руку.

**Джейн**. Что ж, Гильда. Я не буду делать разлуку ещё тяжелее и не стану просить вас остаться.

**Гильда**. Я и не могла бы остаться, миссис Грэхем.

**Джейн** (медленно кивая). Я знаю. (Смотрит на платье Гильды) Какое миленькое платье.

**Гильда**. Пустяк... ерунда... Я заплатила за него всего пять долларов.

**Джейн**. А выглядит очень мило.

**Гильда**. Я ещё не кончила укладываться. В холодильнике всё, что нужно на завтра, мясо... (Умолкает, смотрит на Джейн.) Что вы будете делать, миссис Грэхем?

**Джейн**. Не знаю, Гильда... (молчит, стараясь прочесть что-то у Гильды в глазах.) Что мне делать? Гожусь я на что-нибудь, Гильда? Скажите мне! (Хватает Гильду за руки.) Скажите! (Гильда обнимает её, и Джейн плачет, уткнувшись ей в грудь.)

**Гильда**. Т-с-с... Не плачьте, голубка, не надо.

**Джейн** (сдавленным голосом). Что делать? Это не жизнь, это страшный сон. Разве я могу пойти туда? (Показывает вверх.) Разве я могу быть с ним? (Отодвигаясь от Гильды.) Разве я могу, Гильда? (В голосе её слезы, он дрожит, как у ребёнка.)

**Гильда**. Если бы я знала, как вам помочь!

**Джейн**. Вы ничем не можете мне помочь, моя хорошая. Никто не может, кроме меня самой. Я, пожалуй, пойду вверх и прилягу. У меня раскалывается голова. Но я вас ещё увижу. Вы ведь не уйдёте, не пропившись?

**Гильда**. Нет... конечно, нет.

Гильда смотрит, как Джейн поднимается по лестнице. Оставшись одна, она медленно и пристально оглядывает комнату. Подходит к роялю и беззвучно прикасается к клавишам. Поставив немного, направляется к двери в столовую. Звонок в прихожей. Гильда идёт обратно через сцену. Открывает дверь. Входит Фуллер со шляпой в руке.

**Фуллер.** Добрый вечер! Я зашёл наугад — вдруг мистер Грэхем дома?

**Гильда.** Он дома. Вернее, он сейчас будет дома. Мистер Грэхем пошёл на угол за газетой.

**Фуллер.** В таком случае, вы не возражаете... Гильда, если я его обожду? Ведь вас зовут Гильдой, а?

В комнате горит только одна лампа. Гильда зажигает другую.

**Гильда.** Да, меня зовут Гильдой. (Она говорит вежливо, но невыразительно.)

**Фуллер.** А где миссис Грэхем?

**Гильда.** Наверху, лежит.

**Фуллер.** Заболела?

**Гильда.** Не знаю, мистер Фуллер. (Она поворачивается, чтобы уйти.)

**Фуллер** (довольно резко). Подождите! (Гильда останавливается и поворачивается к нему лицом.) Вы довольно сообразительная девушка: запомнили моё имя!

**Гильда.** Вы же запомнили моё, мистер Фуллер.

**Фуллер** (улыбаясь). Ловко! И это ставит нас... как бы это сказать?.. На равную ногу, а?

**Гильда.** Затрудняюсь сказать, мистер Фуллер.

**Фуллер.** Вы превосходно умеете держать язык за зубами, не правда ли, Гильда? (Она снова делает движение, чтобы уйти.) Прошу вас, не уходите. Мне хотелось бы поговорить с вами.

**Гильда.** Я не позволяю себе разговаривать с гостями мистера Грэхема.

**Фуллер.** Я не гость. (Он очень мил и любезен.) И вы это отлично знаете. В конце концов... вы же почти член семьи. Не так ли, Гильда?

**Гильда.** Я не член семьи, мистер Фуллер.

**Фуллер.** Что ж, вы на меня, надеюсь, не в претензии, что я так подумал, а? Миссис Грэхем ведь южанка. И я сам из Джорджии. Мы, южане, относимся к чёрным гораздо человечнее... и разумнее, чем янки. Мне, по крайней мере, так всегда казалось.

**Гильда** (прерывая его). Меня ждёт работа, мистер Фуллер.

**Фуллер** (спокойно продолжая). Янки любят чернопузых так сказать «теоретически» и ненавидят их, когда с ними сталкиваются; мы же ненавидим вас «теоретически» и приемлем, так сказать, во плоти. Я могу вам это сказать, вы ведь — умная девушка. И я хочу вас кое о чём спросить. Это моё право, Гильда. Я — агент министерства юстиции. Как видите, я не собираюсь вас обманывать (вынимает бумажник). Вот мои документы. Взгляните. (Гильда медленно подходит и пристально смотрит на документы.) Вот и всё. Ничего страшного. Вам совершенно нечего пугаться. Наше министерство не гестапо. Мы расследуем, а не преследуем. К тому же я не интересуюсь вами лично. Да и мой интерес к Грэхемам носит, так сказать, скорее косвенный характер...

**Гильда.** Что вам нужно от меня? Обождите, мистер Грэхем сейчас вернётся.

**Фуллер** (указывая ей на стул). Садитесь, Гильда, мы себя будем чувствовать свободнее.

**Гильда.** Я лучше постою.

**Фуллер.** Теперь, когда мы поняли друг друга, скажите: мистер Грэхем вышел ведь не для того, чтобы просто купить газету, всё равно какую газету? Он захотел прочесть, что пишут об Агронском? Он очень заинтересован в этом Агронском, не так ли?

**Гильда.** Не знаю, мистер Фуллер.

**Фуллер.** Узнайте, Гильда. Узнайте побыстрее. Вы слишком многого не знаете. (Садится.) Сколько времени вы живёте у Грэхемов?

**Гильда.** Больше двух лет.

**Фуллер.** Вам нравится работать у них?

**Гильда** (неохотно). Зачем вам это знать, какая вам от этого польза?..

**Фуллер** (нетерпеливо перебивая её). Разрешите мне самому знать, какая от этого польза. Ведь вам не хотелось бы заработать соответствующую репутацию?

**Гильда.** Какую репутацию?

**Фуллер.** Ловкой и наглой чёрной дэвки. С такой репутацией вам нигде не получить работы. Если на вас повесят такой ярлык, вы не сможете пойти даже на улицу...

**Гильда.** Вы не имеете права так со мной разговаривать!

**Фуллер** (холодно, тихим голосом). Заткнись! Помни, я с Юга. Отвечай на вопросы, слышишь? Тебе здесь нравится, у них?

**Гильда.** Нравится.

**Фуллер.** Потому что миссис Грэхем — коммунистка, да? (Холодно, со злобой) Запомни: если ты солжешь — это клятвопреступление. Знаешь, что это такое?

**Гильда.** Знаю.

**Фуллер.** Три года тюрьмы — поняла? (Гильда кивает головой.) Значит, миссис Грэхем — коммунистка?

**Гильда.** Нет!.. Нет!.. Клянусь!

**Фуллер.** Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, коммунистка она или нет? Разве она когда-нибудь тебе говорила, что она не коммунистка?

**Гильда.** Господи, когда работаешь у людей так долго, неужели не знаешь, что они собой представляют!

**Фуллер** (словно успокоившись). Ты права. Когда работаешь у людей так долго, всегда знаешь, что они собой представляют. И для этого даже не надо быть (встаёт и бродит по комнате) такой умной девушкой, как ты. Любая на твоём месте знала бы многое. Почти всё. Например, с кем развлекается мистер Грэхем? Какие у него грешки? Ничего серьёзного. Маленькие грешки, которые бывают у всякого мужчины.

**Гильда.** (Теперь она уже испугана, но внутри у неё что-то упорно не хочет сдаваться.) Об этом я ровно ничего не знаю.

**Фуллер** (подскочив к ней). Не знаешь?

**Гильда.** Не знаю.

**Фуллер.** И он ни разу не попробовал позабавиться с тобой, а? Жил два года под одной крышей с такой складной, светлокожей девчонкой и ни разу к тебе не полез?

**Гильда.** Ни разу.

**Фуллер** (снова подходя к ней). Лжешь! (Мягче) Лжешь. Знаешь, что лжешь. И я знаю, что ты лжешь. Значит, мы понимаем друг друга, а, Гильда? Мы оба знаем, что происходит между тобой и мистером Грэхемом. Мы понимаем, почему миссис Грэхем боится тебя обидеть. Вся картина нам ясна, а, Гильда?

Гильда стоит, мотая головой, Фуллер — напротив неё, улыбается. Она не в силах тронуться с места. Голос Джейн сверху прерывает эту сцену.

**Джейн.** Кто там, Гильда? (Гильда стоит в оцепенении и не может сказать ни слова. Фуллер отходит от неё, садится и закуривает.) Гильда!

**Гильда** (делает над собой усилие и подходит к лестнице). Это тот джентльмен, который был вчера, миссис Грэхем.

Джейн спускается вниз. На ней халат, лицо её осунулось, она возбуждена. Останавливается перед Фуллером, который встал, чтобы поздороваться с ней.

**Фуллер** (галантно). Как поживаете, миссис Грэхем? Надеюсь, я не слишком много себе позволил, зайдя к вам мимоходом?

**Джейн.** А разве вы можете себе позволить слишком много, мистер Фуллер? Разве всё, что вы делаете, не выше всякой критики, мистер Фуллер?

**Фуллер** (скромно). Вы ко мне несправедливы.

**Джейн.** А вы всегда поступаете справедливо, мистер Фуллер?

**Фуллер.** Стараюсь. В конце концов, все мы только стараемся поступать, как положено.

**Гильда.** Могу я итти? Я ещё не собрала вещи.

**Фуллер** (вкрадчиво). У вас уходит прислуга, миссис Грэхем?

**Джейн** (кивая). Да. (Гильде) Идите, Гильда, если вам нужно.

Гильда выходит. Джейн подходит к роялю, наблюдая за Фуллером, который снова сел.

**Фуллер.** Все они одинаковы, не правда ли? Недоразвитый ум и никакого чувства ответственности.

**Джейн.** Вы думаете? Я с вами не согласна.

**Фуллер** (подняв брови). Нет? Ах да, я совсем забыл...

**Джейн** (прерывая) ...о моих политических убеждениях? Я ведь слышала сверху почти всё, что вы говорили. Вам не стыдно, мистер Фуллер?

**Фуллер** (злобно). Мне никогда не приходилось стыдиться того, что я делаю!

**Джейн.** Какое самомнение! А случалось вам делать что-нибудь, чем можно гордиться?

**Фуллер** (вставая, с натянутой улыбкой). Я должен перед вами извиниться. Виноват.

**Джейн.** Вас обучают вежливости? Как это делается? Издают специальные инструкции? Или, может быть, созданы курсы, где учат, как вести себя с белыми женщинами, как с чёрными...

**Фуллер** (с полчёркнутым смирением). Мне придётся ещё раз упрекнуть вас, миссис Грэхем. Я думаю — вы ко мне несправедливы.

**Джейн** (приблизившись к нему на несколько шагов). Знаете, мистер Фуллер, почему-то меня совершенно не интересует, что вы думаете и чего вы не думаете. Вас это огорчает?

**Фуллер.** Меня это не огорчает, миссис Грэхем. Ведь я отлично понимаю, из чего вы исходите. С другой стороны...

Звонок. Джейн отворяет дверь. Входит Дэвид. В руках у него газета, которую он показывает Джейн, не видя Фуллера.

**Дэвид** (разворачивая газету с крупным заголовком, читает.) «Агронский предстаёт перед судом конгресса».

**Джейн.** У нас — гость, Дэвид.

**Фуллер.** Добрый вечер, мистер Грэхем. Я взял на себя смелость зайти к вам без предупреждения. Мне было так важно с вами поговорить, что я пренебрёг условностями.

**Дэвид** (остановившись в нерешительности). Добрый вечер, мистер Фуллер.

**Фуллер.** Вы, наверное, не рассчитывали так скоро меня увидеть снова?

**Дэвид.** Нет.

**Фуллер.** Зато на этот раз я пришёл с хорошими вестями.

**Дэвид.** Должен вам заметить, что сегодня меня это не так уж чертовски волнует.

**Фуллер.** (Он оживлён и доброжелателен.) Совершенно напрасно, мистер Грэхем. Это ошибка. Мне здорово попало от вашей жены, покуда вас не было. Что ж, я её не виню. У неё все основания быть на меня в претензии, да и у вас тоже. Я как раз пытался объяснить это миссис Грэхем, но, видит бог, она мне не дала и рта открыты! Она у вас дама боевая, а я хоть и уважаю женщин с характером, очень не люблю, когда из меня делают злодея. Мы, американцы, этого очень не любим.

**Дэвид.** Что вы хотите сказать?

**Фуллер.** Не лучше ли нам сесть, так будет удобнее разговаривать. У меня был трудный день, да и вам было, я думаю, не сладко. Эта глупейшая история, которая произошла с вами сегодня, была вам наверно очень неприятна. Почему же мы всё ещё стоим?

**Джейн.** А почему вы разговариваете обиняками, мистер Фуллер? Неужели вы не можете говорить прямо?

**Фуллер** (усаживаясь, хотя Джейн и Дэвид продолжают стоять). Это не так-то легко сделать, миссис Грэхем. Тут двумя словами не отделаешься.

**Дэвид.** Должен сообщить вам, мистер Фуллер...

**Фуллер** (прерывая). Относительно Кармайкла? Знаю, знаю. Я виделся с ним в 6 часов. И с ним, и с Селвингом. Говорил со своим начальником, а потом провёл четыре часа у телефона. Заверяю вас, мистер Грэхем, что телефоны сегодня работали с нагрузкой не только в Капитолии, но и в других местах. (Откидывается на стуле, вытягивает ноги и переводит взгляд с Дэвида на Джейн и обратно. Закуривает.) Разве я не заслужил, чтобы меня пригласили сесть и разговаривали со мной, как в цивилизованном обществе? Думаю, что мы все этого заслужили. (Очень серьёзно) Моя заслуга в том, что я правильно оценил ваш сегодняшний инцидент с начальством. Какое разительное свидетельство недомыслия и неувязки! Позор, чистый позор! Всё это противоречит американским традициям. Подумайте, они пытались очернить человека, изо всех сил старавшегося показать свою лояльность?! Представляю себе, что вы могли обо мне подумать! Ну, теперь недоразумение рассеялось и нам лучше всего о нём забыть.

Джейн всё время насторожена; она стоит и наблюдает за Фуллером. Дэвид делает несколько шагов к нему и нерешительно садится.

**Дэвид.** Вы хотите сказать, что мне не надо будет подавать в отставку? Не надо являться в комиссию?

**Фуллер.** Совершенно верно.

**Дэвид** (долго смотрит на Фуллера, потом поворачивается к жене. Он ещё попрежнему не уверен в благополучном исходе дела). Ты слышишь, Джейн? (Она не реагирует, и он снова поворачивается к Фуллеру) Мне надо привыкнуть к этой мысли. (Нервно смеётся.) Я ведь всё думал — куда я денусь, а теперь...

**Фуллер.** Я чувствовал бы себя точно так же на вашем месте, мистер Грэхем. Смешно, не правда ли, что такой человек, как Агронский, хотя вы его едва знаете, может сыграть роковую роль в вашей судьбе?



**Дэвид.** Да. (Встаёт.) Мне, кажется, следует выпить. Может быть, вы присоединитесь, мистер Фуллер?

**Фуллер.** Спасибо, нет.

**Дэвид.** А ты, Джейн? (Она отрицательно качает головой. Он направляется к столику с напитками и наливает себе виски с водой. Фуллеру) Кажется, я и в самом деле не герой. А вы — мой ангел-хранитель, мистер Фуллер. За ваше здоровье!

**Фуллер** (улыбаясь). Куда мне! Какой же я ангел! У меня для этого слишком много забот. Хорошо вам, мистер Грэхем, для вас это дело случайное. А я всю жизнь верчусь, как белка в колесе. Я это как раз и пытаюсь объяснить своему шефу, когда разговаривал с ним о вашем деле. Я сказал ему, что если бы все помогали с такой охотой, как вы, — нам нечего было бы делать. И уж, во всяком случае, работать было бы куда легче! (Встаёт и берёт с рояля шляпу. Потом останавливается, словно вспомнил что-то) Да, совсем забыл. Тут у меня заготовлен маленький протокольчик. Я хотел бы, мистер Грэхем, чтобы вы его подписали... (Роется во внутреннем кармане, вытаскивает оттуда конверт, а из него — сложенную бумагу официального вида.) Вот он. Это пустяк, но вы нам поможете, если подпишете.

**Дэвид** (берёт бумагу и читает её. Джейн следит за ним со своего места. Прочтя бумагу, он смотрит на Фуллера, который стоит спокойно, с почти безразличным видом у рояля. Дэвид подходит к роялю и ставит на него свой стакан. Он снова читает бумагу. Теперь в его голосе уже нет радостного возбуждения.) Не понимаю, что это значит.

**Фуллер.** Неужели? А ведь там всё ясно сказано...

**Дэвид.** Тут сказано... (Он снова глядит на документ, с трудом подыскивая слова.) Меня это ставит в странное положение. Здесь написано, что я знаю Леонарда Агронского как члена коммунистической партии и видел его партийный билет. Тут указан даже номер партийного билета. Я не видел его партийного билета, мистер Фуллер.

**Фуллер** (небрежно). Какая разница? Если там указан номер, значит билет существует.

**Дэвид.** Да, но это ставит меня в странное положение. Я не настолько знаю Агронского. Я пытался помочь, рассказать всё, что я о нём знаю... Но я не знаю... (Умолкает и поворачивается к Джейн, которая, не отрываясь, следит за ним.)

**Джейн** (ровно). Не смотри на меня, Дэвид. К несчастью, я тоже не видела его партийного билета.

**Фуллер.** Не кажется ли вам, Грэхем, что вы делаете много шума из ничего? (Берёт газету, показывает на заголовки и швыряет газету обратно.) Агронский попался, и что бы вы ни делали — ничего не изменится. Я вёл с вами честную игру, Грэхем, а вы? Разве это честно?

**Дэвид** (разглядывает протокол. У него совершенно убитый вид). Вы не должны думать, что я не хочу быть вам полезен.

**Фуллер.** (В голосе его появляется жёсткая нотка.) Так в чём же дело, Грэхем? Не похоже, что вы очень стремитесь нам помочь. Минисгерство не требует от вас ничего сверхъестественного. Речь идёт о пустяке, и я не знаю ни одного чистокровного американца, который на это не пошёл бы. (Дэвид стоит неподвижно, глядя на бумагу, которую он положил на рояль. Он пытается выбраться из ловушки, в которую попал, но у него нет на это ни мужества, ни сил. Его жена и Фуллер так же неподвижны, наблюдая за этой борьбой. Длинная пауза.) Ну, что ж, Грэхем, намерены вы подписать протокол? (Дэвид не отвечает. Фуллер мягче) Могу вас заверить: Агронский не стоит вашего сочувствия. Чем скорее мы избавимся от таких, как он, тем нам будет лучше. Он предан не

нашей стране и не нашему образу жизни. На вашем месте, Грэхем, я подписал бы эту бумагу и считал, что неплохо послужил своей стране. Вы знаете, что такое служба. Вы ведь были на военной службе.

Дэвид поднял на него глаза; он смотрит на Фуллера, не отрываясь, лицо его слегка подёргивается. Потом он переводит взгляд на Джейн. Её лицо внезапно осветилось, по нему пробежала едва приметная тень улыбки. Кажется, что Джейн сейчас подойдёт к Дэвиду, но она сдерживает овой порыв и остаётся стоять там, где была. Дэвид снова оборачивается к Фуллеру.

**Дэвид.** А если я не подпишу?

**Фуллер.** К чему предвидеть такую возможность, Грэхем? Неужели вы не понимаете, что я пришёл к вам, как друг? (Тон его смягчается и становится интимным.) Мы ведь не играем в бирюльки, Грэхем. Я не стану угрожать вам потерей работы, чёрными списками, всем, что влечёт за собой обвинение в нелояльности. Не буду, потому что вам это не грозит. Вы как-то обмолвились о том, что ваши предки давно переселились в Америку. Много ли настоящих американцев с белой кожей живёт в нашей стране? Господи, Иисусе Христе, неужели я должен объяснять вам, Грэхем... (Взглянул на Джейн. Она пристально смотрит на мужа.)

**Дэвид** (Джейн). Он прав, Джейн.

Она не отвечает. Дэвид смотрит на неё. Потом с усилием подходит к роялю, берёт ручку, которую ему протягивает Фуллер, и подписывает бумагу. Джейн не двигается.

**Фуллер** (улыбаясь, прячет документ). Я хотел бы пожать вашу руку, мистер Грэхем. Сочту это за честь. (Дэвид пожимает ему руку.) Доброй ночи, миссис Грэхем. (Джейн не двигается и не отвечает.) Спокойной ночи, мистер Грэхем. (Направляется к двери, останавливается и обращается к Дэвиду) Разрешите заверить вас, мистер Грэхем, что с этого момента вы приобрели несколько дьявольски хороших дружков в дьявольски хороших местечках! Теперь у вас будет за что зацепиться. В нашей жизни это кое-чего стоит!

Выходит. Дэвид смотрит на Джейн. Она встречается с ним взглядом. Он отводит глаза. Молчание становится напряжённым, мучительным. Внезапно по лицу Джейн пробегает судорога. Рыдание, заметное глазу, но не слышное, сотрясает всё её тело. Она опускает голову так, чтобы Дэвид не мог видеть её лица. Дэвид подходит к ней и пытается поднять её голову. Она вырывается.

**Джейн** (яростно). Не трогай меня!

**Дэвид.** Послушай, Джейн... (Она смотрит на него, как чужая.) Я сделал то, что было необходимо. Я должен был это сделать.

**Джейн** (очень тихо). Может быть. Может быть, Дэвид, ты должен был это сделать. У тебя не было другого выхода, правда?

**Дэвид** (стараясь вызвать в себе такой же гнев, какой чувствует в ней). Какую ставку ты делала на Агронского?

Джейн смотрит на него. Лицо её вздрагивает, и она вдруг начинает смеяться, смеяться почти истерически. Джейн идёт к лестнице.

**Джейн.** Какую ставку я делала на Агронского? (Поворачивается к Дэвиду) Какую ставку я делала на тебя, Дэвид? (Тихо) О, боже мой!.. (Входит Гильда. Она неуверенно смотрит то на одного, то на другого. Джейн обращается к ней очень ласково) Что вам, Гильда?

**Гильда.** Я уже уложились. Теперь я могу идти, миссис Грэхем?

**Джейн.** А вам есть куда идти, Гильда?

**Гильда.** У меня есть родные в Арлингтоне, миссис Грэхем. Они приютят меня покуда (смотрит на Дэвида) ...покуда я не найду работу.

**Джейн** (очень спокойно). Могут они приютить и меня с Лорри, покуда я не найду работу?

**Гильда.** Как? Не понимаю, миссис Грэхем...

**Джейн.** Я хочу сказать, что я еду с вами, Гильда... если позволите. Вы обождёте, пока я захвачу кое-какие вещи и одену Лорри?

**Дэвид.** Ты что, с ума сошла?

**Джейн.** Разве я похожа на сумасшедшую, Дэвид?

**Дэвид.** В таком состоянии ты не можешь ничего решать!

**Джейн.** Я в отличном состоянии, Дэвид. Никогда не была в лучшем.

**Дэвид.** Не позволяю! Слышишь? Не позволю будить ребёнка и тащить его ночью чёрт знает куда! Уходишь — скатертью дорога! Ко всем чертям! Хочешь к Агронскому — ступай к Агронскому! Не хочешь — иди со своей чёрной девкой! А Лорри — оставь в покое! Лорри я тебе не дам. Слышишь?

**Джейн** (молча смотрит на Дэвида. Она совершенно спокойна. Потом подходит к нему почти вплотную и говорит отдельно) Слышу, отлично слышу, Дэвид. Я иду не к Агронскому. Я могла бы тебе этого и не говорить, но я хочу, чтобы ты знал. У меня ничего не было с Агронским, ни с ним, и ни с кем другим. Я уйду с Гильдой, и я беру с собой Лорри, и ты ничего со мной не сделаешь. Понял, Дэвид? Ничего. Ты даже не скажешь Лорри ничего такого, что может её испугать. Ты понял меня, Дэвид?

**Дэвид.** Ты думаешь, что я...

**Джейн** (прерывая). Да, думаю, Дэвид. Если бы ты попробовал мне помешать... (останавливается, глядит на него) ...я сделала бы с тобой то, что ты сделал с Агронским. Без малейшего сожаления и без всяких угрызений совести. Это было бы только справедливо. Понятно? (Дэвид смотрит на неё молча. Длинная пауза. Потом он вынимает сигарету и закуривает. Отходит к стулу и садится. Смотрит на пол. Джейн говорит Гильде) Пожалуйста, Гильда, уложите мои вещи, пока я одену Лорри. Оба летних костюма и парочку платьев. Захватите передники Лорри. Вы сделаете это, Гильда? (Гильда кивает и идёт к лестнице. Джейн идёт за ней следом.) И не забудьте Лоррины комбинешки... (Дэвиду) Ты думаешь — это не конец, Дэвид? Ты знаешь меня так же плохо, как я знала тебя. Я не откажусь ни от моего ребёнка... ни от моей страны. Это страна — не только твоя и не только Фуллера, это и моя страна. Запомни это, Дэвид. Это моя страна, и я от неё не откажусь. Это только начало, Дэвид. Только начало. Запомни!

*Занавес*

*Перевод Е. Гольшесой и Б. Изакова.*



---

---

# НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. МАРШАК

★

## ИЗ ЛИРИКИ ГЕЙНЕ

ПОГОДИТЕ!

Из-за того, что я владею  
Искусством петь, светить, блистать,  
Вы думали, — я не умею  
Грозющим громом грохотать?

Но погодите: час настанет, —  
Я проявлю и этот дар,  
И с высоты мой голос грянет,  
Громовый стих, грозы удар.

Мой буйный гнев — тяжёл и страшен —  
Дубы расколет пополам,  
Встряхнёт гранит дворцов и башен  
И не один разрушит храм!

\* \*  
\*

Когда выхожу я утром  
И вижу твой тихий дом,  
Я радуюсь, милая крошка,  
Приметив тебя за окном.

Читаю в глазах черно-карих  
И в лёгком движении век:  
— Ах, кто ты и что тебе надо,  
Чужой и больной человек?

— Мой друг, я поэт немецкий,  
Известный в немецкой стране.  
Назвав наших лучших поэтов,  
Нельзя не сказать обо мне.

И той же болезнью я болен,  
 Что многие в нашем краю.  
 Припомнив тягчайшие муки,  
 Нельзя не назвать и мою!

\* \*  
 \*

Когда тебя женщина бросит, — забудь,  
 Что верил её постоянству.  
 В другую влюбись или трогайся в путь.  
 Котомку на плечи — и странствуй.

Увидишь ты озеро в мирной тени  
 Плакучей ивовой рощи.  
 Над маленьким горем немного всплакни.  
 И дело покажется проще.

Вздыхая, дойдёшь до синеющих гор.  
 Когда же достигнешь вершины,  
 Ты вздрогнешь, окинув глазами простор  
 И клёкот услышав орлиный.

Ты станешь свободен, как эти орлы.  
 И, жить начиная сначала,  
 Увидишь с крутой и высокой скалы,  
 Что в прошлом потеряно мало!

\* \*  
 \*

Чтобы спящих не встревожить,  
 Не вспугнуть примолкших гнёзд,  
 Тихо по небу ступают  
 Золотые ножки звёзд.

Каждый лист насторожился,  
 Как зелёное ушко.  
 Тень руки своей вершина  
 Протянула далеко.

Но вдали я слышу голос --  
 И дрожит душа моя.  
 Это зов моей любимой  
 Или возглас соловья?

\* \*  
\*

Двое перед разлукой,  
Прощаясь, подают  
Один другому руку,  
Вздыхают и слёзы льют.

А мы с тобой не рыдали,  
Когда нам расстаться пришлось.  
Тяжёлые слёзы печали  
Мы пролили позже — и врозь.

\* \*  
\*

Над пеною моря, раздумьем объят,  
Сажу на утёсе скалистом.  
Сшибаются волны, и чайки кричат,  
И ветер несётся со свистом.

Любил я немало друзей и подруг.  
Но где они? Кто их отыщет?  
Взбегают и пенятся волны вокруг  
И ветер протяжно свищет.

### ЛОРЕЛЕЙ

Не знаю, о чём я тоскую.  
Покоя душе моей нет.  
Забыть ни на миг не могу я  
Преданье далёких лет.

Дохнуло прохладой. Темнеет.  
Струится река в тишине.  
Вершина горы пламенеет  
Над Рейном в закатном огне.

Девушка в светлом наряде  
Сидит над обрывом крутым,  
И блещут, как золото, пряди  
Под гребнем её золотым.

Проводит по золоту гребнем  
И песню поёт она.  
И власти и силы волшебной  
Зовущая песня полна.

Пловец в челноке беззащитном  
 С тоскою глядит в вышину.  
 Несётся он к скалам гранитным,  
 Но видит её одну.

А скалы кругом всё отвесней,  
 А волны — круче и злей.  
 И, верно, погубит песней  
 Пловца и челнок Лорелей.

\* \*  
 \*

Весь отражён простором  
 Зеркальных рейнских вод,  
 С большим своим собором  
 Старинный Кёльн встаёт.

Сиял мне в старом храме  
 Мадонны лик святой.  
 Он писан мастерами  
 На коже золотой.

Вокруг неё — цветочки,  
 И ангелы реют над ней.  
 А волосы, губы и щёчки —  
 Совсем как у милой моей.

\* \*  
 \*

Не подтрунивай над чортом,—  
 Годы жизни коротки,  
 И загробные мученья,  
 Милый друг, не пустяки.

А долги плати исправно.  
 Жизнь не так уж коротка, —  
 Занимать ещё придётся  
 Из чужого кошелька!

## ГОНЕЦ

Гонец, скачи во весь опор  
 Через леса, поля,  
 Пока не въедешь ты во двор  
 Дункана-короля.

Спроси в конюшне у людей,  
Кого король-отец  
Из двух прекрасных дочерей  
Готовит под венец.

Коль тёмный локон под фатой,  
Ко мне стрелой лети.  
А если локон золотой,  
Не торопись в пути.

В канатной лавке раздобудь  
Верёвку для меня  
И поезжай в обратный путь,  
Не горяча коня.

\* \*  
\*

Как ты поступила со мною,  
Пусть будет неведомо свету,  
Об этом в пустынном море  
Я рыбам сказал по секрету.

Пятнать твоё доброе имя  
На твёрдой земле я не стану.  
Но слух о твоём вероломстве  
Пойдёт по всему океану!

\* \*  
\*

Какая дурная погода!  
Дождь или снег, — не пойму.  
Сажу у окна и гляжу я  
В сырую, ненастную тьму.

Чей огонёк одинокий  
Плывёт и дрожит вдалеке?  
Я думаю, это фонарик  
У женщины старой в руке.

Должно быть, муки или масла  
Ей нужно достать поскорей.  
Печёт она, верно, печенье  
Для дочери взрослой своей.



А дочь её нежится в кресле,  
И падает ей на лицо,  
На милые, сонные веки  
Волос золотое кольцо.

\* \*  
\*

За столиком чайным в гостиной  
Спор о любви зашёл.  
Изысканны были мужчины,  
Чувствителен нежный пол.

— Любить платонически надо! —  
Советник изрёк приговор,  
И был ему тут же наградой  
Супруги насмешливый взор.

Священник заметил: — Любовью,  
Пока её пыл не иссяк,  
Мы вред причиняем здоровью! —  
Девушка спросила: — Как так?

— Любовь — это страсть роковая! —  
Графиня произнесла  
И чашку горячего чая  
Барону, вздохнув, подала.

Тебя за столом нехватало.  
А ты бы, мой милый друг,  
Верней о любви рассказала,  
Чем весь этот избранный круг.

\* \*  
\*

Материю песни, её вещество  
Не высосет автор из пальца.  
Сам бог не сумел бы создать ничего,  
Не будь у него матерьяльца.

Из пыли и гнили древнейших миров  
Он создал мужчину — Адама.  
Потом из мужского ребра и жиров  
Была изготовлена дама.

Из праха возник у него небосвод,  
Из женщины — ангел кроткий.  
А ценность материн придаёт  
Искусная обработка.

\* \* \*

Кричат, негодуя, кастраты,  
Что я не так пою.  
Находят они грубоватой  
И низменной песню мою.

Но вот они сами запели  
На свой высокий лад.  
Рассыпали чистые трели  
Тончайших стеклянных рулад.

И слушая вздохи печали,  
Стенанья любовной тоски,  
Девицы и дамы рыдали,  
К щекам прижимая платки.

### БОЛЬШИЕ ОБЕЩАНИЯ

Мы немецкую свободу  
Не оставим босоножкой.  
Мы дадим ей в непогоду  
И чулочки и сапожки.

На головку ей наденем  
Шапку мягкую из плюша,  
Чтобы вечером осенним  
Не могло продуть ей уши.

Мы снабдим её закуской.  
Пусть живёт в покое праздном,  
Если только бес французский  
Не смутит её соблазном.

Пусть не будет в ней нахальства,  
Пусть её научат быстро  
Чтить высокое начальство  
И персону бургомистра!



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

В. ШАЛАГИНОВ

\*

## СУДЬЯ

**С** Николаем Александровичем Елизарьевым я познакомился в Москве в 1938 году. Он докладывал в Верховном Суде РСФСР какое-то дело в судебной коллегии по уголовным делам. Свобода, с которой он говорил, мягкий и звучный тембр голоса, скупость и точность в изложении подробностей дела — всё это весьма располагало к нему. Мне сказали, что Елизарьев — сибиряк, член Новосибирского областного суда... Встреча с земляком всегда приятна, а с земляком, который понравился тебе с первого взгляда, — тем более. Так завязалась наша дружба...

Наше совместное пребывание в Москве было недолгим. Моя командировка кончалась, и я выехал обратно в Сибирь. За окнами вагона бежала окрашенная серым цветом невесёлая осенняя панорама. Всё было блёклым, тусклым: и бескрайняя Барабинская степь, и мелко-лесье, и торчавшие кое-где решётки заградительных щитов. Лил дождь, было холодно. Это не располагало к прогулкам на остановках, и я то и дело обращался к томику Мельникова-Печерского, оставленному мне Николаем Александровичем. На полях книги пестрели многочисленные пометки, сделанные зелёным карандашом. Они касались литературной манеры автора, характера героев, общественно-политической физиономии старообрядчества. Помню, в одном месте была подчёркнута часть страницы о царском суде: «А суд людям не на радость дан... Будь чист, как стекло, будь светел, как солнце, а ступил в суд ногой — полезай в мошну рукой: судейский карман, что утиный зоб — и корму не разбирает, и сытости не знает».

Владелец зелёного карандаша умел читать книги. Но кто их делал, эти заметки? Я мало ещё знал своего нового друга, а томик Мельникова-Печерского был изрядно потрепан — его читали многие. Однако автором зелёных пометок я почему-то счёл его. И, как выяснилось впоследствии, не ошибся.

Через десять лет после нашей первой встречи, в ноябре 1948 года, я слушал доклад Николая Александровича «Моя работа в суде». Доклад был поставлен в связи с начавшейся в стране кампанией по выборам народных судов. Упоминания Елизарьева о себе были чрезвычайно скромны, но это лишь усиливало их значительность. И передо мной как-то особенно выпукло возник образ советского судьи — простого советского человека, деятельность которого отражала в себе всё многообразие наших общественных интересов.

Тогда я и решил написать о нём эти заметки<sup>1</sup>.

Пока я работал над ними, жизнь Елизарьева подошла к значительной вехе: в феврале 1951 года исполнилось тридцать лет его работы в суде.

<sup>1</sup> Фамилии некоторых лиц, упоминаемых мною, изменены.

Каковы же были начальные страницы этой большой жизни советского судьи?

Недавно я прочёл решения третьего съезда Объединения польских юристов. Одно место в них особенно приковало моё внимание.

«...стоит важная задача борьбы за новые юридические кадры из рабоче-крестьянской среды, окружение надлежащей заботой молодёжи, которая делает первые шаги в научной, судебной-прокурорской и административной работе. Задачей Объединения должно быть ограждение этой молодёжи от чуждых и вредных влияний, рутин, формализма, догматизма и идеализма, а также вооружение её единственно надёжным оружием, каким является наука марксизма-ленинизма».

Как это знакомо советским юристам!

В 1921 году, когда шестнадцатилетний Елизарьев, перекинув через плечо толстую кожаную сумку, впервые шагнул по родному городу в новой для себя роли судебного курьера, молодая юстиция Советской России решала подобные же задачи. Как и в теперешней народной Польше, шла у нас в те дни горячая борьба «за новые юридические кадры из рабоче-крестьянской среды».

### Первое дело

Первое дело Елизарьев рассматривал в 1928 году. За семь лет пребывания в стенах суда — сначала в должности курьера, потом секретаря — он наблюдал сотни дел и, казалось, был уже хорошо знаком с тем, как они ведутся. Но вот — первое дело, по которому он сам председательствовал. Он никогда не предполагал, что будет так волноваться!

Он стоял у окна своего крохотного кабинета. За окном лежала улица, замощённая булыжником. Мокрая после только что прошедшего дождя мостовая блестела на утреннем солнце.

К зданию суда подкатила пролётка. С неё сошёл фабрикант Лазарев — грузный человек в песочного цвета френче и в бриджах с блестящими леями. Он шагнул через лужицу и, постёгивая хлыстом по голенищу, направился в помещение. Простучали его уверенные шаги, сначала на улице, по деревянному тротуарчику, потом за дверь, в коридоре суда.

В зале становилось людно. Почти непрерывно стучали откидные сиденья.

Неожиданно Елизарьев вспомнил о своих заметках по делу и принялся искать их, перебирая бумаги. Он искал беспокойно, с нетерпением, хотя и знал, что заметки где-то здесь, что они не могли потеряться. Припомнилось золотое правило: «Составьте план. Перечислите все стадии процесса, статьи, детали судебного дела. И знайте — это важнее, чем компас в первом плавании»... Но куда же запропастился этот план?

В дверь постучали.

«Секретарша», — подумал Елизарьев.

— Войдите!

Но в двери показалось бородатое лицо. Из-под низко надвинутой косматой бараньей шапки с болтающимися завязками пылливо смотрели зоркие, не по годам живые глаза.

— Можно, стал-быть? — осведомился пришедший и, не теряя времени, бочком протиснулся в дверь.

— Прощу, прошу...

Дед присел. Снял шапку, положил её на колено. Затем, захватив бороду в горсть, тотчас же распушил её и легонько подправил ладонью снизу.

— Ну что ж, обождём... — покладисто сказал он, наблюдая за Елизарьевым, который торопливо просматривал бумаги. — Ты, мил человек, не беспокойся...

Но уже через две-три минуты он переложил шапку с одного колена на другое и с той же ласковой уважительностью напомнил:

— А ты не забудь парень... Слышь?... Как только появится этот... народный судья... Ты ему доложи: дескать, Иван Мирошников. Рекой сюда плавился. Бакенщик, скажи. И скажи — время горячее — сплав.

— Сейчас, сейчас, — машинально ответил судья, с головой ушедший в бумаги.

Бакенщик помолчал, поморщился и снова переложил мохнатую шапку.

— Не в тебе нужда, мил человек. Мне ведь судью надо.

Только теперь до Елизарьева дошло, наконец, в чём дело, и, подняв улыбающееся лицо, он весело сказал:

— Судью? Ну хорошо, дедушка. Правда, время сейчас не приёмное, но уж если ты рекой плавился, слушаю.

Старик неожиданно рассердился:

— А на что ты мне? Мне судья нужен! — Он встал и, решив, видимо, что народный судья в отлучке, с сердцем нахлобучил свою шапку. — Когда, говори, к нему-то прийти?

— Я и есть судья. Выкладывай, дед, свою заботу. Елизарьев — моя фамилия.

Старику, видимо, была знакома эта фамилия. Он усиленно заморгал и сказал смущённо:

— Ну, уж если ты Елизарьев... так я ничего. Тогда и верно — судья. Ум, говорят, бороды не ждёт. Согласен...

Но глаза бакенщика не подтверждали этого согласия. Всё ещё с некоторым недоверием смотрел старик на стоящего за столом молодого парня с таким обыкновенным лицом.

Бакенщик подробно изложил своё дело и, получив совет, попросился всё с тем же удивлённым и недоверчивым выражением на бородастом лице.

Через притихший, сосредоточенно внимательный зал к судейскому столу направились судьи. Елизарьев шёл, несколько опередив заседателей. Бледный, преувеличенно торжественный, он не различал людей и видел перед собой лишь коротенькую кумачевую скатерть на судейском столе. Но сев на председательское кресло, тотчас же заметил справа в толпе знакомую бороду и косматую баранью шапку.

«А ведь говорил, с отъездом торопится. Проверить меня, выходит, пришёл!» — мслыкнуло у судьи.

Впрочем, его это не удивляло. Действительно, чересчур молодежавшим он выглядел для своей солидной должности. И многие, вероятно, думали, что он юношески прост и беспечен.

Дело, лежавшее на судейском столе, не представляло сложности.

В начале 1928 года за недоимки по налогам у владельца фабрики искусственной подошвы нэпмана Лазарева было описано имущество. Кроме своей фабрики, Лазарев уделял очень много времени охоте. Она была его страстью. Он слыл великолепным стрелком-стендистом, принимал осады медвежьих берлог, любил фотографироваться в широкополой альпийской шляпе с ружьём в левой руке наотлёт. Квартиру его заселяли охотничьи трофеи, чучела и главным образом ружья

разнообразнейших систем, марок, калибров: древние пищали и берданы, современные «геко», «винчестеры», «зауэры», автоматические магазинки, штуцеры, «парадоксы». Жемчужиной этой коллекции было штучное ружьё льежского завода в Бельгии, изготовленное по особому заказу. У льежского ружья было несколько пар запасных сменяемых стволов.

И вот, когда всё изъятое у Лазарева — хрусталь, чайное и столовое серебро, ковры, меха, кипы шерстяных тканей, а также вся его «оружейная палата» — было снято с привычных мест и вывезено, хозяин решил прибегнуть к последнему средству. В народный суд посыпались заявления с просьбой вернуть то серебряный самовар, то ковёр, то иную вещь, изъятую при конфискации. Заявления писали подручные Лазарева, мотивируя свои просьбы обычно «правом собственности»: дескать, вещь моя, а у фабриканта она оказалась случайно.

Сегодня народный суд слушал дело о льежском ружье.

Речь истца, человека преклонных лет, в непомерно больших манжетах, была очень краткой. Он просил исключить из описи имущества охотничье ружьё льежской марки, якобы приобретённое им у фабриканта Лазарева два года назад.

Судья спросил:

— А скажите, каким образом ваше ружьё, оказалось у старого хозяина?

Человек в манжетах понимающе улыбнулся и тотчас же заговорил твёрдо и отчётливо.

— Видите ли, в одном стволе я нашёл досадную неисправность. И мне представилось, что гражданин Лазарев, превосходный, как известно, оружейник и прежний владелец этого ружья, сможет дать мне полезный совет. Тогда я вручил ему эту драгоценность за каких-нибудь два-три дня до этого... — истец запнулся — ...гм... рокового, смею сказать, события.

«Что ж, это вполне возможно, — подумал Елизарьев, но, глянув на ответчика Лазарева, на его пальцы, нервно барабанившие по колену, невольно насторожился. — Лазарев волнуется. Почему?»

Ещё неделю назад Елизарьев был секретарём Новосибирского окружного суда. Тогда, как и сейчас, он сидел за таким же большим судебским столом. Теперь он лишь пересел из одного кресла в другое: прежде сидел справа от судей, теперь — в середине. Но как это меняло его роль! То и дело ему приходила мысль: «Будет так, как решишь ты, как решат вместе с тобой заседатели. Никто другой — только ты и они».

— Я попрошу объяснить одно противоречие. — Елизарьев сделал паузу и продолжал, оттеняя голосом каждое слово: — Почему вы передали старому хозяину не только те стволы, в которых нашли неисправность, но и другие? И те, что нуждались в ремонте, и те, что не нуждались в нём?

Истец оказался не готовым к этому вопросу. Переступив с ноги на ногу, он вопрошающе, мельком, глянул на фабриканта. И тут же замолл явную чепуху.

Пальцы фабриканта перестали барабанить по колену.

Между тем Елизарьев продолжал задавать вопросы:

— Значит, в стволе была неисправность. И что же — Лазарев устранил её?

— Помилуйте, это чёрная работа! Дефект так и остался. Я обратился к нему только за советом.

— Следовательно, вы сможете показать суду этот дефект и сейчас?

— Простите, я не вижу ружья.

— Ну, это минутное дело. Я распоряджусь, чтобы ружьё доставили...

— Боюсь... гм... что я не смогу... у меня прескверная память.

«Ах, вот как!» — подумал Елизарьев и, взглянув в зал, заметил белозубую улыбку бородатого Мирошникова. Старик сидел во втором ряду, отогнув ухо ладонью, и удовлетворённо кивал головой.

Картина прояснялась.

Елизарьев и прежде встречался в судах с проходками — торгашами и заводчиками. Слушались десятки дел о нарушении единых государственных цен, о неплатеже налогов, о несоблюдении режима труда на частных хозяйственных предприятиях... Но всегда, во всех случаях, перед судьями были две стороны.

А здесь?

В деле о льежском ружье истец не был истцом и ответчик не был ответчиком. Истец был агентом фабриканта, его орудием, его заводной говорящей куклой. В сущности, это был сам фабрикант. И, таким образом, обе процессуальные стороны были, по сути, одной стороной. Они и не помышляли спорить. Человек в манжетах просил, в качестве истца, об удовлетворении иска, человек в песочном френче — Лазарев, выступая в роли ответчика, — стремился к тому же. Вещь, изъятую государством, он во что бы то ни стало хотел вернуть себе с помощью подставного ходатая.

Слово было предоставлено ответчику. Выдержав длинную паузу, Лазарев заговорил холодно и равнодушно:

— Я уверен, что суд... выразусь точнее: я уверен, что судьи передадут спорный «льеж» досточтимому Модесту Петровичу. Я готов присягнуть, что он действительно купил у меня это ружьё и что сделка состоялась именно 15 марта 1926 года. К сожалению, истец плохо помнит подробности... Вы очень проникательно, граждане судьи, — я бы даже сказал мудро — подметили противоречия в том, что говорил здесь Модест Петрович. Но противоречия эти — видимость, мираж. Вся эта путаница, на мой взгляд, объясняется просто провалом памяти досточтимого истца — я прошу извинить меня, Модест Петрович, — и той губительной контузией, которую он перенёс в четырнадцатом году... Простите, гражданин председатель, я не утруждаю вас изложением подробностей? Нет? Благодарю вас... Здесь возник вопрос, каким именно образом оказались у меня вполне исправные стволы? Но ведь это очень просто.

Говорящий снова сделал многозначительную паузу.

— Дело в том, что и те и другие стволы исправны. И они были исправны! Я получил обе пары стволов одновременно. Принёс мне их Модест Петрович, помнится, перед пасхой. Кстати, явился он в хорошем подпитии — принёс и попросил снять ржавчину. Теперь вы, Модест Петрович, припомнили, видимо, эту частности, — Лазарев величественно повернулся к человеку в манжетах. — Да и есть ли, граждане судьи, нужда в подтверждениях Модеста Петровича? В зале сидят свидетели, выставленные истцом и приглашённые в суд вашей повесткой. Спросите их. Я уверен, что гражданин... дай бог памяти... гражданин Балохончик подтвердит, что он вместе со мной снимал эту ржавчину, а гражданин...

«Что ж я наделал — о свидетелях-то, оказывается, забыл! — мелькнула мысль у Николая Александровича, и он почувствовал, как гулко застучало его сердце. — Я же не удалил свидетелей из зала!»

А ответчик продолжал:

— Я предвижу, что судьи назовут меня странным ответчиком — чересчур покладистым. Не скрою, это так. Но если мне будет позволено, я объясню причины. Деньги Модеста Петровича — трудовые деньги,

он — бывший служащий английской концессии «Лена-Гольдфильдс». Я продал ему вещь, и мне прискорбно...

«Что же теперь делать со свидетелями?» — продолжал думать в это время молодой судья, механически перелистывая дело.

Было очевидно, что свидетели подставные. Они показали бы теперь то, чему их научил здесь, в зале, этот подошвенный коммерсант. Да и можно ли их допрашивать? Ведь нарушен закон — они сидели тут на протяжении всего заседания.

Елизарьев наклонился вправо к одному из народных заседателей, потом влево к другому и неожиданно объявил:

— Дело слушанием отложено.

Это было бегством с капитанского мостика.

Председателем овладело непобедимое чувство горечи и угнетения. При разрешении следующих дел он боялся глядеть в зал, представляя себе старого бакенщика — хмурого, с сердито поджатыми губами. Вопросы он задавал невпопад, тусклым потерянным голосом, с трудом удерживал в памяти цифры и факты: воображение его снова и снова повторяло процесс о льежском ружье. Он мысленно довершал его, исправляя промахи, разоблачал фабриканта. А когда заседание суда было закончено, Елизарьев неожиданно обнаружил, что два следующих дела — оба по искам о праве застройки — были решены против закона.

Закон!

В феврале 1921 года, когда Елизарьев пришёл в суд, страна ещё писала свои первые законы. Кодексов не было. Порой судьям приходилось руководствоваться не статьями законов, а революционной совестью и революционным правосознанием. Декрет о суде № 1 даже разрешал местным судам пользоваться законами свергнутых правительств, но «лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию». Но всё же старыми законами никто не пользовался. И понятно почему. Под угрюмо-торжественными сводами старых судебных зданий, в залах с барельефами Фемиды появились простые советские люди, углекопы Черембасса, бывшие политкаторжане-подпольщики, партизаны, красноармейцы, пришедшие творить суд по-иному, от имени и в интересах народа, и потому так естественно было их решительное, революционное отрицание старых законов.

Но к середине 1928 года, к моменту, когда Елизарьев был назначен народным судьёй одного из участков города Новосибирска, советская юстиция располагала уже не только кодексами (частью к тому времени переработанными), но и множеством книг и комментариев. Молодой судья деятельно изучал их, был постоянным участником создававшихся тогда юридических кружков, но теперь, после процесса о злополучном «льеже» он с особенной силой почувствовал, насколько узок круг его знаний.

На следующий день Елизарьева пригласили в окружной суд.

— Сам председатель звонил, — докладывала секретарша, сочувственно поглядывая на судью. — И таким голосом, таким голосом...

...Весть о назначении Елизарьева народным судьёй его друзья-комсомольцы приняли, как свою общую победу. Сколько было поздравлений, пожеланий, тёплых, участливых расспросов... Председатель окружного суда Сова-Степняк тряс ему руку и пророчил: «Всё будет в порядке. Никололай, не робей... Шире шаг, хлопчел!»



И на вот! — «шагнул»..

Сейчас, направляясь в окружной суд, Елизарьев не страшился ни нотации, ни даже наказания... Им владел не страх, а стыд, горечь, досада.

Он ведь знал своё первое дело, как пять пальцев. И всё-таки провалился! Небрежность? Нет, прежде всего — легкомыслие. А при рассмотрении следующих дел, которые суд слушал вслед за иском о ружье, он понадеялся на свои старые знания, не перечитав законов. Что, мол, тут мудрёного — право застройки...

И вот из-за того, что прежде чем приступить к разбору этих дел он не перечитал каких-то двадцати слов в законе, суд дважды сказал «нет», вместо «да». И в двух случаях неправого признал правым. Так его незнание стало судебной несправедливостью...

Он припомнил такой случай.

Фёдор Авксентьевич Сова-Степняк, председатель окружного суда, к которому Елизарьев сейчас шёл, поругал как-то по телефону народного судью Михалёва — человека самолюбивого, с горячим независимым характером, и тут же предложил ему явиться в окружной суд.

Михалёв лихо влетел в приёмную, и не успел Елизарьев, работавший в то время старшим секретарём, открыть рта, как тонкая, подтянутая фигура судьи уже пропала за дверью кабинета.

В кабинете, судя по тому, что доносилось через дверь, последовало бурное объяснение.

Сова-Степняк вскоре позвонил и распорядился, чтобы старший секретарь принёс ему кассационное производство по одному из судебных дел. Когда Елизарьев вошёл с папкой к председателю, в кабинете стояла напряжённая тишина. Михалёв сидел у стола в низком кожаном кресле, нога на ногу и, пристроив на колене папиросную коробку, сосредоточенно рисовал на ней синие кубики. Председатель курил.

— Давайте порассуждаем, — обратился он к Михалёву, принимая от секретаря бумаги. — Может ли, к примеру, печник выйти на рабочее место без подготовки? — Он усмехнулся и предупреждающе закивал головой. — Знаю, знаю, что вы в прошлом печник... Значит, не может?.. Пока не приготовлена глина, вода, пока нет... ну чего ещё?

— Ящика... — угрюмо отозвался Михалёв.

— Да, да, ящика, чтобы замесить глину. Словом, пока всё это не подготовлено, печник — ещё не печник. И явись он на голое место налегке, с одним молотком — засмеяли бы свои же, товарищи... А вот за судейский стол вы сели вчера без подготовки. С молоточком! Дела не прочли, законов не прочли... И каков же результат? Ясно, каков!

Михалёв молчал.

— Я и хочу, чтобы вы хорошо поняли горечь моих слов... Плохую печь можно переложить. Любую. Воз сена, который развалился, можно сложить снова. Любой. Но судебное дело, испорченное легкомыслием, поспешностью, нерадением судьи, удаётся исправить далеко не всегда...

Теперь всё это относилось к Елизарьеву. «Налегке, с молоточком...»

Председатель окружного суда, свежевыбритый, в тонкой шерстяной гимнастёрке с белоснежной полоской над воротничком, читал за столом газету.

— А вот и ты! — Он поднялся при появлении Елизарьева и вышел из-за стола. — Сидай, хлопче, сидай.

Но заметив, что молодой судья продолжает стоять в крайнем смущении, красный, как помидор, Сова-Степняк прикрикнул на него с шутиливою, напускной строгостью:

— Да садись же, раз велют тебе, молодо-зелено!..

Затем медленно пошёл обратно к себе за стол, и, когда повернулся к присевшему напротив Елизарьеву, лицо его уже было серьёзным.

— Я бы хотел, Николай, спросить тебя... — он помедлил, что-то припоминая... — Ну, скажем, знаком ли ты с программой полного разоружения, которую Советская делегация предложила в Женеве? В общих чертах, говоришь? Д-да... Теперь второе, главное: что ты читаешь? Какие политические книги?

— Политграмоту... — выдавил из себя молодой человек.

Степняк прижмурил голубые добродушные глаза и, сунув ладони рук под широкий ремень, раздумчиво сказал:

— Не то, хлопче, не то. Ленина читать надо. Ленина и Сталина! Трудно? А так ли?.. Я, помнится, первые партийные слова читал в прокламациях. Понятные это были слова, сильные, зовущие. И насколько они сильны, наблюдал не только на друзьях, но и на врагах. В 1907 году меня судил Киевский военно-окружной суд: был пойман казачьим разъездом у афишной гумбы, расклеивал листовки. И вот — процесс. Как сейчас вижу государственного обвинителя. Важный такой, с внешностью «под-царя», с царскими усами, с царской бородкой... Поднимается с места и трясёт пачкой листовок. Уличает, демонстрирует вещественные доказательства: тут, мол, и басурманство, и крамола! А держит листовки с таким видом, будто не бумага это, а гремучая змея. И вот вижу я: на его лице — страх. Он хочет меня запугать, а перед листовками сам дрожит. И тут я особенно ясно понял, какая сила таится в нашем большевистском слове.

Степняк улыбнулся.

— И ещё... Жил я во Дворце. Это не палаты, разумеется, — деревенька так называлась. Обыкновенная таёжная деревенька. В Приаи-гарье. Скучал по книгам, по горячему партийному слову. И попал ко мне как-то один легальный журнал. Может, слышал когда-нибудь: «Современный мир». Листаю — стишки, рассказы, статейка о Бакунине, и вдруг — Ильин: «Еще одно уничтожение социализма». Да ведь это ж он, Ильич! И скажу я, Николай, никогда и никакой статьи я не читал с такой жадностью, как эту. Кажется, всё вокруг стало шире... А лёгкая, думаешь, была статья? Ленин клал в ней на обе лопатки русских «марксоедов» — Туган-Барановского, Струве. В ней шла речь о политической экономии, о Марксе, о Сен-Симоне, ещё француз какой-то упоминался, Ренувье, кажется... Да вот она...

Степняк снял с этажерки один из томов и быстро раскрыл его...

Елизарьев ждал строгих слов. Волнение, переполнявшее его душу, не унималось. Он томился и лишь смутно воспринимал то, что читал ему теперь Степняк из ленинского тома.

Председатель понял это его состояние и, прекратив чтение, сказал:

— А ты, хлопче, не волнуйся... Я ведь хочу внушить тебе только одну мысль.

Он взял со стола книгу и заговорил тихо, проникновенно:

— Вот наш первый закон, закон всех законов... Ты вчера от подонного коммерсанта пощёчину получил. Но почему? Потому что нарушил закон? Разумеется. Но только ли в этом дело? Тут надо смотреть в корень. Почему могло произойти нарушение? Потому, что ты думал: тихое гражданское дело, пустяковый спор об охотничьем ружье, что, мол, в нём... Да их тысячи — этих тихих дел в наших судах, но в каждом из них решается исход смертельного поединка — кто кого! Вот о чём ты забыл... — Степняк поднялся, стукнул по столу костяшками пальцев: — Забыл! Одним словом, впрямь в большую партийную

науку... А относительно законов... Напомни-ка, какую статью ты нарушил?

— Двести семьдесят четвёртую...

— А если б ты не нарушил её, то и не выпустил бы из своих рук правды. Верно?.. Я знаю: теперь ты никогда не повторишь этого промаха — свидетелей будешь удалять аккуратно. Но соль не в этом. Главное: закон даёт нам ключ к ясности, к правде, а, нарушая закон, мы теряем этот ключ... Тут не форма — суть.

— Я не спал всю ночь, Фёдор Авксентьевич, — неожиданно произнёс Елизарьев.

— Волновался?

— И волновался, и... Я сам понял то, о чём вы сейчас сказали...

Елизарьев поднялся.

— Вот и добре... А это кому? — полюбопытствовал Степняк, указывая на небольшой тёмный пакет, забытый юношей на столе.— Дела, которые рассматривал? И для какой же принёс цели? Чтобы отменить твой решения? — Лицо Степняка просияло.— Ну, вот это молодец... От души рад за тебя!

Сова-Степняк встал и крепко пожал руку молодому судье.

— Не тот силен, кто не делает ошибок, а тот, кто не боится признаться в этом и исправить их. Об этом, дорогой, тоже в книгах написано.— И он показал глазами на тома Ленина, тесно стоявшие на этажерке.

### Школа

Встречи с Совой-Степняком были хорошей школой для молодого судьи.

Сын сапожника, потерявший отца в четыре года, а мать в четырнадцать, Николай Елизарьев рос на улице в окружении новониколаевской шпаны, так впечатляюще описанной в книгах Сейфуллиной, был мальчиком на побегушках, продавал газеты, трудился «на подхвате» у старика-лодочника, разгружал вагоны с углем и баластом, рубил, мёл, штопал, копал, пилил и даже стряпал в частной кухмистерской знаменитые сибирские пельмени. В двадцатом году он вступил в комсомол и почти сразу же был избран секретарём ячейки. С тех пор комсомол стал его семьёй. По путёвке укомла (так называли тогда уездные комитеты комсомола) он попал учеником токаря на завод «Труд», потом его перебросили ездовым на военпродпункт. Первое, что ему доверили на поприще правосудия, была разносная книга народного суда одного из участков города Новосибирска.

Он пришёл в суд с немалым опытом жизни. И только. Но образование его было ничтожно малым. И школой стали для него встречи с людьми, которые окружали его в суде: представители старой большевистской гвардии — Степняк, Шамшин, Галунов, питомцы советских вузов — Качков, Александров.

Особое место в те дни занимал в его жизни Сова-Степняк. Это был человек полный обаяния, вдумчивый и содержательный.

«За беспощадную борьбу с контрреволюцией», — так было сказано в постановлении о присвоении Степняку звания почётного чекиста, вынесенном коллегией ОГПУ под председательством Ф. Э. Дзержинского.

Открытая и твёрдая беспощадность к врагам революции сочеталась в Степняке с большим, добрым сердцем. Он чутко и верно понимал людей труда. Конотопский каменщик в прошлом, член боевой рабочей дружины в первую русскую революцию, организатор ряда массовок в период столыпинской реакции, он долгие годы провёл в сибирской ссылке

и, освобождённый из неё революцией, вернулся на Украину. Участвовал в восстании против националистической Центральной рады, в восемнадцатом году возглавлял подотдел агитации украинского отдела Народного комиссариата по делам национальностей, позже работал в Губчека (Тамбовской, Красноярской, Барнаульской, Томской), на протяжении ряда лет был членом президиума Сибирского КК РКК и, наконец, председателем Новосибирского окружного суда.

С особенной внимательностью следил он за первыми шагами Елизарьева. Он пестовал юношу, как сына, как старый большевик — молодого.

...Судья распорядился ввести подсудимых. Моментально все обернулись к выходу. Только двое в зале — они сидели у открытого окна с белой вздувшейся парусом занавеской — не пошевелились, не любопытствовали взглянуть на подсудимых. Это обратило внимание судьи. Он сразу же узнал их и, узнав, почувствовал себя, как на трудном экзамене. Это был Сова-Степняк со своим заместителем.

Слушалось дело о лжекооперации. Судили «тихих мыловаров» — так окрестила их одна из местных газет.

Подобные дела слушались часто. Пытаясь уйти из-под жёсткого налогового пресса, нэпманы прибегали к разным увёрткам. В частности, они создавали лжекооперативные предприятия. Ещё вчера, допустим, висела, аляповатая, яркая вывеска: «Ателье шикарного платья. Панины, отец и сын», а сегодня её сменяла другая: «Кооперативная артель «В единении — сила». Но, кроме этого, ничто не изменялось. Под вывеской артели, как и прежде, на старом месте оставался хозяйчик, и по-прежнему он эксплуатировал рабочих.

Начался допрос. «Тихие мыловары» пытались парировать обвинение. Свой завод они именовали теперь «зерном социализма».

Право допроса подсудимого перешло к представителю государственного обвинения. Это был человек ясной и острой мысли, пронизательный, энергичный. Говорили, что он способен был удержать в памяти материал любого, даже многодневного процесса и затем блестяще раскрыть его в своей речи без предварительных записей, по нескольким заметкам... Теперь он вёл наступление.

Елизарьев превосходно знал дело, знал, кого именно и о чём спрашивать, он добросовестно проштудировал юридические источники, комментарии — внушения Степняка не прошли для него впустую. «В каждом допросе есть один главный вопрос», — возникла в памяти слышанная в своё время фраза. Перед ним лежал лист бумаги с планом заседания, старательно составленный им заранее, где аккуратно были зачёркнуты все уже миновавшие стадии процесса. Но в отыскании главного вопроса этот лист помочь не мог...

Елизарьев сидел однажды со Степняком в зале народного суда в Черепанове. Слушалось несложное дело о браконьерстве. Перед судьями стоял свидетель, выставленный браконьером.

Председательствующий спросил:

— Семейный?

Свидетель — большой, красивый старик в тёмном домотканном аязме — неопределённо улыбнулся.

— Как же... семейный.

Неведомо из каких соображений судья заинтересовался потомками леда:

— Детей-то сколько?

— Порядком, товарищ судья.

— Всё-таки?

Старик сделал озабоченное лицо и принялся нашёптывать про себя имена домочадцев. Но вскоре сбился и спросил:

— Всех, значит? Или живых только?

В зале раздался приглушённый смех. Но свидетель не смутился.

— У меня ведь их много: старшие-то — от Лукерьи Спиридоновны, царствие ей небесное, а младшие — Петрован да Машка — те, значит, — от другой... Допустим, о Машке... Сущее она дитё ещё.

Зал снова отозвался сдержанным смехом.

Сова-Степняк досадливо повёл плечами:

— Не там пашет судья да вдобавок людей смешит! — Он медленно поднялся. — Пойдём, Николай.

В тот же день, в поезде, Сова-Степняк с возмущением рассказал об этом случае помощнику краевого прокурора Муравьёву, также возвращавшемуся из командировки.

Муравьёв выслушал его молча, а потом неожиданно спросил:

— Вы играете в шахматы, Фёдор Авксентьевич? Мне кажется, следственный допрос во многом подобен шахматному поединку. Ведь шахматист, как известно, терпит крах не только потому, что зевает, скажем, фигуру. Часто это происходит из-за потери темпа, из-за того, что он произвёл ненужную передвижку фигуры. Упустишь темп — а противник уже перехватил инициативу... Сколько, дорогой Фёдор Авксентьевич, делаем мы подобных пустых ходов. Вы правы, конечно: ну какое значение для дела может иметь то, сколько у свидетеля детей? Речь-то о нарушении правил охоты! Но этот свидетель был рад увести суд в сторону, а судья своим праздным любопытством ещё на помощь ему пришёл! Мне думается, в судебном следствии по каждому делу да, пожалуй, и в каждом следственном допросе есть один главный вопрос. Один. Задайте его к месту, в простой, ясной форме — и всё прояснится. Как будто вспыхнет свет в тёмной комнате. Искусство — в том, чтобы найти этот вопрос, понять, что именно он является этим... чудесным выключателем... И мне кажется, что такой вопрос не приходит сам, его надо готовить, готовить час, два, а иногда — день и даже неделю... И найти для него лучшую — самую лучшую, самую точную форму. А неисканный, небрежный вопрос в состоянии испортить дело, даже толкнуть виновного на непризнание своей вины. Словом, такой вопрос не приближает, а отдаляет то, что вы ищете: истину.

Сова-Степняк согласно кивнул головой...

Сейчас прокурор Муравьёв сидел справа от Елизарьева за небольшим столиком и безостановочно задавал вопросы — прямые, ясные, беспощадные.

«...Небрежный вопрос не приближает, а отдаляет истину», — припомнил Елизарьев, и ему сделалось жарко. Неужели всё, что он спрашивал до сих пор, было толчением воды в ступе? Нет, это не так!

Прокурор спросил:

— Значит, вы были рядовым членом мыловаренной артели?

«Тишайший» из мыловаров — узкоплечий, очень подвижной, с причино-готовым выражением лица, решительно ответил:

— Да.

— Хорошо. По материалам дела, казначеем артели был избран Почковский, свидетель по этому делу?

— Точно. Это давнишний работник завода.

— Ваш работник?

— Да,— с той же решительностью подтвердил «тишайший». — То есть до ликвидации моего завода. А потом, после того, как у меня отобрали завод, он стал...

— Выше вас?

— Именно. Он теперь — казначей, а я — только рядовой член артели.

— Почему же тогда этот, как вы сами признаёте, безукоризненно честный человек, не стал казначеем фактически? Почему фактически продолжали хозяйничать вы, старый хозяин — и в делах завода, и в делах кассы?

— Откуда это видно? — сдержил «тишайший».

— А вот откуда, — прокурор извлёк из пакета с вещественными доказательствами крошечную записную книжку в переплёте из серебряной чешуи, с серебряной же застёжкой-пуговицей и, полистав её, продолжал:

— Узнаёте? Ваша записная книжка? Читайте! Вот здесь: «М. Р. — 176-72»... Эту запись я расшифровываю следующим образом: от Мефодия Романова получил 176 рублей 72 копейки за мыло. Так ведь? Ах, ничего подобного? Тогда откроем лист дела 88... Показания Мефодия Романова... Я их прочту... Что? — прокурор повернулся к «тишайшему». — Вы говорите: не следует читать? Значит, вы их знаете, и значит...

— Значит, да...

Елизарьев не смог бы сказать, какой из этих вопросов прокурора был главным. Но всё теперь осветилось полным светом. Прокурор нащупал выключатель!

«А я «пахал» и не там, и мелко», — подумал Елизарьев.

Следующего мыловара судья допрашивал обстоятельно, с вдохновением и с тем чувством особенного судейского такта, когда собственная позиция судьи остаётся в тени. Его поглощала теперь только одна мысль: «Как лучше?». Он уже не думал о присутствовавшем в зале начальстве и вспомнил о Степняке лишь во время обвинительной речи.

Степняк попрежнему сидел у окна. Придвинувшийся к нему заместитель что-то долго и возбуждённо шептал ему, время от времени тыкал карандашом в блокнот и снова что-то говорил. Но Степняк почти не слушал его и, наконец, отодвинув блокнот рукой, кивнул на оратора.

Речь государственного обвинителя подходила к концу. Он говорил:

— Идя на процесс, я купил у лотошника вот эту книгу, — прокурор держал в руках небольшую книжку в мягком переплёте. — Это — книга о нашем суде и судьях. Моё внимание привлекла в ней одна статья. Я позволю себе небольшое отступление... 13 мая 1921 года басмаческая шайка Муэтдин-Бека — четыре тысячи сабель — совершила зверское нападение на продовольственный транспорт, шедший в направлении города Ош, и зверски расправилась с горсткой продармейцев. На дороге остались десятки изуродованных тел. В июле Муэтдин-Бек ворвался в Ош и опустошил его. В кишлаке Конджар он вырезал местный советский гарнизон... Через два-три месяца он держал в трепете всю Восточную Фергану. Кишлаки были обложены непомерной данью. Трудовое население испытывало самые тяжкие лишения...

Елизарьев повернулся в сторону прокурора. Полный недоумения, он будто спрашивал: «Разве мы слушаем дело Муэтдин-Бека? Ведь перед нами не басмачи, а мыловары?».

Заметив этот немой вопрос, оратор в свою очередь повернулся в сторону судей.

— Я постараюсь рассеять вполне законное недоумение... Муэтдин-Бек и семеро его ближайших сподвижников были приговорены к расстрелу... Я хочу провести одну параллель. Тогда, в ту пору, опаснейшим

видом преступлений был политический бандитизм. И органы юстиции вели, в сущности, гражданскую войну. Полевую сессию военного трибунала Туркестанского фронта сопровождал, например, бронепоезд, а подсудимые содержались в броневой башне. Теперь, в наши дни, муэтдинбеки стали «тихими» мыловарами. Они маскируются под советских людей. И хотя судебные органы не ведут теперь гражданской войны, но ведут войну против того же врага. Муэтдин-Бек стрелял из английской винтовки, а при аресте у него был изъят Коран лондонского издания... Ваши подсудимые, товарищи судьи, создавая лжеартель, пытаются подменить социализм капитализмом. Они «стреляют» из того же оружия и благоговеют перед проповедями того же «издания»...

Под впечатлением речи прокурора преступление мыловаров открылось судье с какой-то новой, особенной стороны. По-иному, зримо, почти физически он ощутил мерзость этого преступления.

— Я прошу вас о вынесении сурового приговора... — говорил прокурор. — Приговор по делу Муэтдин-Бека народ встретил с ликованием. Вы работаете для блага трудящихся, и ваш приговор по делу новых, нынешних муэтдинов, будет понят и одобрен трудящимися, и в их числе — рабочими этого мыловаренного завода, теми рабочими, фактическое раскрепощение которых произошло не после революции, не в 1917 году, а лишь сейчас — после того, как возникло это судебное дело...<sup>1</sup>

Приговор был объявлен. Елизарьев вместе с народными заседателями направился в свой кабинет. Он заметил, что в зале у окна никого не было. «Должно быть, ушли», — решил он, но уже вскоре из кабинета услышал знакомое: «Э-гей, хлопче, не волнуйся!», сказанное кому-то в коридоре. В дверях показался улыбающийся Степняк.

— Ну, молодо-зелено, волновался?.. Хорошо, хорошо!.. — и обернувшись к своему заместителю, Степняк громко спросил: — Так что ли, Павел Иванович? Хорошо?

Павел Иванович с улыбкой развёл руками: так, дескать, но тут же вытянул из кармана громадный блокнот, моментально заставивший Елизарьева насторожиться.

— Нет, это — потом, — поднял Степняк руку. — О мелких грехах — после, на президиуме... А в целом, прямо скажу: хо-ро-шо! Но есть и ложка дёгтя. И пресолидная... Я наблюдал весь процесс, но не видел суда. Не было суда! Был Елизарьев, был председательствующий в суде, но коллеги я не видел. Ни один из народных заседателей не открыл рта, не задал ни единого вопроса. И вот могло создаться ложное, ошибочное представление, будто бы судил один председательствующий: А ведь у вас были прекрасные люди. Я знаю их.

Елизарьев молчал. Да и что он мог ответить! — правота упрёка была очевидной.

— Я объясняю это тем, что ты не познакомил заседателей с делом. Верно?

— Да...

— Словом, учти. И не делай скучного лица! — Степняк поднялся. — А пока — будь здоров!

<sup>1</sup> В нашей текущей судебной практике дела о лжекооперации теперь чрезвычайно редки. В странах же народной демократии они встречаются ещё довольно часто. Как и в Советском Союзе, ответственность за этот вид преступления установлена там специальными статьями закона. Вступивший в действие с 1 августа 1950 года уголовный кодекс Чехословацкой республики предусматривает ответственность не только за создание лжекооперативов, но и за другие посягательства на социалистическую систему хозяйства — противодействие национализации предприятий, создание в целях иживы частных монопольных объединений, злоупотребление правом собственности и др.

Народный судья вызвал секретаршу.

— К какому времени вы пригласили народных заседателей?

— К десяти.

— Измените. Пусть явятся на час раньше.

На состоявшемся вскоре заседании президиума окружного суда с докладом об опыте процесса над «мыловарами» выступил Сова-Степняк.

Молодой судья ушёл с этого заседания бодрый, повеселевший.

### Мешочек серебра

Уголовное дело существенно отличается от гражданского. Почвой уголовного дела является преступление, почвой гражданского — главным образом спор об имуществе, об имущественном праве. Дело по иску «досточтимого» Модеста Петровича к фабриканту Лазареву, о котором мы говорили выше, — гражданское дело; дело «мыловаров», создавших ложную артель, — уголовное.

Отвечающий по уголовному делу именуется подсудимым. Он может быть наказан. По гражданскому — это ответчик; суд может обязать его вернуть вещь, уплачивать алименты и тому подобное, но уголовная санкция ему не грозит. При этом ни истец, ни ответчик не считаются судимыми.

Я знал судью, который, чтобы даже внешне различать эти дела, материалы, относящиеся к той и к другой категории, облачал в разные «мундиры»: например, уголовные — подшивались в вишнёвые папки, гражданские — в синие. Но различие между этими делами — относительное. И гражданское дело иногда может превратиться в уголовное, перекочевать из синей папки в вишнёвую.

...В качестве истца выступает отделение Госстраха. Оно предъявило иск к кассиру банка. Представитель истца рисует суть дела следующим образом:

— Ответчик — гарантийный служащий в банке. Судьи знают, что органы Госстраха заключают особые договоры на страхование таких служащих и отвечают за их деятельность материально... Ответчик — кассир, кстати, с большим опытом, человек честный и потому пользовавшийся естественным доверием. Месяц назад у него выявилась недостача: нехватило тысячи рублей — одного мешочка серебряных монет. Государственный банк потребовал от нас эту сумму. Понятно, что мы, являясь ответственным гарантом, деньги уплатили. Так требует закон. Но теперь мы просим возместить материальный ущерб, понесённый нами, и взыскать эту тысячу рублей с ответчика.

Встаёт ответчик. Седой, в старомодном золотом пенсне. Аккуратный пиджачок с квадратиками штопки на рукавах, гордая осанка. На вопрос председательствующего, действительно ли у него обнаружена недостача серебра, отвечает:

— Да.

Для иного судьи этого «да» было бы вполне достаточно. Истец просит, ответчик признаёт справедливость иска — над чем тут размышлять суду? Объявить рассмотрение дела законченным — и всё.

Но Елизарьев задумывается. Мешочек с серебром исчез — значит повадились воры. А если не поймать их — загадочное исчезновение повторится.

Елизарьев спрашивает:

— А вы гвёрдо убеждены, что мешочек был?



— Разумеется. Я считал эти мешки попарно, потом каждый в отдельности, потом снова попарно... Я помню даже цвет этого мешочка!

— Хорошо. А вы уверены, что он исчез?

На лице кассира сменяются разные выражения. Он снимает пенсне и, как бы призывая в свидетели бога, разводит руками:

— Как на духу. Исчез.

— Куда же?

— Вот и я спрашиваю — куда? Тысячу раз спрашиваю, десятки людей спрашиваю, а ответа нет.

— Первая резонная версия: серебро взяли вы.

— Вот это зря! — восклицает старик скорее с изумлением и обидой, чем с испугом. — Да и как это можно сделать? В хранилище, где лежит серебро, — три хозяина: я, Пал Палыч и Михал Ильич. У каждого свои деньги, своя полка. Дверь одна, замков три. И ключей разных три: один у меня, другой — у Пал Палыча, третий — у Михал Ильича. Понадобились деньги, к примеру, Пал Палычу — мы тянемся всей гвардией. Замки у нас с шумом, ключ вставил — звон, музыка. Только после трёх звонков дверь открывается. Бывало, Михал Ильич припоздаёт малость, так Пал Палыч кричит ему: «Э-гей, старина, третьего звонка ждём». Так и ходим неразлучно, как три мушкетёра.

Судья улыбается:

— Значит, мушкетёры безгрешны?

— Так точно..

В процессе дальнейшего разбирательства дела выяснилось, что кассир однажды нашёл близ хранилища несколько серебряных монет.

— Я как-то нашёл у порога хранилища шесть двугривенных, — рассказывал он. — Пал Палыч ещё пошутил: «Точная, мол, работа, по две штуки на брата».

— А монеты в пропавшем мешочке были того же достоинства?

— Да.

Щёки кассира наливаются румянцем. С поспешностью человека, припомнившего что-то важное, он говорит, что монеты поднял в день происшествия.

— Есть ли в дверях отверстия?

— Есть. Маленький вентиляционный глазок. Его сделали, чтобы не портились мешки — в кладовой сыровато.

— Можно ли в глазок просунуть руку?

— Что вы! Два пальца, не больше.

Пока идёт разговор, представитель истца с рассеянным видом крутит в руках бирюзовый карандаш. Дело он считает решённым. Но когда судья склоняется то к одному, то к другому заседателю, а затем один из них, сидящий слева, задаёт ответчику несколько вопросов, истец в предчувствии какой-то неожиданности прячет карандаш.

Суд решает:

«Напрашивается предположение, что просимый Госстрахом к возмещению мешочек серебра был похищен, в связи с чем дело слушанием отложить, направив его для производства расследования»...

Гражданское дело превращается в уголовное.

Сняв телефонную трубку, Елизарьев звонит в уголовный розыск.

А несколько дней спустя арестовывают виновных. Это трое банковских вахтёров, которые вели в ту ночь внутреннее наблюдение. Просунув в маленькое отверстие длинную стальную проволоку с крючком, они

зацепили один мешочек и, подтянув его к отверстию, надрезали бритвой. Потом попеременно всю долгую ночь выбирали из него одну монету за другой, а когда мешочек опустел, вытащили и его. Те шесть двугривенных, которые старый кассир поднял утром, выкатились из этого самого мешочка.

На процесс банковских вахтёров, который не заставил себя ждать, «три мушкетёра» — знакомый нам ответчик в золотом пенсне, Пал Палыч и Михал Ильич — были вызваны как свидетели. Они пришли дружно, сразу «всей гвардией» и с оживлением разместились на второй скамье...

Вечером того дня, когда суд рассматривал дело по обвинению банковских вахтёров в краже ими серебра, Елизарьева принимали в партию. Это было 14 февраля 1930 года.

Кто-то спросил его на собрании:

— А как насчёт работы над собой? Читаете ли вы что-нибудь из первоисточников?

— Читает, — неожиданно подал за него голос Сова-Степняк и, как бы отвечая на дружное движение повернувшегося к нему собрания, ещё раз подтвердил: — Читает. И скажу: с пользой. — Фёдор Авксентьевич встал с места, оправив гимнастёрку. — Здесь уже говорили о партийности. Партийность — это не просто свидетельство о формальной принадлежности к партии. Это — существо коммуниста, его партийная, его государственная совесть. Сегодня товарищ Елизарьев председательствовал по делу о краже серебра из кладовой Госбанка. То, что он сделал для разоблачения воров, свидетельствует об одном: из него будет хороший, настоящий коммунист. В нём есть главное — партийность. Я понимал это и прежде, но, повторяю, с особенной убедительностью почувствовал сегодня. Я с радостью писал ему рекомендацию и теперь ещё раз вижу, что не ошибся...

Елизарьева приняли единогласно.

Уже ближайшие годы подтвердили, как основательны были надежды старого большевика. Всё больше и больше постигал своё дело Елизарьев. Из опыта первых процессов родился девиз, ставший для него путеводным:

«Каждое судебное дело — школа для судьи! Ни малейшей неясности после подготовки дела к слушанию!»

Готовясь к процессу, он научился читать уже не только следственное производство, но и те книги и справочники, которые могли помочь ему глубже разобраться в деле. Это были труды и по агрономии, и по железнодорожному транспорту, и по авиации, и по связи, и по медицине — с чем только ни приходится сталкиваться судьё! Он консультировался у специалистов, широко использовал в суде институт экспертизы. Подбирая к процессу юридические источники, изучал историю законодательного регламентирования того или иного вопроса.

Он постоянно был занят изучением своего живого опыта, своих удач, промахов.

Каждое дело стало для него теперь настоящей школой.

Через два года Елизарьев был назначен старшим народным судьёй города с двумя главными функциями — направлять и администрировать. Что же помогло молодому судье так быстро проявить себя?

Чтобы ответить на этот вопрос, я употребил бы лишь одно ленинское слово — «самодисциплина».

Однажды посетительница — худенькая, чистенькая старушка в беленьком платочке — принесла Елизарьеву бумагу с ветхозаветным заголовком: «Прошение». В «прошении» было сказано, что она «покорно» ходатайствует об ускорении её дела. Бумага была составлена в унижительном просящем тоне, повидимому, старым судейским ходатаем. В ответ на вежливое «присаживайтесь», старушка потопталась на месте, потом сделала два робких шажка и лишь после вторичного приглашения отважилась присесть на краешек стула.

— А кто, бабуся, писал вам это прошение? — спросил Николай Александрович.

Старушка испуганно посмотрела на него.

— Ах, батюшки, уж не слукавил ли чего? А ещё деньги взял... Человек он вольный, не при службе...

— Деньги за прошение он взял незаконно. Такие бумаги за плату могут писать только защитники, — сказал судья. — Да и нет нужды в этом прошении. — Он помедлил, соображая. — Дело ваше по иску к дочерям — о содержании, что ли? — мы рассмотрим завтра... А деньги от «вольного человека» потребуйте обратно. Так и передайте ему: я сказал, чтоб он вам деньги вернул.

— Скажу, милый, скажу...

Николай Александрович записал в памятную книжку имя подпольного адвоката и, вызвав секретаря, распорядился найти дело. Через несколько минут, продолжая разговор с посетительницей, он глянул на часы: секретарь явно медлил. «Что бы это могло быть?» Елизарьев взглянул в канцелярию.

Глазам его открылась неожиданная картина: все секретари лазили по полкам архива, вороша перевязанные тесьмой толстые связки папок.

— Куда-то завалилось, — развела руками пунцовая от смущения секретарша. — При перевозке перепутали их, — она показала на гору дел. — И рассмотренные, и новые — все здесь. А старушка подавала заявление давно...

— Давайте договоримся так... — сказал судья строго. — Дело найти сейчас. Назначить его к слушанию на завтра! Повестки выписать сейчас же со слов истицы... А насчёт архива поговорим вечером...

На другой день дело было рассмотрено. Оно закончилось мировой сделкой: ответчицы, пристыжённые судьями, обязались содержать мать пожизненно.

А в канцелярии народного суда начались перемены. Появилось лицо, ответственное за состояние архива. Судебные дела были обработаны, разделены по годам, вновь увязаны, снабжены определительными ярлыками и аккуратно разложены на полках. Более разумно строилось теперь исполнение приговоров и решений, а главное, переменялся порядок с назначением дел к слушанию.

Прежде делалось так: на заявлении, принятом из рук истца, судья накладывал резолюцию: завести дело. Это была первая стадия, и на том она и заканчивалась. Затем истец шёл к секретарю, который регистрировал заявление, подшивал его в папку и возвращал судье. Спустя какое-то время судья накладывал на заявлении вторую резолюцию: когда слушать дело и кого вызывать. Канцелярия выписывала повестки, и по городу шагал курьер, извещавший не только ответчика и свидетелей, но и самого подателя заявления. Это была вторая стадия. Елизарьев решил упростить всё это: он сразу же говорил истцу, на какой день назначает его дело слушанием, и если позволяли обстоятельства дела, через истца извещал и свидетелей.

Так экономилось народное время.

## Чертёж локомотива

- Фамилия?
- Пятибратов.
- Имя, отчество?

— Еруслан Лазаревич... А вы не пожимайте плечами, гражданин заседатель, — неожиданно кинул подсудимый седому, с вислыми усами железнодорожнику, чуть улыбнувшемуся доброй и вместе с тем шутиливо-иронической улыбкой. — Отца у меня звали Лазарем. Понятно? А сына он хотел настоящего. Русского богатыря хотел!.. Так и запишите, мадамочка, Е-рус-лан Ла-за-ре-вич...

Несмотря на юность подсудимого, он действительно был похож на богатыря — бравый, широкоплечий, сильный. Но быющее в глаза фатовство, наигранный блатной шик разрушали это хорошее впечатление. Одет он был кричаще: лёгкая, нараспашку, фланелевая рубашка с закатанными рукавами, традиционный клёш в сапоги, голенища, «украшенные» сверху ободком вывернутой наружу замшевой подклейки, финская шапочка — она торчала у него из кармана, — ремень с блестящей пряжкой. Причёска — тоже соответствующая: совершенно немислимый в своей кокетливости русский чуб. Чистые васильковые глаза юноши в сочетании со всей этой бутафорией казались чужими.

- Лет?
- Шестнадцать.
- Судимостей?
- Столько же. — И тут же снисходительно: — Шестнадцать!
- Где, когда, за что?
- Не записывал! — Он озорно покосился на секретаршу и лёгким движением руки поправил свой чуб. — Не записывал...
- В последний раз?
- Здесь. А сидел? Сидел вот тут! — Васильковые глаза указали на скамью подсудимых.
- Кличка?
- Кличек несколько. Буран, Амба, Отпетый...
- Значит, много?

Голос председателя звучал с обычной для него сдержанностью — негромко, спокойно. Казалось, Елизарьев не замечал ни развязности, ни рисовки подсудимого и принимал каждое его слово за чистую монету. Он ничего не уточнял и ничего не поправлял. И, пожалуй, поэтому два паренька из публики, зачарованно глядевшие на орлов и драконов, которые были вытатуированы на шее и руках Пятибратова, нисколько не сомневались, что председателю в глубине души также симпатичен этот отчаянный парень.

Но адвокат, которому предстояло защищать Пятибратова, — не по годам бодрый морщинистый старик с умным интеллигентным лицом, — понимал, в какой искусный психологический поединок с пороками «русского богатыря» вступил сейчас председатель. Адвокат тоже не считал Пятибратова потерянными человеком и, будь он на месте судьи, вёл бы себя точно так же.

Елизарьев не препятствовал Пятибратову, и тот летел на крыльях бесшабашной лжи и фантазии.

- Где живёте?
  - Против неба на земле.
- Председатель поднял на Пятибратова строгие глаза.
- Точнее? — переспросил несколько смутившийся подсудимый. — Последнее время на родительском сеновале.
  - Район вашей деятельности?

— Моря... Чёрное, Белое, Жёлтое... — полная палитра... Был во Владивостоке, на Диксоне...

Председатель оборвал его:

— Достаточно.

Подсудимый обвинялся в совершении квартирной кражи. Когда он заговорил о ней, краски стали ложиться настолько густо, что притихшая было публика начала выказывать недоверие. Уж очень много было в этом рассказе ошеломляющих приключений — маловероятных и частью совершенно невозможных: и отмыкание сложных замков, и прыжок с похищенными вещами в лестничную клетку... Даже на лицах двух парнейков появилось выражение сомнения.

Должно быть, и сам Пятибратов сообразил, что переборщил. Он вдруг замолк на полуслове.

— Э... да что там! Судите!

— Откровенно ли вы рассказали? — спросил председатель.

— Это к делу не относится.

— Относится. Не хотите отвечать сами — отвечу за вас я. Судились вы не шестнадцать раз, а сейчас в первый. Ни Белого, ни Чёрного, ни тем более Жёлтого моря вы в глаза не видели. Во Владивостоке не были. С Диксоном познакомились при помощи географической карты. Вы не Буран и не Амба. У вас скромная и мирная кличка — Техник. Русланка-техник...

Подсудимый молчал.

— А говорите вы с чужого голоса. Подражаете, — председатель подчеркнул: — под-ра-жа-е-те Амбе. Небезызвестному рецидивисту Степану Шеметову.

— А если и так? — хмуро и вместе с тем дерзко ответил Пятибратов. — Я своё сказал. Судите! — И грубо заключил: — Чем больше дадите, тем скорей сбегу!

Дородная тётка, повязанная цветастым кашемировым платком, удивлённо ойкнула и подвинулась вперёд.

Тем временем председатель раскрыл пухлый конверт, перевязанный резинкой.

— Что это? — требовательно спросил он у Пятибратова, развёртывая небольшой чёртеж, склеенный из нескольких прямоугольников ватмана. Щёки и шея Пятибратова зарозовели, выражение лица стало угнетённо обиженным.

Но Елизарьев не отступил:

— Я спрашиваю, что это за штука?

Поборов мгновенную растерянность, Пятибратов ответил:

— Ничего! Это уж совсем к делу не касается.

— Всё-таки?

— Ну, чертил в свободное время, проектировал...

Заседатель — старый железнодорожник, оседлав нос очками, держал перед собой «чертёж», как держат газету, и усердно рассматривал его. На бумаге красовался ядовито-зелёный локомотив на высоких красных колёсах с белым вензелом: «ЕЛП» — Еруслан Лазаревич Пятибратов. У станционной ограды на втором плане толпились девушки, а на деревянной платформе застыла тёмная фигурка дежурного в алой форменной фуражке.

— Нет, это не чертёж. — Заседатель-железнодорожник сердито ткнул пальцем в девичий рой у штакета. — Так, обыкновенная картинка!

Пятибратов встрепенулся, нетерпеливо откинул чуб, свисавший ему на глаза, и зло выдохнул:

— А вы не так скоро, гражданин заседатель! Тут и подумать надо!..

— Что ж тут думать! Я — машинист. Паровозный машинист. И уж вижу, повезёт он или не повезёт. Не повезёт!.. Колёса под Шмидта, труба и вот эта часть — под Декапода, свисток... ну, свисток вроде необычный. Да и то — где-то я такой видел: на катере, кажись... А главное: каким же это способом построить ваш локомотив? Ни расчётов, ни деталей...

Лицо подсудимого стало меловым.

Дело слушалось без прокурора. Выступал лишь представитель защиты, приглашённый матерью Пятибратова.

Он говорил:

— Мой подзащитный хочет быть Амбой, неуловимым профессиональным вором. Точнее, он хочет казаться Амбой. Он стремится выставить на всеобщее обозрение свои блатные «подвиги» и стыдится при этом своих хороших увлечений. Он стыдится себя как труженика. Стыдится того, чем надо гордиться, и гордится тем, чего надо стыдиться. Вы помните, надеюсь, как вспыхнул он, увидев на судейском столе сделанный им чертёж локомотива? Амба застыдился Техника... Так кто же он на самом деле? Я вижу в этом случае подражание какому-то характеру, который Еруслану Пятибратову представляется чрезвычайно сильным. Этот «сильный» характер как бы незримо присутствует здесь, в нашем зале. Но полностью ли он господствует над Пятибратовым? Чего больше в этом человеке — плохого или хорошего, кто он по строю своей души — вор или труженик? Я решаюсь ответить: труженик. Но труженик, ещё не осознавший себя и своего истинного места в обществе, петляющий от хорошего к плохому. И вы, граждане судьи, призваны помочь ему окончательно отойти от плохого и перейти к хорошему!<sup>1</sup>

После заседания в совещательной комнате происходило следующее.

Как только была прикрыта дверь, Елизарьев спросил заседателя-железнодорожника:

— Иван Иванович, у вас осенью будет набор в ФЗУ?

Старик-железнодорожник понимающе глянул на судью и улыбнулся в усы.

— Как же! Будет. Да вот получится ли из него толк?

— Это вы о ком? — Судья перевёл смеющиеся глаза на заседательницу в красном платочке. — Зоя Павловна, слышите?

Под стеклом лежала бумажка с текстом статьи 320 Уголовно-процессуального кодекса:

«При постановке приговора суд должен разрешить следующие вопросы:

- 1) имело ли место деяние, приписываемое подсудимому;
- 2) содержит ли в себе это деяние состав преступления;
- 3) совершил ли означенное деяние подсудимый;
- 4) подлежит ли подсудимый наказанию за учинённое им деяние;
- 5) какое именно наказание должно быть назначено подсудимому, и подлежит ли оно отбытию подсудимым».

Эта мудрая статья закона была во всех случаях путеводной для Елизарьева. Работа в совещательной комнате шла обычно по этим последовательным ступеням — первой, второй, третьей, четвёртой, пятой,

<sup>1</sup> В статье 3-й «Закона о судоустройстве» сказано: «Советский суд, применяя меры уголовного наказания, не только карает преступников, но также имеет своей целью исправление и перевоспитание преступников. Всей своей деятельностью суд воспитывает граждан СССР в духе преданности родине и делу социализма, в духе точного и неуклонного исполнения советских законов, бережного отношения к социалистической собственности, дисциплины труда, честного отношения к государственному и общественному долгу, уважения к правилам социалистического общежития».

неразрывно соединённым одна с другою могучей связью логики. Судья знал по опыту, что нельзя решить второго вопроса, не решив первого, как нельзя решить и третьего, не решив второго.

Но на этот раз совещание судей началось с «непредусмотренного» формой вопроса: будет ли набор в ФЗУ. Остальное представлялось ясным.

— У него есть сильное и, надо сказать, хорошее увлечение, — говорил Елизарьев. — Причём это не просто мальчишеская симпатия ко всякому колесу, которое крутится... Он может работать, его влечёт к труду. А это хорошая заявка! Правильно подчеркнул защитник, что у подсудимого было обнаружено много технических книг... И я согласен с вами, — он повернулся к Зое Павловне, — что мы должны направить его в хорошую сторону... Давайте, Иван Иванович, поговорим с ним после приговора.

Машинист твёрдыми непослушными пальцами расстегнул пуговицу на новеньком пиджаке:

— Что ж, я не против!

Заседательница в красном платочке неуверенно предложила:

— А что если сходить к его матери? И в комсомольскую ячейку ФЗУ?..

Когда была прочитана последняя фраза приговора, Пятибратов глухо спросил:

— Меня — условно?

— Да. Условно. С годичным испытательным сроком. Теперь вам нет надобности бежать.

Председатель подал милиционерам знак, что они свободны. Пятибратов, растерянный, с посеревшим лицом, покосился на направившихся к выходу конвоиров и вдруг помахал им вслед финской шапочкой:

— До скорого свиданья!

Эта дерзкая выходка ошеломила зал. Глухой шум прокатился в публике. Все смотрели на председательствующего, но он молчал: ему не хватало дыхания...

«Неужели действительно просчёт?»

Всеобщее молчание было настолько внушительным, что Пятибратов ощутил вдруг неловкость и опустил голову.

— Суд делает вам строгое замечание! Это — во-первых. Во-вторых, — председатель помедлил, как бы взвешивая уместность того, о чём ему хотелось сейчас спросить Пятибратова. И всё-таки спросил: — Словом... хотите ли получить обратно свои чертежи?

— Нет, — быстро ответил тот, не поднимая глаз. — Вот только писульки там есть да карточки — их прошу!

Елизарьев хорошо помнил и «писульки», и фотографию. На лицевой стороне фотокарточки — хорошенькая женская головка, а на обратной — воровские вирши:

И на нежные тонкие грабки<sup>1</sup>  
Обручок<sup>2</sup> золотой подарю,  
Дорогая, носить будешь шляпки,  
Обожаю твою красоту.

А ниже: «Твои слова, твоя Мура».

«Писульки» почти сплошь состояли из таких же «шедевров» блатной поэзии. И если Пятибратов тянулся сейчас к этой ветоши, пренебрегая

<sup>1</sup> Грабки — пальцы.

<sup>2</sup> Обручок — кольцо.

чертежами, то, значит, он попрежнему дорожил воровским и стыдился хорошего, значит, не понял, не оценил человечности судебного решения...

— Хорошо, зайдите после заседания.

Судьи ожидали Пятибрatова в полном составе. Через полуоткрытую дверь было слышно, что говорил выходящий из зала народ. «Этакого варнака и — на волю... — искренне возмущалась женщина в кашемировом платке. — Да он отца родного зарежет! Неверно? А вот и верно. Зарежет!» Голос женщины потонул в нестройном гуле возражений. «Выправится парнишка... И суд вон признал... Дурит только!..»

Елизарьев курил у окна, то и дело поглядывая на дорогу: «Придёт ли?». Неожиданно на противоположной стороне улицы он заметил знакомую финскую шапочку с кожаной пуговицей на макушке: Пятибрatов бежал по тротуару. Достигнув перекрёстка, он приветственно помахал кому-то рукой и лёгким кошачьим движением прыгнул через канаву. По дороге, в облаке пыли двигался большой грузовик. Машина чуть сбавила ход, и в тот же миг над высоким её бортом мелькнули голенища сапог с белыми «манжетами». Машина сделала крутой вираж и с рёвом скрылась в переулке.

«Всё!» — стукнуло сердце Елизарьева, и в тот же момент он почувствовал, что кто-то стоит рядом с ним. Обернулся. На него тревожно смотрели внимательные глаза машиниста.

— Ну что ж, Николай Александрович, пойду... — Железнодорожник смущённо развёл руками. — Звони если что! Прямо в паровозные бригады...

— Позвоню, Иван Иванович... А насчёт набора в ФЗУ — узнай всё-таки...

Из народного суда Елизарьев сразу же отправился на партийное собрание и домой вернулся поздно. Жены ещё не было. Она занималась в политкружке, и молодому судье предстояло «кулинарить» самому. Он приготовил себе ужин и только что сел за стол, как в прихожей послышались неторопливые шаги.

Обернувшись, судья вздрогнул от неожиданности: в широко распахнутой двери стоял Пятибрatов.

— А я к вам, товарищ судья, — смущённо сказал он, вытирая вспотевший лоб.

— Ну проходи, проходи... Обедать будем.

— Да нет. Не до обеда, я на пару слов. Объясниться... Сразу-то, как я из суда вышел — машина. Шофёр знакомый. Вот и опоздал малость...

Усаживаясь на предложенный стул, Пятибрatов покосился на этажерку с книгами.

— Судебные?

— И судебные, и политические... А больше — беллетристика...

— А по части техники отстаёте, видать! — с шутливым осуждением сказал Пятибрatов.

Елизарьев не ответил. Он молча прошёлся по комнате и, обернувшись к Пятибрatову, неожиданно потребовал:

— А ну-ка, Еруслан, покажи руки!

Юноша с недоумением вытянул перед собой тяжёлые руки, перепачканные машинным маслом.

— Что же, глядите.

— Не так. Ладонями вверх!.. Теперь ясно.

Елизарьев снова прошёлся по комнате.

— Вот что, Еруслан. Ты — не вор. Не твоя эта натура, не твоя судьба! Что тебя, с твоими-то руками, к отмычкам тянет? Брось их и нико-



гда не прикасайся к ним... Мы, трое судей, поручились за тебя. Понимаешь, что это значит: поручились? Совестью своей.

— Я не знаю, чего вы хотите. — Пятибратов поднялся со стула.

— Я уже сказал, что хочу. Завтра ты пойдёшь к Ивану Ивановичу... к этому усатому... и он определит тебя в ФЗУ. Будешь учиться.

— Положим, завтра я никуда не пойду. Мы ремонтируем автомашину. А насчёт учёбы — пустые хлопоты. Канительное это дело. Не к шубе рукав...

— А ты бывал на этих занятиях?

— Всё равно, знаю.

— Раз не бывал — значит не знаешь... Обещай мне встретиться с Иваном Ивановичем.

Пятибратов долго молчал.

— Ну что ж... Для вас разве...

— Вот и договорились. А теперь садись, придвигай тарелку.

— Нет, не останусь. У меня ведь и matka есть. Сами сказали: день-то сегодня — особенный.

— Ну что ж. Не держу. А за чертежом зайдёшь в народный суд.

Через пять лет, в погожий осенний день судьба занесла Елизарьева на небольшую сибирскую станцию. Ему порекомендовали остановиться в комнате паровозных бригад. Проходя по коридору мимо кухни, в которой паровозники готовили себе походный обед, он заметил высокого дюжего парня, показавшегося ему знакомым. Парень стоял спиной к нему, у низкого стола, обитого жестью, и, повидимому, чистил картошку. На шее его была видна татуировка — уж, спрятавший свою голову под край тельняшки.

— Пятибратов!.. — негромко позвал Николай Александрович и увидел, что не ошибся.

— Ну вот и встретились, товарищ Елизарьев, — просто сказал Пятибратов и нерешительно посмотрел на свои перепачканные руки. — Ну да ладно, грязь-то ведь эта чистая! — Он вытер ладонь о штанину. — Здравствуйте!

Судья крепко пожал его большую, тяжёлую руку.

— Здравствуй, здравствуй, Еруслан... Возишь?

— А как же! — Пятибратов ухмыльнулся. — Иван Иванович приспособил. Ведь он сейчас здесь. Вы до Новосибирска? С четвёртым? Так он вас и повезёт...

...Жители небольшой сибирской станции могли в тот вечер наблюдать двух собеседников, долго сидевших в круглом железнодорожном скверике, у пустой веранды. Один из них что-то сосредоточенно чертил на песке, чертил и объяснял, с раздумившимся возбуждённым лицом, другой слушал, иногда спрашивал и снова слушал, внимательный и счастливый.

На состоявшемся в марте 1951 года совещании народных судей Новосибирской области я наблюдал такую сцену.

Один из участников совещания — белокурый, в светлом офицерском кителе без погон, с пёстрым рядом орденских планок на груди, читал в перерыве книгу, лежащую перед ним на откидном дубовом столике. Когда зазвучал звонок и в зал потянулись люди, продолжая на ходу кулуарные разговоры, я услышал громкий весёлый голос:

— Разрешите полюбопытствовать, что за книга?

Сосед человека в кителе взглянул на переплёт и рассмеялся:

— Вон что! Макаренко. «Книга для родителей»!..

И, усаживаясь, шутливо спросил:

— Женишься?

— Готовлюсь к рассмотрению одного дела.

— Какого?

— Уголовного. О несовершеннолетнем.

При этих словах мне невольно пришла на память история Пятибратава.

Книга о воспитании — руководящее пособие народного судьи! Разве не убедительное это свидетельство гуманных целей нашего правосудия?

Советский закон достаточно требователен ко всем — и к людям старшего поколения, и к молодёжи. Но в то же время он полон истинной человечности, особенно в применении к малолетним правонарушителям.

Помнится, кто-то сравнивал советского судью с лесоводом. Какая это верная параллель!

Я представляю себе весенний благоухающий лес. На всём, что открывается глазу, — горячий блеск солнца. Я вижу шагающего этим приводьём лесовода — труженика, юношески влюблённого в жизнь, в лес, в каждое дерево. Я представляю себе его благородную миссию на нашей земле.

Ничто не укроется от его пронизательного взгляда! Вот здесь надо выкорчевать старый, трухлявый пенёк, срезать сухую ветку, которая калечит дерево. Вон там — освободить молодую поросль от разбойных сорняков, закрывающих над нею чистое, ясное небо. А вот пошатнувшееся деревцо. Оно требует твёрдой участливой руки — надо поставить подпорку, присыпать свежей землёй оголившиеся корни...

Так и советский судья. Он живёт в цветущем молодом саду советского общества. Он работает, побуждаемый стремлением поддержать это вечное цветенье, им руководит деятельная забота о будущем. И понятно, с каким особенным вниманием относится он к судьбе тех, кто воплощает в себе это будущее, — к судьбе молодёжи.

Внимание и чуткость предписаны самим законом. Я перечислю некоторые из его требований.

Первое. Не суровость и в то же время не чрезмерная онискодительность рекомендуются суду по делам несовершеннолетних, а спокойствие и терпеливость. Суд призван в каждом случае выяснить семейно-бытовые условия подсудимого: не пошёл ли он на преступление под воздействием чужой воли? Лица, уличённые в преступном подстрекательстве несовершеннолетнего, караются тюремным заключением.

Второе. Наряду со свидетелями правонарушения суду рекомендовано допрашивать в заседаниях и других лиц — педагогов, воспитателей, бригадиров, мастеров производственного обучения, а прежде всего — опекунов и родителей.

Третье. Родителям и опекунам несовершеннолетнего дано право выступать в суде в качестве защитников. До суда они имеют право получить копию обвинительного заключения. Им предоставлена возможность собирать документы, возбуждать ходатайства. Когда приговор вынесен, они приобретают право обжаловать его.

Четвёртое. Участие защитника обязательно. Если дело рассмотрено без него, приговор подлежит отмене.

Пятое. Закон предупреждает от возможной ошибки — все дела с не обжалованными приговорами непременно направ-

ляются в вышестоящие суды. Мы должны проверить, не ошибся ли малолетний правонарушитель или его родители, согласившись с приговором...

Я спрашиваю, где, в каком буржуазном государстве есть подобный закон? Нет таких законов нигде! Только у нас и только у наших друзей — в странах народной демократии.

### В сибирской деревне

Деревенька. Она стоит на ведущей к прииску бойкой «золотой тропе», но до железной дороги от неё — сотни километров.

Заезжий двор. В комнате, отделённой от сенец шаткой дощатой перегородкой, — слабый свет пятилинейной лампы. Робкий, тоненький огонёк всё время вздрагивает на срезе фитиля, вот-вот готовый погаснуть.

Елизарьев закладывает страницу дела карандашом и, поднявшись из-за стола, принимается ходить по комнате. Тихо поскрипывают половицы, сыплется с перегородки свежая извёстка, в открытое окно доносятся с переправы далёкий голос: «Па-а-ром... Го-о-ни, па-а-а-ром!»

«Где же всё-таки правильное решение?» — Елизарьев снова усаживается на табурет и склоняется над толстым судебным делом.

Как нужна ему сейчас помощь человека, который по-настоящему знает деревню! Елизарьев — потомственный горожанин, и деревня ему почти незнакома, хотя первые его впечатления о ней — живые, нестаряющиеся — относятся ещё к дореволюционному времени. В 1915 году, в предпасхальную субботу, он носил в село Бугры местному попу-богатею поздравительную депешу. Ни почтовой, ни тем более телеграфной связи с этим селом тогда не было, и новониколаевское почтово-телеграфное начальство прибегало в таких случаях к «босой эстафете», которую оплачивало ничтожными грошами. С телеграммой, упрятанной в серую солдатскую шапку, съезжавшую ему на нос, он на пароме перебрался через Обь и, прошагав несколько вёрст, вручил телеграмму адресату. С острым любопытством оглядывал городской мальчуган поля и рощи, поражался богатству бугринского попа, его большому двору, табуну лошадей, который через этот двор гнали работники...

Потом он носил телеграмму в деревню Вертково молодой солдатке от мужа, славшего весточку из далёкого прикарпатского лазарета. Растроганная телеграммой, крестьянка усадила босоногого курьера за стол. Уписывая краюху хлеба с ещё тёплым парным молоком, он глядел на убогую утварь, на видневшийся через окно пустой двор с упавшим навесом, на одинокого петуха, бродившего у забора... Нет, здесь было совсем иначе, чем у попа в Буграх!

После революции, в 1922 году, он вновь попал в деревню — уже семнадцатилетним юношей. Он приехал в одно из сёл Каменского уезда с выездной сессией Новониколаевского окружного суда, как секретарь этой сессии. Судебные органы Сибири вели тогда решительную борьбу с самонокурением. Страна ещё не оправилась от страшного голода двадцать первого года, а кулацкая верхушка сибирской деревни беспробудно пьянствовала. Например, в Славгородском уезде Омской губернии на самогон тратилась четвёртая часть урожая, по губернии только в январе было выявлено свыше семисот самогонных заводов. Укрытая в густой сибирской тайге, «пьяная промышленность» производила «первач» в громадных количествах. У заводчиков был свой транспорт, своя торговая сеть, «снабы» и «сбыты». «Промышленники» сознательно переводили хлеб на самогон. Это не было равнодушием к

судьбам голодающих. Это была непримиримая классовая борьба. Оружием кулаков был самогонный аппарат.

С тех пор Елизарьев в деревне больше не бывал, а когда теперь — спустя девять лет — попал в неё снова, то почувствовал, как сильно нуждается он в умном дружеском совете, который помог бы ему правильно разобраться в обстановке, в деле, из-за которого он и прибыл сюда.

На широком дворе, высланном брёвнами лиственницы, застучала только что въехавшая подвода. Елизарьев высовывается из окна. Темно! Но вот распахивается освещённая дверь в избу, и судья различает на мгновение прядяющего ушами конька, телегу и две тёмные фигуры у крыльца. Кто-то приехал.

По крыльцу глухо топают сапоги, без стука открывается дверь комнаты. Судья оборачивается.

— Иван!

Это следователь Носов. Сняв мягкое бобриковое пальто, всё в кляксах засохшей грязи, он тотчас присаживается за стол и, с наслаждением уписывая кусок холодного мяса, начинает рассказывать:

— Понимаешь, у Дальнего плёса затонул приисковый шитик... — он быстро поворачивается к Елизарьеву. — Четыре пуда золота! Понимаешь? Вот и еду. Лечу!.. А что это у тебя на подоконнике? Картошка? А в склянке, небось, горчица?.. Великолепно!..

Он густо мажет картофелину горчицей, крепко солит её и, отправив в рот, восхищённо разводит руками:

— Деликатес!.. Кстати, я страшно доволен, Николай, что мы здесь встретились. Мне нужен совет!

Как, и ему нужен совет?!

Насытившись, Носов садится на низкий стульчик, отчего его длинная фигура комично складывается, а сухие острые колени почти достигают подбородка.

— Понимаешь, был я сейчас в одной трактовой деревне... Председатель тамошнего колхоза Демидов засеял двадцать га по невспаханной земле. Ну, райисполком направил нам об этом безобразии подробный доклад. У нас полистали его, почитали — и ко мне. «Поедешь, дескать, через село, вызови Демидова и решай на месте: судить его или нет». И вот я приехал. Послал за Демидовым. А пока вызывали его, томился в сельсовете. Зной, духота... Солнце забралось высоко, какое-то маленькое стало, белое, жжёт яростно. Земля огнём дышит — аж соль на ней выступила. Через дорогу, в тени, коровы стоят — даже от слепней отмахиваться перестали — до такой одури дошли. Словом, смотрю и думаю: ещё такая неделя — и, считай, от всех всходов только пепел останется...

Елизарьев терпеливо слушает: он знает, что сейчас Носова не оставишь — увлётся. Всякое новое следственное поручение Иван буквально хватает на лету и приступает к следствию тем вдохновеннее, чем труднее задача. Он забывает о себе, не задумываясь идёт на любые неудобства и лишения, только бы доискаться до сути. И почти всегда доискивается. В суде про него пустили шутку: «Скажите Носову: надо провести следствие на луне — в тот же час полетит!»

А Носов тем временем продолжал свой рассказ:

— Так вот, сижу у окна, наблюдаю, и вдруг сзади меня — шаги... Смотрю — Демидов. Большой, внешне спокойный. Начинаю допрос. А Демидов всё как бы недослышит: ответит на мой вопрос — и покосится в окно. «Признаёте, — спрашиваю, — себя виновным?» — «Признаю», — говорит. А сам снова глядит в окно. Тогда я сухо-официально говорю: «Слушайте, Демидов, вы, кажется, до сих пор не усвоили, что статья

которая вам грозит, влечёт за собой лишение свободы. Тюрьму!» А он поднял на меня глаза и смотрит. Прямо, неотрывно. А потом и говорит — медленно так, глухо: «Побольше беда есть, товарищ следователь». — «Умер кто-нибудь?» — «Нет, — говорит, — хуже! Засуха! Вот если и эта туча мимо пройдёт — погиб наш хлеб». И показывает мне на окно. Вижу — большая туча подходит. Темнее, темнее — и вдруг как посыплет! Ну прямо ливень! Сразу дышать стало легче, посвежело вокруг, мокрой землёй запахло! Стою я у окна, любуюсь, и Демидов со мною рядом. За подоконник ухватился и всё небо осматривает. Потом рассмеялся: «Уж это не вы ль дождём распорядились? — спрашивает. — Обложной, долгий стал-быть. Пролетела, выходит, беда, товарищ следователь. С хлебом будут колхозы!.. Давайте о вашем ко мне деле говорить». А я подумал-подумал и говорю: «Нет у меня к вам больше дела. Поезжайте, говорю, домой, Алексей Кузьмич!» — «Совсем?» — «Совсем. Дела возбуждать не будем, а выводы для себя, надеюсь, сделаете сами».

Следователь делает по комнате несколько быстрых шагов и, повернувшись, говорит из тёмного угла.

— На каком, спрашиваешь, основании я так поступил? А вот на каком. Я рассудил: если общая колхозная беда ближе сердцу этого человека, чем своя собственная, то, значит, он не преступник. И значит, достаточно того, что я ему сказал. Ну, отвечай: прав? Или всё-таки зададут мне баню?

— За что ж? — Елизарьев быстро поднимается из-за стола. — Я считаю: прав! Я бы тоже поступил так!

Носов радостно тормошит приятеля за плечи,

— Ну, спасибо, Николай, ты словно гору мне с плеч снял!.. А между прочим, знаешь, ехал я мимо полей колхозных, — нарочно на эту непаканную поляну взглянул... Ничего хлеб... Разве немного хуже, чем на других... Ну, а у тебя что?

— Посложнее твоего, Иван... Завтра мне предстоит рассмотреть дело о террористическом акте... Да ты садись...

Судья подкручивает в лампе фитиль и принимается рассказывать...

— Так... так... — тянет Носов, выслушав Елизарьева. — Как быть, спрашиваешь?

— Вот именно. Я должен найти судебный прецедент. Посоветуй, где?

— А ты не можешь задать мне вопроса полегче? — улыбается следователь. Разве поворшить мою походную кодификацию?

Носов распахивает свой портфель. Тут и фотоаппарат, и кассеты в красных лаковых рамках, и лупа, и коробка мастики, и батарейки пузырьков в фанерном поставце, и великое множество других предметов. Он извлекает из портфеля довольно объёмистую коленчоровую папку и развязывает тесёмки.

— Я не уверен, что мы найдём ответ в этих разъяснениях. Не проще ли тебе поступить так, как я в случае с Демидовым: не отыскивать прецеденты, а создавать их?

— Слишком общий совет, Иван, — отвечает Елизарьев, принимая от следователя коленчоровую папку.

— Да, пожалуй...

Друзья усаживаются рядом, но уже вскоре убеждаются, что нужного ответа «кодификация» не содержит.

— В таком разе придётся соснуть, — решительно поднимается Носов и, покосившись на открытое окно, из которого доносится еле различимый шелест листьев берёзы и мерное похрупывание почтового конька, негромко спрашивает:

— А ты не боишься?

— Чего?

— А помнишь случай с Липатниковым?

Трудно не запомнить это происшествие: кулак-подсудимый на процессе, который шёл под председательством члена краевого суда Липатникова, сбил стоящую на судейском столе лампу и в темноте пытался обезоружить милиционера.

— Помню. Хлопнуть меня — дело нетрудное. Но я думаю, что они не решатся. Конечно, приходится настороже быть.

Утром, когда Елизарьев проснулся, Носов уже уехал.

На столе лежало оставленное им письмо.

«Я опустошил все твои запасы — сухари, мясо, картошку. Лишь одна горчица выдержала мой натиск. Спасибо. Продолжу вчерашнюю мысль. Ты искал прецедента, который помог бы тебе в предстоящем решении. Затем ты согласился со мной, что можно обойтись без него. Вот и не сомневайся в таком выводе. Жизнь подвела тебя к новому явлению. Где же ты найдёшь прецедент? Думаю, что не ошибусь, если скажу: прецедент тоже имеет день своего рождения. Правда, и у вас — в краевом суде, и в нашем коллективе не всегда ещё отдают должное человеку, проявившему смелость принять на себя ответственность за какое-то принципиально новое решение. Но что из этого следует? Только то, что обосновывать необходимость такого нового решения надо с неоспоримой убедительностью. Вспомни историю со 107-й статьёй. Вот он, лучший образец!

Привет! Надеюсь встретить тебя на обратном пути.

Иван».

Весь следующий день народные заседатели знакомились с делом. Елизарьев вместе с ними читал документы, протоколы допросов и очных ставок, говорил о сильных и слабых сторонах следствия, комментировал законы и разъяснения. И в этой почти исследовательской работе он сам проверял себя и многое переосмысливал.

Не оставляла мысль о записке Носова. То, что подсказал ему Иван — «Вспомни историю со 107-й статьёй», — и было, пожалуй, самым верным советом. А историю эту он знал отлично.

В начале 1928 года в Сибирь приехал товарищ Сталин. Он посетил основные хлебные районы края.

«Я командирован к вам в Сибирь на короткий срок, — говорил он в одном из своих выступлений. — Мне поручено помочь вам в деле выполнения плана хлебозаготовок. Мне поручено также обсудить с вами вопрос о перспективах развития сельского хозяйства, о плане развёртывания в вашем крае строительства колхозов и совхозов».

Страна переживала в те дни хлебозаготовительные затруднения. Кулак всячески «зажимал» товарный хлеб. Он пытался взять советскую власть за горло. Это было первым серьёзным выступлением кулачества в условиях нэпа. Возникла необходимость применения к укрывателям хлеба временных чрезвычайных мер. Стали раздаваться голоса об использовании в этих целях статьи 107 Уголовного Кодекса.

Но люди, возглавлявшие тогда судебно-прокурорские власти Сибири, не разглядели нового в политической обстановке, не нашли «юридических оснований» к такой практике. Статья 107, предусматривающая ответственность за спекуляцию, считалась чисто «городской» статьёй, применимой лишь в отношении городского спекулянта-барышника, а в дея-

ниях злобствующего кулака эти люди не усматривали «нужных признаков».

И. В. Сталин разоблачил и смёл все препятствия к применению статьи 107-й.

«Если кулаки ведут разнузданную спекуляцию на хлебных ценах,— говорил он,— почему вы не привлекаете их за спекуляцию? Разве вы не знаете, что существует закон против спекуляции — 107 статья Уголовного Кодекса РСФСР... Почему вы не применяете этот закон против спекулянтов по хлебу? Неужели вы боитесь нарушить спокойствие господ кулаков?!»

В Кратком курсе истории ВКП(б) сказано по этому поводу: «В ответ на отказ кулачества продавать излишки хлеба государству по твердым ценам партия и правительство провели ряд чрезвычайных мер против кулачества, применили 107 статью уголовного кодекса о конфискации по суду излишков хлеба у кулаков и спекулянтов...»

Чрезвычайные меры возымели свое действие: беднота и середняки включились в решительную борьбу против кулачества, кулачество было изолировано, сопротивление кулачества и спекулянтов было сломлено.

Елизарьев обстоятельно посвятил заседателей в сущность сталинского решения о 107-й статье.

Вскоре состоялся процесс. Сессия Западно-Сибирского краевого суда под председательством Елизарьева заслушала дело о террористическом акте.

Судьи, уединившись в совещательной комнате, совместно решали теперь вопрос, который так неотступно преследовал всё время председателя.

В чём же состоял этот вопрос?

Завязка дела была такова.

Миронов, молодой двадцатипятилетний, проводил сельский сход. На повестке дня стоял жгучий вопрос — о создании колхоза. Собрание близилось к концу. Перо секретаря уже ставило на листе имена зачинателей артели, когда к столу, припадая на левую ногу, рванулся мужик в папаче. Это был Гурий Сотников.

— Молокосос! — гаркнул он на Миронова и, сорвав с головы папачу, хлопнул ею по столу президиума. — Ишь ты, учитель какой выискался! Колхоз, колхоз! Врёшь, парень! Ты ещё щенок! — Мужик поднёс тяжёлые кулаки к побледневшему лицу Миронова. — Вот они... тысячу снопов на полосе завяжут, а вон Панька Шиянов, батрак безлошадный... Что ж я — ровня ему? В колхозе да в работе дружить с ним буду? Шалишь! Не выйдет! У меня кони — орлы. А я их в твой хомут запрягу?! Не мути лучше! Вали, откуда прибыл!..

Собрание было сорвано.

В обвинительном заключении говорилось: «В тот же день Миронов был определён на постой к Николаю Сотникову — брату кулака Гурия Сотникова. Это было осуществлено при содействии подкулачников».

...Миронов сидел в горнице и читал газету. Кто-то решительно рванул дверь. Через порог шагнул большой мужик, в длинном дождевике, едва державшемся на одном плече.

— Гость у меня, значит... — ехидно улыбнулся он в сторону Миронова.

Миронов встал.

— А ты не ершишь, парень. — Пришедший медленно обвёл горницу рукой. — Гость — так гость. Садись, покурим.

И хозяин сел первым на крашенную охрой широкую скамью у окна. Миронов тоже скрутил цыгарку и, прикуривая от спички, зажжённой хозяином, вдруг понял, что перед ним — брат Гурия Сотникова.

— Да, с братом-то у тебя неладно вышло, — подтверждая догадку Миронова, сказал хозяин. — Обидел ты его... Ну да, бог даст, перемелется. Мужик — что тальник: его коза зимой погрызёт, погложет, а по весне он снова лист пустит!

От Сотникова несло горьким перегаром вина. Неожиданно он приблизился к гостю вплотную и очень внятно сказал ему прямо в лицо:

— А случай у нас, парень, бывают разные... Не слыхал?

— Это какие ж? — сухо спросил Миронов.

Хозяин чиркнул спичкой. И когда вспыхнувший огонёк выровнялся, — сильно дунул на него и швырнул погасшую спичку к порогу.

— Чуешь?.. Был огонёк — и нету.

Первой мыслью Миронова после этого было уйти из избы Николая Сотникова, но, глянув на свисавшую с полатей пухлую детскую ручку, он передумал: «Нет, не может быть. Чтобы здесь же, у себя дома?.. Нет, просто пьян хозяин!»

И он остался.

Ночью он проснулся от напряжённой возни в избе. Луна светила через окно, и Миронов увидел около своей постели Николая Сотникова. На правой его руке, державшей топор, висела жена. Она шёпотом угоривала мужа, а Сотников бил её ладонью по мокрому от слёз лицу.

— Пусти, говорю... За кого на мужа встала? За щенка?! Пусти, говорю!

Далее в обвинительном заключении говорилось:

«После покушения на Миронова, произведённого Николаем Сотниковым при подстрекательстве его старшего брата Гурия Сотникова, началось следствие. Николай Сотников бежал. В связи с этим следствию не удалось найти видимых улик причастности Гурия Сотникова к террористическому акту, и уголовное производство было прекращено. В следующем, 1930 году старший Сотников — Гурий — был раскулачен. Руководил раскулачиванием Миронов. Год спустя Гурий Сотников при неустановленных обстоятельствах вернулся в своё село Жёлтые Пески. А вскоре бесследно исчез возвращавшийся через это село из служебной командировки двадцатипяти тысячник Миронов»...

И дальше:

«Показания колхозницы Крюковой и некоторые другие данные навели следствие на верный путь. В 17 часов 9 апреля 1931 года, за селом в поросшей камышом заводи было найдено тело Миронова. Эксперты заключили, что активист был убит свинцовой пулей из четырёхлинейной берданы. Пуля имела отличительную особенность — насечку — крест на головке. 12 августа, с патронташем, в котором несколько патронов были заряжены такими же пулями, был задержан Павел Шиянов, бывший батрак Гурия Сотникова, только что поставивший домпятистенку. На первом же допросе Шиянов признал себя виновным в убийстве, заявив, однако, что «решил Миронова по запальчивости: был «под мухой», поссорился с ним на переправе и пальнул». Допрошенный вторично 16 августа, Шиянов объяснил совершённое им убийство уже иными мотивами и показал, что на террористический акт в отношении Миронова его подбил Гурий Сотников...»

На протяжении всего процесса перед судом стояли два человека, представлявших два разных общественных полюса, — батрак и кулак.



Непосредственный террорист-убийца — батрак, развращённый подачками хозяина. Пулю в Миронова послал он, он пролил кровь. И, следуя закону, органы расследования привлекли именно его, Шиянова, к ответственности по статье 58-8 Уголовного Кодекса РСФСР, первая строка которой гласит: «Совершение террористических актов».

Кулак же Гурий Сотников не выслеживал Миронова, не хоронился в кустах, не стрелял и не проливал чужой крови. Он лишь «присоветовал» всё это совершить. И вот, по-старинке, Гурий Сотников предавался обвинению не прямо по статье 58-8, не как террорист, а через статью 17, лишь как подстрекатель к террору.

В совещательной комнате возникало несколько вопросов.

В старой судебной литературе писалось: непосредственный убийца опаснее подстрекателя и потому должен быть наказан строже.

Но справедлива ли эта старая догма в применении к кулаку Гурию Сотникову и к его батраку Шиянову? Не толкает ли она на путь грубейшей политической ошибки? Не отодвигает ли слово «подстрекатель» в тень истинного убийцу Миронова — Гурия Сотникова? Просто ли подстрекатель этот человек? Нет. Не подстрекатель, а организатор террористического акта. И значит, не мягче, а строже он должен быть наказан.

— А то как же, — удивился один из заседателей, степенный дед, стеснительно кашлявший в кулак. — Ведь Панька-то Шиянов — пешка, это каждый знает. Подвинул её ноготком, ну она и пошла. Хочешь вправо, хочешь влево или, скажем, вовсе из игры долой. Гурий его запугал, задарил — вот он и стрельнул. А не будь Гурия — не было бы и смерти... Как ты его давеча назвал?

— Организатор, — отозвался Елизарьев и поставил на листе бумаги дату приговора.

— Во!.. Организатор... То брата своего к плохому клонил, то Паньку...

...Судьи решили по-новому. Они признали Сотникова организатором террористического акта, действия его квалифицировали прямо по статье 58-8 УК и наказали его как главного виновника.

Я знал в своё время одного судью, который, к сожалению, превратно истолковывал своё право независимости. Независимость, эту высокую конституционную гарантию суда, он подменял ложным представлением о своей неотвечественности. Он говорил: «О суде может судить только суд».

Елизарьев держался другой точки зрения, кстати, общей для всех судебных работников.

Никто не может продиктовать нашим судьям приговора по делу, предрешить исход дела до суда и без суда. Мы не простили бы этого ни тому, кто велел, ни тому, кто послушался. Но допустим, что приговор вынесен. Я огласил его именем Республики. Значит, это не только мой приговор и не только приговор трёх судей, но приговор всех моих соотечественников, всего народа. Именем народа! Как же мне может быть безразлично отношение к нему советских людей, отношение советских и партийных органов! Государственно ли решено дело — вот что волнует судей. И главное: что надо сделать для предупреждения подобных преступлений в будущем.

...В полночь Елизарьев информировал райком партии о процессе над Сотниковым и Шияновым.

В завязавшей затем беседе говорили об уроках процесса, о мерах помощи созданному в Жёлтых Песках колхозу, о тракторах, жнейках,

о люцерне и севооборотах... После этого прибывший из Москвы уполномоченный ЦК партии задержал собравшегося было уходить Елизарьева.

— Можете ли вы ознакомить меня с текстом приговора?

— Могу, конечно.

Прочтя копию приговора, отпечатанную на тонкой рисовой бумаге, уполномоченный ЦК оживился и снял телефонную трубку:

— Прошу редактора газеты... Надеюсь, вы в курсе последних событий? Краевой суд рассмотрел дело о террористическом акте. Найдите для этого процесса место в вашей газете. Вы собирались опубликовать подробный отчёт? Думаю, не стоит. Напечатайте только приговор. Но — полностью. В нём есть всё, что нужно!

### Враг или нет?

В августе 1932 года появились два важнейших законодательных постановления ЦИК и СНК СССР: от 7 августа — «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», и от 22 августа — об искоренении спекуляции.

Эти постановления сыграли важную роль в укреплении Советского государства. И не случайно в наши дни народная власть Чехословакии, Польши, Румынии, Албании и других народно-демократических стран, используя наш опыт, приняла общественную собственность под особую охрану. Появились законы: албанский — «Об уголовных преступлениях против собственности», румынский — «О санкциях за преступные деяния экономического характера», венгерский — «О судебном преследовании хищения народного достояния» и т. д.

Советский закон от 7 августа, объявивший общественную собственность священной и неприкосновенной, а лиц, посягающих на неё, — врагами народа, содержал одно очень важное указание: в нём говорилось, что «решительная борьба с расхитителями общественного имущества является первой обязанностью органов Советской власти».

— Иванов Иван, встаньте!

Голос председательствующего звучен и строг, в зале — движение, но скамья подсудимых молчит, и в этом молчании — вызов. Будто и нет Иванова. Командант суда, пожилой, широкоплечий бурят, в новенькой суконной будёновке смотрит за барьер: «Который же — Иванов?».

Напряжённые секунды. Но председатель продолжает молчать, и тогда подсудимый, не выдержав поединка, нехотя поднимается.

— Я за него...

Подсудимый рисуется. Он стоит, подбоченившись, в свободной прерзительно-снисходительной позе, как бы давая суду чувствовать: «Что хочу, то и делаю».

— Стойте, как следует! — тихо и твёрдо говорит Елизарьев.

Иванов будто не слышит. Он продолжает стоять в прежней позе, но уже видно, что это — игра, что он внимательно вслушивается в голос председателя, с тревогой ждёт его вопросов. И когда Елизарьев поднимает на него глаза, как бы спрашивая: «Слышите?», — он переступает на месте и выпрямляется.

«Работа предстоит трудная», — заключает про себя Елизарьев, наблюдая, с каким по-лисьи готовным и в то же время твёрдым и наглым выражением лица поднимается следующий подсудимый...

Их — девять. И все девять на коренной вопрос следствия: «считаете ли себя виновным?» — отвечают суду: «нет». И каждый из девяти с не-

доумением оглядывается на других: «Помилуйте, да это же случайные люди, я их впервые вижу». Между тем, в камере следователя все они говорили: «да». Там было девять «да», там было девять преступников. А теперь их доставили в суд — и произошла волшебная перемена: «да» превратилось в «нет», преступники стали честными людьми, приятели — незнакомыми, а всё, что рисовалось чёрной краской, — посветлело и побелело.

Елизарьев обращается к прокурору:

— Ваша точка зрения на порядок исследования настоящего дела?

...Судьи уходят на совещание. Им предстоит ответить на один вопрос: с чего начать?

— Мы должны ответить на один вопрос: с чего начать? — обращается Елизарьев к заседателям. — Начать ли с допроса свидетелей, как рекомендуется в таких случаях, или же сначала допрашивать подсудимых... Кстати, отказ всех девяти от своих показаний — это всего лишь манёвр... Ход опытного игрока — не более. И, надо сказать, — второй ход. Потому что первый они сделали в камере следователя. Их первый ход состоял в том, чтобы говорить: «да». Они рассчитывали: у следователя закружится голова, он кое-как перепишет их дружные признания, не позаботясь подкрепить эти признания другими доказательствами, и пошлёт дело в суд. На судейском столе окажется дело с одними «да», но без каких бы то ни было вещественных доказательств, без объективных улик... А тогда они скажут «нет» — и дело лопнет, как мыльный пузырь... Случилось ли это? Полагаю, что не случилось. В деле достаточно убедительного материала, надо только отсеять всё лишнее.

Народный заседатель Курчатов развёртывает дело и говорит:

— Я предлагаю начать с допроса Еремеева.

Елизарьев согласно кивает головой.

В предпраздничную ночь — перед 7 ноября 1932 года — в сельхозкоммуне «Большевик» Тогучинского района Новосибирской области была обворована кладовая. Шайка явилась на трёх подводах. Висячие замки были сбиты, и воры, погрузив в телеги восемнадцать мешков муки и несколько бочек с мёдом, скрылись. На косяке была оставлена злобная записка: «С праздничком!» Позже, когда происшествие с ограблением кладовой уже стало забываться, опять в предпраздничную ночь — в годовщину коммуны, — и снова на задах той же деревни Чемская-Каменка простучало несколько подвод. А утром по селу пошла новость: группа неизвестных почти в открытую ограбила потребительскую лавку. Бесследно исчез 70-летний старик Еремеев. И снова на косяке ветер трепал гнусную записку: «С праздничком!».

А по весне на развилке дорог, почти сразу же за посёлком Студёновским, из потемневшего снега показалась седая борода. Труп выкопали. Председатель Чемского сельсовета составил протокол: «Во рту деда Еремеева — холщёвая тряпка»... Начались поиски убийц, однако они не дали результата.

Спустя год в Новосибирске было зарегистрировано несколько виртуозных краж. Шайка неизвестных вскрывала и опустошала железнодорожные товарные вагоны, делая это на ходу поезда.

Поиски преступников, совершавших эти кражи, тоже долгое время оставались безуспешными. Но неудачи не обескураживали работников уголовного розыска.

Однажды на окраине города, в логу, над которым возвышался железнодорожный мост, было обнаружено белое мучное пятно. Выяснилось, что сверху упал мешок, лопнул, и кто-то из жителей окраины воспользовался «трофеем». Далее удалось установить, что воспользовалась им некая Кузьмина. На допросе у следователя она заявила, что в мешке была не мука, а манка — чуть ли не небесная, поскольку мешок «упал сверху». Уступая настойчивости следователя, Кузьмина вынуждена была более реально объяснить предполагаемое происхождение «небесного дара»: «болтают, Ванька и Васька из вагона выкинули».

На другой день Ванька и Васька были арестованы. Первый назвался Игнатовым, второй — Еремеевым.

— Еремеев, Еремеев... — раздумчиво повторил оперуполномоченный уголовного розыска. — Погодите, — а вы не из Чемской-Каменки?

Да, он из Чемской-Каменки, старожил её, кулак. И не Еремеев, а Иванов. Был сослан в Нарым, бежал. Его приятель — тоже Иванов, Иван Иванов. И тоже кулак, и тоже нарымчанин поневоле. «Братовья мы сродные». А чужая фамилия — как бы добыча: «Потребилку разорили, много нас было; деда — на воз, за село. Убили. Вот я и взял его фамилию. Ванька — пистолю у деда взял, а я — фамилию».

Итак, все подсудимые сказали суду «нет».

Председатель объявил:

— Переходим к допросу Иванова-Еремеева.

Иванов поднялся вяло, с обычной развальщей. На нём была цветная рубаха, без пояса, коротенький плисовый жилет — мода городской шпаны.

Председатель спросил:

— Знаете ли вы кого-нибудь из сидящих рядом с вами?

— Никого, кроме брата.

— А других?

— Других? Других следователь насбирал. С бору по сосенке.

Председатель помедлил.

— А свидетельницу Абашеву?

Подсудимый сдержанно улыбнулся.

— Знаю. Моя присуха. По-городскому — предмет сердца.

По распоряжению председательствующего в зал были доставлены вещественные доказательства: кусок ситца — старушечьего, в горошинку, сапоги, брусок мыла, ещё различные вещи. Председатель объявил, что все эти вещи изъяты на квартире Абашевой, и тут же спросил Иванова: правда ли, что их привёз он?

Иванов ответил:

— Да. Барахло моё. Горбом нажил.

— Значит, ваше? — переспросил судья и, когда тот, оглядев всю кучу, выросшую на столе суда, подтвердил: «моё», — негромко добавил:

— А вот ботинок, левый, — тоже ваш?

— Я уже ответил: все шмутки мои!

— А, может быть, скажете: почему у ботинка нет пары?

— Не всем дана пара, — попробовал было отшутиться подсудимый. — Вот, скажем, Иван. Ему под тридцать, уже до скамейки дядька достукался, а пары всё нет...

Председатель оборвал паясничавшего Иванова и повторил вопрос.

— Потерял, должно быть!

Елизарьев распорядился доставить в заседание ещё одно вещественное доказательство. На судейском столе рядом с левым мужским ботин-

ком появился другой, точь-в-точь такой же, только не на левую ногу, а правый.

— Не этот потеряли? — спросил председатель.

Иванов не умом, а скорее кожей почувствовал грозящую опасность.

— Не похоже, что этот, — угрюмо ответил он. — Федот, да не тот... Где вы его взяли?

— А вы приглядитесь, — продолжал судья. — Тот и другой — сорок первого размера. Оба с резинкой — вот она. Кручёный шнурок, медные пистоны. Видите? А теперь посмотрите на штамп. Ярославская фабрика, вот и номер... Я прошу стороны ознакомиться с вещественным доказательством.

Ботинки перешли к прокурору, затем минуто-две постояли на адвокатском столе и, наконец, оказались в руках подсудимого.

— Левый ботинок изъят у дамы вашего сердца, — продолжал судья, обращаясь к Иванову, — правый найден у потребительской лавки. И знаете когда? — в день ограбления!.. Понимаете, к чему это клонится?..

Иванов молчал, держа оба ботинка в бессильно опущенной руке.

Прокурор заявил ходатайство: допросить в суде колхозника Головизина — он видел Ивановых после ограбления где-то близ посёлка Студёновского; допросить сожительницу подсудимого Абашеву — она покажет, что вещи и ботинок с левой ноги ей привёз Иванов; затем допросить председателя сельского совета — он поднял ботинок с правой ноги у потребительской лавки и он же составил протокол об этой находке...

— Нечего... допрашивать! — отделяя одно слово от другого, произнёс Иванов. — Я у следователя открылся первым, я и тут первым скажу: виноват! Чего ещё?!

Вслед за Ивановым начали «узнавать» друг друга и все остальные подсудимые. По просьбе представителя государственного обвинения суд огласил несколько документов. Признался Золотухин, признался Батыев, потом Иван Поляков...

Но истина не падает на судейский стол, как созревшее яблоко с дерева. По делу ещё предстояла борьба.

Ставшее наконец ровным течение процесса вскоре было снова нарушено.

Подсудимый Евдокимов заявил: «нет».

— И Васька, и Ванька — кулаки. И весь их дом, и деда, и прадеды — давнишние кровососы. Я говорю честно. А кто я? Бедняк-безлошадник, ихний холоп. Почти всю жизнь чертомелил на Ивановых... Член сельского совета. Был премирован гармошкой. Двухрядкой, к слову сказать, хроматической. И вот, судите. Я этих чемских мироедов описывал, продавал, раскулачивал — и Ваську, и Ваньку, и богоданную их мамашу, и дядьку по мамаше, — словом, зорил их гнезда, а теперь они надели на меня петлю. Дескать, грабил я с ними. Не верьте им, товарищи судьи, туман это всё! Невинный я человек среди этой братии. Честно говорю, невинный!

Судья припомнил, что Евдокимов на протяжении всего процесса, действительно, как будто чуждался других, сидел на отлёте, в одиночку курил во время перерывов, сумрачно поглядывая в зал. И сейчас, большой, нескладный, в стоптанных броднях, какой-то унылый и, казалось, беспомощный, он невольно возбуждал сочувствие.

...Право на вопрос подсудимого перешло к прокурору. Елизарьев задумался: в самом деле, кто же этот Евдокимов — враг или нет? А что если братья Ивановы намеренно оговаривают честного и чистого человека? Исключено ли это? У них выбили из рук нож и обреза, заставили

опустить преступные руки, и вот они хотят использовать своё последнее, теперь уже единственное оружие — ложь, клевету, оговор.

Лишь несколько дней назад партийная организация Западно-Сибирского краевого суда вела разговор о судебной практике по закону от 7 августа. Речи многих были посвящены одной мысли: сила закона должна сочетаться с меткостью удара, удар должен быть направлен точно!

А как поступить в этом случае?

— Значит, о преступлении Ивановых вам сказал следователь? — спрашивает Евдокимов представитель обвинения.

— Да. До этого я ничего не знал.

«Враг или нет? — продолжает думать Елизарьев. — Если это враг, и если то, что он говорит, — искусная ложь, и если мы простим этого врага, значит выпустим зверя из клетки... Но если наоборот? Если это честный человек, и суд накажет его? Накажет, не сумеет разобраться?»

Дело кажется настолько запутанным, что он уже почти решает отложить его и доследовать. «Поискать, подопрашивать... Но что это даст? Доследование — это потеря темпа, таящая в себе опасность погубить всё дело. Надо добыть истину тут же, в процессе заседания».

— Простите, — поворачивается он в сторону прокурора, — я задам несколько вопросов Иванову.

Иванов-Еремеев встаёт.

— Это правда, что Евдокимов не был с вами?

— Правда.

— Но вы же говорили — и говорили здесь, в этом зале, — что Евдокимов ходил с бандой на дело. Так ведь?

— Я хотел насолить ему. А теперь одумался. Открыться решил! А насчёт того, что он наше хозяйство зорил — это правда. Было!

«Было!» Это слово, произнесённое отдельно и пущенное вдогонку всей фразе, заставило судью насторожиться. Ему на мгновение показалось, что Иванов бросил спасательный круг Евдокимову. Но почему? Ведь только что он топил его?

У судьи вырабатывается со временем профессиональная чуткость к фальши. Бывает странное явление. Мерно течёт речь свидетеля, истца, подсудимого, но вдруг в какой-либо внешне ничтожной подробности судья улавливает фальшь. Так дирижёр промадного оркестра безошибочно различает неверное звучание отдельного инструмента, слышное, может быть, только ему. Трудно сказать, относится ли эта профессиональная проницательность судьи к области чувств. Скорее — здесь больше рассудка, рассудка, привыкшего мгновенно улавливать малейшее нарушение логики. А со стороны порою это может показаться интуицией.

Следуют новые вопросы.

— Скажите, Евдокимов, каким образом у вас оказались овчины, похищенные в сельпо?

— Я их купил в магазине.

— Но ведь их привезли за каких-нибудь пять-шесть часов до ограбления... Они же не были в продаже.

— Были.

— Хорошо... Но зачем вы купили их так много — шестнадцать штук? Евдокимов опускает глаза.

— Затрудняетесь ответить? Тогда повременим с этим вопросом. А не скажете ли теперь, где и когда вы были ранены?

— На охоте.

Вопросы, заданные затем народными заседателями, прокурором и, наконец, представителями защиты, позволили прояснить важные подробности. В предпраздничную ночь перед 7 ноября Евдокимов «петлял вокруг деревни», после чего «ускакал до города», где кутил с Ивановым и торговал на рынке барахлом.

...Когда допрос свидетелей был окончен, судьи получили из зала малюсенькую записку: «Спросите Евдокимова, не родня ли ему Ивановы?»

Минутное колебание. Процессуальная форма не допускает вопросов из публики. Но этот неожиданный вопрос не праздный. И он с успехом мог быть задан судом, а не публикой.

Председатель спрашивает Иванова-Игнатова:

— Вам Евдокимов не приходится родственником?

Иванов-Игнатов, видно, быстро соображает, не связан ли этот вопрос с только что прочитанной судьёй запиской, но отвечает невозмутимо:

— Нет уж, какая мы родня!

Судья повторяет этот же вопрос Евдокимову.

— Десятая вода на киселе,— с развязностью отвечает Евдокимов.

Прокурор поднимается с места и просит поставить этот вопрос перед каждым из подсудимых.

Несколько раз слышится: «не знаю», но вот встаёт Иван Поляков, чемский сельчанин, давний друг Евдокимова.

— Дядька он ихний, Евдокимов-то. Одной крови. Это, во-первых. А другое: когда мы потребилку обчистили, то деда Еремеева кинули поверх барахла. Потом стали решать: что с ним делать? Кто-то сказал: «А что, если Еремея бросить в канаву, пускай своей смертью умрёт,— старик он безвредный, нас не видел, тьма кругом да и глаза у него тряпицей завязаны». Но тут как раз Евдокимов затарактел: «Прикончить его — и никаких! Он, дескать, меня видел». Так ведь, Евдокимов?.. А ранили Евдокимова не на охоте, а во время погони. Милиция за нами вёрст двадцать шла следом.

Председатель глядит на Евдокимова. Тот бледен, пытается улыбнуться, но улыбаются только одни губы, а в глазах стоит бессильное холодное бешенство...

### Что значит читать мысли

Я уже говорил, что познакомился с Елизарьевым осенью 1938 года в Москве. Мы оба были вызваны в Верховный Суд и на протяжении месяца с небольшим изучали и докладывали там надзорные дела. Елизарьев представлял Новосибирский областной суд, я — Иркутский.

Судебное дело — это подчас повесть о конфликте, о столкновении человеческих страстей, интересов. Но совсем не всегда факты, запечатлённые на страницах дела, открывают прямую дорогу к истине. Наоборот, некоторые из них заслоняют правду, уводят от неё, дают пищу ложным, ошибочным представлениям. И чтобы установить истину, надо дать верную оценку всем этим фактам, объяснить себе всё неясное и противоречивое.

— Представьте, я вижу этого человека, — сказал мне как-то Елизарьев, показывая изученное им дело. — Это умный, капризный и, думаю, незлопамятный человек. Хочет всегда быть на глазах. Заводила и запевала. Споёт, спляшет, растянет гармошку... Во хмелю мелочен и обидчив, способен всплакнуть, уронив на гармонь пьяную голову. И мне кажется, я догадываюсь, как он пришёл к мысли о преступлении.

Я всегда удивлялся способности Елизарьева проникать в психологические тонкости конфликта и по-своему видеть преступника.

Изучая дело, он не боялся загадок — наоборот, радовался им, считал, что именно через раскрытие их и выявляется истина. К каждому делу он составлял подробнейший «путеводитель», но докладывал дело удивительно кратко и ещё более кратко отвечал на вопросы.

— Прочтите, интересное дело, — предложил он мне однажды, вручая пухлый потрёпанный том в вишнёвой папке. — Я разошёлся по нему с одним из товарищей и хотел бы услышать третий голос.

— Подозреваете ошибку?

— Трудно сказать... В общем, прочтите.— Он улыбнулся, глядя на меня прищурившись.— Напоминает дело Данчина. Помните?

Делом Данчина начиналась моя статья, напечатанная годом раньше в журнале «Советская юстиция». Я относился к Елизарьеву с ученической почтительностью, и мне было приятно, что он читал и даже помнил эту статью.

— Кстати, я вас хочу поругать,— добавил он.— И знаете за что? За вашу статью...

Статья эта имела предлинный заголовок и почти сплошь состояла из перечисления различных фактов судебного послабления и судебных ошибок. Я собрал их, составляя обзор уголовных дел, связанных с техникой безопасности и, признаться, наткнулся на эту тему случайно. В одном из дел оказалась крошечная записка, написанная арабской вязью. Блёклая и таинственная, захватанная жирными пальцами, она разжигала моё любопытство. Я попросил знакомого лингвиста перевести её и, когда это было сделано, схватился за голову. На судебном деле стояла цифра 133. Человек, получивший записку,— ссыльный бай — был осуждён по статье 133 Уголовного Кодекса<sup>1</sup>. В приговоре стояло: «Будучи заведующим шахтой, по халатности допустил на подземные работы шесть человек необученного пополнения, не обеспечил надлежащих условий охраны труда, и люди, не способные крепить кровлю, погибли под обвалом». Судьи назвали катастрофу несчастным случаем. Между тем, это была диверсия. Всё объясняла записка, должно быть, не прочитанная судьями, так как им и без того, видимо, всё казалось ясным. Записка эта гласила следующее: «Не препятствуйте поступлению плохих рабочих. Пусть они убьют себя сами. Записку уничтожьте». Значит, людей бросили под землю с тайным умыслом — на смерть. А доверчивые судьи наказали убийцу-диверсанта мизерным штрафом...

Я углубился в работу, и в пачке малоприметных тоненьких дел, казавшихся на первый взгляд тоже чрезвычайно простыми, обнаружил ещё несколько подобных случаев. Среди обвиняемых были кулаки, преступники-рецидивисты, белые офицеры, осевшие в приманьчжурских золотопромышленных районах, чиновники иркутского губернаторства... Халатность, за которую их наказывали, не была халатностью. После исследования этих дел в четырёх случаях подтвердилось предположение: диверсия и вредительство, а не случайное нарушение техники безопасности,— диверсия и вредительство под маской несоблюдения техники безопасности! Так, примерно, и называлась моя статья.

— Вы предостерегали судей от возможных ошибок,— заговорил Елизарьев.— Это хорошо! Но следовало пойти дальше. Вам надо было заключить статью несколькими советами, а не только ограничиться фак-

<sup>1</sup> В ч. 1 ст. 133 Уголовного Кодекса говорится: «Нарушение нанIMATEЛЕМ, как частными лицами, так и соответствующими лицами государственных или общественных учреждений и предприятий, законов, регулирующих применение труда, а равно законов об охране труда и социальном страховании...»



тами. Надо было посоветовать судьям, как выяснять и доказывать контрреволюционный умысел при непризнании вины. Согласитесь, что это довольно тонкая и важная вещь. У вас есть пример, когда диверсия надевает маску халатности. Или точнее: когда диверсант сознаётся в преступлении, но в преступлении, которое именуется халатностью. Я продолжу ваш пример. Допустим, что заведующий шахтой — бездельник, пьёт, перебрасывается в картишки... Пикнички там, банкеты, тайные сердечные шалости. Словом, к работе стоит спиной. И вдруг — в шахте катастрофа... Ещё однастораживающая деталь: заведующий шахтой — ссылный бай. Нехватает лишь разоблачительной записки. Вот и скажите, не связана ли эта бесшабашная, и так и хочется определить: намеренная, показная, беспечность — с катастрофой? Не соединяет ли их ниточка прямого умысла?

Елизарьев медленно ходил по комнате. Я чувствовал на себе его взгляд, внимательный и спокойный, и хотя он безжалостно критиковал мою статью, я видел, что он не хочет меня обидеть.

— И диверсанта, и вредителя отличает контрреволюционный умысел, — продолжал он. — Так ведь? Значит, надо прочесть мысли этого бывшего бая. Проще и легче прочесть их, когда есть действия, поступки, и трудней, намного трудней, когда перед вами бездействие, халатность. Согласны? Если я знаю, что именно делал подсудимый, и как он делал, — подчёркиваю: как, — то я нередко могу сказать, и что он хотел, что думал. Чеховский злоумышленник ходил по железнодорожному полотну и отвинчивал гайки. Но из того, как он это делал, ясно, что посягал он не на поезд, а на гайку... Вы не устали от моих прописей?..

— Что вы! Я слушаю с охотой.

— В вашем же примере всё наоборот. Не делал — и в то же время делал. Как же быть? Что посоветовать судье в этом случае? Я знаю один совет — искать действия. Да, да... За павлиньим хвостом беспечности, которую распускает обвиняемый, искать действий, дел, поступков. И поверьте, дружище, лишь это даст в ваши руки необходимый ключ к чужой тайне. И к тайне, и к правде! Лишь это позволит сказать, что вы имеете в папке уголовного дела — халатность или диверсию... Заведующий шахтой подписывал какие-то бумаги. Это действие? Он решал какие-то неотложные вопросы? Снова действия? И даже на пикничках, на банкетах он что-то делал — произносил тосты, пел, кого-то хулил, кем-то восторгался, пусть даже политично разводил руками, но в каких-то формах выражал своё отношение...

— К службе, к шахте...

— Вот именно! И к службе, и к шахте, и к мероприятиям партии, и к общей нашей народной судьбе... Подпрашивайте свидетелей, подвигайте вещи, которые он двигал, присядьте в его служебное кресло, обегите глазами и мыслью поле его работы, вдумайтесь в суть дела и, я уверен, вы разгадаете его настроения... Художник малюсеньким штришком оживляет порою мёртвый холст. Вот и у вас. Выясняется, скажем, маленькая подробность. Обвиняемый чуть ли не за день до катастрофы забраковал партию вполне доброкачественного крепёжного леса, а другую, худшую, в то же время принял... Отвечает ли это утверждение обвинению в халатности? Нет, конечно. Пальцы следователя нащупывают ниточку причинности. Правда, это всего лишь ниточка. Впереди большая, очень большая, нервная работа. Но понятно ли вам, к чему я клоню? Контрреволюционный умысел диверсанта, вредителя, играющего в халатность, точнее — объясняющего своё преступление халат-

ностью, доказуем и без его признаний, больше того: наперекор его непризнаниям! И даже без уличающей записки.

— Согласен с вами.

— Вот и сказали бы об этом в своей работе. Да и не только об этом. Надо было сказать и о другой стороне дела. Действительное неумение или халатность могут быть приняты за вредительство. Судья должен быть свободен от нездоровой подозрительности...

Николай Александрович бросил на меня быстрый, изучающий взгляд и, как мне показалось, неожиданно смутился.

— Так и есть. Обидел вас!

Он зашёл сзади моего стула, и я ощутил на своих плечах его руки.

— Ничего, друже, ничего. Критиковать, конечно, и проще, и легче. Винюсь. А вот написать...

Но он ошибался. Я был далёк от обиды. Недостатки моей статьи, донельзя наспигованной фактами, узость её рамок, пробелы её и пороки после этого разговора стали мне поразительно ясны, и хотелось одного — сесть за стол, чтобы написать её всю заново.

### Два адвоката

... Середина дня. Я стою у книжного киоска, листовая объёмистую хрестоматию древнегреческой литературы. Киоск помещается в вестибюле Верховного Суда в Москве. Через вестибюль идут пути-дороги жалобщиков и тяжущихся, и поэтому обычно здесьлюдно. На этот же раз зал почти пуст. Листовая книгу, я слышу, как за моей спиной беседуют два адвоката. Я видел их прежде и поэтому сейчас легко представляю себе их беседу. Один из них — седой старик без шляпы; он сидит на деревянном диванчике, снисходительно поджав губы, недоступный и чопорный. Другой, ещё совсем юный, стоит напротив, улыбаясь.

Я не слежу за течением разговора, но вот после длинной и горячей речи старого адвоката воцаряется пауза, потом следует несколько быстрых реплик и, наконец, явственно слышится голос младшего:

— Я не могу согласиться с той ролью, которую вы отводите адвокату. По-вашему, адвокат — простое продолжение преступника, его уста. И назначение защиты — всячески помогать подсудимому выкручиваться?..

— Не так, конечно, прямолинейно, — отвечает седой адвокат, иронически поднимая брови.

— А как же? — с лица юноши исчезает улыбка, он говорит, еле сдерживая волнение. — Нас, Виктор Михайлович, учили иному. То, что сказали вы, противно совести советского человека.

Я плачу за книгу и тут только замечаю, что слева, у прилавка, стоит Елизарьев. Я вижу его в стекле витрины, а когда оборачиваюсь, и он замечает меня.

— Вы не пообедали?

— Нет.

Он расплачивается с продавцом и берёт меня под руку...

Через полчаса мы сидим в летнем павильоне ресторана. Я спрашиваю Елизарьева:

— Вы не слышали, что говорили два адвоката в вестибюле?

— Слышал, — отвечает он. — Оба они — и старый, и молодой — вели разговор на одну щекотливую тему. Я курил у окна и, кажется, слышал всё. Сначала говорил старый. Это была тонкая речь, умелая и, пожалуй, страшная в своей наготе. Он говорил, примерно, так: «Представим, идёт процесс.. И представим ещё, что вина подсудимого доказана. Его уличают люди, вещи, документы да и сама логика. Уличают те, кто

вложил ему в руки оружие, кто видел преступление, наконец те, кому он проболтался по пьяной лавочке. Есть и другие доказательства — вещи подсудимого, смоченные кровью его жертвы, письма с его полу-признаниями, заключения экспертов. Словом, против человека, представшего перед судом, — уйма улики. Но в их цепи нет одного звена — нет признания виновного. И поскольку перед судьями человек не всегда бывает умнее страуса, прячущего голову под крыло, то и наш подзащитный, наперекор всем и вся, шумит о своей невиновности. Что делать, как защищать? Разойтись с ним, и действия, поставленные ему в вину, назвать преступлением, а самого подсудимого — убийцей, а потом собирать по зерну хлеб милосердия, взывая к совести обвинения? Я предпочитаю другое, и вот почему. Прежде всего, я — защитник. Из тысячи моих коллег подсудимый выбрал меня. Я продал ему на время судебного процесса свой талант, свою эрудицию. С доверчивостью ребёнка он открылся мне в своей исповеди, вручил мне себя, свою судьбу, быть может, признался мне в преступлении. Я стал частью его! Смогу ли я сказать после этого, что он преступник, хотя бы это и была святая правда, доступная всем? Пока я на трибуне защиты, с неё не будет сказано слов обвинения. Я поддержу его непризнание. Буду искать противоречий в доказательствах, буду возбуждать перед судом пустые и бесполезные ходатайства, ставить свидетелям вопросы-ловушки, а когда подойдёт время, закачу эффектнейшую речь. Перед глазами моего подзащитного пробежат бенгальские огни, он уронит слезу благодарности... А потом его приговорят. Причём моя речь отразится на приговоре не больше, чем папская булла на мироздании... Так или почти так, говорил этот старый адвокат. Признаюсь, я был ошеломлён. Я не верил своим ушам и всё ждал, что скажет его молодой коллега...

Елизарьев умолкает и, сняв очки, сосредоточенно дышит на стёкла.

— Идейки этого адвоката стары и не стоят волнений, — говорю я. — Помню, в университете нам рассказывали про английского лорда Брума. Не то писателя, не то писателя и юриста вместе. Он защищал королеву Каролину от обвинения её королём в неверности и между прочим сказал, что клиента надо охранять, не стесняясь ни в чём, если даже это будет нечестно и если это может повредить благу отечества.

— Даже так?

— Именно. «Повредить благу отечества» — это слова Брума... Ну, а как всё-таки отозвался молодой? Я разобрал лишь несколько его фраз.

Елизарьев будто не слышит вопроса.

— Помните, как говорят в народе о чести? — спрашивает он через секунду. — Честь — это чистая совесть, благородство и доблесть души! Каково? Дobleсть души! А найдите хотя бы крупницу этой доблести в рассуждениях старого ходатая? Кому он служит? Народу?.. Все его разговоры — дым и туман. Их назначение — сделать ложь правдой... Короче, следуя вашему, как его...

— Бруму, — подсказываю я, улыбаясь.

— Следуя Бруму, он из помощника суда, кем бы ему надо быть, становится разрушителем правосудия. И поддерживает он не законные права подсудимого, а преступность против закона. Спрашивается, почему? Потому, что его купили. Сначала преступник купил пистолет, чтобы убить человека, потом он купил адвоката, чтобы убить правду... «Я продал ему свой талант и свою эрудицию». Нет, он продал и совесть...

К нашему столику подбегает тоненькая официантка и, гремя тарел-

ками, осторожно и сочувственно улыбается мне — ей, видимо, кажется, что Елизарьев меня ругает.

— Старый пройдоха... — гневно говорит мой товарищ. — Он знает, что правда — душа нашего правосудия. Он знает: если правда оправдывает, то первым оправдывает прокурор. Если нет улик, то прокурор отказывается от обвинения. Так почему же, когда есть улики и когда всем — и судьям, и каждому в зале ясно, что подсудимый не зря сидит на скамье, — почему в этом случае адвокат не назовёт чёрное чёрным? Разве признание виновности подзащитного снимает защиту? Это лишь усложняет её. Ведь остаются же вопросы — как применить право, какую применить статью, наказать ли подсудимого, как наказать. Словом, для честного боя — простор.

— Я не собираюсь возражать вам, Николай Александрович. Я согласен.

Он смеётся.

— Да я не вам. Я всё старого адвоката долблю и утешаюсь, что таких монстров единицы...

— Ну, а молодой?

Елизарьев молчит.

Мы выходим из павильона, спускаясь по светлой, крашеной лесенке.

— Я не чувствовал вначале достаточной самостоятельности в этом юнце, — говорит Елизарьев, — я боялся, что он покривит душой для своего собеседника... И вдруг — сюрприз. Кстати, что вы слышали? Вот, вот, он так и сказал: «То, что говорили вы, — противно совести советского человека». И старый адвокат тут же поднялся, ответив ему: «Ну, уж это слишком. Вы утрируете мои мысли». Молодой же возразил: «Нет, не утрирую, просто с моих глаз упала повязка. Теперь я вижу вас таким, какой вы есть!» Вслед за этим они пошли в разные стороны... Хорошо он сказал!

### За чужую вину

Ранняя весна 1939 года. Я возвращаюсь в Иркутск из командировки по Приленскому краю. Неутомимый, выдавший виды газик бежит быстро. В слюдяном окошечке, как на экране, всё время сменяются кадры. Медленно, величественно плывёт тайга. Толпятся, меняют свои места, забегая друг за друга, огромные сосны...

Ночью, когда на горизонте уже замаячили электрические огни города, мотор неожиданно глохнет, и мы останавливаемся едва ли не у самых городских окраин. Шэфёр ругается. Выбравшись из кабины, он сердито гремит капотом, две-три минуты колдует над мотором, потом, что-то бормоча, плетётся обратно и молча тянет из-под моих ног медвежью полость. Он не спал двое суток... Пока я соображаю, для чего всё это, он, деловито пристраиваясь на шкуре, бубнит чужим, сонным голосом: «Я сейчас, одну минуту» — и мгновенно засыпает.

Я тормошу его за плечи, кричу. Пустые хлопоты! Зато в лесу раздаётся мягкий хруст, и бодрый низкий голос окликает нас:

— Эй, что за люди?

Из чащи показывается пожилой человек, без шапки. Он в исподнем белье, в сапогах, видимо, на босу ногу. На плечах его коротенький жёлтый полушубок внапашку.

— Вынужденная посадка? — смеётся он. — А этст что? — и кивает на шофёра.

— Спит. Бужу вот.

— Не ближние, значит?

— Оттуда вон, — показываю на поблёскивающий огнями город, и в свою очередь спрашиваю: — А вы что тут?

— Ремонтёры мы. Дорогу ладим. Тут, за рябинником станок у нас.. А вы, к слову, не по дорожной части?

— Нет.

— И не по торговой?

— Тоже нет. Судья.

Ремонтёр оживает.

— Тогда, брательник, покурим. Я ведь тоже причастен к этому делу, — с возбуждением говорит он и ловит карман своего полушубка.

— Заседатель?

— Какое там!

— Судился, что ли?

— И не это, — машет он кистетом и вдруг спохватывается. — А вы часом не знаете докладчика?

— Кого?

— Да докладчика... Главного судейского докладчика. Он в Новосибирске сидит. Не знаете?..

Мы садимся на подножку машины.

Тянет дурманящим ароматом багульника, попискивают одинокие птички, самокрутка ремонтёра загорается с шипением и треском.

— Плохие корешки в самосад попали, — объясняет он и, пыхнув дымком, плотнее запахивает полушубок. — Так вот. Есть у меня племянник на Алтае. По сестре. Парнишка с огоньком, трудящий. Тракторист, гармонист и прочая. Человек приметный: старики — и те перед ним шапку ломают: «Василь Васильч!..» Так-то... Ну вот, перед масляной за неделку получил я от него письмо. Получил, и глазам не верю. Сижу, — отписывает Василь, — в каталажке. Бабку одну решил по нечаянности. Дали десять лет. Прошу, дескать, вас, дорогой дядюшка, и всякое такое, — словом, просит сгонять в Новосибирск, там, дескать, будут разбирать его кассацию. «Гыфу, дьявол, думаю, такого у нас и в роду не было...». Поплевал, однако, поругался, а поехал. Денька два трясся в почтовом вагоне, молчал, думал. Соседи резались на моём сундучке в дурака, а я себе — одно: «Василь, Василь, да что ж это?» А как приехали — прямо в суд. Прихожу, стучусь к секретарше... Секретарша обходительная такая. «В ту вон дверь, — говорит, — идите, там, говорит, докладчик по вашему делу». «Не по моему, — я — ей, — по племянникову». «Да, всё равно, — торопит, — идите скорей, вот-вот состоится заседание»... Что ж, иду. А из дверей выходит человек с папками. «Вы, спрашиваю, докладчик?» Улыбается. «А вы кто?» — говорит. «Париллов, — отвечаю, — Иннокентий Павлович, а племяша, мол, фамилия — так-то». Нахмурился тот человек. «Опоздал, — говорит, — старина, только что разобрали его дело». Я так и ахнул. Пол-Сибири отмахал — и зря! А докладчик говорит: «Не падай духом, Иннокентий Павлович, вредно». И тут же объяснил, что приговор они отменили и что назначено, дескать, переследствие. Я, конечно, воскрес. «Интересно, — говорю, — знать вашу фамилию?» «А это, — отвечает, — тебе без пользы»...

— Ну, а как же с племянником, в конце концов?

— Освободили. Нашли того, кто виноват, а его освободили. Василь-то, оказалось, ни при чём...

— А докладчик — стар, молод?

— Да как вам сказать... Годов тридцати пяти. Дядька ничего, в теле. Не шибко велик, но крепок. Человек, видать, из народа. И обличья хростецкого — бритый, со смешинкой...

Я начинаю догадываться, о ком повествует словоохотливый ремонтёр.

— Не Елизарьев его фамилия?

— Он! Точно он! Я потом дознался у секретарши, — оживляется Иннокентий Павлович. — Так вы его знаете? Тогда, брательник, принимайте порученье. Скажите ему спасибо. И от меня, и от Васьки. Я ведь в тот час на одной ноге из суда выскочил — ни здравствуй, ни прощай.

Он помолчал и продолжал раздумчиво:

— Не лёгкое это дело — другого судить. Не так разве? Иной раз, поди, чужую вину и глазом не видно, и умом не поймёшь. Её только сердцем взять можно...

...«Спасибо» от Парилова я передал Елизарьеву лишь два года спустя при следующей встрече. По своему обыкновению он снял очки, что-то припоминая, потом переспросил:

— Парилов? Ах, вот что! Да, было такое...

Я попросил его рассказать мне о подробностях этого дела, потом сам прочитал кое-какие документы, имевшие к нему отношение, и теперь могу воспроизвести обстрельства с достаточной полнотой.

...Убийство произошло ночью. Милиционер прибыл на рассвете. Посреди горенки, застланной маково-ярким домоткацным половиком, лежала мёртвая старуха, а рядом беззаботно и сладко почивал здоровенный парень. Соломенный его чуб сваялся, рубаха была испачкана глиной, под глазом цвёл синяк. В углу над божницей лиловел язычок лампадки. У порога, как два памятника, стояли понятия, оцепеневшие, без шапок. С улицы к серевшим окнам липли зеваки.

Поощряемый вниманием любопытных, милиционер с подчёркнутой деловитостью обошёл старуху, исследовал половик, заглянул в загнеток, потом в сундук с разной ветошью и сел к столу. Составив протокол, он принялся будить спящего.

Парень мычал и на толчки, которые, должно быть, воспринимал, как заигрывание с ним, только добродушно похохатывал. Согнать с себя дрёму он спяну никак не мог.

— Казнить его, злодея! Порешил бабку и ещё жеребятится! — негодовали собравшиеся.

Наконец парень разлепил глаза, круглые, бессмысленные и сразу же попытался было запеть, но от нового толчка поспешно сел.

— Твоя работа? — мрачно спросил его милиционер, указывая на старуху.

Парня обдало дрожью. Хмель с него слетел окончательно.

— Мёртвая?

— Тебе лучше знать. Вставай, допрос снимать буду...

Через некоторое время народный суд Уч-Пристанского района, нынешнего Алтайского края, слушал дело гражданина Н. Председательствовал народный заседатель, временно замещавший судью.

— Не отрицаю... Хотя и не помню, по пьянке, но должно быть, значит, так... — отвечал подсудимый на вопрос, признаёт ли он себя виновным.

— Отвечайте определённое.

— Что ж... С вечера я гулял на свадьбе... Пили, конечно... танцы там... то, другое... Помню, гармонь мою кто-то уронил. Ещё помню, как шли домой. За Старой падью, на мостике, устроили перепляс. Потом я сидел у дороги... Кто-то ещё фуражку с меня сорвал, Аннушка вроде. Бегал я за ней. Никита тут встречал что-то. С ним тоже барахтался. А может и не с ним. Ещё у бабкиного крыльца «На сотках Маньчжу-

рин» играл... А что дальше — хотите верьте, хотите нет, — не знаю. Может, и помял её, нечаянным делом... Одним словом, не помню. А как проснулся,— сбоку — она, а вот так — милиционер, да у порога дядя Митяй ругается: «Под корень, — говорит, — его»... Это меня, значит. Вот и всё. В общем, судите. Поскольку по бумагам я — значит, я...

На руках парня были обнаружены отчётливые знаки борьбы: синяки, царапины. Сундук старой бабки, жившей, кстати, довольно богато, был открыт. Судьи пришли к мысли, что убийца не довершил своего дела — был сражён хмелем, и, допросив Никиту, Аннушку и ещё двух-трёх свидетелей, признал подсудимого виновным...

По жалобе осуждённого дело поступило в Новосибирский областной суд.

— Я прочёл его, — вспоминает Елизарьев, — с каким-то смутным, неясным чувством... Осуждённый в своей кассационной жалобе не отрицал самого преступления. Он лишь просил о смягчении своей участи. Как ни странно, но он считал себя злодеем, соглашался с судьями, что ему надо сидеть, и лишь просил наказания поменьше. Осуждённый искал частичной пощады... Естественно, что мы не видели этого деревенского красавца, не слушали свидетелей — мы имели перед собой только бумаги. Но и бумаги действовали настораживающе. В них чего-то не хватало, хотя и неясно было, чего именно. Я перечитал дело раз, другой и доложил на коллегии... Решили приговор отменить, следствие по делу начать снова. Почему коллегия не поверила признаниям осуждённого? Соображений было несколько. Прежде всего, очень уж неестественной казалась вся эта история — пришёл ночью, убил, уснул. Это одно. Далее, мы не нашли в деле ни одной строки об отношениях парня со старухой. Бывал ли он у неё раньше, как ночью проник к ней и так далее. А надо заметить, что покойная вечно тряслась за свои пожитки и жила за семью замками. При этом особенно важно было выяснить, каковы были отношения осуждённого с нею. Наконец, всё следствие вращалось вокруг только одного предположения: убил тот, кто был застигнут на месте происшествия. А разве не следовало допустить и проверить другие версии? Не хотел ли её смерти кто-либо другой из жителей села? Короче, всё клонилось к одному: у нас не было уверенности, что человек, хотя и назвавшийся убийцей, — действительно убийца. Позже, когда стало известно, что старуху задушил её внук, мне ещё больше стала видна легковесность решения суда. Повторяю, выяснилось, что старуху задушил её внук. Сделав это, он прихватил малюсенький ларец с тремя десятками золотых монет и вышел на улицу. Увидев у крыльца Василия, спящего в обнимку с гармошкой, он втащил его в дом.

— Но как допустил ошибку суд? — продолжал Елизарьев. — Думается, большую роль сыграло тут поведение самого подсудимого. Судьи оказались малоопытные, и их загипнотизировали полупризнания подсудимого — иных данных у них не было. Не возникло у них и других подозрений — не было кандидата в убийцы! Зато был человек, застигнутый около жертвы и лепечущий о снисхождении. И вот результат: тяжёлая, непростительная ошибка... А представляете себе, как ликовал в душе и издевался над нами настоящий убийца после приговора Уч-Пристанского суда? Что может быть страшнее для нас с вами? Честного человека упятать в тюрьму? Но знаете ли, что, в конце концов, оказалось самым отпадным в этом деле? То, что не мы одни почувствовали ошибку. Когда мы направили дело в Уч-Пристанское, потребовав доследования, — оттуда, из отделения милиции, разминувшись с делом, уже шло донесение: отмените приговор, нами найден другой, настоящий убийца! У нас, в стране, где нет ничего дороже человека, судебная ошибка восторжествовать не должна и не может!

### Товарищеские письма

В одной журнальной заметке, посвящённой Елизарьеву, в связи с двадцатилетием его судебной деятельности, говорилось:

«Николай Александрович по праву считается одним из лучших судебных работников Новосибирской области... Елизарьев никогда не кичится своими знаниями, добытыми практикой и повседневным упорным самообразованием. Он с большой охотой старается передать свой опыт другим... Большая заслуга Елизарьева — его товарищеские письма народным судьям. Пишет он их много. В них он рассказывает народным судьям об опыте своей работы, стараясь сделать каждого судьёю полноценным судебным работником...»

Я приведу несколько таких товарищеских писем.

Уважаемый Фёдор Дмитриевич!

9 апреля 1941 года судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела в кассационном порядке дело Беляева и Кожевниковой, осуждённых под Вашим председательством, и отменила приговор, причём не по мотивам жалобы, а ввиду того, что судом, и в частности Вами, как председательствующим, было допущено грубейшее нарушение закона.

Вы нарушили принцип гласности. Выразилось это в том, что вопреки закону Вы слушали дело Беляева и Кожевниковой при закрытых дверях.

Вам должно быть известно, что в основе нашего процесса лежат такие принципы, как — состязательность сторон обвинения и защиты, непосредственность, устность процесса и т. д. Наиболее важными из них, возведёнными в значение конституционных, являются такие, как: гласность судебного разбирательства, ведение судопроизводства на национальном языке и процессуальные гарантии.

Принцип гласности требует, чтобы дело слушалось открыто — открыто и для сторон, и для публики. В статье 111 Сталинской Конституции сказано: «Разбирательство дел во всех судах СССР открытое, поскольку законом не предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту».

По смыслу статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса удаление публики из зала суда «на всё время заседания или на часть его допускается не иначе, как по мотивированному определению суда и притом лишь в случаях, где представляется необходимым охранять военную, дипломатическую и государственную тайну, а также по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 151—154 УК».

Как видно из материалов дела, Беляев и Кожевникова были привлечены к ответственности за то, что продавали с базы сельпо различные дефицитные товары, а затем оформляли фиктивные документы, показывая, что эти товары, якобы, были переданы ими в магазин.

И вот такое дело Вы решаете рассматривать при закрытых дверях! Спрашивается, какое отношение имеет оно к военной, дипломатической, государственной тайне и, тем более, к половым преступлениям, о которых идёт речь в ст. ст. 151—154 УК?

Бесспорно, никакого.

Вместо того, чтобы организовать открытый, хорошо подготовленный процесс, рассмотреть дело с участием сторон и показать этим процессом, что государство в лице суда и прокуратуры ведёт решительную борьбу с подобного рода преступлениями, Вы отгородились от публики, закрыли двери суда и лишили процесс свойственного ему воспитательного значения.

Чем это объяснить?

Как хотите, Фёдор Дмитриевич, но создаётся впечатление, что Вы



подпали под влияние кого-то из местных работников и в угоду чужому желанию, которое противно духу партийности и государственности, закрыли двери суда. Такое мнение подтверждается и Вашим объяснением по делу. Хотелось бы верить, что теперь Вам будет понятно, насколько порочно это Ваше «уединение».

И вот — результат: хотя приговор, вынесенный по этому делу правилен по общему отношению к фактам и по мере наказания, судебное следствие по нему проведено полно и обстоятельно, судебная коллегия всё же сочла своей обязанностью отменить этот приговор, потому что Вы нарушили важнейший конституционный принцип.

После вторичного рассмотрения дела вышлите его в областной суд безотносительно к тому, каким будет приговор и будет ли подана кассационная жалоба.

С товарищеским приветом — Елизарьев.

Иван Поликарпович!

Получил: 1) Ваше письмо от 6 апреля, 2) копию Вашего отчёта перед населением, 3) фотографию совещания народных заседателей, 4) статью, опубликованную Вами в газете «Красное знамя».

Отвечаю.

Есть основное общее положение: лицо народного судьи определяется качеством судебной работы. Главное не в том, как судья делает доклады, беседы и проводит экстренные и плановые совещания, — это, конечно, важно, но, тем не менее, это — не главное. Главное — как он судит, как он проводит директивы партии за судебским столом. Поэтому я и начну с мартовских итогов Вашей судебной работы, а не с тех материалов, которые Вы мне прислали.

На первый взгляд, эти итоги лучше февральских. В марте судебная коллегия областного суда оставила в силе больше Ваших приговоров, чем в феврале. Но означает ли это действительное улучшение Вашей судебной работы?

С Вашей точки зрения — да, означает, и в своём письме Вы стараетесь подкрепить это мнение ссылкой на «велосипедное колесо». Согласен, что в велосипедном спорте достаточно обогнать соперника на одно колесо, чтобы уже сказали — да, лучше, быстрее. Но ведь это — в велосипедном спорте, а судебную практику с ним сравнивать нельзя. Тут решает не только внешняя характеристика, но и внутренняя (характер изменений, вносимых в Вашу судебную практику кассационной инстанцией).

Посмотрите теперь, что у Вас было в феврале и что стало в марте.

Было. В течение февраля областной суд изменил некоторое количество приговоров из тех, что вынесены под Вашим председательством. Здесь только изменения приговоров и ни одного случая отмены.

Стало. В течение марта мы изменили и отменили у Вас несколько приговоров. Но теперь налицо и изменения, и отмена. Правда, отмена незначительная — один приговор, но характер недостатков, допущенных судом при вынесении этого приговора говорит о многом.

Напомню Вам, что дело пришло к нам с кассационным протестом прокурора. Мы начали искать в нём доказательств Вашей мотивировки — и не нашли. А при таком положении суд не может вынести оправдательного приговора. Так же, впрочем, как и обвинительного. Главное для судьи — убежденность, вера в правильность своего решения. А у Вас не было в этом деле прочного фундамента, на котором эта вера

могла бы покоиться. Должен сказать, что если последующее рассмотрение и подтвердит прежний приговор, это не будет доказательством Вашей правоты. Это может означать лишь, что Вы угадали решение. Согласитесь, как всё это далеко от наших задач и от нашей практики.

Я не нахожу объяснений для этой Вашей слепой доверчивости. Характер изменений Ваших приговоров в марте (дело Головина, дело Попова) говорит о том, что Ваши мартовские недостатки были существеннее февральских.

Следующий момент. В Вашем письме есть одно не совсем точное выражение. Вы пишете: «когда я выношу оправдательный приговор, у меня хорошо на сердце».

Часто это действительно так. Так это и в жизни, в нашем советском обществе, не только в зале суда. Бывает, мы ошибаемся в человеке, плохо о нём думаем, даже больше: избегаем его общества. Но вдруг выясняется, что он чист, светел, что мы заблуждались в своих мнениях о нём. И тогда, от одного факта выяснения нашей ошибки, нас охватывает хорошее чувство — чувство радости, удовлетворения. Хорошим человеком «стало» больше!

Такие же чувства я испытываю и когда выношу оправдательный приговор в суде. Но всегда ли? Нет — не всегда.

Случалось ли, Иван Поликарпович, Вам с вашими заседателями выносить оправдательные приговоры за недостаточностью улик?

Вносили Вы, повидимому, и предостережения в порядке ст. 43 УК, оправдывая подсудимого, но тем же приговором предостерегая его, потому что, как указано в законе, «поведение оправданного даёт всё же основания опасаться совершения им преступления в будущем».

В этих случаях ведь особой радости появиться неоткуда. Согласны?

Да и при вполне бесспорных оправданиях, где всё кажется ясным, — разве к чувству удовлетворённости не примешивается чувство горечи за ошибку следователя? Невинный-то перенёс душевную травму, честный носил славу нечестного! Можно ли об этом забывать, в особенности нам, судьям?

Ещё один вопрос — о государственной копейке.

Перед тем как написать Вам это письмо, я побывал у товарищей из судебной коллегии по гражданским делам. И вот что они просили передать Вам.

В средних числах марта под Вашим председательством было рассмотрено трудовое дело по иску Подвойского к районной конторе «Заготзерно» о восстановлении на работу.

Подвойский, главный бухгалтер этой конторы, был уволен директором, как работник неумелый и нерадивый — дескать, то-то запутал, то-то не распутал и т. д. Вы правильно решили это дело, восстановив Подвойского на работе. Однако поскольку истинной подоплёкой увольнения Подвойского было стремление директора конторы «Заготзерно» — самодура и вельможи — освободиться от справедливо требовательного, принципиального глаббуха, мешавшего ему в различного рода «хозяйственных» комбинациях, постольку Вам следовало: во-первых — 1560 рублей, определённых ко взысканию с «Заготзерна» в пользу Подвойского в качестве компенсации за вынужденный прогул, отнести на счёт директора, а во-вторых, привлечь его к ответственности за гонение честного человека.

Между тем, что же получилось? Директор-вельможа поступил так, как хотела его левая нога, а Вы, взыскав 1 560 рублей с «Заготзерна», рассчитались за плутни директора государственной копеейкой. Неверно, Иван Поликарпович! Следовало наказать этого барина рублём. Такое «внушение» — для него самое понятное.

Государственная копейка — свята, и оплачивать ею можно только то, что идёт государству на пользу, а не во вред.

Следующее замечание. О судебных документах.

Вы довольно хорошо пишете приговоры и решения. Полно, толково, содержательно, и в нужных случаях — с тем хорошим агитационным огоньком (по строю речи, конечно), который столь необходим при публичном рассмотрении дела. Мотивируете, ссылаетесь на законы. Но Ваш язык? Сколько древностей в нём! «Содеял» — вместо «совершил», «учинил дебош» — вместо «подрался», «вчинил иск» — вместо «предъявил иск» и т. д. Щегляние подобной терминологией иногда считают у нас хорошим тоном, а некоторые юристы даже думают, что этот музейный словарь чуть ли не обязателен. Они предполагают, что юристам свойственен свой язык, своя языковая форма, и что она определённым образом отличает их от простых смертных, — вроде, как мундир отличает военного от штатского.

Это не совсем так. Право, как и любая наука, имеет, конечно, и собственную терминологию. Но зачем хорошие русские слова заменять плохими (старыми) словами или же без надобности иностранными?

В протоколах судебных заседаний у Вас господствует штамп. Почему? Потому, что Ваши секретари подавляют человеческую индивидуальность каждого, кто говорит на суде, стараясь писать «грамотнее»; по сути же дела, заменяют собой и подсудимого, и истца, и свидетеля, и прокурора, и адвоката. Пример. Свидетель говорит: «Шёл пешком». А Ваш «грамотный» секретарь записывает: «Передвигались без помощи транспорта». Или, что это за выражение: «Привёл себя в нетрезвое состояние». Кто так скажет? Разве один Илья Сохатых из «Угрюм-реки»? Простой человек скажет: «напился», «выпил», «хватил лишнего»... Утюг Ваших секретарей не просто наводит лоск грамотности на судебные документы — он губит жизнь, а ведь в самом законе сказано, что показания в протоколе записываются в первом лице и по возможности дословно.

В прошлом (помнится, в декабре) у Вас бывали случаи направления в областной суд кассационных дел с неподписанными протоколами судебных заседаний. И даже больше: по одному из таких дел, из-за нарушения ст. 80 УПК, был отменён приговор, и дело направлено на новое рассмотрение.

Советую усилить контроль за работой судебных секретарей. Можно рекомендовать установление такого порядка, при котором секретарь докладывал бы Вам об оформлении всякого дела перед отправкой его в областной суд. В этом случае Вы обязаны проверить, подписаны ли и как именно оформлены протокол судебного заседания и мелкая процессуальная документация, объявлено ли осуждённому о дне слушания дела в кассационной коллегии, имеется ли расписка осуждённого и т. д.

Отвечайте. С товарищеским приветом — Елизарьев.

Иван Поликарпович!

Инструктирование по вопросу об отчётах перед населением — не мой «хлеб», это «хлеб» Управления НКЮ, но поскольку Ваш доклад попал в мои руки, отвечаю.

Доклад обстоятельный. В каждой его фразе я чувствую Ваше уважение к избирателям, желание лучше служить им. Самокритично вскрыты недостатки в работе суда. Это хорошо. Вы также заслуживаете похвалы за обстоятельный рассказ о работе народного суда по предупреждению преступности. Хорош первый пример: установившаяся система отпуска товаров с товарного склада (документация) создаёт условия для хищений. Наказывая вора, суд выносит частное определение, требуя изменить порочную систему. Это оказывается превосходной профилактикой: теперь, при новой системе, преступные комбинации невозможны. Прошёл год, и не зарегистрировано ни одного факта хищений.

Вы спрашиваете, следует ли в начале отчёта рассказать в нескольких словах о старом дореволюционном суде и о старых судьях. Да, обязательно. Посоветовать Вам, где взять неистасканный и, желательно, почти документальный пример? С удовольствием. В журнале «Русское богатство» за 1903 год была опубликована повесть Ольнема: «Иван Никифорович». Это — повесть о мировом судье, причём — почти документальная. Он жил по реценту восточного владыки: «Стрягать лучше, чем ходить, сидеть лучше, чем стоять, лежать лучше, чем сидеть, а спать — лучше всего!» И он спал, а главным образом спала его совесть. Он наказывал тех, кого хотели наказать его хозяева, невзирая на то, виновен или не виновен подсудимый. Это — один пример. Но почему бы Вам не разоблачить и современных Иванов Никифоровичей? Они живут в Англии, Франции, Америке, Испании, Турции и т. д.

Эта часть доклада должна быть краткой и, разумеется, выразительной. Главное же — Ваш рассказ о своей работе.

Вы пишете, что Вам хотелось бы нарисовать идеальный образ советского судьи, и что, перерыв всю районную библиотеку, Вы не смогли найти подходящего материала.

Прочтите ещё разок речь Иосифа Виссарионовича в Большом театре 11 декабря 1937 года. Помните: быть такими, как Ленин. Судья должен стремиться быть таким, как Ленин, должен быть деятелем ленинского типа.

Работа судьи требует:

во-первых, твёрдости и выдержанности (беспощадности к врагам народа); во-вторых, мудрой неторопливости, умения взвесить все плюсы и минусы; в-третьих, высокого сознания ответственности за своё дело; в-четвёртых, негибкой партийной принципиальности: только принципиальная политика правильна, — учил Ленин; в-пятых, чувства нового, умения разглядеть новое в старом, расчистить ему дорогу; в-шестых, правдивости, честности, любви к народу, высокой моральной чистоты и т. д.

Словом, прочтите, подумайте.

В своём докладе Вы мало говорите о работе над собой. Почему?

Почему Вы не отчитываетесь в этом? Вашим избирателям не безразлично, как Вы изучаете марксизм-ленинизм, как совершенствуете свои специальные знания. Вам дано право судить и учить других, а всякий учитель должен быть выше своего ученика.

Признайтесь, что до сих пор Вы слабовато изучали текущее законодательство.

У нас говорят иногда, что все законы знать невозможно да и не нужно, что достаточно только развить у себя способность быстро находить в них нужный параграф. Мне кажется, что это не так, что библиографической ловкости для нас с Вами мало, законы надо знать. И может быть некоторые важные нормы невредно знать наизусть, ска-

жем, превосходно знать основные статьи Кодекса о труде или Кодекса о браке, семье и опеке.

Что случилось бы с военачальником, который был бы горазд отыскивать нужные сведения в уставах и наставлениях, но не знал бы ни одного положения на память? Как бы он выглядел на поле боя? Полез бы в свои наставления под огнём?

В последнее время Вы хорошо поработали над изучением законов. Но, признайтесь, что всех рекомендаций не выполнили.

Прошу извинить, я исчеркал Ваш доклад своими пометками. Причина — недосуг. Прочтите их и, если возникнут вопросы, пишите. Второй экземпляр доклада в соответствии с Вашим пожеланием я передал начальнику Управления НКЮ, который обещал позвонить Вам по телефону.

С товарищеским приветом — Елизарьев.

*(Окончание следует)*



# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. МЕЛЬНИКОВ, Л. ЧЕРНАЯ

★

## ГИТЛЕРОВСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ ПОД ЗВЕЗДНО-ПОЛОСАТЫМ ФЛАГОМ

### *Ремагенский мост.*

**К**огда в начале 1945 года союзные армии подошли к Рейну и стали готовиться к форсированию этой самой крупной в Германии водной артерии, внезапно была отдана команда приостановить подготовку. В форсировании не было никакой необходимости, так как основной мост через Рейн — около местечка Ремаген — на был взорван гитлеровцами. В последний момент, когда оставалось лишь зажечь шнур, эсэсовские охранники и сапёры получили приказ отступить, предварительно удалив весь динамит из взрывных камер. Ремагенский мост достался западному «противнику» в полной целостности и сохранности, и по нему свободно покатали американские танки. Вступив на германскую землю, они устремились на восток, не встречая на своём пути сколько-нибудь серьёзного сопротивления. Навстречу американским танкам бросились битые на советско-германском фронте генералы, эсэсовцы и нацистские чиновники — все те палачи и преступники, которые уповали на «милость» и «фрыцарское отношение» своих американско-английских «коллег».

Ремагенский мост был не просто характерным эпизодом войны на Западном фронте, это был один из военных итогов того тайного сговора, который существовал между гитлеровцами и американско-английскими империалистами во время второй мировой войны.

Впрочем, если заглянуть поглубже, не трудно будет заметить, что секретный сговор между германским генералитетом и военными кругами США существовал ещё значительно раньше...

Уже после первой мировой войны, когда Морган, Рокфеллер, Вандербильт щедро помогали своим германским братьям по бизнесу — Круппу, Шахту, Стиннесу, Тиссену, — деятели Пентагона установили тесный контакт с Бенделерштрассе — резиденцией германского генерального штаба.

Давно и широко известно, что пушечные заводы Круппа и авиационные предприятия Мессершмитта не возродились бы так быстро, если бы американские миллионеры не снабдили их своими субсидиями и кредитами. Менее широко известно, что дядя Сэм был заботливым опекуном германского генерального штаба. А между тем, — это непреложный факт, который подтверждается ныне многочисленными «воспоминаниями», «дневниками», «исследованиями», вышедшими за рубежом после второй мировой войны. В то время как коммивояжеры американских монополий более или менее открыто финансировали военную промышленность Германии, — тайные агенты американской разведки помогали возрождению германской офицерской касты и германского генерального штаба — этого разбойничьего гнезда прусских милитаристов.

С негласного одобрения «международной военной комиссии», официальная функция которой состояла в разоружении Германии, происходила лихорадочная ремилитаризация, сбор всех сил германской военщины. 159 французов, 151 англичанин,

23 итальянца, 13 японцев и 48 бельгийцев, входивших в комиссию, спокойно наблюдали картины, красочно описанные майором германского генерального штаба Г. Томе в его книге «Возрождение германской армии». Под самым носом у членов комиссии «...спасалось оружие. Воздвигались двойные стены, устраивались подземные помещения, делались замаскированные входы, под склады оружия использовались вентиляционные шахты, старые административные здания, дома высшего и низшего офицерства, военнослужащих и их испытанных старых друзей. Здания, бывшие собственностью армии, сдавались частным лицам и превращались в склады оружия. Была организована широко разветвлённая разведка... Офицеры рейхсвера вели между собой зашифрованную переписку о складах оружия... Командование военных округов получало деньги для найма штатских помощников. Так создавался «чёрный рейхсвер».

Всем этим управляли, с благословения американских монополий, Пентагон и разведка США. Они сразу же стали исподволь направлять германский милитаризм на войну против европейских народов.

Те самые гитлеровские генералы и офицеры, которые во время второй мировой войны приказали убрать динамит из взрывных камер Ремагенского моста, давно уже служили «связными» между американской и германской военщиной. Из Пентагона они получали замаскированные инструкции готовиться к «походу на Восток», а Пентагону продавали германские оперативные схемы, штабные документы и последние изыскания в области молниеносной и тотальной войны.

Ко времени второй мировой войны связи между германской и американской военщиной стали особенно «крепкими», и гитлеровцы возлагали на них немало надежд, особенно на последнем этапе войны, когда победоносные советские войска поставили Германию перед катастрофой. Тогда гитлеровский генералитет готов был идти уже не на какие-либо «частичные уступки» вроде «зелёных улиц» для американских танков, а стремился открыть весь Западный фронт и заключить сепаратный мир с американско-английскими империалистами. За спиной сражающихся народов, за кулисами «большой политики» представители германского генералитета плели свои преступные интриги, конечной целью которых было создание единого американско-германо-английского «чёрного альянса».

Ещё осенью 1943 года Герделер — «доверенный» весьма влиятельной группы гитлеровских генералов — вошёл в контакт с Черчиллем. Контакт был установлен с помощью шведского банкира Валленберга. По сообщению Валленберга, Черчилль был настроен весьма «снисходительно». Он не возражал против дальнейших переговоров с генералами в том случае, если они «активизируют» свою борьбу на советско-германском фронте.

— Надо все силы армии направить на Восток против большевиков и заключить перемирие на Западе, — сообщил Герделер генералам Беку, Рундштедту, Роммелю, Гальдеру и другим.

Впрочем, этот вывод генералы уже давно сделали сами. Они понимали, что «прошение» у Черчилля и Даллеса, с которым в то время происходили параллельные переговоры в Берне через князя фон Гогенлоэ и двойного американско-немецкого шпиона Гизевюса, можно было заслужить усилением войны против Советского Союза.

Генералы и не думали вести войну на Западе всерьёз. Как только было получено известие о высадке англо-американских войск во Франции — в июне 1944 года — генерал-полковник Бек направил послание фельдмаршалу Рундштедту, гитлеровскому главнокомандующему Западным фронтом. Бек настаивал на том, чтобы немедленно открыть Западный фронт. Рундштедт ответил, что для этого нет необходимости: и так уж Западный фронт настолько ослаблен, что сопротивление вторжению будет чисто показным.

После высадки во Франции расчёты германской военщины на заключение сепаратного мира с американско-английской реакцией приняли совершенно конкретную форму. Официальный историк германского генерального штаба Вальтер Герлиц так описывает установки руководящего деятеля генеральской оппозиции, потомка одного из «праотцев» германского милитаризма Шарнхорста — полковника Штауффенберга:

«Основа будущей внешней политики, по его мнению, состояла в том, чтобы начать переговоры с западными державами, немедленно освободив оккупированные районы на западе и оттянув войска в долину Рейна. При этом он прежде всего надеялся на проницательность и осведомлённость Черчилля. Таким путём можно было бы освободить все пригодные дивизии западной армии, чтобы укрепить Восточный фронт».

На последнем этапе войны план заключения сепаратного мира стал официальной доктриной гитлеровского военного руководства. Генерал СС Шелленберг составил проект воззвания о немедленном прекращении войны на Западе. Через заместителя председателя шведского Красного креста графа Бернадотта Гиммлер обратился к Эйзенхауэру с предложением о перемирии. «Чтобы уберечь наивозможно большие части Германии от русского вторжения, — заявил Гиммлер Бернадотту, — я согласен капитулировать на Западном фронте с тем, чтобы дать возможность войскам западных держав продвигаться насколько только возможно на восток».

Генерал Йодль, один из руководителей ОКВ — верховного командования германских вооружённых сил, решив, что уже поздно дожидаться перемирия на Западе, составил подробный план переброски всего Западного фронта на восток, с тем, чтобы, по его собственным словам, «дать доказательство, что немецкая армия ведёт войну лишь против большевизма».

В генеральном штабе был составлен специальный проект условий «сепаратной капитуляции» и решено было отрядить особую миссию в штаб Эйзенхауэра. Как сообщает Аллен Даллес в своей книге «Подпольная Германия», в состав этой миссии был включён генерал Ханс Шпейдель, бывший начальник штаба Роммеля, старый знакомый и близкий друг американского военного атташе в Германии Турмэна-Смита.

Всем этим планам сепаратного мира не суждено было сбыться только потому, что гитлеровцам не удалось стабилизировать фронт на востоке. Советская Армия безостановочно гнала фашистские войска на запад, не давая им ни минуты передышки. Гитлеровская империя затрещала по всем швам. Фашистское военное и политическое руководство расплозлось по стране. Генералы-штабисты в панике срывали с себя погоны. Гиммлер перебрался в Гамбург в надежде улизнуть на каком-либо пароходе в Южную Америку. Геринг укрылся в ущельях Южных Альп. Только Гитлер с упорством маниака отсиживался в подземелье имперской канцелярии. Под ударами Советской Армии фашистская империя уже фактически рухнула, а вместе с ней рухнули и надежды германских милитаристов на антисоветский сговор в ходе второй мировой войны.

### ***Международный союз разведок.***

Олицетворением тесной связи, издавна существовавшей между германской и американской военщиной, может служить зловещая фигура Вильгельма Канариса. Вильгельм Канарис — гитлеровский адмирал, начальник германской военной разведки — одновременно был крупнейшим американским осведомителем и доверенным лицом руководителей Пентагона. Не удивительно поэтому, что после войны американская пропаганда ухватила за эту фигуру и всеми силами тшится создать вокруг имени Канариса ореол «мученика» (Канарис был казнён в 1944 году после покушения на Гитлера, так как тогда обнаружили его связи с американской разведкой). Пожалуй, ни об одном из немецких генералов и адмиралов не пишут сейчас в США и Западной Германии так много, как о Канарисе.

Вильгельм Канарис, сын греческого адмирала, поступил в 1917 году в германскую морскую разведку. В 20-х годах он вместе с другими кадровыми германскими военными участвовал в создании «чёрного рейхсвера». После прихода Гитлера к власти Канарис стал одним из доверенных лиц «фюрера», руководивших ремилитаризацией Германии. В 1939 году Канарис становится начальником так называемого «Абвера» — германской военной разведки. «Абвер» был важным орудием фашистской агрессии. Помимо обычных функций разведки он организовывал «пятые колонны» в странах Западной Европы, готовил почву для поражения будущих военных противников Германии. «Просачивайся, разлагай, деморализуй» — было девизом Канариса.



Перед началом войны Канарис представил Гитлеру секретные планы французской обороны и фотосъёмки всех французских аэродромов. Благодаря Канарису германский генералитет знал во время войны каждый шаг французского главнокомандующего Гамелена. Кроме того, «Абвер» держал в своих руках таких продажных западно-европейских политиков как Лаваль, Зейсс-Инкварт, Квислинг... Ещё до начала гитлеровской агрессии Канарис организовал специальную школу, куда отбирались самые жестокие и безжалостные эсэсовцы. В его школе готовились будущие гаулейтеры, палачи и организаторы фашистского «нового порядка». «Лучшими» учениками Канариса были Гейдрих, Штюльпнагель, Фалькенхаузен и другие душители европейских народов.

Немалую роль сыграл Канарис и в непосредственном развязывании второй мировой войны. Фашистская провокация, послужившая формальным поводом для объявления войны Польше, была проведена Гейдрихом по плану Канариса. Молодчики Канариса, предводительствуемые Гейдрихом, переоделись в польскую форму, организовали «захват» германской радиостанции в Глейвице. В ответ на это Гитлер отдал приказ войскам о переходе польской границы. Не удивительно, что в 1939—40 годах Канарис стал «героем» коричневого рейха.

Но одновременно он был «героем» и американской разведки, с которой поддерживал самые тесные связи. Эти связи были раскрыты в ряде послевоенных выступлений зарубежных газет и журналов — австрийского еженедельного «Ди вельтхокс», американского «Ньюс уик» и др. Контакт между Канарисом и американской разведкой осуществлялся через военного атташе США в Берлине Турмэна-Смита. Правда, Турмэн-Смит никогда не встречался с Канарисом в служебном кабинете. Канарис лишь изредка звонил ему по телефону, да иногда люди, близкие ему, заходили в небольшое кафе неподалёку от американского посольства. Но именно благодаря этим лаконичным телефонным разговорам и беглым встречам американский посол в Германии смог сообщить своему правительству день и час начала второй мировой войны, точный, минута в минуту, срок внезапного нападения на Крит и многое другое. За неделю до вторжения фашистских войск в Польшу американскому послу были вручены три страницы машинописного текста — протокольная запись речи Гитлера на заседании высшего генералитета от 23 августа 1939 года, где излагался план нападения на Польшу. За несколько дней перед нападением Германии на Бельгию американские агенты в Берлине получили подробный план этой операции. В мае 1940 года американцам через приближённого Канариса, генерала Остера, стало известно, что Германия готовит вторжение в Голландию.

Особенно тесной стала связь между американским посольством и Канарисом в начале 1941 года, когда фашисты готовились напасть на Советский Союз. Американские друзья Канариса внушали ему в то время, что он, мол, не простой осведомитель — его роль значительно большая: Канарис должен торопить гитлеровское командование и самого «фюрера» начать войну против СССР. При встречах с Гитлером «сладкоречивый» Канарис был в то время сладкоречивее, чем когда бы то ни было. Он всячески разжигал агрессивные страсти «фюрера», который и без того уж торопился с подготовкой вероломного нападения на СССР. Тот самый Канарис, который в начале войны на Западе заявил, что он «полон мрачных опасений», с жаром уверял в июне 1941 года, что восточный поход — «пустяк», что он закончится не позже, чем через полтора месяца. За этот «оптимизм» щедрый Турмэн-Смит, вернувшийся к тому времени в США, перевёл Канарису сумму, на которую тот смог купить роскошный особняк в Целлендорфе — самой аристократической части Берлина...

В 1944 году Канарис завёл большие, похожие на гроссбухи, тетради в клеёнчатых переплётках. Эти тетради он всегда держал при себе. По сведениям Канариса, американцы и англичане должны были вскоре вступить на германскую землю, и он не хотел встретить их с пустыми руками. В клеёнчатых гроссбухах Вильгельм Канарис со скрупулёзной точностью описал услуги, которые он оказывал весьма высокопоставленным лицам в США — лицам, которые были так же вхожи в Белый дом, как сам Канарис был вхож в «коричневый дом» Гитлера. Тетради Канариса, если верить показаниям гестаповского полковника Хуипенкотена, выслушенного не так давно амери-

канцами из тюрьмы, были сожжены гестапо «согласно приказу вышних инстанций». Сожжена также единственная фотокопия этих дневников. Тем не менее деятельность Канариса как крупнейшего агента американской разведки в Германии в общих чертах стала известна...

Облик этого наёмника, этого милитариста-космополита, не брезгавшего тайными связями с любой иностранной разведкой, принимавшего одновременно и гитлеровские почести, и американские доллары, — глубоко символически. В нём рельефнее всего проявились наиболее характерные для германского генералитета черты: продажность и кровожадность. Недаром западногерманская и американская реакционная пропаганда усердно раздувают сейчас легенду о Канарисе. Именно поэтому мёртвый Канарис ставится в пример всем здравствующим ныне германским генералам, перешедшим на службу к американским империалистам.

### *Тюремный фарс.*

В первые дни после капитуляции Германии, когда советские бойцы уничтожали последние очаги фашистского сопротивления, предприимчивые английские и американские журналисты ползали на коленях по саду, прилегавшему к гитлеровской канцелярии. Обшарив всё вдоль и поперёк, они взялись за заступ. Как выяснилось впоследствии из мемуаров одного из них, они искали в саду «рейхсканцелей» не клад, а фашистские «реликвины» — пуговицы от мундира Бормана, пребешок Евы Браун, берцовую кость Адольфа Гитлера. Впрочем сувенирная лихорадка охватила в те дни не только рьяных репортёров. Пока они коллекционировали фашистские пуговицы, письма Иодля, мундиры Геринга и прочую дребедень, американско-английские магнаты прибрали к своим рукам германские концерны, гитлеровский административный аппарат, генеральный штаб, полицию.

Под особым покровительством американской реакции оказался гитлеровский генштаб. Американско-английские судьи в Нюрнберге во время процесса главных немецких военных преступников горой встали на защиту этого центра фашистской военщины, когда советский представитель внёс предложение зачислить генштаб в разряд преступных организаций. Должно и томительно — вопреки логике и фактам — они начали доказывать, что гитлеровский генеральный штаб якобы «распался», что к концу войны он вообще, мол, перестал существовать и что, следовательно, судить-то некого. Мировая печать высмеяла эти утверждения, но американские судьи продолжали твердить своё. Чтобы обмануть общественное мнение, они предложили судить генералов в отдельности и даже составили список генералов преступников, заведомо зная, что ни о каком действительном суде над ними они и не помышляют. Только советский судья в особом мнении, опубликованном в связи с приговором Международного Военного Трибунала, выразил единодушное мнение мировой общественности, заявив, что немецкий генеральный штаб, наряду с гитлеровским правительством, гестапо, СС и другими фашистскими организациями, несёт полную ответственность за подготовку и развязывание второй мировой войны и за все кровавые преступления немецкого империализма.

Позиция американско-английских судей на Нюрнбергском процессе не была случайностью: они выполняли задание правящих кругов США и Пентагона — во что бы то ни стало сохранить германскую генеральскую касту. Ведь уже сразу после окончания войны американско-английские военные власти прежде всего позаботились о том, чтобы весь фашистский генералитет оказался у них под рукой. Потом генералов рассортировали. Сравнительно «тихих» сразу пристроили к делу. Особо прославившихся своими «подвигами» упрятали подальше.

В разряд «тихих» попал, например, фельдмаршал Шперрле, командовавший разбойничьим легионом «Кюндор» в Испании, а затем третьим воздушным флотом на французском побережье, ярый нацист, хваставший тем, что он уничтожил Гернику и организовал бомбардировки Лондона. «Тихого» Шперрле, по сообщению лондонского радио, сразу же запрятали в маленький баварский городок, мотивируя это тем, что Шперрле, мол, «избрал скромную жизнь штатского». Точно так же поступили американско-английские военные власти и с тысячами других гитлеровских генералов.

Прибежищем крупнейших гитлеровских военных преступников стал так называемый «Комитет военных историков», куда в первую очередь пристроили бывших начальников германского генерального штаба Гальдера и Гудериана. По сути дела этот «комитет» представлял собой костяк будущего западногерманского генерального штаба. Но так как поступили с Гальдером и Гудерианом, разумеется, нельзя было обойтись со всеми. Гитлеровского главнокомандующего Рундштедта спрятать трудно, слишком уж он приметен. И фон Манштейн, всем известный палач, также требует надёжного убежища. Штабист Гальдер никогда не лез так вперёд, как Браухич. Значит, и Браухича, в отличие от Гальдера, надо припрятать получше. Кессельринг бесчинствовал не только на востоке, но и на западе. Выходит, что и Кессельринга надо держать подальше.

Однако и для особо буйных фашистских милитаристов нашлось в Западной Германии безопасное убежище. Этим убежищем оказались... тюрьмы. Американцы, как известно, не без оснований хвастают своими «достижениями» в области застеночной техники. Но для германских генералов они создали новый тип тюрьмы — тюрьму-санаторий. В американской тюрьме военных преступников содержат в комфортабельных камерах, ласкают, обнадёживают, отпускают в гости к родственникам и «за хорошее поведение» освобождают.

Гитлеровские фельдмаршалы, оказавшиеся в 1945 году в тюрьмах-санаториях, ведут свои дневники. Со временем человечество получит возможность узнать подробности их времяпрепровождения, меню и интимных переживаний в «местах заключения». Пока же приходится удовлетвориться лишь краткими сведениями иностранной прессы. Но и они тоже представляют известный интерес.

«Гитлеровские фельдмаршалы Рундштедт, Манштейн и Штраус в ожидании суда живут в предместье Гамбурга, в комфортабельном доме вместе со своими жёнами. Им готовят пищу немецкие повара. Все могут наносить визиты генералам. Офицер английского штаба раз в две недели посещает заключённых, чтобы узнать, нет ли у них каких-либо особых пожеланий» (корреспондент агентства Рейтер из Гамбурга).

«Генералы фон Маккезен и Симон проводят время в тюрьме Верль, работая в саду, или пишут свои воспоминания» (агентство ДПА).

«Фельдмаршала Кессельринга посетил в тюрьме Верль английский губернатор земли Северный Рейн — Вестфалия генерал Бишоп. Генерал был захвачен в плен Кессельрингом во время итальянской кампании. Бишоп заверил Кессельринга, что он может получить всё, что пожелает» (агентство Телепресс).

«Генерал Браухич не выносит шума, поэтому сторожа поверх сапог носят особые туфли на мягкой подошве. Лампы в помещениях Браухича снабжены колпачками, чтобы не слепить глаза фельдмаршалу» («Ивнинг пост»).

«За хорошее поведение из Ландсбергской тюрьмы в Баварии досрочно освобождён генерал Карл Холлидт» (лондонское радио).

«Гестаповский генерал Вильгельм Шпейдель, находясь в тюрьме, принимал активное участие в разработке мероприятий, непосредственно касающихся создания нового вермахта» (австрийская газета «Дер Абенд»).

«Гитлеровский фельдмаршал Эрхард Мильх отправился в отпуск к своей матери в Люнебург» (агентство Телепресс).

Но «тюремное заключение» фашистских генералов было лишь первым и притом самым непродолжительным этапом свершения американско-английского «правосудия». Вслед за этим начался период их освобождения по стандартной формуле: «за хорошее поведение» и «из-за плохого состояния здоровья» и, наконец, последовало восстановление «честного имени» и «доброй репутации» военных преступников.

### *Новоявленная Жанна д'Арк.*

21 января 1949 года вся буржуазная английская печать торжественно сообщила, что не далее как в марте того же года военные преступники Рундштедт, Штраус и Манштейн предстанут перед гамбургским судом.

Через четыре с половиной месяца после этого официального сообщения генерал-полковник Штраус и фельдмаршал Рундштедт, коротавшие время в гамбургском госпитале, решили перед сном послушать лёгкую музыку. По чистой случайности Штраус включил приёмник в тот момент, когда из Лондонской радиостудии передавали «новости». Поэтому генералы услышали, как чёткий дикторский голос произнёс: «По сообщению военного министерства, Карл Рудольф Герд фон Рундштедт и Адольф фон Штраус будут освобождены из заключения по состоянию здоровья...» Генерал Штраус всплеснул руками и забормотал, что он «чрезвычайно счастлив». Фельдмаршал Рундштедт посмотрел на часы и сообщил, что ему пора спать. «Фон Рундштедт, — разъяснило на другой день агентство Рейтер, — не проявил признаков волнения, когда услышал упомянутое выше сообщение и не сделал по этому поводу никакого специального заявления».

Так было закончено «дело» Штрауса и Рундштедта — двух крупнейших военных преступников гитлеровского рейха.

Сложнее обстояло с третьим обвиняемым — Манштейном. Сложнее потому, что из генеральского трио убийц Манштейн был самым отвратительным каннибалом. Он истребил много тысяч людей в Европе, грабил польские города и сёла, издевался над польским народом, расстреливал заложников, разрушил Киев, давал инструкции о массовом истязании советских граждан и военнопленных и истреблял безвинных людей всюду, куда ступали его войска...

Но Эрих фон Манштейн не упал в обморок, узнав, что его будет судить гамбургский трибунал. Как и Рундштедт, он отлично знал, что его «дело» находится в надёжных руках. Он рассчитывал, что «кара» английского суда не будет слишком тяжкой. Однако действительность превзошла все ожидания. В самом деле, превратить преступного фашистского генерала в «мученика» и «героя» — это могло ошеломить даже самого Манштейна. Оказалось, что истинным любимчиком и героем американо-английских милитаристов является именно престарелый палач Манштейн. Даже деревянный Рундштедт всполошился, почувствовав это. После того, как английский адвокат Манштейна лейборист Пейджет сравнил своего подзащитного с Жанной д'Арк, Рундштедт сам запросился на скамью подсудимых. Собрав репортёров, он с обидой сообщил им, что вовсе не Манштейн, а он, Герд фон Рундштедт, бывший начальник Манштейна, организовывал все преступления германской армии в Польше. Несмотря на это «слава» всё же досталась Манштейну.

Почему же в центре внимания оказался Манштейн?

Эрих фон Манштейн (точнее говоря, Эрих Левинский — это его настоящая фамилия, так как он был только приёмным сыном своего богатого дальнего родственника фон Манштейна) начал делать «нормальную» карьеру в германском вермахте с помощью денег и связей своего приёмного отца. На первых порах карьера эта отнюдь не была блестящей. Никакими талантами Манштейн не отличался. Рядом с ним его сокурсник по военной академии Бок выглядел просто гением. Даже при Гитлере Манштейну вначале не повезло. Фаворитом «фюрера» стал Йодль, который в отличие от тугоухого Манштейна обладал тончайшим слухом: спрятавшись под диван или под стол в генеральном штабе, Йодль подслушивал разговоры своих начальников и передавал их Гитлеру. Манштейн был в то время на вторых ролях.

По-настоящему он развернулся только в 1939 году. В это время германский генералитет вплотную познакомился с блиц-стратегией своего «фюрера» и... усумнился в ней. Что касается Манштейна, то у него гитлеровская стратегия не только не вызвала никаких опасений, но, наоборот, нашла в его лице самого пылкого приверженца, и Гитлер оценил это.

В стратегии Манштейн был таким же необузданным и безответственным авантюристом, таким же любителем блефа, как Гитлер в политике. К тому же у него была и своя «теория», которая вполне отвечала вкусам Гитлера. Согласно этой теории, успех войны зависит, главным образом, не от регулярных войск, а от отрядов специально обученных головорезов, готовых на всё. После польской кампании стало ясно, что по жестокости и варварству Манштейн не уступает самому «фюреру».

Поэтому в период войны гитлеровцев на Западе Манштейн стал «первым полководцем» рейха.

Но на советско-германском фронте Эриху фон Манштейну с его доктринами молниеносной войны, тотального уничтожения народов и эсэсовского приоритета пришлось худо. Он провалился на Южном фронте и под Ленинградом. Он обанкротился под Сталинградом, когда тупо и бесцельно рвался со своей группой «Дон» «на выручку» 6-й армии Паулюса. Наконец Манштейн потерпел крах на Орловско-Курской дуге, где он попытался начать летнее наступление в 1943 году.

Но в то время как других незадачливых командующих Гитлер безжалостно снимал, Манштейна он лишь перебрасывал для «укрепления позиций». Манштейн не забывал его благодарений. В 1944 году, когда многие генералы решили убрать надоевшего им ефрейтора, они побоялись сообщить о своих планах Манштейну. Тугоухий Манштейн умел доносить не хуже длинноухого Иудия. Тем более, что Манштейн в интимной обстановке играл Гитлеру фуги Баха и мог незаметно шепнуть «фюреру» пару слов о заговоре.

Благодаря этим обстоятельствам послужной список фон Манштейна остался незапятнанным. Именно эта фашистская «чистота» Манштейна и тот факт, что он являлся «вторым я» Гитлера особенно пришлись по вкусу американско-английским милитаристам. К тому же, Манштейн откровеннее других германских генералов высказывал свои реваншистские, антисоветские планы. О Манштейне стали открыто поговаривать как о будущем главнокомандующем будущей западногерманской армии.

Но прежде чем одеть этого палача в мундир главнокомандующего, решено было хотя бы слегка очистить его от грязи и крови. Кроме того, в лице Манштейна предполагалось обелить весь разбойничий гитлеровский генералитет. Именно поэтому вокруг процесса Манштейна реакция подняла шумиху. Сам Уинстон Черчилль готов был выступить в поход. Он даже внёс 25 фунтов стерлингов в фонд защиты Манштейна. Его поддержали два пэра, бывший министр без портфеля лорд Хэммон, газеты «Таймс» и «Дейли телеграф», всё реакционное английское и германское офицерье.

Интерес к процессу Манштейна подогревался реакционной прессой. Специально нанятые и втридорога оплаченные два немецких и три лондонских адвоката были заранее проинструктированы о том, что нечего жалеть ни красок, ни слов для обеления своего подзащитного.

Но расчёты организаторов процесса не оправдались. «Сенсационный» процесс Манштейна раскрыл перед общественным мнением не только преступления гитлеровского фельдмаршала, но и грязные планы его друзей в Лондоне и Вашингтоне. Как ни тшились американские и английские покровители оправдать фашистского фельдмаршала-убийцу, они не могли пренебречь тем, что происходило в то время за стенами судебного зала в Гамбурге. Манёвры высокопоставленных защитников Манштейна в Вашингтоне и Лондоне вызвали взрыв возмущения у всех честных людей мира. Скрепя сердце английские судьи вынуждены были приговорить Манштейна к 18 годам тюрьмы.

Однако, когда шум утих, командующий английской Рейнской армией генерал Кейтли уменьшил срок наказания Манштейну до 12 лет, а потом этот срок был сокращён ещё вдвое. Таким образом уже в этом году Манштейн может оказаться на свободе. Этот провалившийся стратег блиц-войны, авантюрист и палач народов нужен новым претендентам на мировое господство. Они хотят, чтобы он ещё сыграл свою гнусную роль в штабе генерала Эйзенхауэра.

### **„Чёрный альянс“ агрессоров.**

В конце января 1950 года корреспондент одной шведской газеты сообщил из Лондона: «Черчилль устанавливает контакт Америки с бывшими генералами германской армии». Газета даже назвала генералов, с которыми Черчилль установил непосредственную связь: Мантейфель, Шпейдель, Кайзер, Шверин, адмирал Ганзен. Общественности стала известна и фамилия связного. Это — капитан Лиддль-Гарт, давний поклонник прусской военщины и личный друг многих видных немецких генералов.

Вспомним закулисные события второй мировой войны... На последнем её этапе взоры германского генералитета обратились, как известно, прежде всего к Черчиллю. Именно с ним осенью 1943 года происходили переговоры об отмене формулы «безоговорочной капитуляции». Именно на его «проницательность и осведомлённость» уповали фашистские генералы, когда строили свои планы сговора с американско-английской реакцией.

Генералы не ошиблись в Черчилле: с первого же дня мира он начал собирать в разгромленной Германии всё реакционное отребье, которое могло пригодиться для подготовки новой войны. Он делал ставку на то, что эта новая война сможет влить в жилы дряхлеющего британского льва новые силы. 25 фунтов стерлингов, внесённые Черчиллем в фонд защиты Манштейна, обернулись тысячами и миллионами долларов и фунтов стерлингов, которые были отпущены американско-английской реакцией на спасение, реабилитацию и восстановление сил фашистской военщины.

Но шведский журналист был прав, когда назвал Черчилля лишь посредником. Союз Черчилля с фашистскими генералами должен был расчистить путь для гораздо более важной сделки — между американскими и немецкими организаторами новой агрессии.

В истории германской военщины нельзя не отметить одну весьма парадоксальную черту: прусско-немецких генералов всегда били на полях сражений, но после самых тяжёлых поражений эти генералы как ни в чём не бывало вылезали вновь со своими военными теориями и становились учителями новых агрессоров во всех частях света.

Так было после первой мировой войны, когда битые генералы Сект, Фалькенхайн, фон Метч и многие другие расползлись по свету и начали учить уму-разуму вояк Чан Кай-ши, Реза-шаха, иракских и прочих марионеточных правителей, а также французских, английских и американских генштабистов. То же произошло и после второй мировой войны. Потерпевшие крах фашистские стратеги и военачальники были провозглашены американскими милитаристами носителями высшей военной и политической мудрости. Генералы Гальдер и Гудериан начали учить уму-разуму «чистокровных янки», собранных для прохождения курса военной науки в Аллендорфе. С разинутыми ртами слушали новоспечённые офицеры, бывшие гангстеры, продавцы подтяжек и жевательной резинки, сынки американских мультимиллионеров с чикагских боен и алабамских пушечных заводов поучения битых немецких генералов.

Американская военщина купила оптом весь германский генералитет и сразу же приняла его к себе на службу.

Но прежде чем выпустить этих генералов на политическую арену, прежде чем дать им разрешение начать действовать, всё же понадобилось почти пять лет. Хотя война — эта временная, да к тому ещё и выгодная для обеих сторон ссора — не оказала никакого влияния на добрые отношения между Дюпоном и Шницлером, Морганом и Шахтом, Эйзенхауэром и Рундштедтом, но она взбудоражила простых людей, которые всё более решительно встают на защиту мира.

В начале 1950 года руководящие деятели Пентагона решили, что настало время, когда немецким генералам можно дать ответственные поручения. Пентагон дал сигнал «не стесняться» и приступить к созданию единой организации немецкого офицерства во главе с генералами. Восстановление прусского офицерского корпуса мыслилось, как необходимая предпосылка для воссоздания фашистского вермахта. Честь инициатора в воссоздании единой организации фашистского офицерства выпала на долю Рундштедта. И это не случайно. Рундштедт — старейший из оставшихся в живых гитлеровских фельдмаршалов. Он ученик Гинденбурга и Секта, живой хранитель разбойничьих традиций прусской военщины.

28 января 1950 года Рундштедт созвал в Штуттгарте секретное совещание двадцати бывших офицеров генерального штаба и сообщил им радостную весть: офицерская каста будет восстановлена! По словам корреспондента американской газеты «Дейли компас», он заявил участникам совещания, что американцы намерены возро-

доть немецкую армию в самом ближайшем будущем. Присутствовавший на совещании гитлеровский генерал фон Донат, которого в связи с его участием в совещании обвинили в «подпольной милитаристской деятельности», опубликовал через официальное западногерманское агентство ДПА заявление, полное возмущения и негодования. Помилуйте, какое же это подпольное совещание! Прошли те времена, когда прусским офицерам приходилось красться, подобно ворам, на тайные сборища. Штуттгартская встреча «бывших кадровых офицеров» положила этому конец!

На совещании в Штуттгарте было принято решение объединить всех офицеров и генералов в широкую офицерскую организацию «Брудершафт». 11—12 февраля 1950 года состоялась конференция этой организации в Ганновере. Был избран совет, куда вошли все крупные гитлеровские генералы. Секретарь совета полковник фон Бек-Бронхзиттер заявил, что организация ставит своей целью «объединить всех оставшихся после двух мировых войн влиятельных личностей». Был также создан центральный орган объединения — еженедельный журнал «Дер Фортшритт».

Хотя открытую деятельность немецких милитаристов уже нет необходимости скрывать перед «власть имущими» в Западной Германии, зато её приходится ещё самым тщательным образом маскировать перед мировым общественным мнением и германским населением, жаждущим мира. Офицерская организация «Брудершафт» существует, действует, издаёт распоряжения, циркулярные письма и приказы. Но официально приказано делать вид, что ничего об этом неизвестно.

— «Брудершафт»? — переспрашивает Макклой на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне. — Да, что-то в этом роде слышал. Но официальных сообщений не имею. Обратитесь к источникам, откуда вы получили вашу информацию.

Но вернувшись в свою виллу в Бад-Хомбурге, Макклой издаёт очередное распоряжение: поручить организации «Брудершафт» составление карточек на всех бывших военнослужащих германской армии и разработку программы организации нового вермахта. Именно такое распоряжение было издано 10 июля 1950 года, когда после переговоров между Макклоем, английским представителем Райнером и французским — Франсуа Понсе было решено воссоздать кадровую армию в Западной Германии.

Характерно, что накануне этого решения Бонн посетил особоуполномоченный Черчилля Лиддль-Гарт. Лиддль-Гарт выступил на пресс-конференции с заявлением, что сейчас настало время «создать эластичную боевую группу в составе двадцати дивизий». «Европейская армия, — воскликнул Лиддль-Гарт, — на одну треть должна состоять из немцев!»

Пять лет американские и английские империалисты кормили и поили немецких генералов, заботливо залечивали все шишки и ссадины, нанесённые им во время второй мировой войны. Теперь, подгоняемые своими покровителями, фашистские генералы выползают на широкую арену политических интриг и открытой подготовки новых агрессивных походов.

Прежде всего генералам было поручено поставить, так сказать, «заявочный столб» — наметить размер своих первоначальных требований. После ряда совещаний группа генералов направила боннскому «правительству» меморандум за подписью Мантейфеля. Отдел печати боннского правительства скромно назвал этот меморандум «вкладом в дискуссии о формировании лёгких немецких воинских соединений со стороны военных специалистов».

Но Мантейфель и К° сразу же решительно отвергли идею «лёгких» немецких соединений. «Надо создать оборону, способную продержаться хотя бы полгода», — настаивал Мантейфель. Термин «продержаться», разумеется, не надо понимать буквально, так же, как, впрочем, и термин «оборона». Речь шла о том, чтобы создать силу, которая могла бы быть использована как своего рода первоначальный таран для развязывания американской агрессии. Для этого следовало, по словам Мантейфеля, создать «отборные немецкие бронетанковые части с приданными стрелковыми соединениями в количестве 30 дивизий».

Немецкие генералы весьма быстро усвоили американскую «оборонительную» терминологию, которой пропагандисты Уолл-стрита и Пентагона пытаются прикрыть под-

готовку США к агрессии. Впрочем, для этого им и не требовалось особого труда, потому что вся эта пропаганда строится на двух лживых тезисах, взятых прямо из геббельсовского пропагандистского арсенала: первый — о так называемой «русской опасности» для западных стран; второй — о необходимости «обороняться» против этой несуществующей опасности. На этих же двух тезисах построена и вся пропаганда Аденауэра и Шумахера. Ею они хотят прикрыть возрождение германского империализма в западных зонах, сколачивание крупной агрессивной западногерманской армии и всю ту зловещую деятельность бывших гитлеровских солдафонов, которая прямо направлена на подготовку и развязывание американской агрессии в Европе.

Западногерманская газета «Миттельбайрише цейтунг» в августе 1950 года весьма лаконично подытожила «организационные планы» немецких генералов, вручённые Аденауэру, а через него свояку Аденауэра — американскому верховному комиссару Макклою: структура — немецкие военные соединения в составе европейской армии. Сила — не менее 23—30 дивизий, большей частью танковых. В дополнение к ним соответствующее количество авиаэскадрилий. Командные кадры — немецкие командиры вплоть до командиров дивизий включительно. Оперативная задача — действия в пространстве между Рейном и Эльбой. Никаких оборонительных линий. Манёвренная война на широких просторах.

Итак, немецкие генштабисты заработали. «Хорошая война» требует многочисленных карт, схем. А в этом деле немецкие генералы, можно сказать, собаку съели. Подготовка гитлеровской агрессии против Австрии, Чехословакии, Польши, Франции началась с таких же генштабистских схем. На них длинными чёрными стрелками изображён путь немецких танковых колонн. И над каждой из этих стрелок был поставлен срок: Берлин — Вена — 1 день, Берлин — Прага — 3 дня, Берлин — Варшава — 17 дней, Берлин — Париж — 21 день...

Одно из их современных произведений такого рода было опубликовано в американском журнале «Ньюс уик» 10 апреля 1950 года. «Немецкие генералы, — пояснял журнал напечатанную на его страницах оперативную схему, — выработали план успешного наступления. Немецкий план в принципе соответствует взглядам экспертов западных держав».

На карте, опубликованной в «Ньюс уик», изображена Восточная Европа. Чёрные стрелки тянутся от зональной границы между Западной Германией и Германской Демократической республикой до Берлина, Щецина (Штеттина) и Варшавы. На первой из них написано: «Икс плюс 1», на второй «Икс плюс 2», на третьей «Икс плюс 3». Это значит, что Берлин, Щецин и Варшава должны быть достигнуты соответственно в 1, 2 и 3 дня. «По мнению экспертов, — говорится в пояснительном тексте, — необходимо выставить танковую армию в размере 30 наилучше оснащённых и обученных танковых дивизий... В день «икс» (фашистские генералы сохранили полностью гитлеровскую терминологию: в приказах Гитлера «днём икс» назывался день начала агрессии. — М. и Ч.) эта армия ринется вперёд, поддержанная мощным воздушным флотом для того, чтобы достигнуть намеченных целей: Берлина, Штеттина и Варшавы».

Немецкие генералы почувствовали себя в своей родной стихии, выполняя заказы Пентагона. Некоторое неудобство им доставляло на первых порах их неофициальное положение. Но это скоро кончилось. После сепаратного нью-йоркского совещания Ачесона, Бевина и Шумана в сентябре 1950 года, на котором был официально провозглашён курс на создание немецкого вермахта, дела гитлеровских генералов пошли совсем «на лад». В сентябре Аденауэр вызвал к себе ряд генералов и провёл с ними длительные совещания. Участниками этих совещаний были генералы Мантейфель, фон Шверин, Шпейдель.

Генералы начали получать официальные посты — фон Шверин был назначен советником Аденауэра, генерал фон Донат стал председателем «Союза бывших немецких офицеров», а адмирал Ганзен председателем «Союза бывших военнослужащих немецкой армии». Генерал Грассер получил пост начальника западногерманской «полиции готовности», созданной сразу после нью-йоркского сепаратного совеща-



ния. Штаб американской армии в Гейдельберге направил также на официальную работу фашистских генералов Мальмана, фон Верста, Мацкога и др. Наконец было объявлено о назначении экспертов боннского «правительства» для ведения переговоров с военными представителями «западных держав». Экспертами стали генералы Шпейдель и Хойзингер.

В январе 1951 года начались переговоры в Петерсберге. Немецкие, американские, английские и французские генералы встретились за одним столом. «Чёрный альянс» агрессоров — союз американской и немецкой военщины — был провозглашён официально.

### ***В поисках пушечного мяса.***

Подготовителям новой войны недостаточно разработать стратегические планы. Им требуется, чтобы за чёрными стрелками на генштабистских картах стояли миллионы людей, одетых в шинели. Было бы неправильно полагать, что бывшие генералы Гитлера и нынешние генералы Эйзенхауэра в Западной Германии только сидят в кабинетах и спрочат планы, меморандумы и докладные записки. Современная деятельность немецких генералов куда более разнообразна. Эйзенхауэру нужны генералы-штабисты и генералы-администраторы, генералы-интенданты и генералы-связисты, генералы-преподаватели и генералы-артиллеристы, генералы-обозники и генералы-командующие. Ему нужны генералы всех мастей и рангов и прежде всего генералы-организаторы, умеющие осуществить мобилизацию и обучение нового вермахта.

Деятельность германских генералов направлена ныне прежде всего на выполнение именно этих задач. Для этого им были предоставлены соответствующие посты и соответствующий штат.

В конце 1950 года корреспондент газеты «Гамбургер Абендблатт» перехватил письмо, направленное бывшим гитлеровским генералом Мальманом своему другу в Гамбурге. В левом углу листа, на котором было написано это письмо, изображён чёрный германский орёл, и над ним большими буквами напечатано: «Генерал-лейтенант Пауль Мальман». Короче говоря, письмо Мальмана написано на официальном бланке, а это означает, что генерал-лейтенант Пауль Мальман занимает весьма ответственный пост. «Вас, наверное, заинтересует,— пишет Мальман своему другу,— что с 1 октября 1950 года я принял на себя руководство организационным штабом, который должен формировать немецкие соединения для европейских вооружённых сил. Моё официальное местопребывание — Вюрцбург, но жить я пока что буду в Киссенгене. Целый месяц я отказывался принять этот пост... Но после настойчивых предложений я согласился...»

Разоблачение гамбургской газеты вызвало переполох в Бонне. В конце концов боннские власти были вынуждены признать, что вюрцбургский штаб действительно существует.

О деятельности этого штаба даёт представление выдержка из другого письма, опубликованного газетой «Нюрнбергер нахрихтен». Письмо было адресовано одному из бывших офицеров дивизии «Виндхунд», которой командовал в своё время генерал Шверин. Оно было подписано неким Эберхардом Риссе, занимающим официальный пост в вюрцбургском штабе. «Дальнейший ход событий. — писал Риссе, — будет примерно следующий: пребывание в резерве командования примерно 4 недели, потом включение в соответствующие запланированные соединения... Начальная зарплата 300 марок плюс компенсация за разлуку с семьёй, окончательная зарплата — после включения в запланированные соединения... Расквартирование и прочее обеспечено. Об аннулировании контракта с Вашим нынешним работодателем можете не беспокоиться». И в качестве приписки в конце письма значилось: «Это письмо должно рассматриваться, как секретное командное дело» («Geheime kommandosache»). Именно этим термином гитлеровцы обозначали свои тайные мобилизационные приказы.

Тогда же, когда генерал Мальман получил официальный пост в вюрцбургском организационном штабе, генерал Геккер занялся составлением картотеки всех быв-

щих кадровых служащих германской армии, находящихся в Западной Германии. Поручение было ему дано организацией «Брудершафт», а финансирование этого «государственно важного мероприятия» осуществлял кёльнский миллионер, бывший финансовый советник Гитлера — Фердменгес.

Немецкие милитаристы и фашисты — большие мастера по части составления картотек. У Вальтера Дарре — бывшего гитлеровского министра сельского хозяйства и одного из основоположников фашистской расовой «теории» — существовала лучшая в мире картотека всех длинноголовых жителей Германии. Генрих Гиммлер славился своей картотекой самых чистокровных арийцев, которые, начиная с 1701 года (выбор этого года имел глубоко мистическое значение), не имели в своём родовом списке ни одного неарийского предка. Известна картотека Альфреда Розенберга, куда было занесено три миллиона евреев, подлежащих уничтожению. Наконец, непревзойдённым «шедевром» явилась картотека гестапо на 50 миллионов немецких граждан.

По этим образцам Геккер начал составление своей картотеки. И не удивительно, что уже в скором времени были собраны исчерпывающие данные о трёхстах тысячах бывших солдат и офицеров германской армии. Это стало возможным в частности и потому, что западногерманские биржи труда по приказу боннских властей начали регистрацию военнообязанных. В начале 1951 года на зданиях четырёх крупнейших бирж труда Гамбурга — на Килерштрассе, Шлюмп, Ведель и Штеккельхерн — появились крупные надписи: «Военно-призывной пункт». Эти надписи, вызвавшие большое волнение среди населения Гамбурга, вскоре были удалены. Но истинные функции «бирж труда» стали ясны большей части западногерманского населения. Тайная работа генерала Геккера и его аппарата стала явной. Под вывеской «бирж труда» работали военно-призывные пункты в других городах.

В октябре 1950 года газета «Касселер цейтунг» сообщила: «Правительство земли Северный Рейн — Вестфалия с согласия союзных властей издало распоряжение приступить к разбору архива бывших военных призывных пунктов. Военные билеты, анкеты и справки о состоянии здоровья сортируются в алфавитном порядке. Регистрация началась!». В это же время правительство Нижней Саксонии распорядилось, чтобы все бывшие кадровые офицеры, служащие и солдаты вооружённых сил, нацистской организации трудовой повинности и других военизированных нацистских организаций, включая отряды СС, зарегистрировались в целях возможной «реактивизации».

Генералы-организаторы были заняты по горло. Всея их деятельностью попрежнему руководил отдел штаба американских воздушных сил в Германии, маскировавшийся под названием «комитета по изучению истории войны». В помощь этому комитету в Бремерхафене был образован «отдел по изучению военно-морских операций в Северном и Балтийском морях» под руководством бывших гитлеровских адмиралов Гельмута Хайе и Фридриха Руге. Его функцией стала подготовка к воссозданию гитлеровских военно-морских сил.

Результатом совместного «творчества» этих двух комитетов является утверждённый американским командованием мобилизационный план, который известен под названием «плана Гальдера». Заслуга разоблачения этого плана принадлежит французской печати. Американское командование и боннское «правительство» не решились опровергнуть сведения о «плане Гальдера». Ныне этот план уже в значительной степени претворён в жизнь. Как видно из этого плана, деятельность фашистских генералов по ремилитаризации Германии переросла стадию разрозненных мероприятий. Она поставлена на солидную организационную базу.

В соответствии с «планом Гальдера» Западная Германия разделена на девять военных округов: Мюнстер, Штуттгарт, Мюнхен, Вюрцбург, Нюрнберг, Кассель, Гамбург, Ганновер, Висбаден. Для каждого из этих округов определена численность подлежащих формированию дивизий. Всего намечено создание 26½ дивизий и одной бригады горных стрелков.

Кроме того, в Западной Германии было образовано 4 воздушных округа с цен-

трами в Мюнхене, Мюнстере, Киле и Брауншвейге. Затем созданы военно-морские округа в Гамбурге, Киле, Бремерхафене и Любеке.

Нетрудно себе представить, какое количество генералов необходимо для осуществления этого плана! Не удивительно поэтому, что Эйзенхауэр весьма дорожит каждым гитлеровцем, который носил в прошлом генеральские погоны.

«План Гальдера» должен был быть осуществлён в три приёма. Первый этап — обучение 25 тысяч инструкторов, которые в течение шести месяцев должны пройти соответствующий курс. Второй — создание военно-призывных пунктов, укомплектованных инструкторами во всех военных округах. Третий — мобилизация военнообязанных и образование войсковых соединений.

По сути дела два первых этапа «плана Гальдера» ныне уже осуществлены. Что касается третьего этапа, то уже проведена большая подготовительная работа для его осуществления. В военнизированных организациях боннского «рейха» насчитывается свыше 450 тысяч человек. В британской зоне к ним относятся «группы германской гражданской трудовой организации», «группы смешанной гражданской трудовой организации», «соединения смешанной охранной службы», различного рода полицейские части (регулярная полиция, железнодорожная полиция, пограничная полиция). Всего — 166 200 человек. В американской зоне — это «центры по наблюдению за рабочей силой», «роты по наблюдению за рабочей силой», «охранные роты», «рабочие роты», промышленная полиция, зональная полиция и другие полицейские части — всего 242 тысячи человек. Во французской зоне — различные полицейские части численностью 24 600 человек. В западных секторах Берлина — шуммовская полиция, промышленная полиция или «чёрная гвардия» и другие части численностью в 16 407 человек.

Ведомство информации Германской Демократической республики, опубликовавшее эти сведения, отметило, что все соединения и подразделения, существующие в Западной Германии, как правило, вооружены американским оружием, в том числе карабинами и винтовками, автоматическими ружьями, лёгкими и тяжёлыми пулемётами, а также противотанковым оружием.

Битые фашистские генералы «планируют» теперь не только «победы», но и поражения, не только наступления, но и отступления. Генералы при этом используют опыт последнего этапа войны, когда военные действия шли на германской территории. Гитлер и его начальник штаба Гудериан в то время отдали приказ уничтожить всё на пути отступления фашистских войск в Восточной Германии: театры и больницы, туннели и мосты, шлюзы и водохранилища. «Нахт унд небель» («Ночь и туман») — назывался приказ Гитлера, предписывавший превратить Восточную Германию в мёртвую зону. Ночь и туман должны были окутать громадную территорию Восточной Германии.

Ныне генерал Гудериан, по приказу своих американских хозяев, так же хладнокровно, как и шесть лет назад, строит планы превращения Германии в мёртвую зону. В интервью с корреспондентом американского журнала «Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт» он заявил, что в качестве «рабочей гипотезы» надо принять отступление западногерманских вооружённых сил до линии Рейна. На этот случай территория восточнее Рейна должна быть соответствующим образом «подготовлена».

Орган американских оккупационных властей — «Дер тэгесшпигель» более открыто высказался. В номере от 6 октября 1950 года газета писала: «Союзники... на всех важных шоссежных дорогах, на мостах через Рейн и в скале Лорелей устроили взрывные камеры... На телеграфный запрос агентства Ассошиэйтед пресс в управление французской зоны в Кобленце получен ответ: «Подобные мероприятия проводятся не только на дороге Кобленц и не только французами. Они проводятся по приказу союзного главного командования... Лучше всего руководствоваться в этом вопросе указаниями верховного комиссара Макклоя, который в прошлый вторник подтвердил, что западные державы подготовили планы взрыва различных объектов в Западной Германии».

Взрывом скалы Лорелей, по замыслу Макклоя — Гудериана, будет преграждён путь Рейну. В связи с этим будет затоплен опломный район, включая города Франк-

фурт-на-Майне, Вормс, Людвигсхафен, Майнц, Маннгейм и др. Подготовлен взрыв не только рейнских мостов, но и мостов через Майн, Везер и Эльбу. По сведениям газеты «Нюрнбергер цейтунг» взрывные камеры устроены в 683 мостах Западной Германии.

Таковы человеконенавистнические планы американских интервентов и их ландскнехтов — фашистских генералов. По этим планам на алтарь войны должны быть принесены все народы Европы, в том числе и немецкий народ.

Немецкие генералы приобрели в лице американских империалистов такого хозяина, который по своей жестокости и авантюризму превзошёл даже гитлеровскую клику. Они нашли то, чего давно искали: им дали средства и власть, а взамен потребовали лишь одного — служить войне, истреблению и разрушению. Прусско-немецкие военные профессионалы, вынашивающие собственные реваншистские планы, становятся ныне служителями агрессивной войны вообще. Наподобие космополитических теорий «всемирного правительства» возник своеобразный «военный космополитизм», проповедующий «всемирный милитаризм», «всемирную военную организацию» и, в конечном итоге, всемирную войну. Американско-боннский союз является олицетворением этих новых «теорий», при помощи которых американский империализм подготавливает третью мировую бойню.

Главными представителями американско-боннской военной коалиции, развёртывающими ныне активные действия в Западной Германии, являются генерал-штабисты Гальдер и Гудериан, генерал танковых войск Мантейфель, генералы Шверин и Варлимонт и, наконец, военные эксперты боннского правительства Шпейдель и Хойзингер. Между этими основными фигурами, действующими на боннской шахматной доске, существует определённое разделение функций как в настоящем, так и на будущее. Гальдер и Гудериан входят в «мозговой трест» Эйзенхауэра в Западной Германии. Это — главные советники американского генерального штаба. Мантейфель явно предназначен на роль будущего командующего танковыми силами западногерманского вермахта и сейчас усиленно готовится к этой роли. Фон Шверина и Варлимонта объединяет то, что они оба — воспитанники американской военной системы (включая американскую разведку). Им, повидимому, предназначена роль политических эмиссаров Уолл-стрит при западногерманском военном руководстве. Наконец полностью определилась также роль Шпейделя и Хойзингера. Они — руководители уже фактически функционирующего ныне боннского генерального штаба, составители «оперативных схем», по которым западногерманские вооружённые силы намерены развёртывать агрессию против миролюбивых народов.

### ***„Мозговой трест“ генерала Эйзенхауэра.***

Генералу Гальдеру — бывшему начальнику гитлеровского генштаба — явно говезло. Гитлеровцы сдали Гальдера американцам, так сказать, «на полном ходу», с рук на руки. Ещё в 1945 году Гальдер функционировал как фашистско-германский стратег, а уже в 1946 году он числился одним из руководителей пресловутого «комитета военных историков».

Когда в 1949 году баварские власти попытались вызвать Гальдера в Мюнхенскую апелляционную палату, верховное командование оккупационных войск США просто-таки изумилось.

— Гальдера в суд? — воскликнул американский военный губернатор Льюшес Клей, — помилуйте, господа, разве это возможно? Гальдер занят! У Гальдера работы по горло! Гальдер не может отлучиться ни на минуту. Без Гальдера мы как без рук!

Своей военной карьере в американизированной Западной Германии Франц Гальдер обязан многим обстоятельствам. Между прочим своей внешностью (он достаточно низкоросл, сутул, близорук, чтобы рядом с ним Эйзенхауэр, Клей и Макклой чувствовали себя «бравыми парнями») и биографией. Так же, как и Клей, Франц Гальдер был типичным «обозником». За четыре года первой мировой войны он с трудом дополз до капитанского чина. Впервые стратегические таланты Гальдера открылись только Гитлеру.

Но гитлеровский штабист Гальдер оказался необходимым Эйзенхауэру потому, что в его руках концентрировались все старые фашистские оперативные планы войны против Советского Союза. Гальдер всегда считался специалистом по Востоку. Ещё в 1939 году, в беседе с американскими дипломатами, Гальдер сетовал на то, что Гитлеру «связывают руки на Востоке» и тем самым «вынуждают его итти на Запад». Политика «невмешательства» казалась Гальдеру слишком мудрёной. «Почему бы не поступить проще,— недоумевал Гальдер.— Почему бы вам, господа дипломаты, не заключить военного договора с «фюрером» против СССР? Не надо обращать внимания на концентрацию германских войск у французских границ... «фюрер» сам знает, кого ему кушать сначала».

По свидетельству официальных историков Гальдер был всегда «душой и телом» за войну против Советского Союза. Правда, не сам Гальдер, а Хойзингер составлял пресловутый план «Барбаросса» и теоретиком блиц-крига был также не Гальдер, а Манштейн. Но зато Гальдер сумел сформулировать основные принципы стратегии всех воинствующих милитаристов XX века. Незадолго до войны, на собрании офицеров и фашистской верхушки в Военной академии в Берлине он изложил свой план будущей войны, который как две капли воды совпадает с военными планами, разрабатываемыми сейчас в Пентагоне.

«Новая война,— заявил Гальдер,— это будет комбинация воздушных атак, потрясающих своим массовым эффектом. Новая война — это захваты врасплох, террор, саботаж, убийства руководителей правительства. Атаки, подавляющие численным превосходством во всех слабых пунктах, неожиданные штурмы, невзирая на резервы и потери».

Одной этой военной теории Гальдера в общем достаточно, чтобы американские стратеги объявили его членом своего «мозгового треста». Но сверх того меланхоличный в жизни Франц Гальдер ещё обладает особым, если можно так выразиться, чисто американским «оптимизмом». Этот «оптимизм» он показал в первые же месяцы войны против Советского Союза. По расчётам Гальдера, которые в то время просто-таки умилили американских реакционных стратегов,— война с Россией должна была быть закончена в течение трёх месяцев. Месяц Гальдер отводил для «решающих боёв», ещё два — для «завершения операции». План Гальдера предусматривал «общее непрерывное наступление германских армий вплоть до Урала».

Неважно, что прогнозы Гальдера провалились. Фашистская стратегия тотальной войны невозможна без блефа и широковещательных анонсов. Американский генерал Макартур, обещавший своим солдатам в Корею в 1950 году «весёлое рождество», знает это по собственному опыту. Ещё лучше это знает генерал Гальдер. Дежурный оптимизм — один из главных пунктов его стратегии. Гальдер не сомневается в том, что генералу Эйзенхауэру блеф нужен так же, как и ефрейтору Гитлеру. Поэтому-то сам Гальдер, специалист по тотальной войне, так необходим нынешним американским агрессорам. Уже сейчас Гальдер начал ободрять Эйзенхауэра. Для этой цели он издал две книги, в которых доказывает, что в «русской кампании» гитлеровцам просто «не повезло», ибо они сделали ряд незначительных ошибок. Если же американцы учтут его, Гальдера, опыт, этих ошибок не будет. Одновременно Гальдер ободряет и своих коллег — германский генералитет. В январе 1951 года он заявил, что американцы не намерены ограничивать вооружение Западной Германии и что, мол, германские генералы с помощью американцев очень скоро займут своё старое место в Европе — место цепных псов мировой реакции. Одним из вожakov этих цепных псов безусловно намечается Франц Гальдер — ярый фашист и человеконенавистник, теоретик тотальной войны и лакей, который готов лизать сапог генерала Айка так же, как он лизал когда-то сапог «фюрера» Гитлера.

Второй представитель «мозгового треста» Эйзенхауэра — Гейнц Гудериан. На первый взгляд он — прямая противоположность Гальдеру. Если Гальдер, по амплуа, — своего рода клерк агрессоров, то Гейнц Гудериан — их глашатай. Если Гальдер втирался в гитлеровскую верхушку исподволь, потихоньку, то Гудериан влетел в неё с шумом и треском. Карьера Гудериана началась с его пресловутой книжки «Внима-

ние, танки!». В этой крикливой книжонке Гудериан объявил себя создателем и пророком «новой» танковой войны. С тех пор карьера Гудериана пошла ввверх с головокружительной быстротой. Перед войной Гитлер назначил Гудериана командующим всеми моторизованными войсками Германии. В период фашистских «побед» на Западе Гудериан был «царём и богом» в коричневом рейхе. Его шумная самореклама и феноменальное умение «подсигивать» своих коллег сделали его на время любимцем «фюрера». Однако в 1942 году Гудериан и его теория молниеносной танковой войны обанкротилась на советско-германском фронте. Гудериана пришлось отстранить от командования. Но уже в 1943 году, когда Геббельс объявил «тотальную мобилизацию», гитлеровцы снова вспомнили о Гудериане. Гудериан вторично с такой же шумихой, как и в 1939 году, занялся формированием новых армий и объявил, что немцы не просто приостановят «русский нажим», но и «стбросят русских далеко назад». Гудериан отправил свои танковые резервы к фельдмаршалу Клюге, в Орёл и Курск, и они были перемолоты победоносными советскими войсками. Но уже в следующем году Гудериан был назначен начальником гитлеровского генштаба. А после окончания войны сразу же переместился оттуда в штаб Эйзенхауэра.

В 1950 году Гейнц Гудериан предпринял «любовую атаку» для окончательного завоевания сердец и кошельков американских милитаристов. Он издал «Воспоминания солдата». Если учесть, что эта книга была отнюдь не первой генеральской книгой и что до Гудериана уже десятки гитлеровских генералов испытали свои силы на литературном поприще, то можно только диву даваться, как это Гудериан сумел создать вокруг своих «воспоминаний» такой шум. Даже американско-английская печать удивилась способности гитлеровского генерала создавать себе «паблисити». «Глядя на крикливые чёрно-красные афиши, рекламирующие во всех западногерманских книжных магазинах труд Гудериана,— пишет английский журнал «Трибюн»,— спрашиваешь себя, не началась ли уже война с Россией и танки Гудериана, изображённые на этих афишах среди огня и проволочных заграждений, не пересекли ли уже в действительности Эльбу и не идут ли на Бреславль?».

Однако генерал Гейнц Гудериан — массивный, с квадратными плечами и маленькими медвежьими глазками — типичный ост-эльбский солдафон, отнюдь не просто специалист по рекламе. Генерал Гейнц Гудериан совсем другое. С ним так же, как и с Гальдером, считаются все «военные авторитеты», то есть теоретики из личного окружения Черчилля и стратеги, подвизающиеся в Пентагоне. Гейнц Гудериан так же, как и Франц Гальдер,— полноправный член «мозгового треста» Эйзенхауэра. Франц Гальдер — специалист по тотальной войне, Гейнц Гудериан — по кнопочной войне.

Ещё в своей первой шумевшей книге «Внимание, танки!» Гудериан попытался воплотить излюбленную идею всех империалистических вояк — идею «войны машин». Согласно этой идее бронированные машины могут заменить в сражениях людей. Эта идея была весьма заманчивой для Гитлера и ещё более заманчива для современных агрессоров, ибо они, как огня, боятся «людей» — рядовых солдат. О «популярности» теории Гудериана можно судить хотя бы по такой детали: в одной из своих книг Гальдер ехидно заметил, что, дескать, напрасно «некоторые думают, что Ганнибал был хорошим полководцем только потому, что у него были хорошие слоны». Однако Гудериана это нимало не смутило. Он хорошо понимает, что «мозговому тресту» нужен идеолог машинной, кнопочной войны. Правда, теория Гудериана так же, как и теория Гальдера, совсем не оригинальна. Большой поклонник Гудериана — Лиддль-Гарт уверяет, что свои танковые теории Гейнц Гудериан просто-напросто списал у него, Лиддль-Гарта, у Шарля де Голля и ещё у десятка подобных стратегов. Гейнц Гудериан сумел во-время подхватить изыскания англо-французских военных теоретиков, соответствующим образом оформить их и, главное, создать гитлеровскому вермахту «танковый кулак» — неременное условие молниеносной агрессивной войны. Фашист Гудериан не только стал «своим человеком» у Макклроя, но и был на время отправлен в США в качестве эксперта американского правительства по танкам.

### **Генерал-практик Мантейфель.**

Генерал Мантейфель — один из самых молодых генералов, которые успели отличиться ещё при Гитлере и тем самым завоевать себе соответствующую репутацию у американских милитаристов. Но не генеральская молодость Мантейфеля и не «дубовый лист с мечами и бриллиантами» — высший воинский орден, пожалованный ему Гитлером, определили успех этого генерала при дворе Макклоя — Эйзенхауэра. У Гассо фон Мантейфеля специальность остро необходимая американским приверженцам «молниеносной войны»: Гассо фон Мантейфель специалист-практик по танкам.

Швейцарская газета «Националь цейгунг» подсчитала, что генерал Гассо Мантейфель присутствовал на личной аудиенции у Гитлера двадцать пять раз. Сколько раз беседовал Мантейфель с Макклоем — пока не известно. Зато известно, что свою боевую деятельность Мантейфель начал вскоре же после капитуляции Германии. Правда, вначале англичане решили для маскировки переодеть Мантейфеля в штатский костюм. Они объявили этого милитариста с головы до ног «лояльным гражданином» и пристроили его в бюро предприятий «Бауэр и Шаурте» в Дюссельдорфе. Но такая работа оказалась не по вкусу воинственному Мантейфелю. Вместо того, чтобы корпеть над бумагами почтенной фирмы «Бауэр и Шаурте», Мантейфель начал сочинять циркуляры и распространять их как среди кадровых германских офицеров, так и среди американо-английского командования. В «циркулярах» Мантейфель сразу же изложил свою программу. Если отбросить технические термины и обычные фашистские словечки, то программа Мантейфеля сводится к тому, что Западная Германия должна играть «руководящую роль» в маршализированной Европе. Мантейфель услужливо предлагает американцам превратить Западную Европу в «силовое поле», а вслед за этим организовать крестовый поход «против Востока».

Ознакомившись с «силовым полем» Мантейфеля, связной Черчилля, капитан Лиддл-Гарт, усердно переписывавшийся с Мантейфелем, дал соответствующий сигнал. После этого сигнала Аденауэр назначил Мантейфеля одним из своих негласных военных советников. При этом Аденауэр точно определил функции Мантейфеля. Генералу-танкисту было предложено формировать механизированную армию неонацистов в Западной Германии. Поскольку танковые части требуют особо обученных и физически выносливых ландскнехтов, Мантейфель «работает» преимущественно среди молодёжи. Сейчас он запланировал и уже отчасти организовал в Западной Германии «особые отряды», «группы прорыва» и даже специальные группы «пилотов-смертников», которые должны во что бы то ни стало таранить противника.

Сверх того Мантейфель решил попробовать свои силы на политической арене. Около года назад он выступил в Дюссельдорфе в помещении «Хаус дер Альпштадт» на предвыборном митинге от имени неонацистской «свободной демократической партии». Генералу-танкисту была создана шумная реклама. Английские власти, помогавшие организации митинга, надеялись на то, что в случае успеха оратора несколько тысяч молодых немцев будут завербованы в какую-либо очередную «группу прорыва» или «группу смертников».

Однако Мантейфель провалился. Ему попросту не дали открыть рта. Хорошо, что устроители митинга оказались людьми, привыкшими к таким встречам. Услышав оглушительный свист и крики «с нас хватит калек!», «долой поджигателя!», они подхватили Мантейфеля под руки и вежливо втолкнули его в тёмный коридор. Кавалер ордена «алмазного креста с дубовыми листьями» быстрой рысью направился к чёрному ходу...

Впрочем, публичный провал генерала Мантейфеля не смутил его американо-английских хозяев. Конечно, германский народ ненавидит генерала Гассо Мантейфеля так же, как и всю генеральскую свору. Конечно, генералу Мантейфелю лучше не разыгрывать из себя друга молодёжи. Большинство западногерманской молодёжи отнюдь не горит желанием стать «смертниками» Эйзенхауэра. Но Мантейфелю вовсе не обязательно встречаться с немцами с глазу на глаз. Для этого есть менее одиозные личности. Через сеть вербовочных пунктов Мантейфель, пользуясь демагогическими приёмами, продолжает вербовать западногерманскую молодёжь в свои «особые отря-

ды» — костяк будущей механизированной армии Эйзенхауэра. У него совсем иные планы на будущее. Мантейфель рассчитывает на то, что вакантное место командующего танковыми силами в будущей западногерманской армии достанется именно ему — лихому фашистскому генералу и усердному слуге американцев.

### **Генералы „новой формации“.**

После крушения гитлеровской империи часть гитлеровских военных «звёзд» оказалась в тени, зато появились новые «светила». «Молодые» генералы Шверин, Варлимонт, Штудент, Бломентрит, Мальман, Геккер и многие другие.

Генерал Шверин сделал в штабе Эйзенхауэра головокружительную карьеру. По заявлению английского еженедельника «Нью стейтсмен энд нейшн», Шверин является «непосредственным руководителем ремилитаризации» боинского «рейха». Он — глава крупной западногерманской милитаристской организации «Виндхунд» (по имени бывшей дивизии Шверина). Немецкая буржуазная печать сообщает также, что в Западной Германии функционирует специальный «штаб Шверина», занятый вербовкой и обучением ландскнехтов для генерала Эйзенхауэра.

«Молниеносная» карьера сравнительно мало известного ранее Шверина при дворе Макклоя — Эйзенхауэра кажется на первый взгляд несколько загадочной. Однако при более близком знакомстве с биографией Шверина всё легко разъясняется.

Ещё в 1918 году предприимчивый граф смекнул, что махрово-националистическому германскому генералитету нехватает космополитических связей. Для того чтобы создать эти связи, фон Шверин решился на небывалый для германского офицера шаг: он нанялся поверенным в германскую нефтяную фирму, то есть стал сугубо «штатским», что в понимании ост-эльбских юнкеров означало превратиться из «порядочного человека» в «свинью».

Конечно, генеральская клика в Западной Германии была всегда тесно связана с монополистическим капиталом. Династические браки объединяли многие генеральские семьи с германскими королями промышленности. Но всё-таки сама генеральская каста непосредственно не участвовала в биржевой игре и не восседала в директоратах крупных фирм. Граф фон Шверин — германский генерал «новой формации» — пошёл по пути американской военщины, которая уже давно совмещает военную карьеру с биржевыми спекуляциями, а стратегические изыскания с бойкой торговлей.

Время показало, что генерал Шверин совершил переход в штатское сословие с большой пользой для своей военной карьеры. Нефтяная фирма направила своего поверенного в Польшу и Румынию, куда стекались в то время любители лёгкой наживы и авантюристы со всех стран мира. В толпе этих авантюристов находились и нынешние хозяева Шверина, агенты американского империализма, которые мечтали захватить в свои руки нефтяные окважины Плоешти и промышленные предприятия Польши. На базе общих помыслов, планов и симпатий завязалась дружба прусского генерала с американскими бизнесменами. Всомогущие короли тушонки и легирированной стали благодетельствовали службой проигравшего войну графа фон Шверина. За это немецкий милитарист, обучавшийся у Шлиффена, Секта и Фалькенхайна, объявлялся просвещать военных деятелей Пентагона.

В тридцатых годах Шверин приехал в США и стал, по сообщению американского журнала «Ньюс уик», секретным экспертом американской армии. С этого времени окончательно определилась карьера Шверина. Германский милитарист совершил овою последнюю метаморфозу — превратился в двойного германо-американского шпиона. В 1938 году, вернувшись на родину, Шверин поддерживал одинаково тесные связи как с американской, так и с германской разведками. Германскому генеральному штабу Шверин поставлял данные о секретных военных мероприятиях США. Агентам США Шверин передавал секретные сведения о вооружении и обучении гитлеровской армии. Уже будучи в генеральном штабе в Берлине, Шверин продолжал служить Пентагону.

Во время второй мировой войны он командовал 116-й германской дивизией



«Виндхунд», отборной дивизией громил и головорезов. Однако на этой должности Шверина постигли весьма крупные «неприятности». Армия Холлидта, куда входила отборная дивизия Шверина, была наголову разбита войсками 3-го Украинского фронта. Солдаты и офицеры Шверина, как он деликатно объяснил в своём рапорте на имя командующего 6-й немецкой армией генерал-полковника Холлидта, «двинулись в том направлении, куда их вёл инстинкт». «Инстинкту» подчинился и сам генерал-лейтенант граф фон Шверин. Инстинкт сиятельного милитариста заставил его бросить своих солдат, вооружение и штабные документы и ринуться в тыл. После этого «инцидента» Холлидт предложил Шверину сдать дивизию и представить в главную квартиру армии объяснение. Таким образом возникло дело о «самовольном оставлении командиром 116-й немецкой мотодивизии графом фон Швериным занимаемых позиций». В рапортах Холлидту и командиру 30-го армейского корпуса Фреттер-Пико Шверин весьма живо обрисовал свои душевные эмоции в период наступления Советской Армии: «Всё в целом,— писал Шверин,— можно приравнять к такому случаю, когда солдата сначала лишили ног, чтобы он не мог больше двигаться, а затем рук, чтобы он не мог больше драться, и, наконец, заткнули ему рот, чтобы он не мог призывать и приказывать. Эта жалкая беспомощность перед катастрофой приводит каждого, над кем бы такая катастрофа ни разразилась, всё равно офицер он или солдат, в состояние шока».

Однако бесславный финал Шверина-«полководца» не помешал его карьере у американских агрессоров. Платный агент разведки США оказался «персоной грата» в штабе Макклоя — Эйзенхауэра...

Генерал Варлимонт, как и Шверин, по словам официального генеральского летописца Герлица,— офицер «последнего поколения». Биография Варлимонта так же, как и биография Шверина, не типична для касты германских милитаристов. Предки Варлимонта — выходцы из бельгийской провинции Валонии. Во время войны с Францией Варлимонт, который был в то время в гитлеровском генеральном штабе в Берлине, стал звать себя Варлимонтом фон Грейфенбергом, дабы его не обвинили во французском происхождении.

Впрочем, недостаточная «расовая чистота» отнюдь не помешала продвижению Варлимонта в среде расово-безудержных ост-эльбских юнкеров. Если в жилах у Варлимонта и не текла стопроцентная «нордическая кровь», то у него было зато нечто значительно более важное — контакт с заокеанской реакцией. После соответствующего обучения в «чёрном рейхсвере» и в «Фюрергхильфенаусbildung» — одной из милитаристских организаций, заменивших в Веймарской республике генштаб,— Варлимонт отправился в США. Здесь он окончил Вашингтонский военно-промышленный колледж и основательно познакомился с американским «планом М.», то есть планом военного союза между монополистическими фирмами и армией. Кроме того, правильно учуяв дух времени, Варлимонт, как и его нынешний германский шеф Аденауэр, женился на американке. Породнившись с американским бизнесом и установив необходимые связи с американской военщиной, Варлимонт вернулся в Германию. Гитлеровское командование не замедлило использовать Вальтера Варлимонта «по специальности». Официально Варлимонт стал экспертом германской армии по США. Однако куда больше преуспел Варлимонт на своих двух неофициальных постах. Один из этих постов был постом германского осведомителя по американской армии. А другой — постом американского осведомителя по германской армии. Вожделенной мечтой Варлимонта было сближение двух самых агрессивных военных клик — германской и американской. С этой целью Варлимонт предложил Гитлеру реорганизовать немецкие вооружённые силы по американским образцам. Реформа Варлимонта, предложенная им в 1938 году, была принята — гитлеровцы таким образом скопировали американскую армейскую систему...

После войны Варлимонту, как и Шверину, было предоставлено обширное поле деятельности. Для Макклоя и Эйзенхауэра «офицеры новой формации» — такие, как Шверин и Варлимонт,— желанные слуги. Им не нужно даже проходить той прими-

тивной моральной «перестройки», какую проходят сейчас старые милитаристские зубры. Как только американские танки переступили границу Германии, американско-германские «оборотни» — давнишние агенты США в генштабе — повернули на Запад свои вторые лица, лица платных шпионов и идеологов американско-германского «сближения».

Генерал Вальтер Варлимонт занят сейчас тем, чем он занимался всю свою генеральскую жизнь — унификацией вооружённых сил США и Германии. Для американских бизнесменов очень важно, чтобы их вассалы в Западной Европе пользовались стандартным оружием, производящимся в США. А для американских стратегов так же важно, чтобы западноевропейские соединения, которыми они намерены, не утруждая себя, командовать — комплектовались и обучались по американскому образцу. В лице генерала Варлимонта американские власти нашли для этой цели подходящего деятеля. Укомплектованные Шверинном, Мантейфелем и другими отряды, специальные школы, дивизии и лётные соединения. Вальтер Варлимонт спешно «американизирует», придаёт им унифицированные американские танки, самолёты, боеприпасы и ставит под команду американских сержантов, которые муштруют германских солдат на Эйзенхауэровско-макартуровский лад.

### ***Петерсбергская сделка.***

В 1951 году отношения между американско-английскими и немецкими империалистами вступили в новую фазу: началось неприкрытое сколачивание прямого военного союза северо-атлантических стран с Западной Германией против Советского Союза и народно-демократических государств. Германские милитаристы были признаны официальными союзниками милитаристов западных стран и прежде всего американских империалистов.

Тон и повадки фашистских генералов изменились. Сейчас генерал-лейтенант Адольф Хойзингер, как и его коллега генерал Ханс Шпейдель, — официальный представитель боннского «правительства». Он ведёт важные военные переговоры с американскими, английскими и французскими представителями. На французского партнёра по переговорам — Берара — Хойзингер смотрит свысока, не скрывая своего презрения к этому посланцу «вырождающейся галльской расы». Да и английский представитель Джон Уорд может вызвать лишь снисходительно покровительственное отношение Хойзингера. Ведь не кто иной, как Хойзингер, планировал дюнкерскую операцию, и не кто иной, как коллега Хойзингера Шпейдель, практически проводил её в жизнь. Другое дело — американцы. Хотя они и не бог весть какие вояки, но за ними стоят морганы и рокфеллеры, миллиарды долларов...

Совещание в Петерсберге началось открытой демонстрацией американско-боннского союза. В течение первых четырёх дней совещания английские и французские представители даже не были допущены на заседания. Американские и немецкие генералы беседовали «tête à tête».

Надо полагать, что за эти четыре дня было высказано много лестных и ободряющих слов по адресу немецких генералов. Когда генерал Эйзенхауэр 22 января прибыл в Бонн, он также поспешил прежде всего обласкавать фашистских генералов. Эйзенхауэр имел длительную «частную беседу» с Хойзингером и Шпейделем, хотя отказался встретиться с английскими и французскими экспертами. Естественно, что немецкие милитаристы пришли в полный восторг от Эйзенхауэра, который, по его собственному выражению, умеет «забыть прошлое». «Никто так, как Эйзенхауэр, — с умилением заметил заместитель Аденауэра Блюхер, — не может понять психологию немцев».

В Петерсберге главнокомандующий северо-атлантической армией торжественно обязался представить немецким милитаристам полное «равноправие» в деле подготовки новой мировой войны. В свою очередь генералы заверили Эйзенхауэра в том, что приложат все усилия, чтобы ускорить желанный час восстановления военной мощи Западной Германии и организации агрессии против Советского Союза. Корреспондент агентства Ассошиэтед пресс вскоре после начала Петерсбергского совещания обра-

тился к генералам Мантейфелю, Ганзену, Циммерману и Бломентриту с вопросом, как они относятся к ремилитаризации Западной Германии. Генерал Бломентрит ответил на этот вопрос с «солдатской прямоотой»: «Германия должна оражаться, — заявил он. — Только оражаясь, Германия сможет завоевать себе поддержку западных союзников для восстановления своей восточной границы».

Петерсбергское совещание длилось целых шесть месяцев. И чем больше проходило времени, тем более воинственными становились планы немецких милитаристов и их американских покровителей. На протяжении шести месяцев совещания планы организации вермахта несколько раз пересматривались и всегда в сторону увеличения количества дивизий и повышения их удельного веса в «объединённой европейской армии» Эйзенхауэра.

Первоначальный план, представленный Шпейделем и Хойзингером, в какой-то мере учитывал пожелание французов, возражавших против образования самостоятельных немецких дивизий. Он предусматривал создание «боевых групп» численностью не более пяти тысяч человек каждая, под командованием офицеров, имеющих чин не выше полковника. В этом же первом варианте плана указывалось, что в соответствии с решениями Брюссельской конференции министров иностранных дел и министров обороны стран — участниц Северо-атлантического блока, численность западногерманских войсковых контингентов не должна превышать одной пятой части общей численности западноевропейской армии. Такова должна была быть, по крайней мере, официальная структура западногерманской армии, хотя в неофициальном порядке продолжал действовать «план Гальдера», то есть шла форсированная подготовка к формированию дивизий.

Уже вскоре после начала Петерсбергского совещания в иностранной печати появились сообщения о том, что первоначальный проект Шпейделя-Хойзингера «устарел» и что он заменён новым проектом. По этому проекту в Западной Германии должны быть образованы регулярные дивизии под командованием германских генералов. Подытоживая этот этап переговоров, орган промышленников в Западной Германии «Дейче цейтунг унд виртшафтсцейтунг» отмечала, что, во-первых, тип немецких соединений должен быть таким же, как и у других держав, то есть дивизия, а не «боевая группа». Во-вторых, боннские представители должны занимать в западноевропейской армии равное число высших командных должностей. В-третьих, германский контингент войск должен подвергаться союзному контролю на равных основаниях с другими державами. Боннский корреспондент газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» Рассел Хилл 13 апреля 1951 года отметил при этом, что речь идёт об образовании двенадцати дивизий с приданием им 600 самолётов.

Однако через два месяца и этот план «устарел». В начале июня 1951 года Петерсбергское совещание окончилось. Был составлен обширный документ об образовании западногерманской армии. Во время своего очередного посещения Западной Германии 9—10 июня Эйзенхауэр лично утвердил этот план. Затем Макклой отправился в трёхнедельную командировку в Вашингтон, во время которой новый план был утверждён вашингтонскими правителями.

Каково же содержание этого документа — результата совместного творчества американских и западногерманских милитаристов? Вашингтонский корреспондент «Чикаго сан энд таймс» указывает, что в «новом плане» численность западногерманских вооружённых сил определена в 350—400 тысяч человек, из них 100—150 тысяч человек должны служить в авиации. Количество самолётов, приданных западногерманским дивизиям, должно достигнуть двух-трёх тысяч. Кроме того, предусматривается создание соответствующих военно-морских сил. «Американские официальные лица, — заявляет корреспондент, — после предварительной оценки считают немецкие предложения резонными».

5 июля 1951 года сразу же после возвращения из Вашингтона Макклой вызвал к себе Адепауэра и имел с ним беседу, длившуюся два с половиной часа. Согласно официальному коммюнике, Макклой заверил Адепауэра, что США «будут настаивать на скорейшем включении Западной Германии в Атлантическую систему на основе

полного равноправия». Ясно, что Макклой привёз из Вашингтона известие о полном одобрении вашингтонскими политиками планов Шпейдела — Хойзингера.

Одновременно был сделан новый шаг и в политической области. В конце июля 1951 года ряд западных стран по приказу из Вашингтона объявил о прекращении состояния войны с Западной Германией. Этот жест, правда, ничего не изменил в фактическом положении западногерманского «государства», ибо полностью остался в силе так называемый оккупационный статут, который превращает боннский «рейх» в бесправную американско-английскую колонию. Но американские политики смекнули, что нелепо втолковывать американскому народу необходимость ремилитаризации страны, с которой США формально находятся ещё в состоянии войны. Продолжение этого состояния могло бы помешать осуществлению дальнейших планов американских агрессоров в отношении Западной Германии. Подняв шум вокруг «прекращения состояния войны с Западной Германией», американские империалисты рассчитывают сорвать заключение справедливого мирного договора с единым германским государством и превратить Западную Германию в свою вотчину. К тому же, неудобно вступать в военный союз со страной, с которой находишься в состоянии войны. А ведь уже не за горами тот момент, когда боннское государство официально будет провозглашено участником Северо-атлантического блока, и Западная Германия станет военным союзником США. Именно в этом — в подготовке к включению Западной Германии в Северо-атлантический союз — основной смысл декларации западных держав о прекращении состояния войны с боннским «рейхом».

Итак, официальная сделка между германскими и американскими милитаристами состоялась. Для осуществления этой сделки важнейшая роль отведена фашистским генералам, Мантейфель и Гальдер, Шверин и Гудериан, Бломентрит и Рундштедт вытаскивают из сундуков свои старые генеральские мундиры. Менять в них почти ничего не придётся. Лишь знак овастики надо будет заменить другим фашистским знаком.

В одном из итальянских сатирических журналов появилась недавно остроумная карикатура: солдат в форме войск СС вытянулся перед французской Марианной и дядей Сэмом. Марианна восклицает: «Да ведь это та же форма, в которой ходили гитлеровцы!». Дядя Сэм отвечает: «Ничего подобного: разве ты не видишь, что знак СС перечёркнут». Действительно, на рукаве у джюжего молодца, изображённого на карикатуре, латинское SS перечёркнуто двумя продольными палочками. Таким образом получается условное изображение доллара.

Итак, форма осталась та же. Не изменились также методы и приёмы организаторов фашистской агрессии, занятых ныне подготовкой новых военных авантур в Европе. Только хозяин переменялся.

Однако вместе с тем решительно изменилось и соотношение сил на мировой арене. Силы демократии и социализма так возросли и окрепли, что поджигателям войны нелегко в этих условиях строить планы завоевания мировой гегемонии. Третья мировая война может повести лишь к окончательному краху мирового империализма.

В то время как американско-английские, французские, боннские и прочие империалисты сговариваются насчёт новых кровавых авантур, в мире неудержимо развивается и растёт величайшее движение современности — движение сторонников мира. Боннским авантюристам и их американско-английским партнёрам в Петерсберге стоило лишь открыть окно, чтобы в зал, где они заседали, ворвались гневные возгласы: «Долой правительство Аденауэра!», «Янки — в Америку!», «Не будем служить пушечным мясом для Аденауэра!» Эти требования раздавались на улицах Петерсберга в разгар совещания экспертов западных держав и боннского «рейха». Сюда со всех концов Западной Германии съехалась молодёжь, чтобы высказать своё мнение о ремилитаризации самим господам генералам. Разумеется, американские наёмники плотно прикрыли окна, чтобы не слышать этих призывов западногерманской молодёжи — части могучей армии сторонников мира. В Германии, как и во всём мире, эта армия неудержимо растёт. 13 миллионов граждан Германской Демократической республики — этой твердыни всех миролюбивых сил Германии — проголосовали 3—5 июня

1951 года против ремилитаризации. В Западной Германии 85—90 процентов всех опрошенных также решительно высказались против ремилитаризации.

«Мир!» и «Дружба!» — под этими лозунгами происходил в августе в Берлине Всемирный фестиваль молодёжи. Эти лозунги звучали на языках более 100 стран, молодые представители которых съехались в Берлин. И среди этих голосов слышался ясный и твёрдый голос молодых борцов за мир из Западной Германии, которые, несмотря на полицейские рогатки Аденауэра, прибыли на фестиваль.

Усилия немецкого народа, опирающегося на поддержку всех миролюбивых народов, направлены ныне на то, чтобы воспрепятствовать осуществлению новых людоедских планов американских и боннских агрессоров и превратить Германию в единую демократическую и миролюбивую страну.

Фашистские генералы могут оказаться генералами без армии. Германский народ говорит войне своё решительное «нет!».



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРИС СОЛОВЬЕВ

★

## ПОЭМЫ О ПОКОРЕНИИ ПРИРОДЫ

**Т**олько в нашем социалистическом обществе сбываются вековые народные мечты об использовании неисчерпаемых богатств природы, о покорении её слепых сил, о подчинении их власти человека.

Советские люди становятся повелителями природы — они соединяют моря, прокладывают новые русла рек, превращают пустыни в плодоносные сады, преграждают дорогу суховету, изменяют самый климат страны.

Наша литература, выражающая взгляды и интересы народа, не может пройти мимо такой значительной, исполненной поэзии темы, как покорение природы советским человеком.

В статье «О «Библиотеке поэта» А. М. Горький призывал наших поэтов смелее, решительнее вводить в искусство новый материал, рождённый советской действительностью. Он говорил с необходимости «пересмотра отношения поэзии к природе и пересмотра всех главнейших тем старой поэзии». Горький считал, что советские писатели должны запечатлеть чужое, активное отношение человека к природе. В решении этой темы великий писатель видел огромные возможности для разгвигия нашей поэзии, укрепления её связей с действительностью.

Ныне, в эпоху гигантских строек коммунизма, великих сталинских планов преобразования природы, вопросы, поднятые Горьким в статье «О «Библиотеке поэта», приобрели ещё большее значение. Сама тема преобразования природы в наши дни является и темой борьбы за мир, темой широкого международного масштаба.

Советская поэзия уже приступила к решению той задачи, которая была поставлена Горьким. Конечно, то, что осуще-

ствлено в этом направлении, — пока ещё только начальные и порою робкие шаги. Но в нашей поэзии всё больше появляется произведений, зовущих на борьбу за власть человека над природой, за покорение её слепых сил, казавшихся некогда всемогущими.

1

Этой большой теме посвящена поэма белорусского поэта Аркадия Кулешова «Новое русло» (переведена Я. Хелемским).

В самом творческом замысле произведения, в материале, привлечённом автором для воплощения этого замысла, в характере героев, в их столкновениях, в сюжете поэмы и даже в её пейзаже ясно виден тот «пересмотр» отношения поэзии к природе, о котором писал Горький. Это определило новаторский характер поэмы А. Кулешова. С большой поэтической силой выражена в ней главная мысль автора: заставляя реки гечь по новому руслу, наши люди вместе с тем прорывают новые русла и для всей нашей жизни.

В поэме речь идёт о постройке одной из многих рядовых электростанций, ничем, казалось бы, не примечательной на фоне всего нашего могучего строительства, но очень важной для колхоза, для его людей.

Поэма лишена отвлечённости, риторичности: А. Кулешов нашёл тот жизненный, естественный, внутренне оправданный конфликт, который позволил ему решить свою тему реалистически правдиво и убедительно, создать живые и самобытные образы наших людей.

Студент-практикант приезжает в колхоз, чтобы принять участие в строительстве местной гидростанции. Её проект уже составлен прорабом Шайпаком — строителем мельниц и мостов, одним из героических

участников партизанского движения в Белоруссии. Борясь с фашистскими захватчиками, взрывая мосты, ночуя в сырых землянках, Шайпак в то же время мечтал построить, как только будет покончено с захватчиками, электростанцию на родной речке Петлянке.

...построить решил  
Беспокойный солдат  
Гидростанцию ту —  
Тридцать пять киловатт.  
Он и место нашёл,  
Чтоб стояла, светла,  
На Петлянке,  
Где мельница прежде была.  
В эту станцию  
Вложит всю душу прораб,  
Он построит —  
Скорее победа пришла б.

Проект уже готов, дело только за тем, чтобы колхозники утвердили его. Этот проект — не только сугубо деловая работа, требующая известных навыков и знаний, он в то же время — лучшая частица души прораба Шайпака, плод его мечтаний и бессонных ночей. Уже одно то, что прораб Шайпак в трудных условиях борьбы с врагом создавал этот проект, посвящая ему свои думы, свои мечты, раскрывает стойкость наших людей, их неколебимую уверенность в победе, их героический и творческий дух.

Таков образ Шайпака — обаятельного, чистого человека.

Студент-практикант, которому поручено принять участие в строительстве гидростанции, вместе с дочерью Шайпака осматривает местность, на которой будет воздвигаться гидростанция, и приходит к выводам, которые опрокидывают проект Шайпака.

Студент, лирический герой поэмы (от его имени ведётся повествование), не просто любит красоту пейзажа, он стремится изменить его в интересах народа. Он не может примириться со «скверными выходками» природы, не может примириться с теми условиями, которые сложились в результате противоборства её слепых стихий. Лирический герой поэмы говорит:

И запал трудовой,  
Непокой  
Овладел уже мною:  
Что нам делать с рекой,  
С говорливой водою?  
Кто Петлянкою речку назвал  
Для забавы?

Кто её закружил,  
Запетлял  
Тут и влево и вправо?  
В петлях вьётся река  
Из чащоб сосняка,  
Лозняка  
По яругам  
И под самым окном Шайпака  
Выгибается кругом.  
С горки, как на ладони, видать  
Всю в извилах Петлянку.  
Сделав петлю, сюда же плывёт  
Возвратилась беглянка.

Творческий «непокой», охвативший героя поэмы, определяет и характер его отношения к природе, пылкость и остроту его зрения. Перед ним открываются существенные черты местности, мимо которых проходил Шайпак, не замечая их, не думая о них, привыкнув к ним. Для Шайпака сложившиеся особенности родной природы — нечто постоянное, неизменное. Он не понимает того, что в наших силах изменить эти особенности, если этого требуют интересы народа:

Вот они — для реки берега  
Травяные.  
Дальше  
Путь нам известный — луга  
Заливные.  
Сколько ж речке петлять и кружить  
По капризу природы?  
А нельзя ли умерить ей прыть,  
Новым руслом навеки пустить  
Эти воды?  
Чтоб по-новому речка текла —  
Для добра, для труда, для тепла,  
Чтоб петлять не петляла,  
Чтоб турбины крутила она,  
Чтоб с рассвета и дотемна  
Не стихала,  
Чтобы свет нам давала...

У героя поэмы рождается идея нового проекта, по которому Петлянка перестанет «петлять», пойдёт по новому руслу. Это намного увеличит мощность будущей станции.

Так студент-практикант оказывается в произведении носителем нового, передового начала. Это новое показано автором не отвлечённо, не условно, а живо, конкретно. Мы видим, с какою естественной необходимостью на наших глазах зарождается новаторское творчество, как оно преодолевает все препятствия на своём пути.

Старый проект гидростанции явился преградой на пути новатора. Этот проект отстаивает Шайпак, который не может без боя, без сопротивления отступить от своей долголетней мечты.

И студент-практикант, и Шайпак — люди мечты. И вот оказывается, что далеко не всякая мечта может выразить дух нашего народа, а только та, которая помогает бороться за будущее, которая устремлена в завтрашний день.

Шайпак обеднённо представлял себе и наше будущее и наше настоящее. Он не понимал, что советский народ сразу же после войны примется за осуществление грандиозных строительных планов, рядом с которыми бледной и жалкой покажется мечта Шайпака. Он не увидел нашего завтрашнего дня, того размаха работ, который нужен уже сегодня. Вот почему Шайпак не верит в реальность новаторского проекта студента-практиканта, не понимает, что в эпоху творческого преобразования природы нельзя пользоваться только тем, что дано от века, что просто лежит под руками — как лежит Петлянка, бестолково петляющая по старому руслу.

Так возникает борьба нового, передового со старым, — и носителем этого старого в поэме является один из героев Великой Отечественной войны, коммунист Шайпак, который на каком-то повороте отстал от жизни, от её требований. Он отстаивает проект, рамки которого уже слишком узки для наших людей. В проекте, выражающем жизненные потребности народа, Шайпак усмотрел только угрозу своей мечте и объясняет его горячкой неопытности, задором юнца, необоснованным прожектерством и ухарством. Он спорит со студентом:

— Тут ведь нужен расчёт,  
Не один лишь запал.  
— Там, где горка, пройдёт  
Стометровый канал.  
— Ну, а как с берегами?..  
Размоет пески.  
— Замостим их камнями —  
И станут крепки.  
— А колхоз  
На такой согласится ль расход?  
— Из соседних колхозов  
Поднимем народ.  
Всю округу поднимем! —  
Но вижу — никак  
Не согласен с моими  
Словами Шайпак,

Шайпак опирается в своём проекте на уже существующие природные условия, а того, что сами эти условия можно изме-

нить, — он не видит. Шайпак верит в то, что весь колхоз примет участие в строительстве своей маленькой гидростанции, ибо слишком очевидна её выгода. Но он не представляет себе, что на строительство можно поднять всю округу. Шайпак привык к местным условиям, которые кажутся ему неизменными, привык к маленьким масштабам работы, свыкся с этими масштабами, не умеет их перешагнуть, а потому он не может взглянуть на строительство с государственной точки зрения. Вот почему Шайпак, как рутинёр и малвер, говорит о новом проекте: «Нереальное дело», забывая, что реальность нашего дела и наших планов — это советские люди, для которых нет непреодолимых преград.

Колхозники обсуждают на собрании два проекта. Какой из них победит? Какой будет принят для исполнения?

Раздаются голоса, предостерегающие от излишних затрат. Переломным моментом, определившим исход собрания, явился выступление секретаря райкома, который связал повседневные дела наших людей с большими перспективами, великими целями:

Что ни день, у нас бой  
За большой урожай,  
Чтобы снова расцвёл  
Наш разрушенный край.  
Ну, а станция —  
Разве не так же важна?  
Русло новое  
Разве не фронт,  
Не война?  
Это фронт,  
Это битва  
За свет над столом.  
Дом, где тлеет лучина,—  
Не наш это дом.  
Дом наш — светлое счастье  
Людей всей земли.  
Мы пока ещё с вами  
В свой дом не вошли.  
Но войдём!  
Мы бросаем в грядущее взгляд —  
Маловато для нас  
Тридцать пять киловатт.  
Мы не зря ведь  
В родном обновлённом краю  
Новым руслом  
Всю жизнь направляем свою.  
Так не сможем мы разве  
Единой семьёй  
Нашу речку направить  
Дорогой иной?..

И секретарь райкома открывает перед колхозниками огромные преимущества смелого проекта, пронизанного духом творче-



ского дерзания. В его словах сказывается вера в народ, в его неиссякаемые силы. Люди, шедшие за Шайпаком, начинают понимать, как далеко вперёд ушла жизнь от их замыслов, как необоснованы их опасения, как неуместна робость. И самому Шайпаку становится ясной непригодность его проекта; он говорит:

— Я проект свой снимаю,  
 есть лучше, другой.  
 Сам уверился, знаю—  
 проект неплохой.  
 Дело верное.  
 Я землякам не солгу...  
 ...Думал станцию выстроить я  
 Для людей  
 Как могу.  
 Выбирал я масштаб поскромней.  
 Чтоб стояла над речкой  
 В родимом краю.  
 Только время  
 Мечту обогнало мою.  
 Нет, не жаль мне,  
 Что станции той не бывать.  
 Жаль, что новую эту  
 Не в силах поднять.

Шайпак, на собственном опыте убедившись, что нельзя прожить капиталом прошлого, не двигаясь вперёд, не глядя в будущее, уезжает учиться. Мы с ним снова встречаемся в самом конце поэмы, когда гидростанция уже построена. Он приезжает на праздник её открытия:

Из столицы приехал  
 Проведать друзей,  
 Рассказал об учёбе,  
 О жизни своей,  
 О мечте, что опять  
 Оживает, светла,  
 О мечте, что сюда  
 К нам его привела.  
 При народе при всём,  
 тут же возле машин,  
 Обнялись мы вдвоём,  
 словно батька и сын,—

говорит ведущий лирическое повествование герой поэмы, студент-практикант.

Так разрешается этот конфликт, причём само его решение носит новаторский характер. Борьба происходит не в форме непримиримых противоречий, катастроф, неизбежно приводящих к трагическому исходу, к гибели одной из участвующих в конфликте сторон, а в форме критики и самокритики, являющейся одной из движущих сил нашего развития.

Шайпак побежден. Его поражение было необходимо в интересах развития нашего

общества. Но это поражение явилось одновременно стимулом для внутреннего роста героя. На берега родной Петлянки он вернулся внутренне гораздо более богатым, чем был до возникновения конфликта. На своём опыте он постиг огромное значение критики и самокритики. Вот почему не ненависть, не злобу питает Шайпак к своему «сопернику», доказавшему всю отсталость его старой мечты, а благодарность, чувство дружбы и уважения. Так могут разрешаться конфликты только в нашем обществе, в котором ликвидированы антагонистические классы. Поэт сумел запечатлеть эту существенную особенность нашей жизни.

Чувство нового, глубокое проникновение в нашу действительность, активно-творческое отношение к ней — вот что позволило поэту создать талантливое, реалистическое произведение. Автор сумел увидеть и запечатлеть людей в их конкретной деятельности. Развитие характеров в труде составляет сюжет поэмы. Его поступательное движение вызвано не навязанными извне произвольными соображениями художника, не его прихотью, а строгим соответствием с жизнью.

Поэма написана от лица одного из героев нашего времени, и самый стих её — гибкий, интонационно подвижный, ритмически разнообразный — передаёт всю живость и естественность разговорной речи этого героя.

На примере поэмы «Новое русло» мы видим, какие большие возможности для развития самого искусства заключаются в постановке и раскрытии темы отношения человека к природе. Тема эта связана с появлением новых образов, сюжетов, коллизий, новаторских в своей основе и весьма типических для нашей действительности.

Даже самый пейзаж приобретает иной характер, если взглянуть на мир глазами человека, преобразующего природу. Так, мы видим, что герой поэмы А. Кулезова «Новое русло» по-хозяйски смотрит на окружающие его луга, рвы, чащи лозняка, мысленно перекраивает расстилающийся перед ним пейзаж. И этот пейзаж приобретает динамический характер, меняет свои очертания — сначала только в мыслях и ощущениях героев поэмы, а потом уже и наяву, в самой действительности.

В этом изменении пейзажа — одна из характернейших особенностей той новой эстетики, которая рождается в процессе горьковского пересмотра «вечных тем» искусства. Как видим, пересмотр этот содействует утверждению новой эстетики — эстетики социалистического реализма.

Следует заметить, что автор поэмы «Новое русло» использовал далеко не все возможности, заключённые в новой теме. Его поэма в ряде мест лишена необходимой эпической широты. Экспозиция произведения, его начало, завязка сюжета — всё это развёрнуто гораздо более подробно, чем главная сюжетная линия; поэтому повествование порой приобретает слишком эскизный и торопливый характер.

Особенно это касается самого процесса преобразования природы и преодоления связанных с этим трудностей, о которых с такой настойчивостью говорил Шайбляк. Эти трудности почти совсем не показаны в поэме. Мы читаем:

Первым делом за горкой  
На месте сухом  
Мы построили дом.  
Будет станция в нём.  
Замелькали лопаты  
И горсти земли.  
Мы согласно проекту  
Канал провели.  
Берега мы мостили,  
Чтоб были крепки.  
В бой упорно вступили  
за русло реки.

Стометровый канал,  
Как по нитке, пролёг,  
Земляные работы  
Мы кончили в срок...—

и мы чувствуем по этим стихам, как напряжение поэмы ослабевает, её эпический размах сужается. О самом главном автор рассказывает мельком, наспех, в общих чертах, заменяя эпически развёрнутое повествование скороговоркой. Мелькают события, мелькают новые люди, которых поэт уже не успевает и показать.

А. Кулешов построил своё произведение как бы из пролога (каким можно считать зарождение и утверждение проекта строительства гидроэлектростанции) и эпилога (в котором гидроэлектростанция уже построена и прояснены личные судьбы героев), а то, что лежит между прологом и эпилогом, нашло в поэме слишком беглое решение.

Вот почему мы вправе говорить об известной незавершённости поэмы «Новое

русло». Можно посоветовать на то, что поэт, показывая, как наши люди преобразуют природу, только назвал ту «колхозную силу», которая вынесла на своих плечах всю тяжесть строительства гидроэлектростанции и «укрощения» реки. Эта «колхозная сила», «людская сила», наши люди, осуществляющие великие дела, должны быть изображены во весь свой рост. Именно в этом — залог дальнейшего роста как самого Аркадия Кулешова, так и всей нашей поэзии.

## 2

В поэме ленинградского поэта Сергея Орлова «Светлана» также речь идёт о постройке колхозной гидроэлектростанции, здесь также протекает подобная Петлянке речка Чалекса, —

Непокорённая, ничья,  
Заверчена, закручена.

Здесь также местные колхозники решили использовать её силу, её энергию, которая сотни лет пропадала впустую:

...ей сказали — путь далёк,  
Но ты примчалась в срок.  
Пора вступить в свои права,  
К работе приступать —  
Крутить большие жернова,  
Деревне ток давать,  
Леса пилить, в домах светить  
В колхозной стороне,  
Пора пшеницу молотить,  
Работать на гумне...

Здесь также существует два проекта, из которых один — передовой, новаторский, создан бывшим офицером Советской Армии Степаном Ипатовым, а другой проект — отсталый, устарелый, принадлежит его отцу, Трофиму, который считает проект Степана нереальным. Столкновением этих двух точек зрения и определяется конфликт, лежащий в основе произведения. Так же, как и в поэме А. Кулешова, оба эти проекта выносятся на общее собрание колхозников, и побеждает новаторская передовая мысль Степана.

Как видим, поэма «Светлана» напоминает появившуюся в печати годом раньше поэму «Новое русло». Это, конечно, не отнимает у поэмы «Светлана» её достоинств, но свидетельствует о том, что её автор, как художник, не во всём оказался достаточно самостоятельным, повторив вслед за Кулешовым не только сюжет, ряд характеристик, но даже и самые недостат-

ки поэмы — эскизность, незавершённость образов, особенно когда дело касается «колхозной силы», её творческого труда

Поэма «Светлана» написана от лица корреспондента, недавнего танкиста, прибывшего по заданию редакции на строительство колхозной гидроэлектростанции. Для этого героя поэмы, её лирического рассказчика, так же, как и для Стелана Ипатов, строительство гидроэлектростанции — тот же фронт; так же, как и Стелан Ипатов, он чувствует себя «армии строителей бойцом», и это позволяет ему правдиво запечатлеть если не художественно цельные образы наших людей, то, во всяком случае, некоторые существенные черты их творческой деятельности.

Наши рядовые люди осознают себя активной силой истории. Это хорошо передано в поэме.

А что до нас — так мы на всей земле  
Одни сейчас таким размахом строим...  
Вгляни на то, что делаем в селе...  
Вот только б нас оставили в покое,—

так говорит Трофим Ипатов, — и далее автор создаёт реалистическую картину мирного труда советских людей.

Он распахнул окошко для меня,  
А там столбы шагали вдоль посада,  
Шли верхолазы, крючьями звеня.  
И клуб рубила плотничья бригада.  
Проехал с саженцами яблонь воз.  
Плыл грузный трактор, траками сверкая,  
Хозяин встал во весь огромный рост,  
Перед окошком плечи расправляя,  
И замолчал...

Из этого окна  
В простом крестьянском доме  
деревянном

Вся родина ему была видна  
И Белый дом за морем-океаном,—

тот Белый дом, в котором замышляются хищнические планы и новые преступления против всего человечества.

Удался автору рассказ о Ленине, присутствовавшем на открытии электростанции в деревне Кашине. Это своего рода лирическое стихотворение, вкрапленное в поэму.

Нужно отметить и заключительную главу, выражающую столь присущее советским людям чувство ответственности за порученное дело. Это чувство находит своё выражение в картине телефонной переключки, замыкающей поэму. Сперва эта переключка охватывает только один район;

секретарь райкома вызывает на переговорную линию колхозы своего района:

Весь район поочерёдно начал  
Отклоняться, становиться в строй...

В этой переключке не только подводятся итоги проделанной работы и не только отмечаются успехи и достижения. Здесь отстающие получают тот урок критики, который помогает им преодолевать свои недостатки:

— «Горка». «Горка», где ты, «Горка»,  
где ты?

Дайте ей индуктором звонок.  
— «Горка» здесь, да только нынче летом  
Нам плотину не поставит в срок.

Мало руж, и на носу уборка.  
На неё у нас сейчас упор...»  
— «Не ссылайся на уборку, «Горка»  
Дай-ка мне парторга. Где парторг?»

Голос всё суровей, и сквозь свисты  
Треск разрядов, как металл, звенит:  
«Сколько на постройке коммунистов?  
Как, скажи, работают они?

Партия уборку и плотину  
Спросит с вас, ведь вам народ вести.  
Ты ж на самотёк работу кинул,  
Трудно стало — руки опустил...»

А парторг молчит у телефона,  
Что ж, парторг, не скажешь ничего?..  
Коммунисты по всему району  
В этот миг краснеют за него:

Переключка продолжается, приобретает всё более и более широкий размах. Она захватывает всю нашу страну, весь народ, увлечённый творчеством и созиданием:

И под вечер секретарь обкома,  
Отблеском заката озарён,  
Вызовет на линию райкомы,  
Кашляет, придвинет микрофон.

А когда торжественный знакомый  
Гимн страны прослушает земля,  
Вызовет на линию обкомы  
Сам товарищ Сталин из Кремля.

В Кремль пойдут со всей страны известья,  
И в ряду больших её работ  
Станцию на Чалексе безвестной  
Сталин в планах Родины учтёт..

Так поэтично раскрыта в поэме внутренняя связь того, что происходит на далёкой речке Чалексе со всем величественным делом строительства коммунизма. Рядовые, повседневные в наших условиях события в одном из многих колхозов связываются с процессами всемирно-историческими. В заключительной главе перед героями поэмы и перед её читателем словно

раздвигаются горизонты и, говоря словами Гоголя, становится «видно далёко во все концы света».

И всё же в целом поэма С. Орлова является произведением недостаточно продуманным, художественно незавершённым; затронув весьма важную и значительную тему, автор зачастую упрощает свою задачу, ограничиваясь беглым наброском там, где требуется художественно завершённая картина. В этом обнаруживается недостаточно серьёзное знакомство с жизненно-важным материалом нашей действительности, недостаточная глубина творческого замысла.

Главный конфликт поэмы заключается в борьбе между Ипатовыми — отцом и сыном. Сын отстаивает новаторский проект постройки гидроэлектростанции, а отец — устарелый и непригодный.

Сам по себе конфликт этот жизненен и закономерен, но по мере его развёртывания мы убеждаемся, что автор решает его, исходя из ложных предпосылок.

Ложность конфликта между Ипатовыми заключается в том, что борьбу передового с отсталым поэт изображает как столкновение между хозяйственником, который игнорирует вопросы политики, и коммунистом, не интересующимся вопросами хозяйства. Защищая свой отсталый проект, Трофим Ипатов заявляет: «Я, как хозяйственник, гляжу», на что сын возражает:

— «А ты, как коммунист, взгляни.  
Как коммунист  
Оно верней...»

и всеми своими доводами он подтверждает, что для него точка зрения хозяйственника и точка зрения коммуниста — нечто несоместимое и противостоящее одно другому. Возражая отцу, Степан Ипатов даже и не думает привести какие-либо хозяйственные соображения в пользу своего проекта.

В своей речи, являющейся кульминационным пунктом поэмы и определяющей её основной смысл, Степан апеллирует непосредственно к нашим детям и внукам, забывая о нуждах своих современников, не понимая связи вопросов строительства коммунизма с вопросами непосредственно хозяйственного характера. Это вносит черты абстрактности и в речь, и в самый образ Степана.

Говоря о необходимости наладить по-

новому руководству хозяйственным строительством, товарищ Сталин указывал:

«Для этого требуется... чтобы наши хозяйственные руководители руководили предприятиями не «вообще», не «с воздуха», а конкретно, предметно, чтобы они подходили к каждому вопросу не с точки зрения общей болтовни, а строго деловым образом, чтобы они не ограничивались бумажной отпиской или общими фразами и лозунгами, а входили в технику дела, вникали в детали дела, вникали в «мелочь», ибо из «мелочей» строятся теперь великие дела»<sup>1</sup>.

А вот судя по всему, Степан Ипатов (взгляды которого во многом определяют идейную направленность поэмы), рассуждает о постройке электростанции «с точки зрения общей болтовни», ограничиваясь общими фразами и лозунгами.

Степан, как коммунист, должен был доказать односельчанам, что проект его отца непригоден со всех точек зрения, в том числе и с хозяйственной. Но он как бы «выше» всего этого, — вот почему Степан, по воле автора, вынужден стоять на ходулях, а речь его приобретает характер декламации и риторики.

Трудно поверить также и в то, что наши колхозники — люди, обладающие большим практическим опытом и хозяйственной сметкой, вдруг оказались настолько зачарованными беспредметными и отвлечёнными рассуждениями Степана, что совершенно забыли о практической стороне проекта. А о ней, по воле автора, забывает не только Степан, но и вся масса колхозников.

Таким образом, ложное развитие конфликта неизбежно придаёт всему произведению искусственный, надуманный характер.

Поэтому и персонажи поэмы ставятся в ложное положение, в изображение характеров вкрадываются противоречия, нарушающие внутреннюю цельность образов.

Именно эти противоречивые черты мешают нам поверить в реальное существование Степана Ипатова, в правдивость образа героини поэмы — Вали, учительницы, окончившей Ленинградский педагогический институт.

Мы до самого конца поэмы так и не узнаём, что это за девушка. Мы не видим ни

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 348.

её реальной деятельности, ни её переживаний, связанных с этой деятельностью, ни её индивидуального своеобразия. Показывая Валю, автор в большинстве случаев ограничивается тем, что заставляет её произносить отвлечённые речи о коммунизме.

Впервые в жизни герой поэмы встречается с Вале́й,— и вот она, увидев совершенно не знакомого ей человека, ни с того ни с сего пускается в восторженные излияния:

Какие по нашей отчизне  
Хорошие люди живут.  
За будущее отвечаю,  
Что мы Коммунизмом зовём,  
В него они смотрят и знают...  
Что с нас там потребуют в нём.

Подобно Степану, Валя рассуждает о коммунизме не как о ближайшей цели, а как о неопределённом будущем, в котором «с нас потребуют».

Даже и на свидании со своим любимым, Степаном Ипатьевым, Валя произносит, главным образом, общие фразы:

Степан, как прекрасна жизнь,  
Мы тоже ведь строим трассу  
В колхозе своём — в коммунизм.

Автор не сумел поставить свою героиню в такие обстоятельства, которые помогли бы обнаружить своеобразие её характера. И хотя он наделил Валю замечательными качествами:

Счастье дай такой вот — не обронят  
Ни в грозу, ни в бурю, ни в беду  
Маленькие твёрдые ладони...—

всё же мы не можем верить автору только на слово. Вот почему мы равнодушны к тем отличным рекомендациям, которыми снабдил Валю автор и которые до самого конца остаются всего только рекомендациями.

Черты умозрительности и схематичности свойственны и образу старого Ипатьова, о котором Степан говорит:

Хозяевать умеет мой старик,  
А вот к масштабам новым не привык.

Однако Трофим Ипатьов остаётся «хозяйственником» только на словах. Его «хозяйственность» не находит никакого подтверждения в художественной ткани произведения. При этом С. Орлов не показал и того, что «хозяйственность» старого Ипатьова, направленная против живого дела, на самом деле является бесхозяйствен-

ностью, ибо с его узкими мерками в наше время нельзя решить больших задач, стоящих перед хозяйством. И отец и сын сталкиваются в поэме не как живые люди, а как воплощения отвлечённых категорий, что и придаёт всему конфликту надуманный характер.

Переноса борьбу нового со старым в условную плоскость, автор лишается возможности верно и глубоко запечатлеть характер этой борьбы, а стало быть, и характер персонажей этой поэмы. Это называется, например, в том, как преодолевает в поэме Трофим Ипатьов свои мелко-собственнические пережитки.

Всю борьбу с этими пережитками автор переводит в область... сновидений! Трофиму Ипатьову снится сон, будто он явился на склад, дал взятку кладовщику, получил сверх лимита оборудование для своей электростанции, помешал этим строительству других колхозных электростанций и теперь должен нести за это ответ... Трофим просыпается весь в поту, и тут «сон прервался, как лента в кино».

Напрасно С. Орлов думает, что пережитки капитализма в сознании людей можно увидеть только во сне. Они нередко встречаются и наяву, и об этом не следует забывать советскому писателю.

Мы так до конца произведения и не узнаём, как же Трофим Ипатьов в жизни, а не во сне преодолевает пережитки капитализма. Вот почему его образ получился художественно незавершённым.

Творческая деятельность наших людей показана С. Орловым недостаточно конкретно. Автор сводит всё дело к утверждению проекта гидростанции, а о самом строительстве в поэме говорится скороговоркой, в которой тонут реальные образы, реальные конфликты, реальные победы. Поэт проходит мимо многих существеннейших возможностей реалистического искусства, раскрывает действительность недостаточно глубоко и тем самым обедняет своё произведение. В результате тема, связанная с преобразованием природы, — несмотря на то, что в поэме есть ряд удачных мест, — в целом не получила достаточно полного художественного решения.

У С. Орлова немало погрешностей в языке и стиле. Порой речь автора становится вялой, неясной — слов много, есть образы, но они словно затуманены, носят аморфный, нечёткий характер:

Вот уж целое лето  
Ипатов Трофим  
Поднимает рассветы  
Чуть вырызнет свет,  
И рассвет на плотину  
Выходит за ним.

Здесь можно только приблизительно догадаться о том, что хочет сказать поэт.

Не всегда С. Орлов умеет найти точное, верное, единственно подходящее для его мысли слово:

...как красив  
Весь огненный под голубым  
Полей возделанных массив,  
И жаворонок бьёт над ним:

Почему жаворонок «бьёт»? Этот глагол здесь явно неуместен.

Встречаются в поэме неуклюжие инверсии, в результате которых стих звучит угловато, жёстко:

Снова будто всё на фронте как.  
Жара. Мотор молчит.  
«Нет поблизости ремонтников»,—  
Механик говорит.

Автор недостаточно заботится и о рифме, удовлетворяясь зачастую первой попавшейся под руку. Так, например:

Трактористы в углу с шофёром  
Развлеклись беседой технической,  
И, казалось, не будет спора  
На собранье об электричестве.

Такие стихи звучат вяло, невыразительно, что во многом объясняется невыразительностью самой рифмы: «технической — электричестве». И подобных рифм немало («кубометры — километров», «не хочет — точка», «проектах — сельэлектро» и т. п.).

Поэма «Светлана» — это пока ещё только разведка, и при этом недостаточно глубокая. Автор идёт в верном направлении, но пока ещё слишком робко и нерешительно, порою попадая на следы А. Кулешова, повторяя его опыт (а подчас и его промахи).

### 3

Место действия поэмы В. Урина «Дубрава мира» — Сталинградская область, её засушливые, степные районы.

Здесь создаётся одна из величайших строек сталинской эпохи — Сталинградская гидроэлектростанция. Здесь проходят шесть из восьми государственных лесных полос; советские люди ставят здесь мощную преграду суровому, они переходят в наступление на него, чтобы добиться богатых всходов, небывалых урожаев. Здесь изменится и пейзаж, и климат, а вместе с ними и самый быт людей, условия их жизни.

Борьба за осуществление этого великого плана преобразования природы, борьба за «пейзаж коммунистического завтра» и определяет содержание поэмы «Дубрава мира».

Вот перед нами картина знойного степного лета:

В песчаное лето, в июньскую рань  
речная пересыхала гортань.

Лежала сухая земля, покраснев,  
горячие ветры сжигали посев.

И бури степные одна за другой  
ломали, калечили колос тугой.

На борьбу с этими «скверными выходами» природы поднимаются наши люди, вдохновлённые гением Сталина.

Нам влага нужна? Лес задержит снега.  
Турбину поставить? Полны берега.  
Ветра потушить? Лес готов от души.  
Прохладой дышать? Сколько хочешь дыши.  
Охотиться надо? Вери дробовик.  
В дровишках нужда? Нам отмерит лесник.  
Грибы захотел собирать? Собирай.  
Косить? Так уж на тебе: во, урожай!

Так изображает завхоз Лычков будущее степных засушливых краёв, являющихся местом действия поэмы, и мы знаем: это будущее — не отвлечённое мечтательство фантазёра, а живое, конкретное дело.

Образ молодой, насаждаемой нашими людьми поросли, которой суждено стать могучей дубравой, точно и конкретно воплощает замысел поэта. Автор тесно связывает тему поэмы с борьбой за мир, ибо ничто так не дорого нашему народу, как возможность мирного строительства, мирного труда.

Так тема лесонасаждений приобретает в поэме «Дубрава мира» широкое значение. Оно подчёркивается и в самом названии, выражающем кровную заинтересованность наших людей в деле мира.

В поэме показано также, как переделка природы сопровождается наступлением на

всё то старое, отживающее, что сохранилось в сознании людей. Герои поэмы — начальник экспедиции Гайдуков, топограф Сергей Орехов, звеньевая Алёна Устинова — люди, захваченные планами преобразования. Они сталкиваются с другими людьми, вроде Бурмина — начальника участка ЛЗС, лишённого чувства ответственности, заботящегося не о существе дела, а только о внешних показателях. Стремясь блеснуть отличной сводкой, Бурмин забывает обо всём и губит посевной материал.

Борьбой нового со старым определяется сюжет поэмы, характер её коллизий.

Как видим, автор затронул жизненно важный материал, и именно это помогло поэту преодолеть ряд эстетско-формалистических пережитков, которые чувствовались в его книге «Весна победителей» и в других стихотворениях. Поэт проявляет в своём произведении интерес к живой действительности; этим и определяется перелом в творчестве В. Урина.

Но поэма «Дубрава мира» во многих отношениях не может ещё удовлетворить нашего требовательного читателя. В. Урин не сумел создать внутренне цельных, художественно завершённых характеров. Он рисует людей упрощённо, схематично.

Одна из героинь поэмы — Валя — принимает участие в насаждении лесов:

...Работает Валя на судоремонтном заводе,  
сюда на декаду направил её комсомол...

Однако мы ничего не узнаём о Вале, кроме того, что она бранится по каждому поводу, а порою и безо всякого повода. Когда звеньевая Лена Устинова просит её помочь собрать жёлуди, Валя только прубит в ответ:

— Да будь они прокляты трижды...  
— Вставай же, ты слышишь?  
— Да ладно уж, чёрт их возьми!

Вместо комсомолки — перед нами неразвитая, грубая девушка, примитивная, малокультурная. Вряд ли поэт хотел показать её именно такой.

Вот Гайдуков — начальник экспедиции. Судя по всему, автор хотел воплотить в нём лучшие качества человека сталинской эпохи. Алёна говорит о нём Сергею Орехову:

— Почему он такой?  
И вмешается смело  
и ведёт за собой,  
до всего ему дело!

А, казалось бы, что ему,—  
он в степи не один,  
пусть решает по-своему  
этот самый Вурмин.  
Нет, идёт неуклонно!  
Говорит напрямик...

Орехов отвечает ей:

— Ну, а как же, Алёна?  
Гайдуков большевик.

Но слова Алёны воспринимаются, как протокольная запись, а не живая характеристика, потому что высокая идейность Гайдукова не показана в действии; образ этот не раскрыт во всём его богатстве.

Показательна в этом отношении такая деталь. Гайдуков вступает в борьбу с бюрократом Бурминым. Бурмин враждебно относится к вмешательству Гайдукова, пытается оборвать его: «Попросим мы не вмешиваться вас». Но Гайдуков продолжает «вмешиваться». Отметая личную обиду, он предлагает Бурмину:

— Хотите, помогу вам? Дам машину.  
Пора с боронованием кончать.

Здесь намечено реальное, жизненное столкновение творческой передовой мысли с косностью чиновника. Но когда поэт пытается объяснить, в чём источник силы Гайдукова, он ограничивается общей и весьма туманной сентенцией:

...долг и человеческая зрелость  
руководили чувствами его.

И так — в большинстве случаев. Когда от автора требуется углублённая характеристика, он стремится отделаться либо общими словами, либо изложением техники и условий труда. Вот почему «техническая» сторона освещена в поэме зачастую гораздо более основательно, чем её герои. Как нужно производить гнездовой сев и каково его значение — читатель узнаёт из поэмы, а что из себя представляют люди, занятые гнездовым севом, — почти не видно. И это следует сказать не только о второстепенных персонажах поэмы, но и о главных — Алёне Устиновой, Сергею Орехове, Гайдукове.

Так, например, стараясь объяснить, что же он подразумевает под «человеческой зрелостью», которая руководила чувствами и поведением Гайдукова, В. Урин пишет:

Он понимал, что дело не в горячем,  
что влагу надо закрывать скорей.  
А то какие всходы мы получим?  
Понизим только силу жёлудей.

Спору нет, всё это верно — силу жёлудей понижать нельзя, но этого ещё слишком мало, чтобы выразить богатство внутреннего мира такого человек, как Гайдуков.

Таким же образом описываются и переживания Алёны Устиновой:

Алёна понимала,  
что требований много у весны,  
что выкопать траншеи — это мало,  
ведь жёлуди наклониться должны.  
Проращивать их надо в помещенье,  
а не под солнцем на сухой земле,  
и надо их укрыть надёжной тенью,  
беречь, перелопачивать в тепле.

Здесь нельзя не вспомнить указания М. И. Калинина, данного в беседе с корреспондентами газеты «Известия» и Всесоюзного Радиокомитета. М. И. Калинин говорил о том, что нельзя ограничиваться описанием одних только материальных достижений человека:

«Видимо, сторонники этого типа считают,— говорил М. И. Калинин,— что тем самым исчерпывается описание всего человека. Конечно, этого мало. Жизнь наша усложняется, народ становится культурнее и более требует для души. Поэтому надо показывать не только материальную, но и психологическую сторону жизни людей»<sup>1</sup>.

А вот эта психологическая сторона жизни людей в поэме В. Урина нередко отступает перед материальной, а порою и просто технически-производственной. Это приводит к обеднённой, схематичной обрисовке людей, преобразующих природу.

Когда же автор избегает технически-производственных мотивов, он начинает сам говорить за своих героев, строя их речь по законам обычного лирического стихотворения, чем, конечно, снижается реалистичность образов.

Так, мы читаем в поэме:

Эй, друзья!  
Узнаёте вы голос Орехова?  
Это он говорит:

— Песни отданы птицам,  
звёзды брошены вечеру,  
степь подарена лесу,  
моря — кораблю,  
а на долю мою горячо и доверчиво  
повторять,  
повторять это слово — люблю!

Это — лирика, принадлежащая самому В. Урину. Узнать в ней «голос Орехова»

или какого-нибудь другого персонажа поэмы невозможно, ибо автор лишает речь своих героев тех неповторимых разговорных особенностей, которые присущи каждому человеку. А так как именно язык — одно из наиболее выразительных средств характеристики образа, то, нивелируя его со своею собственной лирико-патетической речью, автор тем самым лишается возможности запечатлеть своих героев во всём их индивидуальном своеобразии. Вот почему герои поэмы воспринимаются подчас, как некая лирическая условность. — в их реальное существование трудно поверить.

Нередко автору изменяет художественное чутьё при показе реальных событий, конкретных действий людей. Его описания становятся вялыми, натуралистически-протокольными. Именно так изображено собрание, на котором обсуждаются вопросы гнездового сева:

Собрание идёт. От лица молодых  
поручено выступить Кате Смирных.  
Она о своём говорила звене,  
о том, что готова к весне не вполне.

Что нету у них деревянных лопат,  
а если железные — брать не велят.

И правильно! Жёлуди можно сгубить,  
Траншеи железной не следует рыть:

Звено к Бурмину обращалось не раз,  
но он не прислушался к голосу масс...

Директор прищурился, глянул на зал  
и несколько слов в заключение  
сказал...—

и дальше в поэме приводится речь директора, его советы и указания, может быть вполне уместные и своевременные, но записанные в порядке протокольного отчёта. «на всякий случай зарифмованного» (как говорил Маяковский), и только.

В поэме немало погрешностей, связанных с недостаточно бережным отношением к языку. Так, мы читаем:

Придумать что-то, избежать угрозы  
Бурмин не задавал себе труда.

Здесь речь поэта какая-то сбивчивая, невразумительная. Не всегда В. Урин считается с элементарными законами грамматики:

Постановили:  
в ответ на угрозы,  
с южных границ до полярных широт,  
через леса, перевалы, долины.

<sup>1</sup> М. И. Калинин. О литературе. Ленинград, 1949. стр. 110.





Л. ЛЕВИН

★

## АГИТАТОР ПАРТИИ

(О творчестве П. А. Павленко)

**М**ы с законной гордостью говорим, что советская литература является самой передовой, самой идейной, самой революционной литературой мира. Это первенствующее положение нашей литературы определили выдающиеся достижения её талантливых работников, вдохновляемых и руководимых большевистской партией.

Среди этих работников одно из первых мест по праву принадлежит Петру Андреевичу Павленко.

Литературная деятельность Павленко продолжалась немногим более двадцати лет. Все эти годы он провёл, как и подобает писателю-большевику, на передовых позициях борьбы за коммунизм. Он был писателем того нового типа, который создан нашей советской эпохой и отличительной чертой которого является непосредственное участие в великих боях за победу коммунизма.

Павленко родился 12 июля 1899 года в Петербурге. Отец его служил на железной дороге, мать была в прошлом сельской учительницей.

Вскоре после рождения сына семья из-за болезни матери переехала в Тбилиси.

В 1909 году Павленко поступил в реальное училище, которое и окончил в 1919 году.

В детстве он много и без разбора читал. Здесь были и неизбежные Майн Рид, Жюль Верн, Густав Эмар, Луи Жаколио и даже демонический преступник Антон Кречет. Потом круг чтения изменился: явились книги Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чернышевского и, наконец, Горького, который сыграл в формировании Павленко совершенно особую роль.

«Детство и юность мои, — вспоминал писатель много лет спустя, — прошли в Тбилиси, в Нахаловке, среди людей, лично знавших Горького. И вот всё самое прекрасное, о чём только можно было мечтать, собралось для меня в его образе».

Окончив реальное училище, Павленко переехал в Баку и поступил на сельскохозяйственное отделение местного политехникума. В 1920 году, тотчас после освобождения Баку войсками Красной Армии, он добровольно вступил в её ряды. В апреле 1920 года бакинская городская партийная организация приняла Петра Андреевича Павленко в ряды коммунистической партии.

За время своей службы в Красной Армии Павленко был и рядовым красноармейцем, и слушателем партийной школы, и политруком вооружённого речного парохода, и комиссаром военной флотилии. Он непосредственно участвовал в боях с врагом, пытавшимся задушить молодую советскую республику.

В 1921 году Павленко некоторое время работал в армейской газете «Красный воин». В декабре того же года он был демобилизован по болезни (уже тогда у него обозначились явные признаки наследственного лёгочного процесса).

Но продолжать сельскохозяйственное образование Павленко не пришлось. После демобилизации из армии, он был мобилизован на партийную работу.

В течение трёх лет — с декабря 1921 по декабрь 1924 года — Павленко выполнял целый ряд партийных обязанностей — от секретаря участкового комитета ВКП(б) до помощника секретаря Закавказского крайкома (секретарём был тогда Серго Орджоникидзе).

Следующие три года Павленко провёл в Турции, работая в торгпредстве СССР. В конце 1927 года он был переведён в Москву.

С этого времени и началась его профессиональная литературная работа.

Пётр Андреевич Павленко всю свою жизнь безраздельно посвятил служению социалистической Родине. В его биографии как бы отразились важнейшие исторические этапы, пройденные нашей страной.

Начиная литературную работу, Павленко обладал уже немалым жизненным опытом. Став писателем, он продолжал неутомимо обогащать и углублять своё знание жизни. С каждым годом всё более органической делалась его связь с действительностью, всё более непосредственным становилось его участие во всенародной борьбе за коммунизм.

Об этом красноречиво говорят основные этапы его писательской биографии.

В 1930 году — поездка в молодую колхозную Туркмению. В 1933 — путешествие в Дагестан. В 1934 — полугодовое пребывание на Дальнем Востоке и, в частности, в войсках Особой Краснознамённой Дальневосточной Армии.

Затем — продолжительная поездка на строительство Большого Ферганского канала имени Сталина (Узбекистан), участие в освободительном походе советских войск в Западную Украину, участие в войне с финской белогвардейщиной, участие в Великой Отечественной войне.

Кипучая общественная деятельность, которую развернул Павленко после войны, являясь депутатом Верховного Совета СССР, членом бюро Крымского обкома и Ялтинского горкома ВКП(б), ответственным секретарём Крымского отделения Союза советских писателей, членом редколлегии журнала «Знамя», редактором альманаха «Крым», — была для него ещё одним средством той борьбы за коммунизм, которую он вёл оружием художественного слова.

В своих многочисленных послевоенных поездках за границу Павленко выполнял благородную миссию советского писателя — пламенного борца за мир и дружбу между народами.

Уже эта краткая биографическая справка показывает, что вся жизнь Павленко

была неразрывно связана с жизнью страны и что он на деле являлся писателем нового типа — писателем-воином, писателем-бойцом.

Первые книги Павленко были посвящены Турции. Затем появились «Путешествие в Туркменистан», «Пустыня», «Баррикады». Эти произведения свидетельствовали, что в литературу вошёл талантливый и своеобразный художник.

Однако началом большой писательской биографии Павленко оказался роман «На Востоке».

Вскоре после выхода в свет этого романа Павленко опубликовал в журнале «Знамя» статью «Писатель должен быть бойцом». В ней он дал краткую характеристику своего творческого пути — от ранних произведений до романа «На Востоке».

«Я писал «На Востоке», — рассказывал Павленко, — очень трудно. Много раз малодушие сковывало меня, и я думал, чёрт возьми, взялся я за тему непосильную... Должен сказать, что я испытываю невероятное наслаждение, написав книгу. Оказалось, книга нужна стране... Такого ощущения своей связи с читателем я раньше никогда не испытывал... По существу только такие книги есть смысл писать... Нужно писать только самое острое, самое нужное, самое отчаянно важное».

То счастливое ощущение своей связи с читателем, которое Павленко испытал, написав «На Востоке», ему впоследствии привелось испытать не раз. Но почему же он впервые испытал это ощущение, написав именно роман «На Востоке», а не какую-нибудь из своих предыдущих книг, которые также получали положительную оценку читателей и критики?

Творческий путь Павленко не был свободен от ошибок и заблуждений. В некоторых своих произведениях (в особенности это относится к посвящённым Турции «Азиатским рассказам») писатель отдал дань эстетизму. Ниже пойдёт речь о той идейной борьбе, которая происходила в творчестве автора «Путешествия в Туркменистан», «Пустыни» и «Баррикад».

Роман «На Востоке» свидетельствовал, что эта борьба закончилась решительной победой здорового начала, ощутившегося в творчестве Павленко уже и в первые годы его литературной работы. Идеино-

художественная победа, одержанная писателем, явилась результатом его непосредственного участия в борьбе за построение социалистического общества.

Значение «На Востоке» в творческой биографии Павленко состояло в том, что этот роман знаменовал решительную победу большевистской идейности над ранними эстетскими увлечениями. Павленко твёрдо становился на путь социалистического реализма — единственного художественного метода, дающего писателю возможность глубоко проникнуть в действительность и раскрыть перспективы её дальнейшего развития.

В романе «На Востоке» Павленко выступил как писатель-большевик, считающий своим прямым долгом не только знать жизнь, но и вмешиваться в неё действительным оружием художественного слова, помогать народу в его великой борьбе за построение коммунистического общества. То, что в ранних произведениях писателя часто заглушалось пагубными эстетскими увлечениями, отныне победило и зазвучало в полную силу.

И в каком бы жанре ни работал Павленко впоследствии, он уже никогда не терял той связи с читателем, которую принёс ему роман «На Востоке». Эта связь укреплялась с каждым годом и в конце концов принесла Павленко подлинно всенародную славу, сделала его одним из самых любимых писателей в нашей стране.

Это стало возможным только потому, что после романа «На Востоке» творчество Павленко неизменно было посвящено «самому острому, самому нужному, самому отчаянно важному» для нашего народа, неизменно отличалось страстной большевистской партийностью.

Своеобразие Павленко как писателя тем и определяется, что после романа «На Востоке» большевистская партийность стала для него и единственно возможным отношением к любой разрабатываемой теме и одновременно основной темой. Главным героем, всегда привлекавшим внимание писателя, оставался большевистский агитатор и пропагандист — представитель единственной профессии, имеющей прямое отношение решительно ко всему, что связано с жизнью людей, начиная с выплав-

ки чугуна и кончая сложнейшими вопросами морали.

То, что было стихийно выражено в ранних произведениях Павленко, со времени его романа «На Востоке» стало осознанным принципом, которому писатель следовал на протяжении всей своей жизни.

Для понимания этого принципа большое значение имеет, казалось бы, эпизодический образ китайского коммуниста Сяо, созданный Павленко в романе «На Востоке».

В начале второй части романа автор рассказывает о том, как в марте 1933 года несколько революционеров-подпольщиков тайно собираются в Шанхае, чтобы информировать друг друга о ходе борьбы против японо-китайской военщины. Среди присутствующих — китаец Сяо, бродячий агитатор, самоотверженный борец за свободу и счастье китайского народа.

С огромной любовью и подлинным революционным пафосом пишет Павленко о боевой партийной деятельности агитатора Сяо.

«Он бастовал с носильщиками, сидел в тюрьмах с полевыми рабочими, голодал вместе с безработными. Он был профессиональным революционером, то есть должен был думать в беде за других... развивать ненависть в отчаявшихся, ярость в храбрецах, читать газеты неграмотным, петь революционные гимны над умирающими и говорить речи на любых митингах по любому деловому вопросу. Это был человек, в котором отражалась с удивительной яркостью воля масс к могучей счастливой жизни».

Так Павленко впервые подходит к главному волнующей его теме.

Глядя на Сяо, один из его друзей думает, что победивший народ поставит памятник таким людям. «И на камне памятника, на всех четырёх сторонах его скульптор высечет барельефы — великие битвы, в которых сражался и побеждал этот великий и славный полководец, Агитатор Партии».

Прекрасные слова об Агитаторе Партии являются ключом не только к роману «На Востоке», но и ко всему последующему творчеству Павленко вплоть до романа «Труженики мира», над которым писатель работал последнее время и который не успел завершить.

Помня об этих словах, мы почувствуем внутренний пафос таких произведений Павленко, как «Счастье» и «Степное солнце».

Эти слова помогут нам понять внутреннюю закономерность того пути, которым Павленко пришёл к воссозданию в своём творчестве образа товарища Сталина, образа, являющегося высшим выражением большевистской идейности.

Наконец, руководствуясь этими словами, мы сможем осмыслить внутреннее единство тех процессов, которые происходили в творчестве Павленко и сделали его самого пламенным и вдохновенным Агитатором большевистской Партии.

## 2

Павленко вступил в литературу в годы, когда успехи молодой советской литературы сопровождалась обострением классовой борьбы на литературном фронте. Расстановка сил в литературе отражала расстановку сил в стране.

В речи «О правом уклоне в ВКП(б)», произнесённой на пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 года, И. В. Сталин говорил: «...теперь у нас новая полоса развития, отличная от старого периода, от периода восстановления. Теперь у нас новый период строительства, период реконструкции всего народного хозяйства на базе социализма. Этот новый период вызывает новые классовые сдвиги, обострение классовой борьбы»<sup>1</sup>.

Говоря о лозунгах, выдвинутых партией в связи с новыми классовыми сдвигами в стране, И. В. Сталин подчёркивал: «Они составляют необходимые звенья одной неразрывной цепи, называемой наступлением социализма против элементов капитализма»<sup>2</sup>.

Наступление социализма против элементов капитализма происходило в те годы и на литературном фронте. Советская литература, возглавляемая её родоначальником М. Горьким, руководимая большевистской партией, уже добилась к тому времени выдающихся успехов, которые и знаменовали развёртывание социалистического наступления на литературном фрон-

те. Этому наступлению активно сопротивлялись враждебные силы, нашедшие своих выразителей и в литературе.

Именно в те годы воинствовали теоретики формализма, отстаивая независимость пресловутого «литературного ряда» и утверждая, что «остранение» является душой искусства.

В те годы боролась с передовой советской литературой буржуазная группа «Перевал», проповедуя классовый мир и примиренчество к врагу.

«Совсем молодым человеком пришёл я в писательскую организацию, — вспоминал Павленко в опубликованной уже после его смерти статье «Школа писателя — жизнь». — Я попал в среду людей, из которых иные уже ушли в историю; некоторые из них казались мне почти классиками. Они говорили странные, непонятные для меня слова: «торможение»... «развитие фабулы по спирали»... Я не мог себе представить, как это можно писать и вдруг совершенно точно узнать, что пора тормозиться. И что это такое «по спирали»?»

Первые книги молодого писателя — «Азиатские рассказы» и «Стамбул и Турция» тесно связаны между собой. Обе они проникнуты характерным для раннего Павленко противоречием: автор их несомненно наделён способностью к острому политическому мышлению, во многом правильно оценивает и самую жизнь, и свои писательские задачи, но в то же время ещё находится во власти пагубных эстетских увлечений.

Авторская декларация, предваряющая книгу «Стамбул и Турция», звучит весьма обнадеживающе: «Его история (речь идёт о Стамбуле. — Л. Л.) сделана людьми, имён которых мы не знали, не слышали и не встречали на страницах своей и общей истории, его улицы строили и заливали кровью герои чужих и не известных нам эпопей; в домах его жили люди, о которых не рассказывали нам ничего ни Лоти. ни Фаррер, так будничны и незаметны были они, эти люди, на взгляд поэтов».

Эти строки заставляют предполагать, что в книге Павленко Восток и его люди будут показаны нам по-новому, с новой точки зрения, без традиционной экзотики. Эти строки позволяют надеяться, что нам будет показан новый Восток, пробуждаю-

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 225.

<sup>2</sup> Там же, стр. 216.

шийся после вековой спячки, что автор изобразит простых людей этого Востока — рабочих и крестьян, о которых ничего не рассказывали и не могли рассказать «классики» буржуазно-колониальной литературы — Пьер Лоти и Клод Фаррер.

Но за только что приведённой прекрасной декларацией почти сразу следует откровенное признание: «После экзотических описаний города, сделанных и Теофилом Готье, и Элизе Реклю, и Фаррером, и нашим Бунным, хочется видеть нечто особенно поражающее разум, нечто не похожее на обыденность».

А Стамбул, оказывается, «буднично-обычный город». Автор не скрывает своего разочарования: «Провода телефонных линий протянулись над минаретами и завязали над ними паутину посредственной банальности».

Коль скоро сегодняшний день Турции «банален» и лишён вожделенной экзотики, остаётся искать её во вчерашнем дне. Следующий очерк книги озаглавлен: «Занятия стариной». Автор с видимым наслаждением погружается в мрачные тайны царствования «кровавого султана» Абдул-Хамида II.

Ни пробуждающегося от вековой спячки Востока, ни его незаметных героев в книге нет. Перед нами — традиционная экзотика старого спящего Востока — того самого, который столько раз показывали и Теофиль Готье, и Пьер Лоти, и Клод Фаррер, и «наш» Бунин...

Однако, если бы дело ограничивалось этим, книга Павленко была бы эпигонской и порочной от начала до конца.

Всё дело в том, что наряду с совершенно откровенным увлечением традиционной экзотикой, в «Стамбуле и Турции» содержатся и точные политические оценки современной турецкой действительности, и острые памфлетно-сатирические зарисовки, и трезвые мысли о месте, которое должен занимать писатель в жизни и борьбе своего народа.

В книге есть раздел «Вокруг искусства». В нём Павленко высказывает некоторые мысли о роли и задачах писателя.

«Жизнь отдана в переделку, — говорит он о жизни кемалистской Турции. — В такие дни писатель — формовщик. Проектировать контуры завтрашней жизни — его задача. Захватывать в лапу глаза и

чувства страны и толкать их вперёд и вперёд, за изгородь сегодняшнего. Но писатели высокого напряжения редки, как розовые бриллианты».

В этих словах, несмотря на их манерность, вообще свойственную раннему Павленко, нельзя не почувствовать — правда, в зародышевой форме, — те интонации, которые впоследствии составят самое главное и существенное в облике писателя.

В другом месте Павленко пишет: «Путешествия лишь тогда интересны, когда можно представить себя организатором данной страны».

Автор «Стамбула и Турции» не являлся ни «писателем высокого напряжения», ни «организатором данной страны». Традиционные экзотические увлечения не дали ему возможности стать ни тем, ни другим, заглушили то здоровое начало, которое ощущалось в его книгах. Но нам сейчас важно подчеркнуть, что оно уже и тогда существовало, определяя противоречивость раннего творчества писателя.

Эта противоречивость ощущается и в «Азиатских рассказах», хотя надо сразу же отметить, что над ними эстетские увлечения Павленко имеют ещё большую власть, чем над «Стамбулом и Турцией».

«...Первые мои, ближневосточные рассказы, — писал впоследствии Павленко, — не удались мне и оказались формалистическими... Восток получился не таким, каким я его знал. Всё оказалось слишком красивым и неправдоподобным. Я писал тогда, руководствуясь туманным «законом» торможений, скольжений и спиралей. Я не понимал, что всё это хоть и не украдено, а не своё».

«Не украдено, а не своё», — так определил сам писатель свои ранние рассказы, и с этим нельзя не согласиться.

В рассказах Павленко о Турции всё потому оказалось «слишком красивым и неправдоподобным», Восток потому получился не таким, каким он был на самом деле, что автор отправлялся не столько от живой действительности, сколько от старых литературных традиций.

Вопреки жизненной правде, вопреки реальным наблюдениям писателя, Восток предстал в его книгах загадочным азиатским колоссом, спокойно и невозмутимо

наблюдающим, как столетия летят мимо него, ничего в нём не изменяя.

Вместо того, чтобы вести своего читателя «вперёд и вперёд, за изгородь сегодняшнего», Павленко вёл его назад, к экзотической старине, изображение которой стилизовалось под эстетскую, мертвяще-холодную манеру Ивана Бунина.

«Слова его были пышны, — писал Павленко про одного из своих персонажей, султана Мехмеда, — мысль, шагающая по арабизмам, истекала грузным плодородием образов». Это полностью относится и к автору «Азиатских рассказов».

Возникает законный вопрос: как могло случиться, что человек с такой биографией, как Павленко, — воин, большевистский комиссар, — писал рассказы, которые ему самому впоследствии пришлось характеризовать как формалистические?

Ответ на этот вопрос следует искать в чрезвычайной сложности социально-политической обстановки, существовавшей в те годы на литературном фронте.

«Я начал с ошибок и работал одно время плохо, неверно, — писал Павленко в статье «Писатель должен быть бойцом». — Я начал свою литературную жизнь, путаясь в «Перевале». Моё счастье, что я быстро ушёл оттуда, быстро порвал с этой группировкой, политическая характеристика которой нам известна».

Вступление Павленко в «Перевал» свидетельствовало о недостаточной идейной зрелости молодого писателя, о его неумении разобраться в сложной расстановке классовых сил на литературном фронте. Пребывание в «Перевале» в сильной степени сказалось и на творчестве Павленко, определив, в частности, влияние Бунина на «Азиатские рассказы».

Справедливость требует отметить, что в первой книге Павленко были и такие рассказы, в которых несомненно ощущалось острое политическое задание. Но и в них тема, если так можно выразиться, вязла в «грузном плодородии образов» и с трудом пробивалась к читателю. В этих рассказах отчётливо ощущалось резкое противоречие между замыслом и воплощением. Это противоречие непременно должно было дать толчок дальнейшему творческому развитию писателя.

К числу таких рассказов относятся «Два короля». Это рассказ о той боли, которую

испытывает турецкий народ в связи с порабощением его родины английским империализмом. «Всё новое — от англичан, — с горечью говорит один из персонажей. — Где был мир — там теперь распри, где люди ели лепёшки на меду — там едят теперь корни диких растений».

«Два короля» — рассказ, разоблачающий человеконенавистническую колониальную политику британского империализма и, кстати сказать, имеющий прямое отношение к Англии и сегодняшнего дня.

### 3

Весной 1930 года московская писательская бригада выехала из Москвы в Туркменистан. В состав бригады входили Леонид Леонов, Владимир Луговской, Всеволод Иванов, Пётр Павленко, Николай Тихонов и Григорий Санников.

Поездка писателей в Туркмению отнюдь не была эпизодической или случайной. В ней нашли своё частное выражение общие процессы, происходившие тогда в советской литературе.

Огромные успехи социалистического строительства оказали могучее влияние на все подлинно талантливые и жизнеспособные силы советской литературы. Началось широкое сближение писателей с жизнью, создавался новый тип писателя — «организатора страны», о котором мечтал Павленко.

Результатом поездки писателей в Туркмению оказался «Туркменистан весной» — «Альманах Первой писательской бригады ОГИЗ'а и «Известий ЦИК СССР», совершившей поездку по Туркменистану весной 1930 года». Л. Леонов опубликовал в альманахе повесть «Саранчуки»; В. Луговской — цикл стихов «Большевикам пустыни и весны»; Вс. Иванов — «Повесть бригадира М. М. Синицына»; и пьесу «Компромисс Наиб-Хана»; Г. Санников — поэму «В гостях у египтян»; Н. Тихонов — цикл стихов («Люди Ширама», «Ворота Гаудана», «Искатели воды» и др.) и очерки; П. Павленко опубликовал в альманахе повесть «Пустыня» и очерки «Шёлк» и «Чувство воды», впоследствии вошедшие в его книгу «Путешествие в Туркменистан».

Выше уже говорилось, что «Азиатские рассказы» и «Стамбул и Турцию» следует рассматривать в тесной связи друг с другом.

То же самое нужно сказать о «Путешествии в Туркменистан» и «Пустыне». В этих книгах Павленко впервые обращается к живой практике социалистического строительства. Обе они свидетельствуют о крупных сдвигах, происшедших в творчестве писателя.

Поездка в Туркмению столкнула Павленко с живой, бурно развивающейся советской жизнью. В его творчестве начался процесс пересмотра былых ошибок и заблуждений. Последовал решительный разрыв с «Перевалом». Одним из свидетельств этого разрыва явилась статья «Что дала мне поездка с бригадой в Туркмению», прямо направленная против идейно-творческих принципов «Перевала».

В книге «Путешествие в Туркменистан» Павленко и сам подчёркивает, что перемены, начавшиеся в его творчестве, явились результатом сближения с социалистической действительностью. «Мы, шестеро писателей бригады, — пишет он, — ехали установить лицо сегодняшнего Туркменистана под всеми мыслимыми углами зрения и, приехав, увидели, что надо писать не углы своих зрений, но кривую позиций труда и быта...»

В Туркменистане Павленко собственными глазами увидел тот радостный, поистине весенний подъём (недаром бригада назвала свой альманах «Туркменистан весной»), которым были охвачены трудящиеся молодой Советской Туркмении.

На основе сталинской национальной политики, при братской помощи великого русского народа, туркменский народ строил новую жизнь, превращая отсталую окраину царской России в цветущий социалистический край.

В своих туркменских очерках Павленко выступает уже как подлинный «организатор данной страны». То, что в «Стамбуле и Турции» осталось лишь декларацией, осуществляется на деле в «Путешествии в Туркменистан».

Книга посвящена «Туркмении земледельческой». Автор с большим подъёмом рассказывает о серьёзных успехах колхозного строительства в молодой Туркменской республике. Но при этом интонация его лишена какого бы то ни было умиления. То, что ему приходится видеть, он оценивает с подлинно хозяйской требовательностью «организатора страны».

Он резко критикует ошибки колхозного строительства под Ашхабадом и Мервом. Плохим колхозам в аулах Безмеин и Кунгур он противопоставляет хороший колхоз в Боссаге.

Специальный очерк посвящён в книге проблеме утильсырья. Эта и многие другие совершенно конкретные хозяйственные проблемы горячо волнуют Павленко. Однако особое место занимают в книге размышления о воде. «Тот, кто не думает в Туркмении о воде, не думает о социализме», — подчёркивает писатель. За два десятилетия до начала одной из великих строек коммунизма он мечтает о ней, хотя ему порой и кажется, что это скорее похоже «на геологическую фантазию, чем на деловую проблему». Но ведь в том-то и всё дело, что грандиозные созидательные планы коммунизма оказываются гораздо богаче любых фантазий, в том числе и геологических...

В книге «Путешествие в Туркменистан» Павленко, между прочим, замечает: «Тема из очерка переносится в роман, будучи проверена и узнана до крайности».

Эта формула определяет одну из закономерностей творчества Павленко. Очерковое освоение темы почти всегда предшествовало у него разработке этой темы в романе, повести или рассказе.

Так было, например, в работе над турецким материалом. Из очерка «Ковры» тема перешла в рассказ «Два короля», из очерка «День республики» — в рассказ «Мастера Эйюба». Другое дело, что в ранних произведениях Павленко тема переносилась из очерка в рассказ не для более глубокой её разработки, а для откровенной эстетизации.

В очерках о Туркмении картина существенно меняется.

В «Аму-Дарьинских берегах» описывается, как инженер, специалист по водному хозяйству, получает сообщение о том, что вода вырвалась на волю и заливает бахчи. Инженер немедленно принимает меры.

В «Чувстве воды» излагаются две точки зрения туркменских ирригаторов на развитие водного хозяйства в пустыне. Согласно одной из них предполагалось открыть водам Аму-Дарьи путь в Сарыжамышскую впадину, а оттуда направить их к Каспию (эта точка зрения ныне закреплена).



лена в строительстве Главного Туркменского канала). Другая точка зрения заключалась в том, что «вода хороша, но не всякая, колодезь в пустыне — добро, а речной поток — зло».

Из очерков «Аму-Дарьинские берега» и «Чувство воды» тема, «будучи проверена и узнана до крайности», перекочевала в повесть «Пустыня».

В «Пустыне» существует как бы два конфликта — внешний и внутренний.

Внешний конфликт построен на героической борьбе советских людей со стихийным бедствием. Исследовательская партия инженера Манасина выступает на борьбу с вышедшей из берегов Аму-Дарьёй. Горсточка советских людей в немыслимо трудных условиях каракумской пустыни, преследуемая по пятам басмачами, мужественно сражается с водой, охраняет пастбища в районе бедствия и одновременно наблюдает за движением потока.

Внутренний конфликт построен на споре между инженером Манасиным и техником Максимовым. Манасин двадцать лет мечтает о переводе Аму-Дарьи из Арала в Каспий. Но мечты его оторваны от действительности, он не видит реальных путей к решению этой грандиозной задачи и остаётся романтически настроенным одиночкой. Максимов же считает, что надо использовать подземные воды Кара-Кумов. «Четыре тысячи мелких колодцев, исправно функционирующих, возродят Кара-Кумы на всём протяжении», — говорит Максимов.

Во внешнем конфликте победителями выходят все мужественные советские люди — и Манасин, и погибший в борьбе с басмачами Максимов, и многие другие. Во внутреннем же конфликте побеждает не Манасин и не Максимов, а Ключаренков, директор каракумского совхоза, человек, наиболее близкий автору среди персонажей повести. «Пустыня не раздражала его, как Манасина, — пишет Павленко о Ключаренкове, — и не пугала, как Максимова... Он принимал пустыню потому, что она существует, и искал средства сделать её жилой».

Образ большевика Ключаренкова имеет большое значение не только в «Пустыне», но и в творчестве Павленко вообще. Этот образ представляет собой первую разведку в том направлении, которое очень скоро станет для Павленко самым главным.

В конце повести Ключаренков отправляется жить в пустыню. «...Обстраивать её будет, — говорит о нём Манасин со смешанным чувством горечи и зависти. — У него семьдесят семь дел и все на один прицел. В сущности, что же? В сущности он всегда одно дело знает, чем бы ни занимался».

Такие люди, как Ключаренков, действительно всегда знают одно дело, чем бы им ни приходилось заниматься. Это дело — строительство коммунистического общества.

От Ключаренкова прямая дорога ведёт к героям романа «На Востоке» — Михаилу Семёновичу и Шотману, к герою романа «Счастье» — полковнику Воропаеву.

Но Ключаренков ещё не обладает всеми теми качествами, которыми должен обладать большевистский деятель. В частности, у него нехватает воображения, чтобы увидеть за туманными мечтами Манасина контуры реального завтрашнего дела. Ключаренков больше сочувствует Максиму, нежели Манасину. «В его мозгу слово «колодезь» было более простым и дешёвым, чем «море».

В прекрасном очерке «Крым, которого ещё не было» Павленко почти через двадцать лет возвращается к «Пустыне» и не без смущения признаётся в допущенной там недальновидности.

В очерке описывается разговор с неким мелиоратором. «Читал я вашу брошюрку... «Пустыней», кажется, называется, — довольно небрежно заметил мой собеседник, назвав повесть брошюрой, как мне тогда показалось, исключительно из пренебрежения к литературе. Да нет, он любил литературу, как тотчас же выяснилось, и в конце концов согласен был считать интересной даже мою брошюрку «Пустыня», если бы я поддержал в ней идею великого каракумского канала, преобразующего пустыню, а не ушёл от этой идеи в сторону».

Непосредственно вслед за этим мелиоратор даёт объяснение ошибке, допущенной в своё время в «Пустыне». «А ушли вы потому, что убоялись грандиозности проекта... не посмели сами построить этот канал в своём произведении. Так ведь? Убоялись? Ах, не решились по слабому знакомству с предметом?»

Разговор Павленко с мелиоратором несомненно является своеобразной формой писательской самокритики.

«Путешествие в Туркменистан» и «Пустыня» знаменовали обращение писателя к реальной социалистической действительности. Творческие последствия этого обращения оказались глубоко плодотворными. Выдвинутый Павленко ещё в очерках о Турции лозунг борьбы за писателя — «организатора страны», умеющего вести своего читателя «вперёд и вперёд, за изгородь сегодняшнего», практически осуществлялся в творчестве писателя. Весьма знаменательны в этом смысле слова, сказанные автором о Ключаренкове: «Он был твёрдо уверен, что инженер вовсе не мастер домов, мостов и паровозов, а организатор рабочих сил для стройки домов и мостов, что врач — организатор масс по созданию общественного здоровья, а писатель — организатор масс для обретения здоровых жизненно-необильных эмоций».

Это представление о писателе — «организаторе страны», «организаторе масс», — заложенное ещё в очерках о Турции, окрепло и утвердилось в туркменских произведениях. Естественно, что при этом отпало, как шелуха, многое из того, что было характерно для «Азиатских рассказов» и «Стамбула и Турции». Отпало, прежде всего, пагубное увлечение ориентальной экзотикой, строже и прозрачнее стал язык, стройнее и организованнее образное мышление.

Однако туркменские произведения ещё далеко на завершали путь Павленко к реалистическому письму. Писателю, освободившемуся от эстетского стилизаторства, предстояло ещё овладеть искусством проникновения в душевный мир советских людей, мастерством реалистической лепки человеческих характеров.

Серьёзным недостатком туркменских очерков Павленко является их «безлюдность». Кроме агронома Крутцова, полуканекдотического бухгалтера Туберозова и шелководы Анна-Мамеда, в них нет живых образов строителей молодой советской Туркмении.

«Пустыне» предпослан многозначительный эпиграф: «Люди проходят, события остаются». Может быть, недостаточное внимание к людям и послужило причиной того, что персонажи «Пустыни» психологически обеднены. Принципиально противопоставляя свою повесть «перевальскому» болезненно-надрывному психологизму, Пав-

ленко, видимо, ударился в противоположную крайность и хотя бы ненадолго поверил, что советская реалистическая проза может существовать без типизации характеров и без их глубокой психологической разработки.

«Пустыня» и туркменские очерки свидетельствовали о значительных идейно-творческих успехах Павленко. В то же время они выдвигали перед писателем новые задачи борьбы за реалистическое мастерство.

## 4

Кроме «Путешествия в Туркменистан» и «Пустыни», Павленко опубликовал в 1932 году ещё два произведения — «Тринадцатую повесть о Лермонтове» и роман «Баррикады».

«Тринадцатая повесть о Лермонтове» является одним из самых ранних произведений Павленко. Она датирована августом — сентябрём 1928 года. Если бы мы этого не знали, нам было бы очень трудно объяснить, как мог Павленко после своих туркменских произведений написать такую повесть о великом русском поэте.

Прежде всего — почему повесть названа тринадцатой? Публикуя свою книгу, Павленко предпослал ей эпиграф: «В 193... году появилось двенадцать произведений о Лермонтове. (Из газет)».

На рубеже тридцатых годов действительно появилось значительное количество книг о Лермонтове. В большинстве этих книг Лермонтов представлял как пустой прожигатель жизни, светский волокита.

Приходится с сожалением констатировать, что и в «Тринадцатой повести о Лермонтове» дело обстоит не лучше. Повесть посвящена роману поэта с заезжей французской авантюристкой Аделаидой Омер де Гелль. Лермонтов представлен в этой повести таким же прожигателем жизни и светским волокитой, каким он представлял в других книгах, появившихся в те годы.

Если «Тринадцатая повесть о Лермонтове» в каком-нибудь отношении и любопытна, то, пожалуй, только как пример того, что формалистско-эстетские грехи очень часто идут рядом с грехом натурализма. Павленко писал свою повесть о Лермонтове одновременно с «Азиатскими рассказами». В этой связи, а отнюдь не рядом с написанным в 1932 году романом «Баррикады», её и надо рассматривать. Если в

«Азиатских рассказов» формалистические увлечения выразились в пристрастии к восточной экзотике, то в «Тринадцатой повести о Лермонтове» они сказались в пристрастии к самому грубому натурализму, который совершенно не характерен ни для одного из всех предыдущих и последующих произведений Павленко.

Совсем другую картину являет собой роман «Баррикады», действительно раскрывающий динамику творческого развития Павленко после «Путешествия в Туркменистан» и «Пустыни».

«Роман написан,— читаем мы в посвящении,— с чувством, какое возникает при первом представлении о годах нашего детства и отрочества. Он не история и в то же время он не вымысел, он ощущение нашего прошлого».

Защищая Советы, как форму диктатуры пролетариата, Ленин писал: «Эта власть— власть того же типа, какого была Парижская Коммуна 1871 года».<sup>1</sup>

Именно поэтому, приступая к работе над романом о Парижской Коммуне, Павленко испытывал то чувство, какое «возникает при первом представлении о годах нашего детства и отрочества».

Обращение писателя к исторической теме в данном случае было продиктовано не чем иным, как интересом к современности.

«...В самый разгар работы над «Баррикадами»,— рассказывал Павленко в своей брошюре «Как я писал «Баррикады» (1934),— пришла мысль, какой же явится моя повесть — исторической или нет?.. Но мне не хотелось, чтобы она была исторической... Мне хотелось не увести читателя в историю, а историю придвинуть к нам, написать так, чтобы присвоить себе Коммуну, завладеть ею для нашей памяти...»

«Баррикады» являются историческим произведением несколько особого типа. Своеобразие его состоит в том, что читатель постоянно ощущает связь изображаемых исторических событий с революционной современностью. По отношению к другой исторической эпохе это могло бы выглядеть как модернизация истории, по отношению же к Парижской Коммуне это глубоко оправдано.

Сцена выступления певицы Елены Рош в театре «Жимназ» перед революционным народом столь сильно волнует может быть именно потому, что автор невольно заставляет нас вспомнить точно такие же эпизоды незабываемых первых лет революции в нашей стране... Эта сцена, как и многие другие,— «не история и в то же время не вымысел». Она — «ощущение нашего прошлого».

Недаром в романе повторяются прекрасные слова: «Кто не лежал на мокрой земле, вшивый, с винтовкой, примерзающей к пальцам, с глазами, которые не открывались от голода, и в то же время не думал, что мир прекрасен, тот никогда не жил и ничего не знает о жизни». (Эти слова понравились М. Горькому и были отмечены в его письме к Павленко от 1 января 1933 года как пример верного патетического тона).

Недаром роман посвящён финскому журналисту, убитому в дни контрреволюционного заговора в Ленинграде летом 1920 года, и французской женщине, расстрелянной интервентами в Одессе, и эстонскому коммунисту, убитому жандармами без суда, и корейскому революционеру, расстрелянному японцами...

В «Баррикадах» нет такого исторического лица, которое мы могли бы признать главным героем романа. Много внимания автор уделяет, скажем, Ярославу Домбровскому, видному польскому революционеру, одному из самых выдающихся военных руководителей Коммуны. Но главным героем «Баррикад» он не является.

Перед читателем проходят и другие руководители Коммуны, её так называемые «делегаты» — Ригз, Груссе, Ферре, Делеклюз. Но среди них опять-таки нет ни одного лица, которое мы могли бы признать главным героем романа.

В «Баррикадах» действуют и простые люди Парижа, так сказать рядовые герои Коммуны — столяр Равэ, водопроводчик Бигу, машинист Ламарк, певица Елена Рош, художник Буйссон. С ними связаны многие яркие эпизоды романа, но его главным героем мы никого из них также не назовём.

«..Главным героем повести мне хотелось сделать самоё революцию, её движение в целом, её поток,— рассказывал Павленко в брошюре «Как я писал «Баррикады».—

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 24, стр. 19—20.

Восстание было самым главным и ответственным героем повести.

Этот замысел определяет и достоинства и недостатки «Баррикад».

Осуществляя его, Павленко убедительно и ярко показал всенародный характер борьбы за Коммуну.

Выйдя из боя, художник Буиссон говорит своему новому другу Генриху Гродзенскому: «А картину окопов, проходящих оквзвь быт, всё-таки написать можно».

«Сражение... в котором хозяйки под пулями разжигают очаги,— отвечает ему Гродзенский — ...сражение, в котором принимают участие все... нет, это выше искусства».

В словах Гродзенского нас интересует сейчас не то, что он ограничивает возможности революционного искусства, а то, что он подчёркивает всенародный характер Коммуны.

Да, Парижская Коммуна была сражением, в котором принимали участие все. В этом состояла её сила и одновременно слабость. Восстание было предоставлено самому себе; оно не руководилось коммунистическим авангардом. Руководство революцией 1871 года во Франции «...делили между собой две партии, из коих ни одна не может быть названа коммунистической партией»<sup>1</sup>. Именно поэтому трагедия 28 мая 1871 года и стала возможной.

Всё это Павленко стремился показать в «Баррикадах» и в значительной степени справился со своей задачей.

В то же время звучание романа было ослаблено намерением автора сделать своим героем «самое революцию, её движение в целом, её поток». В этом намерении сказались ещё не преодоленные заблуждения автора «Пустыни», выразившиеся в ошибочном эскизе: «Люди проходят, события остаются». Павленко ещё не отдавал себе отчёта в том, что нельзя по-настоящему изобразить события, не изображая людей. То, что герои «Баррикад» не задерживаются в нашей памяти, наносит ущерб и восприятию описываемых автором событий. Одно неразрывно связано с другим.

«Героем своим я видел революцию и сознательно отказался от фабульной связи

героев», — подчёркивал Павленко в брошюре «Как я писал «Баррикады». А это привело к тому, что книга стала фрагментарной. Вместе с «фабульными связями героев» распались и необходимые для романа композиционные связи.

«Баррикады» были первой и в целом удачной попыткой советского писателя воспроизвести бессмертную героиню Парижской Коммуны. Однако победа, одержанная Павленко, стала бы гораздо значительней, если бы писатель сумел до конца преодолеть свои прежние заблуждения. Многие из того, что ограничило писательские возможности автора «Пустыни», ощущалось и в «Баррикадах».

«Он уже знал по себе, — писал Павленко о Буиссоне, — как неволен художник произвольно обновить своё мастерство, как бесплодны попытки отыскать новое посредством механического изменения привычных представлений о вещи, что новое в искусстве есть каждый раз новое качество, а не просто лишняя вещь по счёту».

Знаменательные слова! Они относятся, конечно, не только к Буиссону.

Работая над «Баррикадами», Павленко хотел «обновить своё мастерство» и создать произведение зрелого реалистического стиля. В полной мере это ему не удалось. Следуя своему прежнему заблуждению («люди проходят, события остаются»), Павленко пытался писать, главным образом, о событиях и не особенно заботился о том, чтобы написать людей. Кроме того, «Баррикадам» была присуща неовоиственная реалистическому роману почти монтажная дробность действия. В результате — при наличии в «Баррикадах» многих сцен, согретых подлинным революционным чувством, не всё в романе волнует читателя.

Изображая Буиссона, писатель несомненно имел в виду и более общую тему отношений художника и действительности, искусства и революции.

В отличие от многих своих литературных сверстников Павленко писал не столько об отношениях искусства и революции, сколько о самой революции. Тема отношений художника и действительности никогда не имела в творчестве Павленко того исключительного значения, какое она некогда имела, скажем, в творчестве К. Федина.

В «Баррикадах» даётся совершенно отчётливое противопоставление парижских

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 94.

«аристократов духа», посетителей книжной лавки на улице Турнон, 15, возмущающихся тем, что в кафе «Одеон» исчезли бриоши, и Буиссона, с самого начала включающегося в борьбу с оружием в руках.

Но, размышляя о судьбах искусства в эпоху революционных потрясений и разоблачая всем содержанием романа порочную теорию мнимой «незаинтересованности» искусства жизнью, Павленко совершает другую ошибку. Он полагает, что бурные революционные события настолько выше искусства, что оно бессильно их выразить. Художник должен участвовать в революции только с оружием в руках. В оружии искусства революция якобы вообще не нуждается.

В начале романа Гродзенский сказал Буиссону, что сражение, в котором принимают участие все, — «выше искусства». Буиссон не согласился с Гродзенским, но в конце романа вновь вспомнил его слова. «И какое там искусство, — думал Буиссон. — Гродзенский по-своему был прав, какое ещё искусство может быть нужно в эти дни в человеческом обществе? Проблемы жанров? Скудоумное идиотство. Блажь».

Напрасно было бы думать, что эти слова Буиссона направлены против искусства, отдалённого от жизни, противопоставленного ей. Они направлены против искусства вообще.

Успешно преодолевая порочные «перевальские» представления об искусстве, якобы стоящем выше действительности, Павленко, как это нередко случается в пылу полемики, впал в противоположную крайность. Законно стремясь подчеркнуть величие революционных событий, он неправомерно принизил искусство.

Несмотря на существенные недостатки, присущие «Баррикадам», идейно-творческая эволюция Павленко от «Азиатских рассказов» к этому роману была в высшей степени плодотворна. Писатель навсегда расстался со своими ранними эстетскими увлечениями и твёрдо вступил на путь борьбы за реалистическое искусство.

В 1934 году в брошюре «Как я писал «Баррикады» Павленко отмечал: «Я понимаю мастерство не только как сумму знаний слова, метафор, острых драматических конъюнктур и, может быть, меньше всего как сумму именно этих знаний, а прежде всего как огромное умение всё описывае-

мое представить живую жизнь, таким безусловно происходящим, чтобы у читателя даже не возникло сомнений в том, что такого не могло быть или если оно и могло быть, то не так».

В 1931—1932 годах, во время работы над «Баррикадами», Павленко был ещё далёк от таких взглядов на писательское мастерство. Они пришли позже, после знакомства Павленко с Алексеем Максимовичем Горьким.

## 5

Павленко познакомился с Горьким в 1932 году. Алексей Максимович просил зайти к нему и рассказать о Ближнем Востоке.

С радостью приняв приглашение, Павленко явился к Горькому. Тотчас завязался оживлённый разговор. Узнав о том, что Павленко только что закончил книгу, посвящённую Парижской Коммуне, Горький «немедленно посоветовал то-то и то-то прочесть».

При прямой поддержке Горького Павленко стал активным общественным деятелем, повседневно вникающим в литературную жизнь. Он и до 1932 года вёл большую работу во Всероссийском союзе писателей, но его общественная активность особенно повысилась после того, как партия ликвидировала изжившую себя РАПП, создав тем самым все условия для бурного подъёма советской литературы.

Творчеством Павленко Горький заинтересовался ещё в 1930 году. В статье «О литературе» он назвал имя Павленко в числе талантливых очеркистов, хорошо чувствующих социально-педагогическое значение своей работы. В 1931 году в письме к С. Н. Сергееву-Ценскому, предлагая ему послать одну из своих новых работ в журнал «Красная новь», которым руководили тогда Вс. Иванов, Л. Леонидов и А. Фадеев, — Горький, между прочим, заметил: «Тут ещё интересует меня Павленко».

Павленко стал членом Оргкомитета Союза Советских писателей, с января 1933 года по июль 1935 года возглавлял журнал «30 дней», продолжительное время являлся ближайшим помощником Горького по редактированию журнала «Колхозник» и альманаха «Год шестнадцатый», «Год семнадцатый» и т. д.

22 декабря 1932 года, готовясь стать редактором журнала «30 дней», Павленко

обратился к Горькому с большим письмом. Он рассказывал о своих планах перестройки журнала и ждал от Горького совета и помощи. В том же письме он попросил Алексея Максимовича высказать своё мнение о ранее посланных ему «Баррикадах».

Горький очень быстро прочитал «Баррикады» и уже 1 января 1933 года написал Павленко ответное письмо. После целого ряда советов и указаний относительно программы журнала «30 дней» Горький подверг весьма суровой критике посланные ему «Баррикады». Возражения Горького вызвали общий тон книги и её композиция. Горький отметил, что «Баррикады» значительно выиграли бы, если бы были написаны не патетически и не фрагментарно, а эпически, то есть в том тоне, на который настраивает посвящение. Горький отметил места, где патетический тон звучит уместно (они уже приводились выше — «кто не лежал на мокрой земле, вшивый, с винтовкой, примерзающей к пальцам» и т. д.). Далее шёл ряд стилистических замечаний. В заключение Горький просил на него не обижаться и подчёркивал, что ценит дарование Павленко и верит в него (Архив А. М. Горького).

В ответном письме Горькому Павленко писал: «Книжка показалась критикам хорошей не потому, что она на самом деле хороша, но потому, что она написана на действительно хорошую тему о Парижской Коммуне. Недостатки спрятались за тему, это мне теперь видно самому» (Архив А. М. Горького).

Так мудрые указания великого писателя воспитывали в Павленко критическое отношение к своей литературной работе, высокую идейную и художественную требовательность к себе.

В 1934 году, вернувшись из поездки на Дальний Восток, Павленко горячо взялся за работу над новым романом, которому суждено было сыграть столь значительную роль в творчестве писателя и приобрести широкую читательскую популярность.

Осенью 1935 года черновой вариант романа, носившего тогда название «Судьба войны», был готов. Но теперь уже Павленко не представлял себе, как он может опубликовать новое произведение, не выслушав замечаний Горького. Он отправил рукопись Алексею Максимовичу. Горький, как всегда, быстро прочитал её, и уже в

ноябре 1935 года Павленко получил ответное письмо.

Отметив значение книги и роль Павленко как пионера советской оборонной литературы, Горький подчёркивал, что рассматривает «Судьбу войны» как черновик. Он видел в рукописи два крупных идейно-тематических недостатка. Главным из них он считал отсутствие образа рядового бойца, героического участника будущих военных событий. Подобно тому, указывал Горький, как мирное социалистическое строительство ежечасно выдвигает из рабочей массы Стахановых, Изотовых и Демченко, будущие военные события неизбежно выдвинут из красноармейской массы столь же замечательных фронтовых героев. Эти герои и должны быть непременно показаны в книге.

Вторым существенным недостатком Горький считал то обстоятельство, что будущая война показана автором только на Востоке, а развитию военных событий на Западе посвящено всего несколько слов. Вообще, написанная Павленко картина будущей войны не удовлетворила Горького. Батальные сцены, по его мнению, мало удалась писателю. В главах же, посвящённых мирному строительству, возражения Горького вызвала композиционная нестройность, дробность, клочковатость.

Далее шёл, как и в первом письме, ряд стилистических замечаний и, в заключение, дружеская просьба серьёзно потрудиться над книгой, которая несомненно представляет интерес и большую ценность для читателя (Архив А. М. Горького).

«Прочёл Ваше письмо и стало за себя стыдно,— отвечал Павленко Горькому,— плохо работаю. Повесть, конечно, черновик, особенно вторая часть её, которую обязательно надо развернуть шире. Её несделанность временная. Людей, героев войны, в ней ещё нет, потому что мне самому не ясен ход войны, не ясны технологические процессы будущего сражения. Небрежен и язык, как ни стыдно в этом сознаться. Требуется капитального ремонта и конструкция повести. Всё верно, к сожалению» (Архив А. М. Горького).

Сурово критикуя первый вариант романа, Горький, однако, не только не убил в Павленко желания завершить начатую работу, но, наоборот, ободрил писателя, заразил его истинным творческим азартом. «...Пись-

мо Ваше, Алексей Максимович, я принял, как одобрение теме и, не смущаясь малыми достижениями в оной, сел за коренную переработку повести» (Архив А. М. Горького).

На переработку ушло почти полгода. Роман «На Востоке» был завершён в апреле 1936 года и в следующем году впервые вышел отдельным изданием.

Но послать новую книгу своему великому учителю Павленко уже не смог. В июне 1936 года Горький погиб. «Горький погиб накануне той гигантской борьбы, неизбежность которой сознавал отлично,— писал Павленко к пятнадцатой годовщине со дня смерти Горького,— пал как первая жертва войны, уже исподволь начавшейся».

Горький погиб, как первая жертва той самой гигантской борьбы с силами фашизма, которую предчувствовал Павленко и которая описана в романе «На Востоке».

Страстная, нетерпеливая устремлённость в будущее была присуща Павленко с первых шагов его литературной работы. Эту черту можно считать одной из самых существенных в облике писателя, одной из наиболее ярко характеризующих его творческую индивидуальность.

В «Стамбуле и Турции» Павленко характеризовал писателя, как формовщика, задача которого — «проектировать контуры завтрашней жизни». Книга «Путешествие в Туркменистан» от начала до конца проникнута деятельной мечтой о будущем. «Мы учимся теперь помнить вперёд,— писал Павленко в этой книге.— Мы учимся помнить будущее». Даже исторический роман «Баррикады» тесно связан с современностью; как свидетельствует посвящение, он обращён к завтрашнему дню, когда исполнится мечта автора об интернациональной солидарности и дружбе народов всего мира.

Годы, когда Павленко работал над своим романом «На Востоке», были уже, в сущности, предвоенными. Особенно отчетливо это ощущалось на Дальнем Востоке, где усилиями японского империализма создавался новый очаг войны. Но и на Западе в связи с установлением фашистской диктатуры в Германии горизонт всё более завлакивался грозowymi тучами.

В начале тридцатых годов была издана на русском языке книга майора герман-

ской армии Гельдерса «Воздушная война 1936 года. Разрушение Парижа». Книга чрезвычайно заинтересовала Павленко. В 1933 году он опубликовал свою «Воздушную войну 1936 года» — «полемические варианты» к книге Гельдерса. Когда эта книга в 1934 году выходила вторым изданием, «полемические варианты» Павленко были включены в неё в качестве своего рода послесловия.

В чём же состояло содержание книги Гельдерса?

Вот как оно пересказано в «полемических вариантах» Павленко:

«Затеваётся англо-французская война. Английский полковник (впоследствии генерал Бреклей), глава воздушного флота, предпринимает налёт на Париж. В Париже возникает восстание. Французы отвечают десантом в Англию. Однако при помощи воздушных сил всё того же Бреклея удаётся справиться с десантом, и в сражении, решившем исход кампании и явившемся высшим триумфом воздушного флота, Бреклей погибает при атаке с воздуха французских батарей... В конце концов Франция покорно принимает все условия позорного мира, продиктованного ей Англией в союзе с Италией».

В результате изображённой Гельдерсом войны Англия многократно усиливает свою мощь, а Франция выводится из строя. О Германии и Польше Гельдерс — разумеется, неслучайно — умалчивает. «Уместно предположить, — справедливо подчёркивает Павленко, — что восстановлена и «великая» Германия, а следовательно о том, что случилось с Польшей, лучше и не рассказывать».

Общий смысл книги Гельдерса сводился к провозглашению так называемой доктрины итальянского генерала Дуэ, который разочаровался в наступательной способности сухопутных войск и главным оружием наступления считал воздушные силы. Доктрина Дуэ несомненно наложила свой отпечаток на тактику и стратегию фашистской авиации в период второй мировой войны.

Самое примечательное в книге Гельдерса состояло в том, что этот германский майор, не упоминая в своей книге Германию, изображал то, что служило предметом давних вождельений германского империализма.

Во-первых, Гельдерс изобразил разрушение Парижа.

«Бедный Пэриж! Бреклей на мгновение почувствовал жалость к этому несчастному городу, пострадавшему за всю Францию, но это длилось только одно мгновение. По его тонким губам скользнула жёсткая усмешка: «Британия властвует над морями — над морями и воздухом!».

Надо ли пояснять, что в этих словах как бы предвосхищены те чувства, которые испытывали фашистские пираты, разрушая города Европы в дни второй мировой войны...

Во-вторых, Гельдерс изобразил форсирование Ламанша и высадку десанта на английский берег. Здесь уже сердце германского майора не выдержало, и он проговорился: «С далёких времён Вильгельма-Завоевателя вражеская нога не ступала на землю британского острова. Неужели страстное желание Наполеона и заветная мечта немцев — высадить десант на английский берег — стала фактом? Неужели британскому могуществу пришёл конец?».

Однако Англия показана в книге победительницей. Гельдерс, видимо, не хотел уменьшать силы будущего противника фашистской Германии.

Кроме того, Англия победила в книге Гельдерса ещё и потому, что в её тылу не произошло никаких революционных потрясений. Французские рабочие подняли знамя восстания, и это подорвало силы нации, которая во время войны будто бы обязана быть единой. Знакомая социал-предательская идея, извлечённая на свет божий из пыльных архивов Второго интернационала!

Справедливо исходя из того, что Гельдерс рассматривает войну, как единственное мыслимое средство спасения империалистических режимов, Павленко в своих «полемических вариантах» набрасывает картину иного конца военных событий, описанных германским майором. Павленко цитирует пророческие слова товарища Сталина, сказанные на XVII съезде ВКП(б): война «...наверняка развяжет революцию и поставит под вопрос само существование капитализма в ряде стран...»<sup>1</sup>

Павленко показывает, как народы мира берут свою судьбу в собственные руки.

Это делает не только французский народ, восстание которого приводит у Гельдерса к военному поражению Франции, но и английский, и германский народы. В ответ на призыв Гитлера к крестовому походу против французов жители Берлина прекращают работу и покидают столицу, «неся с собой смерть режиму, господствовавшему, как выразился один журналист-швед, только над смертью Германии, но не над её жизнью».

Смерть генерала Бреклея, романтическая у Гельдерса, оказывается у Павленко «актом живописного самоубийства». Воздушный флот Бреклея одержал исключительные победы, а война Англией проиграна. «Оказывается, люди, обычные, простые люди, смешные, как устаревшие механизмы, влияют — да ещё как влияют — на чёткую, не знающую истерики работу его машин».

Эти «обычные простые люди», пишет Павленко, «врываються в войну и ташат за собой события». Революционные правительства Англии и Франции заключают между собой соглашение. Война заканчивается. «Англии, как и Франции, кажется, больше не существует,— говорит попавший в плен французский генерал английский кому. — То есть они существуют, но это совсем не то, что мы с вами привыкли видеть».

«Условия всеобщего мира, подписанные в Лондоне,— пишет Павленко в заключение,— ...были несколько иными, чем приводимые Гельдерсом. Но дело мира на этот раз не касалось специалистов войны. Возможно, что именно поэтому они ничего в нём не поняли».

Эти слова во многом предугадали то положение, которое создалось в лагере империалистических держав после окончания второй мировой войны!

«Полемические варианты» к книге Гельдерса явились своего рода подготовкой к роману «На Востоке».

В своё время критики немало рассуждали о том, к какому жанру следует отнести роман «На Востоке». Автор одной из статей утверждал, что роман принадлежит к научно-фантастическому жанру. Это, конечно, неверно. «На Востоке» скорее следовало бы назвать «социально-утопическим» романом. Роман «утопичен» не в том смысле; что наивно изображает нечто несбыточное и бесплодное, а в том хорошем смысле, что

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 431.



нетерпеливо и смело заглядывает в будущее.

Начиная свои «полемиические варианты», Павленко подчёркивает, что он предлагает вниманию читателя несколько глав, «которые безусловно должны были оказаться в романе, если бы автор его задавался целью написать утопический роман на данных реальной действительности» (подчёркнуто мною.— Л. Л.).

Это сказано очень точно. Роман «На Востоке» и является «утопическим романом на данных реальной действительности». Это и придало ему острое своеобразие и определило ту выдающуюся новаторскую роль, которую он сыграл в советской литературе тридцатых годов.

Главной особенностью романа «На Востоке» является органическое переплетение тем войны и мира, сегодняшнего дня с завтрашним днём. Прежде всего, это книга о строительстве коммунизма в нашей стране. Но в то же время это книга о международном значении нашего строительства и о той роли, которую Советский Союз играет для миллионов людей, ещё томившихся под игом капитализма.

Действие первой части романа начинается в 1932 году, второй — в 1933 году, третьей — в 1934. Действие четвёртой и пятой частей, в которых описываются военные события, происходят в 193... году.

Жаркое дыхание первой пятилетки ощущается в романе с самого начала. Во Владивостоке, на квартире прокурора Никиты Полурустова, куда собираются старые партизаны со всего Приморья, читатель знакомится с героями романа: одним из руководящих партийных работников края Михаилом Семёновичем, геологом Шотманом, секретарём пограничного райкома партии венгерцем Валлешем, старой партизанкой Варварой Хлебниковой, комиссаром Шершавиным и многими другими.

«На Востоке» — первый подлинно реалистический роман Павленко. В нём созданы яркие и запоминающиеся человеческие образы. С настоящим реалистическим размахом роман показывает, как большевистская партия переспраивала советский Дальний Восток, как укрепляла его обороноспособность, как воспитывала людей в духе беззаветной преданности своей великой социалистической Родине.

Едва ли не главной удачей романа яв-

ляется созданный в нём образ партийного руководителя края — Михаила Семёновича. Это — реальный живой человек, страстный, увлекающийся, неугомонный. Он много думает о других и часто забывает о себе, но ни тени жертвенности нет во всём его облике. Счастье его жизни состоит в том, чтобы думать именно о других. Заставьте его думать о себе — и он отнесётся к этому, как к жертве, которую нужно принести неизвестно зачем.

В облике Михаила Семёновича одновременно есть нечто и от китайского агитатора Сяо, и от русского большевика Ключаренкова. В прошлом Михаил Семёнович несомненно был таким же агитатором, как Сяо. В настоящем у него так же, как у Ключаренкова, «семьдесят семь дел и все на один прицел». Чем бы Михаил Семёнович ни занимался, он, как и Ключаренков, «всегда одно дело знает». Это дело — строительство коммунистического общества.

В письме, посвящённом первому варианту романа, Горький одобрил образ Михаила Семёновича.

Непосредственно связанный с образом Ключаренкова, образ Михаила Семёновича несравненно полнокровнее, ярче, шире. Путь, пройденный Павленко от Ключаренкова к Михаилу Семёновичу, может быть, красноречивее всего демонстрирует выдающиеся творческие успехи писателя.

Точно так же свидетельством дальнейших успехов Павленко окажется его путь от Михаила Семёновича к Воропаеву.

Характеризуя Михаила Семёновича, автор подчёркивает в нём черты политического руководителя, Агитатора Партии; он называет его «всеобщим учителем».

«Всеобщий учитель» — это и есть Агитатор Партии, который обязан заниматься решительно всем, что имеет отношение к жизни и борьбе его родного народа.

Интересно отметить, что, готовя в 1948 году для своего «Избранного» главы из романа «На Востоке», Павленко уточнил и дополнил характеристику Михаила Семёновича. «...Было бы неверно сказать о нём, что он всего лишь хозяйственник, — дописал Павленко. — Нет, и уголь, и нефть, и золото, и дороги — это для него всего лишь внешние средства воздействия на человека. В сущности у него гигантский университет (подчёркнуто мною.— Л. Л.)».

Это дополнение внёс в роман Павленко, уже создавший Воропаева. Но ещё важнее подчеркнуть, что прямым предшественником Воропаева был именно Михаил Семёнович. В нём Павленко впервые развернул неизменно волновавшую его тему всеобъемлющего значения большевистской идейности (недаром Михаил Семёнович назван «всеобщим учителем!»).

В четвёртой части романа, когда японские империалисты нападают на Советский Союз, служебный вагон Михаила Семёновича становится боевым штабом. Со всего края летят сюда телеграммы с сообщениями о мерах, принимаемых для разгрома врага. Тяжёлый снаряд ударяет в стену вагона. Михаил Семёнович гибнет, как солдат на боевом посту. А на столе всё растёт стопка телеграмм, получаемых на имя Михаила Семёновича уже после его смерти.

Растерявшийся порученец берёт одну из телеграмм. Старый партизан Василий Луза сообщает в ней, что он и его товарищи создали боевой отряд и назвали его именем Михаила Семёновича. Порученец хватается за карандаш и пишет: «Город Ворошилов — Лузе. Живой или мёртвый — всегда с вами. Михаил».

Теперь Павленко уже не сказал бы: «Люди проходят, события остаются». Михаил Семёнович остался, как остались события, в которых он принимал участие, которые он создавал. Такие люди, как Михаил Семёнович, не «проходят», а навсегда остаются жить в человеческих сердцах.

Это относится и к другому герою романа — «седенькому старичку-геологу» Шотману.

В первой части романа Шотман предстаёт перед нами, как подлинный энтузиаст своего дела, отдающий все силы геологическому освоению Дальневосточного края. Во второй части романа описывается трагическая смерть Шотмана. Он уступает женщине с ребёнком место в машине, а сам замерзает в ледяной пурге.

«Шотман, — пишет Павленко, — свалился, как экспресс на полном ходу... перепутав сотни дел и опношений между людьми. Кто будет теперь хозяином золота?.. Кто поведёт экспедиции? Кто станет драться за полтонны цемента для какого-нибудь клуба?..»

В образе Шотмана намечены те черты «человека для людей», которые характери-

зуют Михаила Семёновича и наиболее полно воплотятся в Воропаеве.

Роман «На Востоке» даёт широкую и верную картину социалистического переустройства Дальневосточного края. Роман ярко показывает, как советские люди, руководимые и вдохновляемые большевистской партией, преображали советский Дальний Восток, отдавая ему все свои силы, а порой и жизнь. Написанные Павленко картины созидательного творческого труда проникнуты высоким пафосом борьбы за коммунизм, страстной устремлённостью в коммунистическое будущее.

Но, как уже говорилось выше, своеобразие романа состоит в том, что он рассказывает не только о мирном созидательном труде советских людей, но и о войне, которую советским людям приходится вести с нападшими на их миролюбивую Родину империалистическими захватчиками.

Главы, посвящённые войне, даны Павленко в несколько ином плане, нежели «мирные» главы. Переходя к картинам будущего, пусть и недалёкого, повествование становится менее достоверным, приобретает условный и в некотором роде символический характер. Образы людей теряют свою реалистическую полноту, описание событий даётся скупыми и схематическими штрихами. Недаром Павленко признавался в письме к Горькому, что ему «не ясен ход войны, не ясны технологические процессы будущего сражения».

Война начинается в романе точно так, как это бывает на самом деле — её долго ждуг, а разражается она всё-таки внезапно. Японцы штурмуют Владивосток. Пограничные сражения развёртываются в воздухе и на земле.

Но не батальными сценами интересны и сильны военные главы романа. Батальные сцены остались в романе «На Востоке» такими же слабыми, какими были по отзыву Горького в романе «Судьба войны».

Сила военных глав романа прежде всего в изображении того невиданного патристического подъёма, который охватывает перед лицом врага советских людей и вдохновляется партией, Москвой, Сталиным.

Что греха таить, — перечитывая сейчас «На Востоке», нередко задумываешься о том, что в войне 1941—1945 годов события

развивались далеко не так, как предполагал Павленко.

Пророческими оказались мысли Горького, недостаточно реализованные Павленко. Горький был совершенно прав и относительно всенародного, массового героизма, который действительно явился одной из основных особенностей Отечественной войны Советского Союза, и относительно того, что главным театром войны стал не Восток, а Запад.

Видимо, сознавая недостатки военных глав романа, писатель включил в своё «Избранное» лишь те главы из «На Востоке», которые посвящены предвоенному созидательному труду советских людей.

Изображая будущую войну, автор романа явно недооценил силы противника. Но зато он очень точно оценил наши собственные силы. Он знал, что будущая война неминуемо окажется победоносной для России, ибо в бой поведёт народ большевистская партия, великий Сталин.

Особенно волнуют страницы романа, посвящённые описанию того, как вступает в войну Москва. Сталин обращается к народу с речью. «Слова его вошли в пограничный бой, мешаясь с огнём и грохотом снарядов, будя ещё не проснувшиеся колхозы на севере и заставляя плакать от радости мужества дехкан в оазисах на Аму-Дарье... Это был голос нашей родины, простой и ясный, и бесконечно честный, и безгранично добрый, отечески неторопливый сталинский голос».

Читая эти проникновенные строки, нельзя не вспомнить историческое выступление товарища Сталина 3 июля 1941 года.

Роман «На Востоке» явился одной из ярких побед социалистического реализма в нашей литературе. В нём воплотилось многое из того нового, что должен нести с собой писатель советской эпохи, названный Павленко «писателем высокого напряжения». Таким «писателем высокого напряжения», подлинным новатором стал и сам автор романа «На Востоке». В этом романе Павленко действительно удалось «обновить мастерство». «На Востоке» — не просто «лишняя вещь по счёту», а переломное, качественно новое явление в творчестве автора «Пустыни» и «Баррикад». Творческий путь Павленко было бы спра-

ведливо разделить на два больших этапа — до романа «На Востоке» и после него.

Написав «На Востоке», Павленко стал одним из самых передовых представителей советской литературы, тем Павленко, чьё творчество широко известно советскому народу и любимо им.

Это, разумеется, не значит, что реалистическое мастерство Павленко достигло в романе «На Востоке» совершенства. Некоторые недостатки, отмеченные Горьким в первом варианте романа, к сожалению, сохранились и в окончательном варианте. Это относится, например, к композиции романа, которая страдает неслаженностью и дробностью.

Введя в роман значительное количество действующих лиц, Павленко далеко не всем из них сумел дать запоминающиеся индивидуальные характеристики.

Свойственного реалистическому роману истинного многообразия характеров и точного композиционного единства Павленко добился позже — в «Счастье».

## 6

Весна 1939 года застала Павленко в очередном путешествии по стране.

Девять лет прошло со времени туркменской поездки. За эти годы в жизни Павленко произошло много важных событий. Он близко познакомился с Горьким. На Первом Всесоюзном съезде писателей он в числе других лучших представителей советской литературы был избран в правление писательской организации СССР. Широкое общественное признание принёс ему роман «На Востоке». В 1938 году Советское правительство наградило писателя орденом Ленина.

Очень многое изменилось в жизни Павленко за девять лет, и ещё острее, ещё нетерпеливее стало любопытство писателя к социалистической действительности, преобразующейся у него на глазах.

Это любопытство и привело Павленко весной 1939 года в Узбекистан. В очерках «Дни Лягана» и «Ферганский почин», напечатанных в «Правде», писатель с воодушевлением и подъёмом рассказывал о патриотическом почине узбекских колхозников, строивших водные каналы на собственные средства.

Впоследствии Павленко писал: «Одно из счастливейших моих воспоминаний — пребывание на стройке Ферганского канала».

Вернувшись из Узбекистана в Москву, Павленко тотчас же приступил к работе над сценарием о строительстве Ферганского канала и задумал роман на ту же тему. На протяжении всей своей дальнейшей жизни писатель не раз возвращался к теме Ферганского канала (упоминания о Фергане мы находим и в сценарии «Клятва», и в романе «Счастье», и в рассказе «Мой земляк Юсупов», и в очерках военного времени, и в выступлении писателя на Второй Всесоюзной конференции сторонников мира; в последнем неоконченном романе «Труженики мира» значительное место также отведено строительству Ферганского канала).

Едва успев вернуться из Узбекистана, Павленко в качестве корреспондента «Правды» отправился в освобождённую Советской Армией Западную Украину, выступал там на многолюдных митингах, присутствовал при выборах в Народное собрание Западной Украины. В очерке «Дни энтузиазма» писатель рассказал о той атмосфере всенародного торжества, в которой Народное собрание приняло Декларацию об установлении советской власти на Западной Украине и о вхождении Западной Украины в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

20 ноября 1939 года в «Правде» был напечатан очерк Павленко ещё из Львова, а уже через две недели корреспонденции писателя, посвящённые начавшейся войне с белофиннами, стали систематически публиковаться в красноармейской газете «Героический поход».

За участие в войне с белофиннами Советское правительство наградило Петра Андреевича Павленко орденом Красной Звезды.

После окончания войны Павленко возвратился в Москву, завершил начатую совместно с погибшим на войне Б. М. Левиным работу над сценарием «Яков Свердлов» и написал повесть о Шамиле. Эта повесть оказалась случайной для творчества Павленко, ни в какой мере не характеризующей его творчества. Образ Шамиля нашёл в ней неверное, исторически ошибочное истолкование.

Павленко предполагал вернуться к волновавшей его попрежнему ферганской теме, но и на этот раз осуществлению его замысла помешала война.

Вместе со всем советским народом встал в строй и Павленко.

Ещё 22 июня он вместе с А. Толстым, К. Фединим, К. Тренёвым и другими присутствовал в Зелёном театре московского Центрального парка культуры и отдыха на вечере, посвящённом памяти А. М. Горького, а на другой день он уже выступил со страстной речью на митинге московских писателей, посвящённом вероломному нападению фашистской Германии.

«С нерушимым спокойствием каждый из нас должен продолжать своё дело, — сказал Павленко. — И в тылу, и на фронте писатели будут на страже, они будут с удвоенной энергией делать ту работу, к которой их призовут партия, правительство и эта великая война».

Пример самого Павленко явился живым подтверждением верности этих слов.

Уже 24 июня в «Правде» появилась статья Павленко «Великие дни». 9 июля «Правда» и «Красная звезда» одновременно напечатали корреспонденцию Павленко «Лётный день», 10 июля в обеих газетах был опубликован проникнутый высоким патриотическим пафосом очерк Павленко «Капитан Гастелло».

Так началась мужественная работа фронтового корреспондента, сначала бригадного комиссара, а затем полковника Павленко, продолжавшаяся вплоть до самого конца Отечественной войны.

Осень 1941 года Павленко провёл на Северо-Западном фронте. Он близко познакомился с героической борьбой новгородских партизан. В результате появилась книжка очерков «Народные мстители» и «Русская повесть».

Среди очерков, вошедших в книжку «Народные мстители», особого упоминания заслуживает коротенький очерк «Месть».

Председатель одного из колхозов Ленинградской области больной старик Егоров не успел эвакуироваться и попал в руки к фашистам. Предатели — выпущенные из тюрьмы уголовники — выдали Егорова. Немецкий офицер обещал старику жизнь, если он назовёт имена сельских активистов. Старик назвал имена выдавших его предателей и был расстрелян вместе с ними.

Обо всём этом рассказано в обычной манере Павленко — сдержанно, просто и сильно.

Героический эпизод, послуживший основой для очерка «Мечь», в несколько изменённом виде был использован Павленко в «Русской повести». Как это уже не раз бывало в творчестве писателя, за очерковым освоением темы последовало её беллетристическое воплощение.

«Русская повесть», написанная в суровые, полные тяжёлых испытаний дни (повесть печаталась в газете «Красная звезда» с 16 января по 21 февраля 1942 года), проникнута глубокой верой в победу нашего народа.

В автобиографии, написанной для издания «Счастья» в «Библиотеке советского романа», Павленко назвал свою «Русскую повесть» «очень неудачной».

Нужно сказать, что после знакомства с Горьким Павленко вообще относился к своим произведениям с жестокой, а подчас беспощадной требовательностью. Достаточно сказать, что в одном из писем, относящихся к январю 1949 года, он писал, что законченная им повесть «Степное солнце» не удалась, находил её грубой и мелкой.

Таким образом, критическим самооценкам писателя далеко не всегда можно было верить. Однако недовольство автора своей «Русской повестью» имело под собой весьма реальные основания. Звучание повести в значительной мере ослаблено тем, что автор чрезмерно перегрузил её историческими ассоциациями. Окружённый ими, герой повести, партизанский командир Невский, не мог не утратить жизненной конкретности и превратился в условную символическую фигуру.

Когда фашисты наткнулись в лесу на тяжело раненого Невского, он «подобно серебряной статуе» стоял «по пояс в снегу, опершись на винтовку и будто наполовину выступая из-под земли».

Такой «серебряной статуей» и остаётся в памяти читателя образ главного героя «Русской повести».

Всю Отечественную войну Павленко коучет с одного фронта на другой в качестве военного корреспондента. В дни боёв за Новороссийск командование Черноморской группы войск награждает писателя орденом Красного Знамени.

Во время войны Павленко возвращается к новеллистическому жанру, оставленному им со времени «Азиатских рассказов».

В 1943 году выходит в свет книга его военных рассказов, озаглавленная «Путь отваги».

Сопоставление военных рассказов Павленко с его же «азиатскими» рассказами с необыкновенной убедительностью демонстрирует глубокие перемены, происшедшие в творчестве писателя за пятнадцать лет.

Военные рассказы Павленко объединены общим замыслом. Писатель хочет как бы проследить «путь отваги», вскрыть те внутренние психологические закономерности, которые позволяют человеку, ещё вчера являвшемуся самым рядовым участником будничного мирного строительства, сегодня стать выдающимся героем войны.

В лучших рассказах книги — таких, как «Григорий Сулухия», «Мой земляк Юсупов», «Рассказ в горах», — в каждом повсюду раскрывается мысль, что человека делает героем, поднимает на необычайную высоту благородное чувство любви и преданности Родине, животворный советский патриотизм.

Григорий Сулухия, молодой красноармеец, родом из грузинского городка Зугдиди, попадает в плен к фашистам. Он тяжело ранен и не может оказать врагу никакого сопротивления. Фашисты подвергают молодого бойца нечеловеческим истязаниям, но он выказывает полное презрение к смерти и умирает так, как и подобает верному сыну советской Родины.

Что дало обыкновенному мингрельскому парню силу совершить такой поистине титанический подвиг воли и духа? Умирая, он видел перед собой мать-Родину, всеми последними мыслями был с ней.

В рассказе «Мой земляк Юсупов» мысль о родном Узбекистане, гордость его достижениями, воспоминание об «огненных ночах на шумной народной трассе», то есть о стройке Ферганского канала, вдохновляет воина-узбека Тургунбая Юсупова на героические подвиги в борьбе с фашистскими оккупантами.

Патриотическому революционному долгу советского гражданина и возмездно за измену Родине посвящён яркий «Рассказ в горах».

Во время боёв на Кавказе автор вспоминает о давней поездке в Дагестан, о буре в горах и о вынужденном ночлеге у старого горца. Под бессвязное бормотание своей жены, доносящееся из соседней комна-

ты, старик рассказывает историю из времён гражданской войны на Кавказе. Была семья, где отец и два старших сына воевали у красных, а младший служил у белых. Будучи ранен, младший вернулся к матери. Когда до отца дошёл слух, что мать приютила сына-белогвардейца, он сказал: «Мать дом позорит. Надо отпуск взять, на два дня поехать». Мать поняла, что это значит, и ветреной ночью столкнула сына, спавшего на крыше, в пропасть. А вот теперь, «как ветер, спать не умеет, всё слушает, голоса его ждёт».

«Конечно, мать — всегда мать», — повторяет автор вслед за рассказчиком.

Это давнее дагестанское воспоминание недаром возникло в памяти Павленко именно в годы Отечественной войны. В жестокой правдивости «Рассказа в горах» есть нечто, напоминающее лермонтовского «Беглеца».

Представление о творчестве Павленко в годы войны будет неполным, если мы не назовём сценарий «Клятва» (о нём речь пойдёт ниже), а также дикторский текст для документального фильма «Разгром немцев под Москвой».

Закончил войну Павленко в Вене, куда выступил с передовыми частями 3-го Украинского фронта.

В очерке «В столице Австрии», напечатанном в «Красной звезде», писатель рассказал, между прочим, о том, как ротный повар рядовой Четвериков остановил свою походную кухню на площади фельдмаршала Шварценберга и кормил рисовой кашей голодных австрийских детей. С этим новатором мы впоследствии встретимся на страницах романа «Счастье».

После капитуляции фацистской Германии Павленко возвратился в Москву. Но тут жизнь писателя неожиданно сделала крутой поворот.

## 7

Серьёзное лёгочное заболевание началось у Павленко ещё в совсем молодые годы.

Незадолго до конца войны, когда писатель был ещё на фронте, болезнь надвинулась с новой силой. Осенью 1945 года, по настоянию врачей, Павленко переехал из Москвы в Ялту, которая и стала отныне его постоянным местожительством.

«...Получить здесь в аренду маленький домик и жить как придётся», — эта программа не устраивала Павленко точно так же, как не устраивала она героя романа «Счастье» — полковника Воропаева.

С обычной для него наблюдательностью писатель стал осматриваться вокруг. Внимание его, прежде всего, привлекли переселенцы. Ранней весной 1945 года, ещё до окончательного переезда в Ялту, он побывал в одном из крымских колхозов, разговаривал с колхозниками и выступал на общеколхозном собрании, утверждавшем план работы на 1945 год.

«...Тогда-то и услышали мы взволнованный рассказ П. А. Павленко о благодатной крымской земле, — писали руководители колхоза в статье «Помощник и друг», опубликованной газетой «Красный Крым» к пятидесятилетию со дня рождения писателя. — ...Его простые слова глубоко запали в наши сердца...»

Выполняя благородную роль низового большевистского агитатора, Павленко помогал людям преодолеть трудности и понять неограниченные возможности, которые открывает перед человеком честный труд на крымской земле.

Ту же задачу Павленко решал и оружием художественного слова. Переселенцам посвящено одно из первых произведений, написанных им в Крыму, — рассказ «Рассвет». Тонкое и проникновенное чувство крымской природы, горячая любовь к ней, искреннее желание заразить этой любовью новичков-переселенцев, — таково эмоциональное содержание «Рассвета».

Внимательно изучая окружающую его жизнь, Павленко познакомился, однако, не только с колхозниками. Внимание его привлекли офицеры в отставке — люди, в той или иной степени травмированные войной и на время выбывшие из строя.

Перед Павленко, как писателем и коммунистом, возникла ещё одна жизненно важная задача — помочь этим людям вернуться в строй и завоевать счастье, которое они честно заслужили. Решение этой задачи было бы одновременно и лучшим лекарством для него самого.

Таким образом, замысел нового романа возник не в уединённой творческой лаборатории, а был подсказан самой жизнью, явился результатом близкого и непосредственного знакомства с ней. В этом за-

мысле отразилось неизменно свойственное Павленко стремление активно вмешаться в жизнь и помочь людям в их борьбе за светлое коммунистическое будущее.

В романе «Счастье», удостоенном Сталинской премии первой степени, писательский талант Павленко развернулся с такой широтой, как никогда раньше. Этот роман мы с полным правом можем назвать зрелым созданием социалистического реализма.

Большой удачей несомненно является образ полковника Воропаева. До «Счастья» Павленко никогда не удавалось создать такой человеческий образ, который, придя из жизни в книгу, впоследствии снова вернулся бы в жизнь и продолжал реально существовать среди своих современников.

Выше уже упоминались образы, являющиеся прямыми предшественниками Воропаева. Это — Ключаренков из повести «Пустыня», Михаил Семёнович и Шотман из романа «На Востоке». Во всех этих людях Павленко наметил те свойства и черты, которые впоследствии с такой широтой и силой воплотились в Воропаеве.

Наиболее ярким человеческим характером, созданным Павленко до «Счастья», был Михаил Семёнович. Но и этот характер не достиг всё же такой силы обобщения, которая позволила бы ему вернуться из книги в жизнь. Только в образе Воропаева Павленко создал подлинный литературный тип, властно вошедший в сознание своих современников.

В чём же причина замечательной удачи писателя? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ближе присмотреться к жизни, которую ведёт Воропаев в романе, и определить хотя бы главные черты, свойственные характеру этого человека.

Первые сведения о Воропаеве мы узнаём не из слов автора, а из письма, которое Воропаев получил с фронта. Старый фронтовой товарищ сообщает, что он в свою очередь получил письмо от Александры Ивановны Горевой. Горева освещается о Воропаеве. «Знаете ли Вы, где Воропаев? Он был тяжело ранен и эвакуирован в тыл. Говорят, его отпустили в бессрочный, но толком мы так ничего и не знаем. Он всех нас забыл».

Роман начинается с того, что, прочитав письмо, Воропаев комкает и бросает его. Это, конечно, не случайная деталь.

С прошлым покончено. Точка. Сейчас Воропаев сойдёт на крымский берег и начнёт новую, совершенно не известную ему «мирную» жизнь.

Не случайно, конечно, и то, что вместе с Воропаевым на берег выходит большая группа переселенцев. Эти люди, с которыми он впоследствии тесно свяжет свою судьбу, сейчас не вызывают у него никакого интереса. Он слишком озабочен собственным положением, чтобы думать о них.

Но, ночуя у костра после малоутешительного разговора с секретарём райкома Корятовым, Воропаев уже наблюдает за тем, как располагаются на новом месте переселенцы, и не может подавить в себе глубокого волнения. «...Великое и сладостное событие происходило где-то рядом, под тёмным покровом ночи, среди взлетающих фонарных огней, в дыму костров, среди неустроенности этого уставшего лагеря».

Утром, прислушиваясь к беседе Корятова с переселенцами, Воропаев с досадой думает: «Не с того начинается... Сводку, сводку, приказ Верховного, события на фронтах — вот что сейчас самое главное».

Так намечаются в романе черты воропаевского характера. Даже оквозь владеющее им тоскливо-равнодушное отношение ко всему, Воропаев не может не реагировать на то, что совершается у него перед глазами.

И всё-таки он ещё очень одинок и несчастен. «В сорок три года, потеряв на войне много сил, трудновато начинать новую жизнь на развалинах чьей-то чужой».

Получив от Корятова задание «махнуть» в колхозы и устроившись в кузове попутной грузовой машины, Воропаев с мокрыми от слёз глазами вспоминает своё славное боевое прошлое. «...В первый раз ему стало жаль, что он остался жив. Страшная усталость, до дрожи и головокружения, схватила его тут, как приступ. Ах, как он был одинок!..»

Посещение совхоза «Победа» и колхоза «Первомайский», знакомство с Чумандринным, Широкогоровым, Огарновыми, Полнебеско, та памятная ночь, когда Воропаеву удалосьлюднять людей на перекопку виноградников, как будто целиком возвращают его к жизни. Когда директор совхоза Чумандрин предлагает сдать ему в аренду отличный дом, Воропаев решительно отказывается. Он уже чувствует себя

обязанным помочь Корытову. «Маленько помощью и уйду, — рассуждает он сам с собой. — Чтоб не сказал, что гастролёр».

Дело у Воропаева явно идёт на лад. Он произносит речи, пишет людям письма, рассказывает о делах на фронте. «...Всё это немножко сумбурное, утомительное, чуть-чуть хмелящее его, было счастьем, и хотелось, чтобы ему не наступало конца».

Но именно тут тяжёлая лёгочная болезнь валит Воропаева с ног. Начинается решительное «сражение за себя». От его исхода зависит вся дальнейшая судьба Воропаева.

Это «сражение за себя» описано Павленко с необыкновенной убедительностью и силой.

Лёжа на койке в колхозе имени Калинина, под надзором своего старого знакомого Опанаса Ивановича Цимбала, Воропаев тяжело переживает вновь охватившее его «зловещее одиночество». Он наблюдает за птицами, которые несколько не боятся «тихого человека, умеющего красиво свистать», и от всей души завидует дрозду, который «прежде чем взлететь, азартно протанцовал на гладком камушке».

Вскоре, однако, выясняется, что Воропаев вовсе не одинок. Сознание своей ненужности людям мучило его совершенно напрасно. Он нужен людям, да ещё как! Недаром у его постели появляются то Аннушка Ступина, то Лена Журина, то Варвара Огарнова, то «бог войны» Городцов.

Сознание своей необходимости людям врачует Воропаева быстрее, чем лекарства и даже целительный воздух Крыма. А вскоре он одерживает и окончательную победу в «сражении за себя».

Новый, 1945 год он встречает в детском санатории. Директор санатория Мария Богдановна Мережкова знакомит Воропаева с группой детей, лишённых возможности принять участие в общем веселье. Это — маленькие калеки, испытавшие на себе все ужасы фашистских зверств. Среди них выделяется своей сосредоточенной замкнутостью Шура Найдёнов, мальчик без рук и ног. «Я, — говорит, — немцам ещё докажу, что такое русский, даже без рук, без ног», — рассказывает об этом мальчике Мария Богдановна Мережкова.

Тёмной ночью, возвращаясь домой, Воропаев продолжает напряжённо думать о

Шуре Найдёнове. «Мальчик без рук и ног, мечтающий о своём будущем, был так велик, что он, Воропаев, забыв о себе, мог думать сейчас только об этом ребёнке».

Горы окутывает непроглядная тьма, свистит дьявольский ветер, силы покидают ещё не вполне окрепшего Воропаева. Тогда он ложится на живот и двигается вперёд по-пластунски. «Хватятся, а его нет, и никто не поверит, что он добрался до дому один. Только Найдёнов, пожалуй, поверит и станет уважать».

Следует замечательно написанная сцена, после которой линия жизни Воропаева уверенно и неуклонно поднимается вверх, чтобы уже больше никогда не опускаться.

«Говорят, тело — ничто, дух — всё. Это, разумеется, преувеличение. Но, с другой стороны, не нога же, и не целая грудная клетка, и не здоровые лёгкие делали его тем, прежним Воропаевым... Ветер ударял его в спину и, надувая шинель парусом, подталкивал к обрыву. Отпусти он только руки, судорожно вцепившиеся в камень, и тело его ринулось бы в воздух... Но нет! Нельзя! Да и не стоит!»

Воропаев уже не думал больше о том, что он одинок. В эту бурную зимнюю ночь, оставшись один среди гор, он, как никогда, ощущал свою слитность с людьми, с народом. Эта ночь, окрашенная мыслями о Шуре Найдёнове, стала своего рода кульминацией воропаевской судьбы.

Если памятная штурмовая ночь в колхозе «Первомайском» была первым шагом Воропаева навстречу своей новой судьбе, то после зимней ночи в горах эта судьба определяет всю его жизнь без остатка.

Чем, в сущности, было для Воропаева «сражение за себя»? Борьбой за своё маленькое личное благополучие? Ни в коем случае! Оно было битвой за возвращение в строй. Воропаев страстно хотел победить болезнь не для того, чтобы «получить здесь в аренду маленький домик и жить как придётся», а для того, чтобы снова принимать участие в общей борьбе народа за коммунизм и отдать великому делу этой борьбы весь свой опыт, все свои знания, все свои силы. В этом, и только в этом, видел он подлинное счастье.

Лёжа в колхозе имени Калинина, Воропаев больше всего страдал не от старых ран и не от болезней лёгких, а от созна-



ния, что именно сейчас, когда вот-вот закончится война и начнётся изумительная жизнь, он, Воропаев, если и дождётся тех дней, то разве полуживым и уж ни при каких условиях не сумеет строить эту послевоенную жизнь в первой шеренге, как строил ту, довоенную».

В каждой мысли, в каждом душевном движении, в каждом поступке Воропаев — истинный большевик. Большевицкая партийность не есть для него нечто постигаемое лишь рассудком, вычитываемое из книг. Она составляет существо воропаевского характера, определяя все его проявления.

В образе Воропаева Павленко удалось ярко воплотить многие замечательные черты, присущие людям Сталинской эпохи.

Показательна уже сама его биография, сообщаемая автором по ходу повествования.

Комсомольские годы Воропаева прошли в Астрахани, где он работал под руководством Кирова. Потом, уже став коммунистом, он сторожил границу на Амуре, строил Комсомольск, то есть принимал участие в тех событиях, которые Павленко описал в романе «На Востоке». В течение всей своей дальнейшей жизни он служил в армии (Памир, Кулундинская степь, Хасан, Халхин-Гол, север Финляндии), и Отечественную войну начал уже в звании подполковника. Затем — «полковник, начальник политотдела корпуса, шесть орденов, печатные труды...»

Так большевицкая партийность стала органическим свойством воропаевского характера.

Именно благодаря этому люди всегда нуждаются в нём. Он воплощает в себе великие идеи большевизма — самые передовые идеи нашего времени. Одарённый выдающимися способностями партийного пропагандиста — подлинный Агитатор Партии! — он умеет передать свои мысли людям, вдохновить и зажечь людей, сплотить их на борьбу за новую, прекрасную и счастливую жизнь.

Являясь подлинным большевицким деятелем, Воропаев обладает драгоценным даром открывать в людях не известные им самим возможности и силы. Так он поступает по отношению к супругам Поднебеско, к Аннушке Ступиной, к Лене Журиной, к Городцову и ко многим другим. Право

вести за собой людей даёт Воропаеву неразрывная связь с народом, глубокое знание его жизни, его материальных и духовных потребностей.

Влияние Воропаева в той или иной степени ощущают почти все действующие лица «Счастья».

Главное в отношениях между Воропаевым и Леной Журиной, конечно, не их несостоявшийся роман, а то духовное обогащение, которое приносит Лене встреча с Воропаевым.

Воропаев выводит Виктора Огарнова из сонного оцепенения, открывает Юрию Поднебеско глаза на его истинное призвание, помогает Аннушке Ступиной преодолеть горечь воспоминаний о фашистском плене.

Всё это удаётся ему не в силу каких-то сверхъестественных личных качеств, а потому, что люди видят в нём посланца партии, прислушиваются к нему, как к носителю передовых коммунистических идей.

В романе «Счастье» Павленко выступает как подлинно партийный художник, вооружённый глубоким знанием и пониманием нашей социалистической действительности. Партийным отношением к жизни, помноженным на яркий писательский талант, и порождён образ Воропаева — один из самых замечательных образов, созданных советской литературой.

В основе образов Ключаренкова, Михаила Семёновича, Шотмана и, наконец, Воропаева лежит одна и та же благородная тема, больше всего волновавшая Павленко-художника. Это тема большевицкой идейности, как основного свойства характера, как склада души, как высшего типа человеческого сознания. Воропаев и есть тот самый Агитатор Партии, о котором с таким волнением писал Павленко в романе «На Востоке».

Глубоко знаменательна сцена народного торжества в день победы над врагом. На центральной площади городка собираются ликующие толпы людей.

«Бледный, возбуждённый Корытов тщетно пытался установить тишину... Он беспомощно улыбался и разводил руками, всем своим видом показывая, что не в его силах овладеть вниманием народа и сообщить то, что всем следовало обязательно знать».

Тогда в толпе кто-то кричит: «Воропаева!». Именно Воропаева, а не Корытова

хочет видеть и слышать народ в эту торжественную минуту. И Воропаев произносит речь, которую от него ждут. Ещё недавно он отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост секретаря райкома. «Видишь теперь, что прятаться больше нельзя? — укоризненно говорит ему областной партийный работник Васютин. — То, что сегодня было, — почище, брат, официально-голосования».

Волнующая тема Агитатора Партии ярко раскрывается в разговоре, который ведут Лена Журина и Воропаев, возвращаясь с митинга.

«Не знала я, что вы такое можете с народом делать», — говорит Лена, поражённая силой чувства, звучавшей в воропаевских словах.

«Это не я с народом, а народ со мной такое делает», — отвечает Воропаев. — В кабинете я и трёх слов как следует не скажу, а на народе мне сам чёрт не страшен. Двадцать лет я в партии — старик, огромную жизнь прожил и, веришь ли, омолодила меня работа у вас. Не сознанием, а плечом, телом своим, дыханием своим чувствую, что я — народ, в народе, с народом, что я — его голос».

Подлинным Агитатором Партии является не только герой романа «Счастье», но и его автор. Сила большевистской партии, её великая организующая роль в общенародной борьбе за коммунизм показаны в романе «Счастье» с опромной убедительностью. Роман демонстрирует нерушимое единство партии и народа, определяющее непобедимую силу советского общества.

В «Счастье», как и в романе «На Востоке», Павленко выступает в роли подлинного организатора масс, «писателя высокого напряжения», «писателя-формовщика», проектирующего контуры завтрашней жизни.

В этом плане характерна одна из заключительных сцен романа.

Возвращаясь с партийного актива, доктор Комков показывает Лене Журиной две огромные веллингтонии, накренившиеся своими могучими стволами над обрывом. Комков подчёркивает, что веллингтонии представляют собой «след чьей-то сильной жизни», ибо эти деревья сами не растут в здешних местах и встречаются только в хороших парках. Кроме того, и вокруг деревьев явственно видны следы человеческих рук.

«Он просто ставил веку для будущих поколений», — говорит Комков о неизвестном строителе, некогда трудившемся здесь: — обратите, мол, внимание на этот уголок. Он как бы бросил нам вызов: продолжайте мной начатое, заканчивайте, живите, и этим сомкнул свою жизнь с нашей»..

Интересно отметить, что вскоре после опубликования романа «Счастье» Павленко напечатал рассказ «Чья-то жизнь», представляющий собой вариант, только что изложенной сцены романа.

То обстоятельство, что именно эта сцена послужила материалом для самостоятельного рассказа, дополнительно свидетельствует о том значении, которое придавал ей автор «Счастья».

Функции доктора Комкова, демонстрирующего «следы чьей-то жизни», переданы в рассказе агроному Чирикову; функции Лены Журиной делят между собой инженер Горюнов и слушатель сельскохозяйственного техникума Коля Гришук.

«...То, что он сейчас пережил», — пишет Павленко о Гришук в конце рассказа, — ещё владело им полностью, и не хотелось расставаться... с тем значительным и прекрасным, что видели они только что».

В чём же заключается смысл того «значительного и прекрасного», что увидели доктор Комков и Лена, инженер Горюнов, агроном Чириков и Коля Гришук? Почему автор подчёркивает, что у неведомого человека прошлого, посадившего веллингтонии, есть нечто общее с полковником Воропаевым?

Самым «значительным и прекрасным» в труде безымянного русского человека, посадившего веллингтонии на отвесной скале, было то, что он думал не о себе, а о грядущих поколениях. Мысль о тех людях, которые будут жить после него, воодушевляла неизвестного строителя. В его труде не было никакой жертвенности, никакого самоотречения от радостей жизни, — именно в том, чтобы трудиться для грядущих поколений, находил этот человек высшее творческое удовлетворение.

Разумеется, веллингтонии — всего лишь частный пример, не более того. «Есть, Леночка, есть такие люди на свете», — говорит Лене Журиной доктор Комков. — Одни из них становятся Мичуринскими, другие уходят искать новые земли, как Дежнев, тре-

тьи вырастают в Ломоносовых, а четвёртые, не уходя из дому, не совершая открытий и походов, обживают голые скалы, готовят их для внуков и правнуков».

Всех этих людей объединяет одна благородная черта — они страстно мечтают о будущем, нетерпеливо заглядывают в завтрашний день и энергично приближают его своим самоотверженным героическим трудом.

«Охваченная красотой этой прустной ночи,— пишет Павленко,— Лена думала о том, как длинна, как поистине бесконечна, оказывается, жизнь человеческая. Вот мёртвая скала, но она — чья-то жизнь. Вот речка спит на бегу, может быть, и она — след жизни, прорытый упрямым заступом. И мост, что только что прошли, тоже чьё-то бессмертие. И вот эта дорога, и сосны, и фонтан у края дороги — всё это жизни человеческие...»

И Лене, как счастья, захотелось вдруг самой стать клочком земли, углом векового камня, ручьём у дороги, чтобы жить и после того, как распадётся тело.

Когда никто и помнить не будет, что существовала такая Журина, ключ, ею пробитый в скале, не иссякнет, не зарастёт диким дёрном дорога, если она проведёт её, не зачахнут, а разрастутся по горным скалам роши и привлекут к себе птиц и зверей, и другая женщина такую же ночью, как сегодня, с нежной любовью и завистью вспомнит свою безымянную предшественницу».

Эти подлинно поэтические размышления Лены проникнуты глубоким уважением к созидательному человеческому труду. В них выражается естественное стремление советского человека продлить свою жизнь в трудовых делах, создать нечто такое, что было бы полезно людям — вырастить новые плоды, открыть неизвестные земли, отвоевать у природы и возделывать новый клочок земли, изменить русло ручья и дать полям необходимую им влагу.

Человек, думавший о завтрашнем дне и славно потрудившийся на благо своим современникам и потомкам, продолжает жить «и после того, как распадётся тело».

Увидев веллингтонии, растушие над обрывом, Лена восклицает: «Да это ж Орлиный пик! На эту площадку я часто заглядывалась снизу». Вспомним, что «Орлиным пиком» называл отвесную скалу не кто иной,

как полковник Воропаев. Заметив её, он очень удивился, как люди не догадались построить в таком замечательном месте «какой-нибудь дворец», и долго строил его в своём воображении.

«Здесь впору быть дому счастливых людей»,— думал он, уже ища в памяти, кого бы сосватать сюда, кому предложить это место...»

«...Здесь счастливое место для счастливых людей»,— сказал себе безымянный строитель в рассказе «Чья-то жизнь».

Оба они думали не о себе и, что самое главное, уже видели в своём воображении не голую скалу, а обжитый людьми цветущий уголок, «Орлиный дворец». Оба они глядели в будущее и страстно мечтали о нём.

Эта устремлённость в будущее и обливает полковника Воропаева с безымянным строителем, вырастившим гигантские веллингтонии.

«Человек для людей», неутомимый строитель человеческого счастья, всем своим существом устремлённый к завтрашнему коммунистическому дню нашей страны — таков полковник Воропаев. Таких знают и любят его герои «Счастья».

В сцене на «Орлином пике» Павленко раскрывает своё представление о том, какой должен быть советский человек.

Но эта сцена имеет ещё и другой смысл. Она несомненно является и своего рода писательской декларацией. Павленко утверждает ею новый тип писателя, возможный лишь в социалистическом обществе. Главными чертами этого нового писательского типа является активное участие в борьбе за коммунизм и деятельная, нетерпеливая устремлённость в будущее.

Страстным призывом к постоянному, упорному движению вперёд является и один из самых талантливых рассказов Павленко — «Голос в пути».

Молоденькая девушка и рассказчик идут тёмной ночью через перевал. Туман слепит им глаза, ветер сбивает с ног. Но они упорно идут, время от времени перекликаясь друг с другом. У рассказчика несякают силы, но он не может отстать от девушки и упорно пробирается вперёд. Когда наступает утро, выясняется, что девушка двигалась вперёд только потому, что не хотела отстать от своего спутника. Оба они одинаково считали, что другой движется впереди и зовёт за собой.

«Главное — двигаться вперёд и звать за собой, — заканчивает свой прекрасный рассказ Павленко. — Пусть слаб голос, пусть дрожит он от усталости и перенапряжения, но иди, неумолимо иди вперёд и зови за собой: — А-а-э-э-й!.. И услышишь в ответ: — Иду-у!..»

«Главное — двигаться вперёд и звать за собой!» Этот девиз теснейшим образом связан со словами Лены Журиной, как бы подводящими итог внутреннему идейному движению романа «Счастье».

«Вот погрём мы с вами, Леночка, — говорит Лене доктор Комков, целиком находящийся под впечатлением следов «чужей» жизни», — и не останется от нас ни та-кой скалы, ни таких веллингтоний, ни даже плохонького водопровода, и зависть меня берёт к этому безымённому предку...»

«От нас не останется? — обиженно переспрашивает Лена. — От нас останутся люди, каких ещё не было. От нас пойдёт счастье».

За этими словами Лены следует ещё целая, правда, очень короткая глава, посвящённая тому, как Александра Ивановна Горева приезжает, наконец, к Воропаеву. Но необходимость в этой главе — лишь внешняя, сюжетная. Внутреннее, идейное движение романа завершено.

Да, самым величественным памятником нашей революционной эпохи является новое поколение людей — строителей коммунизма. Яркие образы представителей этого нового поколения и созданы в романе «Счастье».

В «Счастье» Павленко достиг такого богатства и разнообразия человеческих характеров, какого мы не наблюдали ни в одном из его прежних произведений. Лена Журина, Юрий и Наташа Поднеbesко, Виктор и Варвара Огарновы, Горродцов, Опанас Иванович Цимбал, Сергей Константинович Широкогоров, Аннушка Ступина — каждый из этих людей занимает своё место в романе и обладает ясно очерченной и яркой индивидуальностью. Столь же отчётливо и резко очерчены в «Счастье» секретарь райкома Корытов и генерал Романенко — то есть те люди, к которым автор, а вместе с ним и читатель, не питают особой симпатии.

Наименее удачным образом романа оказался образ Александры Ивановны Го-

ревой. С помощью Горевой автор развёртывает довольно широкую картину стремительного продвижения советских войск по Европе. Некоторые фигуры, изображённые в этой части романа, отличаются почти сатирической резкостью (австрийская чета Альтман, американский «мыловаренный» майор, бутафорский герцог Иозеф и др.). Но любопытно, что всё это идёт не от Горевой, а от самого автора, хотя он и пытается смотреть её глазами. Образ Горевой остаётся как бы нейтральным ко всему. Яркие европейские зарисовки существуют в романе сами по себе.

В «Счастье» есть и другие недостатки, но все они — иного рода, нежели в предыдущих произведениях Павленко. Автор «Пустыни» и «Баррикад» принципиально не хотел углубляться в человеческую психологию, считая, что «люди проходят, а события остаются»; он принципиально отказывался от композиционного единства, свойственного подлинно реалистическому роману, исходя, видимо, из того, что оно якобы не способно передать ритм нашего времени.

В «Счастье» один образ более удался, другой менее удался, одна сюжетная линия вызывает большее доверие, другая — меньшее, одна сцена написана ярче, другая — бледнее. Но все эти недостатки совершенно не связаны с прежними «принципиальными» заблуждениями Павленко. Писатель твёрдо стоит на почве творческих принципов социалистического реализма. Недостатки «Счастья» вытекают не из отклонения от этих принципов, а от недостаточно последовательного претворения их в жизнь.

Это подтверждается и стилистикой романа. Уже в «На Востоке» Павленко продемонстрировал решительный отказ от «грузного плодородия образов» и словесной «пышности», которые были свойственны его ранним произведениям.

«Счастье» свидетельствовало о новых успехах Павленко на пути к овладению мастерством реалистического письма.

Во время своего первого приезда в колхоз «Первомайский» Воропаев встречается с недавно демобилизовавшимся лейтенантом Боярышниковым. Его поражает то, что, разговаривая с ним, Боярышников употребляет только одни короткие фразы.

«Мысль его, — пишет Павленко, — не умела ветвиться придаточными предложениями, а была коротка, как палка. Воропаев уже за одно это неумение пользоваться языком, за пренебрежение к густым, размашистым, разнообразно выющимся фразам, которые так характерны для русской речи и составляют её главную прелесть, бешено ненавидел этого отвоёвавшегося чиновника...»

Рассказывают, что Горький пришёл в ярость, прочитав произведение одного писателя, начинавшееся словами «Сын был юн».

Для стилистики романа «Счастье» характерна любовь к «густым, размашистым, разнообразно выющимся фразам». Такие фразы были любимы Гоголем и Тургеневым, Толстым и Достоевским, Чеховым и Горьким. Среди советских писателей особенно охотно пользуются такими фразами Шолохов и Фадеев.

Интересно отметить, что именно в «Счастье» Павленко то и дело прибегает к развёрнутым или так называемым эпическим сравнениям, которые можно часто встретить и у Гоголя, и у Толстого.

«Однажды в горах Кавказа, где-то в Северной Осетии, в те дни, когда там, изнемогая, билась 37-я армия, Воропаев увидел на скале дерево, превращённое бурей в осьминога. Если бы ветер мог иметь форму, он принял бы облик этого дерева. Оно было изваянием бури... Всем своим существом дерево было наклонено в сторону ветра, и даже редкие грубые листья его глядели не на солнце, а вслед ветрам, ежеминутно готовые вцепиться в очередную бурю и улететь с нею. Молодой Поднебеско, а в особенности жена его, очень напоминали это горное, воспитанное одними непогодами, дерево».

Писатель широко пользуется сравнениями, но не для того, чтобы поразить читателя неожиданной остротой своего зрения, а исключительно для того, чтобы приблизить к нему описываемое состояние или явление.

Природа, наедине с которой остался прикованный к постели Воропаев, вначале смущала его, «как смущала бы малознакомая женщина, с которой он вынужден был бы делить свои сутки»; дрозд запел на разные голоса, «как человек, знающий несколько языков, когда ему хочется по-

говорить с молчаливым попугайком»; Варвара Огарнова кричала так, как «кричат птицы, замолкая только для того, чтобы вобрать в себя воздух».

В стилистике «Счастья» нашли своё частное выражение глубочайшие перемены, которые произошли за двадцать лет в творчестве автора «Азиатских рассказов».

Ранний Павленко ориентировался на эстетскую манеру Бунина. Павленко пленяла та меланхолически-созерцательная интонация, которая, в соединении с горьким скепсисом и холодным изяществом слога, определяла своеобразие бунинской манеры.

В «Счастье» Павленко сознательно следовал великим традициям русской классической литературы. Это ощущалось и в глубине разработки характеров, и в свободном, естественно отражавшем ход жизни сюжетном развитии, и в прозрачной, истинно реалистической стилистике.

Более того, зрелый Павленко прямо противопоставлял себя Бунину. Рассказ «Голос в пути» — открытая и резкая полемика с Буниным. Вспоминая бунинский рассказ «Перевал», Павленко назвал его «холодным, неправдивым и напыщенным». Теперь Павленко пленяла уже не холодная и напыщенная фраза Бунина, а страстная, глубоко человеческая, вобравшая в себя всё многообразие жизни фраза великих мастеров русской классической литературы.

В своей брошюре «Как я писал «Баррикады» Павленко подчёркивал, что язык, которым написано это произведение, отличается от языка других его книг. «Он строже, суше, проще, без преднамеренной красоты, с меньшей претензией на пышность, которая встречалась у меня раньше сверх всякой нормы».

Тем не менее, писатель находил, что кнпгу «можно было написать яснее, прозрачнее, легче». И действительно, если в «Баррикадах» исчезла «преднамеренная краснота», то непреднамеренная ещё несомненно имела место.

В той же брошюре Павленко явно самокритически замечал: «Чрезмерная метафоричность языка... утомительна и, оказываясь, не всегда целесообразна. Образ должен маячить на странице, как парус в море. Он может быть замечен неожиданно, но должен долго оставаться в памяти,

пока не скроется за горизонтом своей темы».

Это замечание, направленное против ошибок собственного раннего творчества, по-настоящему реализовано именно в «Счастье».

Подлинно реалистические художественные образы помогают Павленко глубже раскрыть внутренний мир своих героев.

Большое место занимают в романе прозаично и прозрачно написанные крымские пейзажи. Тонкое изображение полной ярких красок крымской природы естественно входит в общую атмосферу романа, проникнутую высокой поэзией борьбы за человеческое счастье.

Но главное в создании этой атмосферы, разумеется, поэтические образы советских людей, делающих свою Родину ещё более прекрасной, чем она была до войны, смело заглядывающих в завтрашний день.

«Нельзя жить только сегодняшним, — говорит в «Счастье» старый винодел Широкогоров, — ибо оно чаще всего — незаконченное вчерашнее. Истинное настоящее всегда впереди».

Этим «истинным настоящим» и живут герои романа.

## 8

Последовавшая за «Счастьем» повесть «Степное солнце» свидетельствовала о новых успехах Павленко в овладении мастерством реалистического письма. Эта маленькая повесть сразу вызвала живейшую симпатию самых широких читательских кругов.

До «Степного солнца» Павленко мало писал о детях. Среди всех произведений писателя наиболее яркие детские образы мы находим в «Счастье».

Однажды Воропаев посмотрел в лесу забавную сцену: «...Мальчик лет десяти, соорудив из досочек игрушечную трибуну и поставив на неё черепашку вместо стакана с водой, увлечённо произносил какую-то речь, изредка «прихлебывая» из черепки и попрысая кулаком, как это делал сам Воропаев».

В этой сцене отразилось присущее Павленко своеобразие подхода к детской психологии.

Писателя больше всего интересует не то очевидное и само собой разумеющееся,

что отделяет ребёнка от взрослого, а то весьма сложное и порой трудно распознаваемое, что сближает ребёнка со взрослым. При этом сохраняется, конечно, полное понимание того, что сходство ребёнка со взрослым может выражаться лишь в специфических формах, присущих детскому возрасту.

«Степное солнце» имеет очень большое значение в творчестве Павленко, да и вообще в советской литературе наших дней. Эта повесть является одним из тех произведений, в которых весомые и зримые черты коммунизма, всё ярче выступающие в нашей действительности, нашли глубоко поэтическое, подлинно художественное воплощение.

Внешнее движение событий, описанных в повести, собственно говоря, исчерпывается тем, как шофёр Емельянов, выполняя задание по уборке хлеба, показал своему десятилетнему сыну Серёже степь и как оба они вместе с колхозниками от души порадовались замечательному урожаю.

Во время пребывания в степи с мальчиком произошло множество самых разных происшествий. Они весьма точно пересказаны Валентином Катаевым в его статье о «Степном солнце»: «Хватил солнечный удар. Укусила пчела. Купался в пруду. Командовал городскими девочками, приехавшими на уборочную. Болел зуб. Был послан с запиской в огородную бригаду насчёт обеда для «городских». Заблудился ночью в степи, среди комбайнов и костров».

Люди, изображённые в «Степном солнце», целиком поглощены уборочной кампанией. Говорят они преимущественно об урожае и о том, чтобы своевременно, не теряя ни одного дня, сдать хлеб государству.

Но сила повести Павленко тем и определяется, что за этой конкретной задачей, с таким энтузиазмом решаемой людьми, отчётливо проступает другая, более общая цель — построение коммунистического общества.

Коммунизм не является в повести Павленко отвлечённым понятием. Его черты уже вошли в быт, и герои «Степного солнца» отдают себе в этом полный отчёт. Задумчиво глядя на могучий комбайн, полевод одного из степных колхозов говорит: «Какое ж это земледелие, а? Это ж

индустрия! И какие тут могут быть мушкетеры?».

Эти слова не остаются в повести только декларацией. Павленко приводит множество убедительных деталей, наглядно показывающих, как коммунизм всё реальнее входит в быт колхозной деревни, как в советской стране постепенно уничтожается противоположность между деревней и городом.

Павленко показывает, как черты коммунизма входят не только в быт, но и в сознание людей, коренным образом меняя весь их облик.

Звеньевая Муся Гиляева, комбайнер Алексей Иванович Гончарук, колхозная сторожиха тётя Нюся, председатель колхоза Наталья Ивановна, помощница комбайнера Светлана, колхозная пасечница тётя Саша — все эти люди живут в «Степном солнце» напряжённой, интересной и содержательной жизнью.

Но особенно увлекательной жизнью живут в повести Павленко её главные герои — колхозные подростки. Их образы просто прелестны, да простит нам читатель это старомодное слово, давно выпавшее из привычного критического обихода.

Вот Яша Бабенчиков. Образ этого колхозного пионерского вожака — одна из ярких удач повести.

Бабенчиков потрясает Серёжу своей сосредоточенной деловитостью. Приехав из райкома комсомола на велосипеде, товарищ Семёнов — парнишка, видимо, лет восемнадцати, представляющийся Серёже многоопытным комсомольским руководителем, — рассказывает Яшке о делах в районе. То, что товарищ Семёнов считает возможным разговаривать с Бабенчиковым как с равным, потрясает Серёжу и вызывает в нём отчаянную зависть. «Как они все тут хорошо разговаривают друг с другом, — думает он, — будто все они взрослые и все одинаково понимают дело».

Та же самая — важнейшая для понимания «Степного солнца» — мысль повторяется и в конце повести. «В своём родном городе, — пишет Павленко, — Сергей только издали присматривался к жизни взрослых, ведя свою особую, маленькую, а тут для всех была одна жизнь, и ребята здесь были хозяевами наравне со взрослыми».

Таков основной вывод, который делает

Серёжа, подводя итоги своему пребыванию в степи.

Очарование «Степного солнца» в том и состоит, что Павленко с удивительной правдивостью показывает, как советские дети становятся хозяевами жизни, наравне со взрослыми. Образы детей написаны в повести с тонкой наблюдательностью и верным ощущением детской психологии.

Говоря о «Степном солнце» и его главном герое Серёже Емельянове, критики обычно вспоминают чеховскую «Степь» и её главного героя Егорушку.

Эта ассоциация, разумеется, вполне законна. Более того, она как бы подсказана самим автором «Степного солнца». Но смысл её не только в том, что Павленко хотел показать, как изменилась степь за годы советской власти. Писатель имел в виду, конечно, и это; но в то же время замысел его был своеобразнее и глубже.

Маленького героя чеховской «Степи» пугают не только безлюдные и мрачные степные просторы, по которым везёт его старая бричка. Гораздо больше пугает его жизнь, которую ему предстоит вести в городе. Детство, как представляется Егорушке, кончилось; начинается таинственная и страшная «взрослая», самостоятельная жизнь. Он с боязливым интересом присматривается к жизни, которую ведут на его глазах взрослые люди, и с отчаянием убеждается, что она отгорожена от него невидимой стеной, чужда и непонятна ему. Егорушка боится «взрослой» жизни и горько плачет при мысли о том, что скоро должен будет волей-неволей встретиться с нею.

Серёжа Емельянов совсем иначе относится к жизни взрослых. Она не отгорожена от него невидимой стеной. Серёже нечего бояться её. Наоборот! Она захватывает его, кажется ему бесконечно интересной и увлекательной.

Именно в этом плане Павленко и противопоставляет свою повесть чеховской «Степи», своего Серёжу чеховскому Егорушке.

Писателя больше всего интересует, как большие идеи, которыми живёт наша страна, преломляются в детском сознании и как они влияют на психологию ребёнка. Другими словами, писатель стремится воспроизвести то новое, что внесла в детскую жизнь наша социалистическая эпоха. Он

стремится показать, как советские дети участвуют в жизни взрослых, ни на одно мгновение не превращаясь при этом в маленьких старичков.

Весьма интересен образ секретаря райкома партии Тужикова, который Павленко вводит в действие на последних страницах повести.

Серёжа в высшей степени заинтересован Тужиковым, прежде всего потому, что у этого человека «удивительная и не совсем понятная» профессия: он партийный работник.

«Раньше Сергею думалось, что все партийные работники... только и делают, что заседают, агитируют, выводят народ на субботники и делают доклады. Теперь же, на примерах Семёнова и особенно Тужикова... получилось так, что партийная работа — самая тяжёлая и самая интересная, потому что она — всё».

Партийная работа — всё! В этом и состоит её поэзия. Профессия партийного работника объёмлет всё, начиная от уборки урожая и кончая сложнейшими человеческими чувствами.

Это имел в виду Павленко, когда с волнением писал о нелёгкой, но высоко поэтической профессии бродячего агитатора Сяю. Об этом он думал, создавая образы большевиков Ключаренкова в «Пустыне», Михаила Семёновича и Шотмана в «На Востоке». Этому он посвятил созданный им вдохновенный образ страстного партийного агитатора и пропагандиста — Воропаева.

Так от книги к книге раскрывал писатель главную тему своего творчества — благородную тему высокой поэзии, которая неизменно сопутствует истинно партийному, коммунистическому отношению к жизни и к людям.

Эта тема нашла своё высшее выражение в работе писателя над образом Иосифа Виссарионовича Сталина.

## 9

Образ товарища Сталина впервые возникает у Павленко в романе «На Востоке» и в «Русской повести». В романе «На Востоке» изображается выступление товарища Сталина после вероломного нападения японских империалистов на Советский Союз. В «Русской повести» Павленко описывает выступление товарища Сталина на

торжественном заседании, посвящённом двадцать пятой годовщине Октябрьской социалистической революции.

Образу товарища Сталина посвящены яркие страницы и в романе «Счастье».

Воропаев встречается с товарищем Сталиным в феврале 1945 года, в дни Ялтинской конференции. В последний раз он видел Иосифа Виссарионовича на параде войск Красной Армии 7 ноября 1941 года и теперь с глубоким вниманием вглядывается в лицо вождя.

«Лицо Сталина не могло не измениться и не стать несколько иным, потому что народ глядел в него, как в зеркало, и видел в нём себя, а народ изменился в сторону ещё большей величавости».

Всё то, что говорит товарищ Сталин Воропаеву, освещено взглядом в завтрашний день, мудрым предвидением. Выслушав рассказ Воропаева о людях района, в частности, о демобилизованном сержанте Городцове, тоскующем по кубанской пшенице, товарищ Сталин возвращается к своей недавней беседе с садовником. «Вот садовник — сорок пять лет работает, а всё науки боится, — замечает товарищ Сталин. — Это, говорит, не пойдёт, другое, говорит, не пойдёт. Во времена Пушкина баклажаны в Одессу из Греции привозили как редкость, а лет пятнадцать назад мы в Мурманске помидоры стали выращивать. Захотели — пошло. Виноград, лимоны, инжир тоже надо на север проталкивать. Нам говорили, что хлопок не пойдёт на Кубани, на Украине, а он пошёл. Всё дело в том, чтобы хотеть и добиться».

Ещё полнее и глубже, чем в прозе, образ вождя разработан Павленко в сценарном творчестве.

Первым сценарным опытом писателя была экранизация собственного романа «На Востоке». Однако подлинным началом его работы в кинодраматургии несомненно является сценарий «Александр Невский», написанный в соавторстве с С. Эйзенштейном. Своёобразие сценарного творчества Павленко, ярко выразившееся впоследствии в «Клятве» и «Падении Берлина», ощущается уже в «Алекサンドре Невском» (эти три сценария были высоко оценены советским народом и удостоены Сталинских премий первой степени).

«Он не история и в то же время он не вымысел, — писал Павленко о своём рома-



не «Баррикады». — Он ощущение нашего прошлого». Эти слова мы с полным правом можем отнести и к сценарию «Александр Невский».

Автор его менее всего претендует на цитатно-документальную точность. Он хочет воспроизвести исторические лица и события такими, какими они живут в душе народа. По всей своей образной системе сценарий Павленко ближе всего к народному эпосу. Это — былина о том, как князь Александр Ярославич со своими боевыми товарищами разбил немецких псоврыцарей на льду Чудского озера.

Былина — не история, но и не вымысел; она действительно — ощущение нашего прошлого.

Герои «Александра Невского» — князь Александр, новгородские богатыри Василий Булай и Гаврило Олексич, русская женщина-воительница Василиса, — даны в сценарии такими выразительными средствами, которые живо напоминают поэтическую выразительность былинного творчества. Все эти образы совершенно свободны, например, от какой бы то ни было психологической детализации.

Следующей работой Павленко в кино был сценарий «Яков Свердлов». Самым волнующим и самым поэтическим эпизодом этого сценария была встреча Иосифа Виссарионовича Сталина и Якова Михайловича Свердлова в туруханской ссылке. «Яков Свердлов» имел в творчестве Павленко важное значение прежде всего потому, что в этом сценарии была сделана попытка воспроизвести величественный образ товарища Сталина.

Обогащённый опытом работы над «Яковом Свердловым», писатель пришёл к широкому раскрытию образа вождя в написанных совместно с М. Чиатурели сценариях «Клятва» и «Падение Берлина». Однако к «Клятве» Павленко пришёл не столько от «Якова Свердлова» сколько от «Александра Невского». При несомненных литературных достоинствах сценария «Яков Свердлов» автор его потерял ту своеобразную народно-эпическую интонацию, которая была найдена в «Александре Невском». А в «Клятве» эта интонация была найдена снова. Недаром Павленко подчёркивал, что «Клятва» является «первой пробой брать эпос в кинофильме».

Для того чтобы понять своеобразную поэтику «Клятвы», необходимо обратиться к одной из сцен романа «Счастье».

Сержант Городцов рассказывает прикованному к постели Воропаеву эпизоды из своей фронтовой жизни. И, как самое волнующее и святое, сообщает, что два раза видел на фронте товарища Сталина. Один раз — под Москвой, другой раз — в Сталинграде.

Воропаев возражает: не было товарища Сталина в Сталинграде. Но Городцов твёрдо стоит на своём: «Это вам так известно, что не было, а нам, товарищ полковник, другое известно, что был. От солдата секретов нет».

Взволнованный великой верой, которая звучит в этих словах, Воропаев больше не спорит, и Городцов окончательно убеждается в своей правоте.

С этим эпизодом из романа «Счастье» хочется сопоставить маленький рассказ «Сила слова».

Лет сорок назад ранней весной в одном из далёких сибирских селений должно было состояться совещание слыльных. Докладчик — «молодой революционер с большим, ярким, многообещающим именем» — ожидался издалека. Но погода была так ужасна, что ждать докладчика не имело смысла. Однако люди говорили: «Если он сказал: «Буду», — обязательно будет».

И действительно, на реке показалась лодка. Она медленно, зигзагами, шла вверх по течению, против битого льда. «Худой человек в меховой куртке и меховой ушанке» спокойно вышел на берег. «Извините, товарищи, за невольное опоздание, — сказал он. — Новый для меня способ передвижения, немножко не рассчитал времени». Местные рыбаки с уважением посмотрели на приезжего — никто из них не рискнул бы прибегнуть к такому способу передвижения во время ледохода...

«Я не знаю, было ли это в действительности так и нет ли вымысла в этой, рассказанной мне, поэтической новелле, но я хочу, чтобы всё это было правдой», — заканчивает свой рассказ Павленко.

Для автора «Силы слова», для Терентия Городцова, рассказывающего о том, как он видел товарища Сталина в Сталинграде, для народа, передающего из уст в уста сложенные им замечательные, поэтически-проникновенные легенды, не имеет особого

значения, «было ли это в действительности так».

Павленко недаром подчеркнул, что «Клятва» является с его точки зрения первой попыткой «брать эпос» в киноискусстве. Многие сцены «Клятвы», а затем и «Падения Берлина» чрезвычайно показательны именно в этом смысле.

Известно, что историческая клятва товарища Сталина была дана не на Красной площади, а в помещении. Авторы же сценария изобразили клятву на Красной площади.

В данном случае авторы поступили так, как обычно поступает с историческими фактами устное народное творчество. Самое главное в знаменитой сталинской клятве — непосредственное обращение вождя к народным массам — усилено и подчеркнуто. Вождь выступает перед гигантским скоплением народа, без остатка заполнившего огромную Красную площадь. Народ подхватывает пламенные слова вождя. «Клянёмся!.. Эхо нескольких сот тысяч клятв звучит над Красной площадью и долго раскатывается по ней, медленно замирая».

Примерно в том же плане решена совсем иная по содержанию сцена в фильме «Падение Берлина». Советские солдаты пляшут на площади перед покорённым рейхстагом. Торжествующая солдатская пляска сотрясает площадь. Раздаются ликующие голоса: «— Я из Орла! Победа! — Я с Урала! — Я из Еревана! Победа! — Я из Москвы!..»

Можно сомневаться, «было ли это в действительности так» 2 мая 1945 года на площади перед рейхстагом, но мы убеждены, что это могло быть.

Выдающаяся поэтическая сила «Клятвы» и в особенности «Падения Берлина» во многом определяется тем, что изображённые в этих фильмах события и люди как бы овеяны дыханием поэтической легенды, творимой самим народом. Элементы народного эпоса, органически вошедшие в сценарное творчество Павленко, придали реалистическому стилю «Клятвы» и «Падения Берлина» черты той монументальности, которая отчётливо ощущалась ещё в «Александр Невском».

В соответствии с этим монументальный, обобщённо-символический характер приняла и человеческие образы. Такова рабочая

семья Петровых в «Клятве», таков сталевар Алексей Иванов в «Падении Берлина».

В центре «Клятвы» и «Падения Берлина» — величественный образ товарища Сталина.

«Клятва» охватывает почти двадцать лет жизни нашей страны — от смерти Владимира Ильича Ленина до великой всемирно-исторической победы под Сталинградом. Авторам сценария удалось показать, что героическая битва за своё счастье, которую вёл на протяжении этих двадцати лет советский народ, неизменно направлялась и руководилась товарищем Сталиным.

Мы видим товарища Сталина у дома Ленина в Горках. Простившись с покойным Владимиром Ильичём, Иосиф Виссарионович один направляется в парк. «Вот, вся заснеженная, стоит скамейка, на которой он когда-то сидел с товарищем Лениным.

Сталин стоит в расстёгнутой дохе, глубоко задумавшись. Видения прежних лет волнуют его. Он снимает шапку и долго-долго смотрит на скамейку».

Слёзы навёртываются у него на глазах».

После этой, потрясающей сцены мы видим товарища Сталина на Красной площади во время его исторической клятвы. Затем — осмотр первого советского трактора, выбор места для строительства Сталинградского тракторного завода, встреча со знатными людьми страны в Георгиевском зале Кремлёвского дворца и, наконец, великий подвиг в дни Отечественной войны. Сталин руководит обороной Москвы, Сталин разрабатывает генеральный план разгрома немцев под Сталинградом, Сталин организует и вдохновляет осуществление этого плана, Сталин поднимает весь народ на борьбу с врагом.

Новой удачей на пути к воспроизведению образа вождя явился сценарий «Падение Берлина».

В «Падении Берлина» показана титаническая работа товарища Сталина в годы Отечественной войны. Вот враг уже остановлен под Москвой и разбит под Сталинградом. Вот уже начинается знаменитое наступление советских войск в январе 1945 года.

Мы становимся свидетелями руководимой Сталиным подготовки к штурму Берлина, а затем и самого штурма. Знамя победы взвивается над покорённым советскими воинами рейхстагом. Прибывший в

Берлин товарищ Сталин обращается с речью к народу: «Будем же беречь мир во имя будущего! Мира и счастья всем вам, друзья мои».

Павленко задумал создать кинематографическую трилогию, посвящённую товарищу Сталину. «Клятва» явилась первой частью этой трилогии и была посвящена теме «Сталин и семья». Вторую часть — «Падение Берлина» — Павленко посвятил теме «Сталин и народ». Заключительную часть трилогии писатель предполагал посвятить теме «Сталин и человечество». Преждевременная смерть помешала Павленко осуществить этот замысел.

### 10

Явившись к больному Воропаеву, Терентий Городцов довольно замысловато объясняет, что привело его сюда. «Говорит народ; — полковник у нас имеется раненый, напуганный, разнообразный человек, — объясняет Городцов, — ну, что же, думаю, нам таких людей только давай, зайду познакомиться».

Павленко и сам был удивительно «разнообразным» человеком. «Нам таких людей только давай», — мог бы сказать Городцов и о нём.

Автор «На Востоке» и «Счастья», «Баррикад» и «Пустыни», «Клятвы» и «Падения Берлина», «Голоса в пути» и «Крыма, которого ещё не было», «Силы слова» и «Американских впечатлений», он одинаково уверенно чувствовал себя в работе над романом и рассказом, повестью и очерком, киносценарием и публицистической статьёй.

В каком жанре ни работал бы зрелый Павленко, всё, что он писал, было проникнуто истинно партийной страстью, горячо принималось читателем, вызывало непосредственный и живой отклик.

Это был писатель поистине нового, совершенно не известного старой литературе типа, тысячу нитей связанный с народом, живущий одной жизнью с ним.

Любопытный пример: летом 1949 года Павленко опубликовал в «Литературной газете» очерк «Цвети, родная земля!». В этом очерке речь шла о том, как крымские колхозники по призыву товарища Сталина продвигают на север грузинские субтропические культуры, как они решили

создать эвкалиптовую аллею от Массандры до Симеиза и назвать её Сталинской.

Количество откликов, полученных редакцией на очерк Павленко, было так велико, что через месяц с небольшим писатель выступил на страницах «Литературной газеты» с обзором этих откликов, также озаглавленным «Цвети, родная земля!».

Писательская работа зрелого Павленко была столь многообразна, что на первый взгляд нелегко уловить внутреннюю закономерную связь одного произведения с другим, определить внутреннее творческое единство, одинаково обязательное для всего, что писателем сделано. Но это только на первый взгляд.

Острый темперамент писателя — «организатора масс», счастливый дар непосредственно и эмоционально ощущать то новое, что ежечасно рождается в нашей действительности, хозяйски-активное отношение к жизни, большевистская партийность, как органическое свойство характера, как постоянные души, — таковы те прекрасные черты, которые запечатлены в любом произведении зрелого Павленко, какой бы теме оно ни было посвящено.

Своеобразие Павленко как писателя, то место, которое он занимает в советской литературе, определяются этими выдающимися особенностями его таланта.

В послевоенные годы Павленко совершил немало зарубежных путешествий. Он был в Америке на Всеамериканском конгрессе в защиту мира, в Германии на Общегерманском слёте демократической молодёжи, в Италии на Первом национальном конгрессе общества «Италия—СССР».

Последним крупным произведением писателя оказались его замечательные «Итальянские впечатления». В этом очерке с новой силой сказались выдающиеся особенности дарования Павленко.

В Италии писатель побывал впервые более четверти века тому назад. Тогда его поездка не увенчалась никакими творческими результатами. Только в «Путешествии в Туркменистан», описывая ночную прогулку по старой сонной Бухаре, он вспомнил вдруг Венецию.

«Перед пьядеттой, на лагуне, бродят сотни гондол. Серенады начинаются в разных концах и, перебивая одна другую, расходятся по дальним каналам-улицам... До-

ма стоят на тихой воде кораблями в покойной гавани... Венеция стоит на своих каменных якорях... На колокольне, этом старом маяке, древнем страже Венеции, бронзовые великаны выбивают молотком огонь певучего гула... И я думал о городе, который всё снимается и всё не может сняться с якоря...»

Эти строки, по всей своей манере тесно связанные с «Азиатскими рассказами», подчёркивают глубину того пути, который был пройден Павленко.

Дело не только в том, что «Итальянские впечатления» написаны с подлинным литературным блеском, порой заставляющем вспоминать Герцена. Дело, прежде всего, в той горячей любви, с которой Павленко пишет о простых людях Италии, о её молодых демократических силах. Подлинными героями очерка являются именно эти простые люди, отсутствовавшие в «Стамбуле и Турции».

Самое главное в «Итальянских впечатлениях» — «живая Италия с её живым чудесным народом, с его богатырскими судьбами». Очерк заражает читателя верой в счастливый завтрашний день смелого и вольнолюбивого итальянского народа, народа Спартака, Гарибальди и Тольятти.

«Итальянские впечатления» обращены к завтрашнему дню Италии и к тем людям, которые уже сегодня его представляют. Таким представителем завтрашней Италии является «пламенный сицилианец», бывший партизанский деятель, член итальянского парламента.

И что особенно знаменательно — в «пламенном сицилианце», который посещает вместе с Павленко завод «Фиат» и рассказывает русскому гостю о верных сыновьях свободолюбивого итальянского народа, мы без всякого труда узнаём знакомые черты любимого героя Павленко — Агитатора Партии.

Поэтическая тема благородной и необходимой людям работы, выполняемой Агитатором Партии, «всеобщим учителем», «человеком для людей», была главной темой творчества Павленко.

Подобно своему любимому герою — Агитатору Партии, боролся за счастье народа и сам Павленко. Недаром самое крупное своё произведение он озаглавил «Счастье», имея в виду борьбу за коммунизм, то есть за счастье для всего народа и для всего человечества.

«Он был профессиональным революционером, то есть должен был думать в беде за других... развивать ненависть в отчаявшихся, ярость в храбрецах, читать газеты неграмотным, петь революционные гимны над умирающими и говорить речи на любых митингах по любому деловому вопросу. Это был человек, в котором отражалась с удивительной яркостью воля масс к могучей счастливой жизни».

Эти слова, сказанные в своё время о китайском агитаторе Сяо, целиком относятся и к самому Павленко — писателю-большевику, человеку, в котором отражалась с удивительной яркостью воля масс к могучей счастливой жизни.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**М. Козьмин.** Поэты мира в борьбе за мир.— **М. Исаковский.** Заметки об одной статье.— **Б. Брайнина.** Хорошо делать — значит, хорошо жить.— **А. Тарасенков.** Два потока.— **Ю. Бартеков.** Малое заслонило большое.— **А. Барто.** Избранные стихи Е. Тругневой.— **Вл. Николаев.** Испытание характера.— **З. Кедрин.** Творения народного поэта.— **С. Львов.** Очерк о Мартине Андерсене-Нексе.— **П. Топер.** Германия вчера и сегодня.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат юридических наук **Л. Савинский.** В новой Албании.— **Б. Владимиров, Д. Давыдов.** Народы Африки в борьбе за мир и свободу.— **М. Стуруа.** Американцы в Испании.— **А. Никифоров.** Империя мошенников и гангстеров.— **Д. Милютин, Л. Лунгина.** Атомная дипломатия США.— Инженер **М. Давыдов.** Покорение энергии рек.— **Ю. Милёнушкин.** По дорогам медицинской науки.

## Литература и искусство

### Поэты мира в борьбе за мир

**С**борник «Поэты мира в борьбе за мир» является ярким свидетельством того, что прогрессивные поэты мира идут в первых рядах величайшего движения современности, вдохновляя его своими пламенными песнями и стихами.

В сборнике представлено более двухсот поэтов свыше пятидесяти народов и национальностей всех континентов. Передовым опрядом этой огромной армии поэтов — борцов за мир является советская поэзия. Ей посвящена первая часть сборника.

Советской поэзии идея мира присуща по самой её природе. Начиная с Владимира Маяковского и Демьяна Бедного, стихами которых открывается сборник, советская поэзия воспевает мирный труд своего народа, гневно обличая империалистов — поджигателей войны.

Поэты государства, которое родилось с призывом — мир народам! — умом и сердцем постигли смысл короткого слова «мир». Для них оно священо. Превосходно сказал об этом народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса:

«Поэты мира в борьбе за мир». Под общей редакцией С. Маршана, К. Симонова, А. Суркова. Гослитиздат, М. 1951.

Много слышал я слов на веку,—  
Всех дороже мне, старику,  
Большевистский призыв: «За мир!»—  
С ним вступили мы в новый мир.

(Перевод с аварского С. Липкина)

Слово «мир» означает для советского человека прежде всего возможность социалистического строительства. Правильно поступили составители, открыв сборник главой из поэмы Маяковского «Хорошо!», в которой говорится о радости освобождённого труда, о счастливой жизни страны социализма. В этой поэме выражен основной пафос советской поэзии, её главная тема. Советская поэзия — это поэзия мирного труда. Она воспевает труд как источник высшего духовного наслаждения, как творчество, как созидание коммунизма.

Самый короткий путь к коммунизму — это путь мирного труда, не прерываемого войнами. Советские поэты, гордые тем, что путь к коммунизму указывает их родина, выступают как истинные интернационалисты. Они хотят, чтобы к счастью коммунизма приобщилось всё трудящееся человечество.

Мы — патриоты! Но нет никого,  
Кому б вся планета была родней,  
Кто б так желал от сердца всего,  
Чтоб люди счастливыми жили на ней,—





идушей к коммунизму, является примером для прогрессивных поэтов мира, по-новому раскрывает перед ними сущность искусства и его цели. Советская литература, показывая влияние коммунистического мировоззрения на духовный облик людей и на их деятельность, завоевала себе «...право на то, чтобы учить других новой общечеловеческой морали» (А. А. Жданов). Многие прогрессивные писатели мира заявляют, что советская литература оказала на них благотворное влияние своей высокой идейностью, неразрывной связью с народом, верой в человека-труженика, человека-творца, своей устремлённостью в будущее, своей правдивостью, любовью к родине и духом интернационализма.

Советская литература указывает прогрессивной литературе мира путь служения народу и активного участия в его борьбе за мир и демократию. И не случайно, что из США, где буржуазные писатели особенно откровенно служат человеконенавистническим целям империалистических апрессоров, группа критиков писала: «Миллионы американцев подобно русским требуют, чтобы литература стала сознательной, чтобы она была ясной, а не двусмысленной, реальной, а не натуралистической, чтобы она рассталась с символизмом и мистицизмом, ютящимися в пещерах мракобесия, и стала воинствующей участницей борьбы с фашизмом». Прогрессивные писатели Пакистана, обращаясь к делегации советских писателей, заявили: «Мы теперь особенно приветствуем писателей России потому, что они начали борьбу против американских и британских поджигателей войны».

Прямым образцом служит советская литература для писателей стран народной демократии. Как и советские поэты, поэты этих стран раскрывают тему борьбы за мир в единстве с темой творческого труда. Труд как вклад в дело мира воспевают венгерские поэты Дьюла Ийеш, Золтан Зелк, Петер Куцка, поэт Чехословакии Станислав Нейман. Труд обеспечивает мир, — говорят стихи немецкого поэта Кубы:

Чтоб не было войны,  
чтоб дело мира крепло,  
в отстроенных цехах  
мы варим нашу сталь!

(Перевод с немецкого Л. Гинзбурга)

Пример советской поэзии показал поэтам стран демократического лагеря, что главными героями литературы должны стать простые люди, героические труженики города и деревни. Именно они и составляют оплот дела мира. В демократическую поэзию Польши, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Албании, Болгарии прочно вошёл новый герой. Об этом пишет чешский поэт Витезслав Незвал:

...Искать ни убийств, ни сенсаций не  
надо.

Ударники — герои. бездельники — нет,  
И сердце у каждого этому радо.

(Перевод с чешского А. Кудрайко)

Прогрессивная поэзия мира, борющаяся за мир, развивается под благотворным воздействием советской поэзии. Особенно велико влияние на прогрессивных поэтов творчества Маяковского.

О причине величайшего революционизирующего воздействия Маяковского на мирную прогрессивную поэзию хорошо сказал болгарский поэт Людмил Стоянов: «...Он поэт эпохи, которая ещё не пережита, если не считать одну шестую часть мира, но которой только предстоит быть отражённой в остальном мире. Поэтому поэзия Маяковского звучит и будет звучать с такой ударной силой в сердцах миллионов людей, видящих в ней новое слово».

Прогрессивные поэты всего мира учатся у Маяковского тому, как надо превратить искусство в орудие народа для борьбы против старого мира, для строительства новой жизни. Они воспринимают революцию, произведённую им в области стиха, как следствие отражения революционных сдвигов в самой действительности. Влияние Маяковского мы находим в поэзии Назыма Хикмета, стихи которого дышат борьбой и гневом. Когда мы читаем в стихотворении Хикмета, что он готов отдать своему нищему народу единственное, что у него есть, — пламенное сердце, — невольно вспоминается образ окровавленной души, которую поэт русской революции мечтал дать как знамя восставшим.

Влияние боевой партийной поэзии Маяковского ощущается в стихах Арагона и Элюара, Неруды и Амаду, Бехера и Вайнерта, Линдсея и Хьюза. Особенно сильно это влияние сказывается в творчестве поэтов стран народной демократии, видя-



щих в поэзии Маяковского образец социалистического реализма.

Румынские поэты Мария Бануш, Михай Бенюк и Дан Дешлиу, посетившие нашу страну, оставили в книге отзывов Музея Маяковского характерную запись: «Поэзия — это бомба, поэзия — это знамя, — эти слова Маяковского для поэтов нашей республики являются самым важным руководством в их творческой работе. Изучая великий опыт Владимира Маяковского, наша поэзия всё глубже проникается духом борьбы и могучей силой его стихотворений. Это делает произведения румынских поэтов бомбой, бросаемой против врагов мира, знаменем, зовущим наш народ на построение социализма...»

Народность поэзии Маяковского, его большевистская целеустремлённость к будущему, его интернационализм и непримиримая ненависть ко всему реакционному

созвучны современной борьбе за мир, демократию и социализм. Потому корейский поэт Тю Сон Вон и ставит эпиграфом к своей поэме «Суд идёт», посвящённой героической борьбе своего народа против американских агрессоров, строки из Маяковского:

Пусть  
сегодня  
сердце корейца  
Жаром  
новой мести греется!

Издание сборника «Поэты мира в борьбе за мир» является вкладом в дело мира, в дело разоблачения поджигателей войны. Прогрессивная поэзия мира, представленная в сборнике, отражает волю народов к миру и ведущую роль Советского Союза в величайшем всенародном движении современности.

М. КОЗЬМИН.

★

## Заметки об одной статье

В седьмой книге Пензенского альманаха «Земля родная» напечатана статья Ф. Самарина «Песни наших земляков».

Мне хотелось бы поговорить по поводу этой статьи и даже, может быть, не столько по поводу самой статьи, сколько по поводу тех мыслей и соображений, которые возникли у меня при чтении её.

Ф. Самарин поставил перед собой задачу рассказать о жизни и работе своих земляков — поэтов, работающих в области песни, обратить внимание общественности на их творчество, помочь их дальнейшему творческому росту. В этом смысле статья Самарина имеет положительное значение.

В то же время в статье, на мой взгляд, содержится ряд неверных утверждений и положений как частного, так и общего порядка.

После совершенно правильных слов о том, что «из среды колхозной и рабочей молодёжи выдвинулось немало даровитых певцов, музыкантов, танцоров, художников кисти и резца» и что «Пензенская область... славится своими богатыми песенными традициями», Ф. Самарин пишет:

Ф. Самарин. «Песни наших земляков», статья. Альманах «Земля родная», книга седьмая. Редактор З. Гусева. Пензенское областное издательство, 1951.

«У нас много творцов и ярких исполнителей народных песен». (Подчёркнуто мной.— М. И.)

И несколько дальше:

«Поэтическая биография М. Инюшкина типична для творцов народных песен». (Подчёркнуто мной.— М. И.)

Таким образом получается, что в Пензенской области живут не только отличные исполнители народных песен (что безусловно не подлежит никакому сомнению), но также и такие люди, которые сами сочиняют народные песни.

Подобное утверждение кажется мне более чем странным.

В самом деле, невозможно себе представить человека, который о своей профессии, о своём занятии сказал бы так: «я, мол, сочиняю народные песни, я являюсь творцом народных песен». Невозможно представить себе и такое, что садится, например, человек за стол (если речь идёт о поэте) или за музыкальный инструмент (если речь идёт о музыканте) и пишет именно народную (а не какую-либо иную!) песню.

Человек может написать песню вообще. Но станет ли она народной — это ещё неизвестно. Это зависит не от намерений автора песни, не от манеры его письма. Это

зависит только от самого народа. Только народ является высшим судьёй и предопределятелем судьбы той или иной песни.

И поэтому-го «присваивать» подобные «звания» («творцы народной песни») людям, причастным к созданию новых песен, мне кажется и нелепым, и неправильным, и, я бы сказал, нескромным.

Весьма возможно, что я не стал бы столь подробно останавливаться на этом вопросе, если бы он имел лишь местное, лишь чисто «пензенское» значение.

Однако вопрос этот далеко не местный.

Несколько месяцев тому назад Всесоюзный дом народного творчества имени Крупской созвал в Москве слёт, который был официально назван слётом авторов современной народной песни.

Кстати сказать, на слёте, насколько помнится, присутствовала приехавшая из Пензенской области учительница Е. Медянцева, о творчестве которой, в числе других, пишет в своей статье Ф. Самарин.

Разумеется, слёт был мероприятием весьма полезным в том смысле, что приехавшие товарищи многое услышали, многое увидели, многое поняли, многому научились (помимо всего прочего, на слёте проводилась и чисто учебная работа с приехавшими).

И в то же время эти хорошие советские люди — рабочие, колхозники, учителя и т. п. — были поставлены, мягко выражаясь, в ложное положение. Всем им, так сказать, авансом было «присвоено» «звание» творцов современной народной песни. Другими словами, их творчеству, во многом ещё слабому, несовершенному, сырому, заранее как бы уже дали наивысшую оценку, которая только возможна в нашей стране, ибо современная народная песня — это значит самая лучшая песня, самая совершенная, самая распространённая, самая любимая народом. Противоположное толкование понятия народности песни, по моему, невозможно, и оно было бы просто оскорбительным для нашего народа.

И мне непонятно — зачем нужно было вводить в заблуждение людей, сделавших в области песни, по существу говоря, лишь первые шаги, людей, которые в первую очередь нуждаются в правильной руковод-

стве, в правильной ориентации, в добром совете, в помощи, а не в промких наименованиях.

Для параллели я хотел бы привести такой пример.

Общеизвестен факт, что многие тысячи людей в нашей стране, людей всех возрастов и профессий, пробуют свои силы в поэзии, пишут стихи. Однако же никому и в голову не приходило называть эти стихи народными стихами, а их авторов творцами народной поэзии. А вот в области песни это в иных случаях почему-то происходит.

Если верить организаторам слёта, о котором я говорил выше, то пензенскую учительницу Медянцеву и, также присутствовавшего на слёте, композитора-самоучку донецкого шахтёра Дмитриева-Кабанова — следует признать творцами современной народной песни.

Предположим, что это так. Но предположим далее, что эти два, кстати сказать, способных товарища, будут учиться, будут постепенно постигать «тайны» мастерства и в конце концов станут песенниками-профессионалами. К какой же категории их отнести тогда? Очевидно, они потеряют право называться «авторами современных народных песен», поскольку станут профессионалами?

Значит, получается так, что когда человек не владеет ещё как следует мастерством, то его творчество признаётся народным. Когда же он постигнет мастерство, то есть станет сочинять песни гораздо лучше, чем раньше, то его творчество уже не народно.

Нелепость подобного положения совершенно очевидна.

Но в чём же всё-таки суть вопроса?

Чтобы продолжить начатый разговор, я вынужден, хотя бы в самых кратких чертах, остановиться на истории возникновения старой русской народной песни.

Старая русская народная песня возникла и развивалась в те времена, когда народ наш был неграмотным, когда пути к овладению культурой были для него закрыты.

Существовавшее в те времена искусство (сначала дворянское, а потом буржуазное или буржуазно-дворянское) было отгорожено от народа «китайской стеной», и на-

род не мог им пользоваться. Народ не мог им пользоваться и воспринимать его ещё и потому, что искусство это по духу своему и направлению, по всему своему существу было чуждо интересам народа. Оно было искусством антинародным.

При таком положении народ должен был сам создавать и создавал своё искусство и, в частности, свои песни.

Возникнув где-нибудь, эти песни передавались из уст в уста, переходили от одного к другому, пелись. Причём, многие люди, передававшие и певшие эти песни, вносили в них нечто от себя, перedelывали их, шлифовали, совершенствовали. Делалось это, конечно, не сразу, а в течение длинного ряда лет.

Созданные таким образом песни имели полное право называться народными потому, во-первых, что они выражали душу народа, его думы и чаяния, его жизнь и борьбу, и потому, во-вторых, что в создании их, в отделке, в постоянном улучшении принимали участие очень многие люди, то есть сам народ.

Называться народными эти песни имели право ещё и потому, что они противостояли дворянско-буржуазному песенному искусству, чуждому народным интересам.

Кроме всего этого, в народ проникали произведения искусства и литературы, созданные прогрессивными деятелями того времени. Так, например, проникли многие стихи Пушкина, Некрасова и др., ставшие песнями. Эти песни, хотя они и являлись песнями литературного происхождения, были настолько близки народу и по форме и по содержанию, что народ воспринял их как свои собственные. И они также, с полным на то правом, вошли в сокровищницу русской народной песни, стали неотъемлемой частью русской песенной народной культуры.

Таким образом, в те времена, о которых идёт речь, существовало два искусства песни: народное искусство и искусство, чуждое народу, искусство правящих классов, угнетавших народ.

И такое разделение было совершенно закономерным, так как оно вытекало из классового расслоения общества.

В настоящее время положение коренным образом изменилось. Народ наш стал поголовно грамотным, культурным. Все со-

кровища искусства открыты для него и принадлежат только ему.

У нас в стране нет антагонистических классов и потому нет почвы для существования двух искусств, как это было раньше.

У нас одно искусство и направлено оно на то, чтобы служить народу.

Наши песни также пишутся о народе и для народа. Через посредство книг и прочих печатных изданий, через радиопередачи, через кино, через граммпластижки они в короткое время достигают самых отдалённых уголков страны. И лучшие из них подхватываются всем народом, становятся его культурным достоянием.

При таком положении мне кажется странным делить людей, работающих в области песни, на две категории: на творцов народной песни и на творцов, очевидно, не народной, а какой-то другой песни.

Между тем, как мы видели, такое деление существует. И происходит оно, на мой взгляд, оттого, что некоторые товарищи имеют неправильное представление о народности песни в наших советских условиях.

Они, эти товарищи (в том числе многие наши фольклористы), исходят, примерно, из следующих положений:

1) Если, предположим, песню сочинил колхозный гармонист С., то есть «человек из народа», значит, песня его — народная. Если же, скажем, песню сочинил композитор-профессионал Н., то его песня — это уже песня какой-то иной категории.

По совести говоря, мне непонятно — почему считается так, что гармонист С. выражает в своём творчестве именно то, чего требует народ, а композитор Н. этого якобы не выражает? Почему гармонист С. более «народен», чем композитор Н.? Ведь оба они живут в социалистическом обществе, оба они совершенно равноправны в этом обществе, равноправны я в своём песенном творчестве, и преследуют они одну и ту же цель — создание новых хороших песен для народа. Зачем же в таком случае их делить на «народ» и «не народ»?

Я думаю, что подобное деление, помимо всего прочего, является и политически ошибочным.

2) Считается ещё так, что если песня возникла где-нибудь «в низах» да, в до-  
полнение к тому, в ней в избытке содер-

жаты традиционные выражения и словечки, взятые из старого фольклора (вроде таких, как: «ой, ты, поле-полюшко», «речка-реченька», «солнце красное», «добрый молодец» и т. п.), то, значит, песня написана в «народном духе», значит, она народная.

Вольно или невольно, но товарищи, думающие так, почти всегда жестоко ошибаются. В большинстве случаев такие песни являются лишь имитацией старинных народных песен, лишь подделкой под них, лишь своеобразной перелицовкой старого фольклора.

И когда Ф. Самарин в своей статье пишет, что творчество А. Анисимовой (известной пензенской песенницы) «глубоко народно», то он также принимает за народность лишь чисто внешнюю, поверхностную окраску песен А. Анисимовой. Как раз это чисто внешнее (а не творческое), чисто механическое использование старинного фольклора является скорее недостатком стихов и песен способной поэтессы А. Анисимовой, нежели достоинством. И чем скорее она избавится от этого недостатка, тем будет лучше для неё. Надо вносить в стихи и песни больше своего, самобытного, свежего, нового, яркого, взятого из современной живой действительности, а не просто итти на поводу у старого фольклора.

Имитировать старую народную песню, подражать ей — дело весьма лёгкое. Но не эта задача стоит перед поэтами-песенниками. Их задача другая: создавать песни новые как по содержанию, так и по форме, а не копировать то, что уже создано давным-давно. И уж если использовать в песне фольклор (а я стою за то, чтобы использовать его), то надо его использовать творчески, и только творчески. Это, между прочим, блестяще умели делать некоторые наши классики — и композиторы, и поэты.

Считать песню народной лишь потому, что автор (поэт) ввёл в неё некоторые приёмы старинных народных песен, употребил некоторые фольклорные слова и фразы — это значит не понимать, что такое народность в наших условиях, народность в большом, глубоком и широком смысле.

Александр Сергеевич Пушкин по праву считается великим русским народным поэтом. А ведь он писал свои стихи (за исключением, может быть, сказок), не при-

бегая к традиционным формам фольклорной поэзии. Он писал их своим, пушкинским языком, но от этого его творчество не становится менее народным.

Как известно, лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи В. Маяковский вовсе не прибегал к прямым заимствованиям из фольклора. И всё же Маяковский — безусловно поэт народный.

В наши дни понятие народности гораздо шире, глубже, гораздо значительней, чем это кажется некоторым критикам и фольклористам, которые, видя народность лишь в «фольклорности» того или иного произведения, по существу говоря, опраничивают поле деятельности нашей песенной поэзии. Они слишком часто увлекаются старинной формой народной поэзии, не понимая того, что новое содержание настоятельно требует и новой формы, соответствующей ему.

3) Случается встречать ещё и таких людей, которые считают, что народная песня — это та, что «похуже».

Характерный в этом отношении случай произошёл в одном издательстве. Издательство готовило к печати сборник песен, предназначенный для коллективов художественной самодеятельности. В погоне за мнимой народностью в одной из песен издательство сняло фамилию автора текста и сделало пометку: «слова народные».

Сборник попал в руки поэту Льву Ошанину. И тот сказал в издательстве:

— Позвольте, товарищи, ведь это же слова вовсе не народные, вовсе не безыменные. Их написал такой-то. Так надо и указать.

Ошанину ответили так:

— Мы знаем, что слова написал такой-то. Но видите ли, в чём дело: слова очень слабые, и если мы укажем фамилию их автора, то нас после будут ругать — зачем, мол, напечатали такие слабые стихи, надо было заставить автора переделать их или написать заново. А если пометить, что «слова народные», то никто ничего не скажет.

Видите, какая получается нелепость, если не сказать больше: мол, вали всё на народ, с народа спрашивать не станут<sup>1</sup>.

Но в чём же всё-таки заключается народность или не народность современной

<sup>1</sup> Я должен, однако, отметить, что издательство в конце концов не стало печатать песню с плохими словами и заново перестроило весь сборник.

советской песни? Как правильно подойти к решению этого вопроса?

Я думаю, что только так:

Речь должна идти не об искусстве народном или не народном, а об искусстве профессиональном и самодеятельном.

Искусство песни профессиональное и искусство песни самодеятельное — это не два разных искусства, как пытаются представить некоторые люди. Это лишь две стороны одного и того же песенного искусства, одного и того же общего процесса.

И эти две стороны нашего песенного искусства не только не противостоят друг другу, а, наоборот, они взаимно дополняют и обогащают друг друга, они связаны между собой неразрывнейшим образом.

О такой связи говорит хотя бы тот факт, что многие талантливые люди, начав свою работу в самодеятельности, становятся впоследствии профессионалами. Таким образом, ряды профессионалов всё время пополняются свежими силами, новыми талантами.

И нет никакого смысла предопределять — кто больше народен: песенник-профессионал или песенник-непрофессионал.

Пусть это решает сам народ и решает время.

Всё дело в конечном счёте зависит не от того, кто сочинил ту или иную песню — профессионал или непрофессионал, а от качества этой песни. Поэтому-то при оценке песенного творчества надо принимать в расчёт прежде всего качество создаваемых произведений, а отнюдь не профессию, не занятия их авторов. Плохое качество песни народ не прощает ни профессионалу, ни непрофессионалу.

Если песня по-настоящему хороша, если она выражает дух нашего времени, если она очень широко распространена и любима народом, то её с полным правом можно назвать народной песней, независимо от того, кто её написал. И она сполным правом войдёт в сокровищницу песенного искусства нашего народа.

Если же песня плохая, то куда её ни причисляй — к народному творчеству или не к народному, — толку от неё мало. Она всё равно не станет лучше, и петь её никто не будет.

Идейно-художественные качества песни — вот единственно правильное мерило народности её. Никакие побочные соображения здесь приниматься в расчёт, по-моему, не должны.

Возвращаясь к статье Ф. Самарина, мне хотелось бы сказать, что он расценивает творчество своих земляков-поэтов не совсем с той позиции, с какой следовало бы.

Поскольку речь идёт о поэтах-песенниках, их творчество в первую очередь должно было быть рассмотрено с точки зрения поэтического мастерства.

Мне могут возразить, что, мол, в статье говорится, главным образом, о песнях, а не о стихах. Но такое возражение было бы не по существу. Песня (слова её) — это такое же поэтическое произведение (но только с некоторыми «песенными» особенностями), как и всякое стихотворение. Поэтому мерилом успехов того или иного поэта-песенника может быть только поэтическое качество его произведений.

Самарин же пошёл по другой линии: он рассматривает успехи пензенских поэтов лишь с точки зрения того, насколько популярны песни, написанные на их слова. Если песня популярна, стало быть, поэтическая работа хороша; если песня не популярна, стало быть, поэт написал плохие слова. (Впрочем, о неудачных песнях Ф. Самарин не говорит вовсе. По его статье выходит, что всё, что написано пензенскими поэтами, находится на должном уровне).

Рассматривать поэтическое творчество с этой точки зрения — это значит подходить к нему крайне однобоко.

Мне уже неоднократно приходилось говорить о том, что хотя слова в песне и играют очень большую роль и чем выше качество словесной поэтической ткани в песне, тем лучше для песни, но всё же главная роль в песне принадлежит музыке. Музыка даёт словам новую жизнь, новое звучание. Она являет-

ся душой песни и её крыльями, позволяющими песне «облетать» опромные пространства.

Я совершенно уверен в том, что даже самые лучшие песенные слова без музыки никогда не получают такого широкого и всенародного распространения, какое они получают при наличии хорошей, соответствующей им, музыки.

У нас нередко случается так, что композитор пишет музыку на хорошие слова. Но если эта музыка неудачна, слаба, то песня его лежит мёртвым грузом, её никто не поёт, и хорошие слова не спасают положения.

Есть много примеров и обратного порядка: слова неважные, средние, даже какие-то стандартные, но музыка хорошая. И тогда песня живёт, поётся, распространяется.

В качестве иллюстрации возьмите хотя бы песню А. Новикова на слова С. Альмова — «Россия». Слова её с поэтической точки зрения — весьма и весьма слабые, трафаретные. А между тем, песня имеет очень широкое распространение и очень нравится народу. Это значит, что композитор Новиков написал хорошую музыку и тем самым «спас» слова, которые без музыки Новикова были бы мало интересны.

Вот почему нельзя определять успехи (и неудачи тоже) поэтов-песенников только степенью распространённости песен, написанных на их слова. Популярность песни зависит в первую очередь от музыки, а в музыке поэт, как известно, не повинен.

А вот что получается у Ф. Самарина. Он хвалит одну из песен Е. Медянцевой. Он говорит так: «Автор умеет наблюдать жизнь, рисовать светлые поэтические образы. Вот как жизненно правдиво дана в песне «Полевая» картина трудового подъёма в дни полевых работ».

Вслед за этим Ф. Самарин цитирует песню Медянцевой:

Утром с зорюшкой раненько  
Спешим в поле мы скоренько  
на работу.  
У нас в поле много дела.  
Вся работа закипела,  
заспорилась.  
Чтоб уместить урожай,  
Сорны травы мы бросаем  
вон из поля...  
И т. д.

Читаешь эту песню, которую так хвалит Ф. Самарин, и думаешь: что же в ней хорошего, за что её хвалить? Песня (по словесному материалу) слабенькая, стилизаторская. И превозносить её, как это делает Ф. Самарин, совершенно не за что.

Можно допустить, что на приведённые слова написана хорошая музыка, и песня поётся. Но это уже не является заслугой Е. Медянцевой как поэта. А ведь хвалит-то её именно как поэта, а не как сочинителя музыки.

В другом месте своей статьи Ф. Самарин также очень похвально отзывается об одной из песен М. Инюшкина и цитирует её:

Любим мы страну свою родную,  
Слово «русский» гордостью звучит.  
Мы вошли в одну семью большую,  
Наш союз никто не разлучит.

Давайте говорить по совести. Слова эти хвалить совершенно не за что. Слова самые заурядные. Они верны по мысли, но никакой «поэтической находки» у М. Инюшкина здесь нет. Больше того, М. Инюшкин явно допускает здесь языковые неточности. Он пишет, что «наш союз никто не разлучит». Но «разлучить» можно только кого-нибудь с кем-нибудь или кого-нибудь с чем-нибудь; «разлучить» можно лишь тех, кто входит в союз, но самый союз «разлучить» нельзя. Это выражение М. Инюшкина в языковом отношении построено неправильно.

Но, может быть, на эти слова, хотя и несовершенные, написана хорошая музыка и, таким образом, появилась популярная, широко распространённая песня, которая уже сама по себе даёт повод вспомнить об авторе слов? Однако такой песни что-то не слышно. И если она существует, то популярность её всё же сомнительна.

На чём же, в таком случае, Ф. Самарин основывает свою похвалу?

Я думаю, что Ф. Самарин поступает неправильно. Он зря вводит в заблуждение М. Инюшкина и его сотоварищей по работе. Похвала имеет смысл лишь в том случае, когда есть за что хвалить. А если хвалить не за что, то гораздо лучше прямо и откровенно указать человеку на его слабости, на его ошибки, чтобы он мог исправить их и тем самым сделать новый шаг вперёд.

Именно такая задача стоит перед нашей критикой.

Я мог бы привести и другие примеры захваливания Ф. Самариним своих земляков — поэтов-песенников. Но я думаю, что и этих достаточно, чтобы сделать вывод,

что Ф. Самарин отнёсся к творчеству пензенских поэтов чересчур пристрастно и при том подошёл к оценке его не совсем со стороны, с какой следовало бы подойти.

М. ИСАКОВСКИЙ.

★

### Хорошо делать — значит, хорошо жить

К декаде узбекской литературы в Москве выходит ряд первых книг молодых писателей, в которых отражены настоящие, животрепещущие явления современности. О новой узбекской интеллигенции, о становлении социалистической нации написан роман Парда Турсуна «Учитель»; теме перестройки природы посвящены повести Шарафа Рашидова «Победители» и Рахмата Файзи «В пустыню пришла весна»; об узбекских металлургах написал повесть Аскад Мухтар «Там, где сливаются реки».

Появление этих книг тем более знаменательно, что проза в узбекской литературе была самым отсталым участком: она являлась только в советское время, и вплоть до последних лет в ней господствовала почти исключительно историческая тема. Пережитки эстетства, напыщенного восточного орнаментализма, отличающего искусство феодально-буржуазной верхушки старого общества, в прозе сказывались сильнее, чем в других жанрах.

Борьба молодых узбекских прозаиков за реализм, за народность — это также борьба с пережитками прошлого, с идеализацией этого прошлого, борьба с архаикой, с поэтической условностью старой придворной поэзии, в корне чуждой народу.

Успешности и плодотворности этой борьбы во многом способствовало влияние традиций русской классической и советской литературы, в особенности традиций Горького — основоположника советской литературы, литературы социалистического реализма.

Влияние традиций Горького на молодую узбекскую прозу сказалось в стремлении писателей изобразить жизнь в её револю-

ционном изменении, изобразить народ, как единственно живую, творческую силу истории, показать новое качество труда советских людей, труда, который является творчеством, деянием, утверждением и радостью жизни, труда, который делает человека властелином природы.

Советские писатели, — в том числе, конечно, и писатели национальных республик, о которых Горький ещё семнадцать лет назад сказал, что «они работают не только каждый на свой народ, но каждый — на все народы», — не могут пройти мимо темы переустройства природы.

Одна из основных проблем, стоящая перед народами Средней Азии, — борьба с пустыней, с засухой, борьба за воду. На эту столь жизненную тему написана первая повесть молодого узбекского писателя Шарафа Рашидова «Победители».

Вокруг подгорного селения Алтын-Сай тысячи гектаров прекрасной плодородной земли изнывают от бесплодия. В короткие дни весны дикорастущий огненно-красный мак и голубые фиалки покрывают её края в край. но «проходят дни, отцветают цветы, солнце выпивает сок из травы — земля лежит голая, рыжая, пустая, и хлебоборо, прислоня ладонь к глазам, оглядывает её просторы, говоря с горечью: «безводная земля».

Но дайте воды этой земле — и она вырастит всё, что посеет на ней человек, она даст богатейшие урожаи.

Юная председательница Алтынсайского сельсовета, девушка Айкиз, полна горячих спокойных мыслей о том, как открыть воде путь на иссохшие от зноя колхозные поля. Айкиз знает, что недавно Мирзачуль был Голодной степью, но советские люди дали воду земле, сделали её цветущей, плодородной, счастливой. Айкиз приходит счастливая мысль разыскать и расчистить родники, расположенные вокруг Алтын-Сая, некогда выведенные из строя басмачами и

Шараф Рашидов. «Победители». Повесть. Перевод с узбекского А. Дроздова и В. Мильчакова. Редактор А. Дроздов. Узбекское государственное издательство. Ташкент, 1951.

их хозяевами — англичанами. Враги, чтобы нанести ущерб колхозному хозяйству, взорвали многие родники, в том числе и мощный родник Кок-Булак.

Идею Айкиз подхватывает и секретарь райкома Джурабаев, и парторг колхоза Алимджан, и начальник районного водного хозяйства русский инженер Смирнов, и все рядовые обитатели колхозов селения Алтын-Сай. Борьба за воду превращается в подлинно народное дело. Советские люди не только возвращают упряденную врагами воду, но строят мощное водохранилище и навсегда подчиняют себе водную стихию. Завоеванная вода даёт возможность колхозникам посеять хлопок на тысячах гектаров впервые распаханной вековечной целины.

Наиболее полно раскрыт автором образ девушки Айкиз. Развитие этого образа и даёт основное движение сюжета.

Сохраняя национальный колорит мыслей и чувств Айкиз, автор правдиво показывает, как простая узбекская девушка превращается в большого советского человека — человека государственного масштаба.

Особенно тепло изображено развитие в Айкиз чувства ответственности перед народом, перед государством, чувства самокритики. Ещё будучи пионеркой, она ощущала свою ответственность за проступки людей. Так, с детской непосредственностью и горячностью разоблачила она крестьянина, укравшего у колхоза зерно, и хотела своей работой возместить ущерб, нанесённый этой кражей обществу. Впоследствии, когда Айкиз выросла, возмужала, получила образование и стала председателем сельсовета, принцип самокритики стал основой её поведения. «Человек всегда должен быть строг к себе, — думает она, — и на людях, и наедине с самим собою. Если все люди будут строги к себе, исчезнет всё, что есть дурного среди нас: мелкое честолюбие, мелкие ссоры, большие и маленькие предрассудки. Строгий к себе человек больше учится, глубже думает, лучше работает...»

Эти слова произносит узбекская девушка, чья мать была ещё бессловесной рабой в старом эксплуататорском обществе.

В повести показано, как чувство самокритики, воспитанное партией большевиков и всем строем советской жизни, помогло Айкиз осознать и исправить ошибку, со-

вершённую ею при закладке плотины. Это одна из лучших сцен книги.

Айкиз, которая нашла выход могучего родника и которая подарила мысль об использовании родников для орошения, была назначена заместителем начальника строительства — инженера Смирнова и начальником плотинного участка.

Неправильно поняв проект Смирнова, Айкиз даёт ошибочное распоряжение приступить к закладке плотины без выемки грунта в бортах ущелья. Она полагала, что Смирнов настаивал на выемке лишь для того, чтобы брать камни непосредственно из ущелья и этим облегчить труд людей. Но колхозники уже подвезли к ущелью достаточное количество камней, поэтому, думала она, можно обойтись и без выемки. Смирнов и рядовые строители вовремя предотвратили ошибку Айкиз. Тем не менее она строго казнит себя: «Как я теперь посмотрю колхозникам в глаза? Что я отвечу им? Скажу, что не хотела, что это произошло помимо моей воли? Но что меняется от того, что я не хотела? Провал остаётся провалом и вред — вредом. Они вправе обвинить меня, и у меня нет оправданья».

Полная отчаяния, она хочет бежать к любимому человеку — к Алимджану, чтобы найти у него утешение. И вдруг останавливается. «К Алимджану нельзя. Алимджан на ответственном участке. Он обещал вскрыть Кок-Булак и должен его вскрыть. С утра и до ночи с кетменем или киркой в руках. В работе, как в бою... Может ли она прийти к нему? Что она принесёт ему — жалобы, слёзы, сознание в бессилии? Ему трудно, он в бою — чем хочет она ободрить его? Слезами и жалобами? Что скажет? «Ты любишь меня, Алимджан, помоги, защити, утешь меня?» Это она скажет ему? Где твоя гордость, Айкиз, где твоё достоинство и — любовь? Разве в том любовь, чтобы искать опоры, а не в том, чтобы помогать любимому, чтобы поднимать его на борьбу?»

В этом внутреннем монологе особенно ясно видны гордость, честность, благородство характера Айкиз, богатство её эмоционального мира. Нет ничего страшнее для Айкиз, как потерять доверие народа. Впоследствии она откровенно, во всеулышанье говорит об этом: «Я вскоре убедилась в своих ошибках. Вот эти минуты



не дай бог пережить ещё раз! Мне показалось, что я потеряла ваше уважение, ваше доверие — потеряла навсегда. Мне казалось, что теперь я — сирота на свете. Ничего страшнее нет у коммуниста, как потерять доверие народа. Мне было очень тяжело. Но вы мне помогли. Вы все. И товарищ Джалилов, и Бекбута, и Кадыров, и Больше всех — товарищ Смирнов. Спасибо вам за это, товарищи!»

Автор показывает, что внутренняя борьба Айкиз, как и всякого большевика, разрешается с помощью самокритики, которая помогает найти и признать правду, помогает исправить ошибку и вернуть доверие народа.

Более однолинейно изображён партийный организатор колхоза Алимджан, образ которого, вслед за Айкиз, занимает большое место в развитии сюжета повести. Алимджан хорошо показан в действии, когда он, штурмуя каменную крепость, раскапывает Кок-Булак — самый могучий источник. Семнадцать суток Алимджан и его бригада пробиваются сквозь каменный барьер и всё ещё не видят результата своих усилий. Неудачи лишь десятиряют силы и упорство Алимджана. Он весь уходит в работу.

Наконец, она подходит к завершению. Выход Кок-Булака найден. «Затаив дыхание, смотрели колхозники, как партторг мощным ударом кирки расчищает щель. И каждый удар радостью отзывался в сердцах усталых, покрытых потом и пылью людей. Удар, ещё удар. Рушится последний преграда. Ещё удар. Не последний ли? Минута — и, вырвавшись из долголетнего плена, заговорит, зазвенит, вытнется бесконечной сверкающей лентой вода — ворвётся в ложе, и по ущелью низринется в долину на поля».

Здесь выразительно передан ритм работы, передано ощущение упорства, напряжения, нетерпения, радости, но почти не раскрыта психология, внутренняя жизнь людей.

Чтобы изобразить человека пластично, разносторонне, надо показать не только то, что он делает, но и что он при этом думает и чувствует. Процесс труда и психологический процесс должны в художественном произведении составлять единое гармоническое целое. В образе Алимджана эта гармония нарушена.

Недостаточность психологического анализа особенно даёт себя знать в изображении второстепенных персонажей. Здесь психологический процесс нередко подменяется рационалистическим описанием внутреннего состояния героя, характеристика — сухой рекомендацией. К примеру, только отрекомендованы автором бригадир тракторной бригады Погодин как хороший, опытный работник, а старик Халим-бобо — как энтузиаст-мичуринец. Внутренний же мир ни того, ни другого в повести не раскрыт. Отсюда сухость, рационалистичность языка в изображении этих людей.

Автор недостаточно раскрывает взаимоотношения своих героев. Так, председатель колхоза Кадыров, который, по словам Алимджана, «привык смотреть с малой высоты, дальше сегодняшнего дня не видит», обитает в повести вместе с этим своим недостатком сам по себе, вне связи с другими героями, — сюжет повести не служит раскрытию и организации его характера, как и раскрытию характера Халим-бобо и Погодина.

Сюжет, — пишет М. Горький, — это «...связи, противоречия, симпатии, антипатии и вообще взаимоотношения людей — истории роста и организации того или иного характера, типа». Сюжет повести Рашидова по существу заканчивается восемнадцатой главой, когда колхозники Алтын-Сая одерживают победу в борьбе за воду. Дальше идёт затянутый эпилог — авторское описание того, что произошло после постройки плотны. Впервые появляются здесь и старый мичуринец Халим-бобо и тракторист Погодин, которые в борьбе за воду никакого участия не принимали и с другими персонажами повести никак не связаны.

Искренне и задушевно показаны в повести Рашидова русские люди. Особое и очень значительное место в повести занимает образ русского инженера Ивана Никитича Смирнова. Этот образ во всех своих связях и опосредствованиях наиболее полно выражает идею дружбы русского и узбекского народов.

Крепкой дружбой связан Алимджан со своим фронтовым другом Григорием Ивановичем Петровым, работающим в Поволжье агрономом. Между ними идёт оживлённая переписка, в которой друзья делятся опытом своей работы, рассказыва-

ют о планах на будущее, о личной жизни. Алимджан пишет своему другу о том, как Айкиз подала идею орошения подгорных районов, о таланте и опыте инженера Смирнова, о проникательном и умном руководителе — секретаре райкома Джурабаеве. Когда в колхозе возникает мысль о необходимости вскрыть родники, Алимджан вспоминает своего друга: «Будем переделывать природу. Пойдём по пути Григория, по пути русского народа».

Но если Григория Петрова читатель узнаёт по переписке, то с инженером Смирновым он знакомится вочью, наблюдая его энергичную и талантливую работу на алтынсайском строительстве.

Смирнов первый советчик и друг Айкиз, Алимджана, Джурабаева. Он своим опытом и знаниями помогает бригаде Алимджана вскрыть Кок-Булак, он составляет смелый проект строительства плотины, а затем проект строительства Алтынсайской ГЭС, он раньше других утешает Айкиз и помогает ей исправить ошибку.

От имени всех алтынсайцев старый колхозник Умурзак, отец Айкиз, говорит Смирнову:

«Большое дело вы делаете для народа, сынок. Дети и внуки наши с уважением и любовью будут вспоминать имя русского инженера, который помог нам оросить сухостойные земли, а теперь — вон за что взялся! Хочет переложить тяжёлый крестьянский труд на плечи электрической машины».

В повести Рашидова правдиво показано, что все победы алтынсайцев достигаются под руководством партии большевиков и с братской помощью великого русского народа.

Неоспоримое достоинство повести в том, что автор изображает людей и события так, что в делах алтынсайцев читатель ясно видит частичку плана, который по сталинскому предназначению выполняет сейчас весь советский народ.

Естественно и закономерно в конце повести звучат слова секретаря райкома Джурабаева:

«Мы живём в годы понстине великих свершений. Мы провели наш канал. И этим сделали большое дело. Вы знаете, наша земля граничит с Кызыл-Кумами. А Кызыл-Кумы — с Кара-Кумами. Может быть через несколько лет наш канал сое-

динится с большим каналом, который пересечёт эти пустыни, соединится с Каспийским морем, с Волгой, Окой и Москвой-рекой. Следа не останется от мёртвых Кызыл-Кумов и Кара-Кумов. Широкая водная гладь отразит голубое небо, паровозные гудки огласят пространства, где недавно лежал только песок... Вы, Умарзак-ата, вы, Халим-бобо, вы, Алимджан и Айкиз, соберёте чемоданы, пойдёте на пристань и купите себе билет на белоснежный пароход — поплывёте в Москву. В город, к которому прикованы все взоры всех трудящихся мира, в город, осенённый гением Сталина, по мудрому указанию которого советский народ творит своё историческое дело. Нет на пространствах нашей Родины такого уголка, где люди не вносили бы в сталинский план своего вклада. Орошение Алтынсайского массива — это наш скромный вклад».

В этих словах Джурабаева выражена основная идея повести.

Нигде и никогда в прошлом количество творческих, талантливых людей не росло с такой быстротой, как в нашей советской стране. Такие люди из жизни пришли в литературу, стали героями книг советских писателей. О них рассказал в своей повести и узбекский писатель Шараф Рашидов, который, сохраняя национальные особенности своих героев, — особенности, хорошо донесённые переводчиками до русского читателя, — сумел показать их типические черты, свойственные всем передовым советским людям. Это писателю удалось прежде всего потому, что он раскрыл и в своё отношение людей к труду.

Радость, наслаждение свободным творческим трудом — одно из самых новых и самых благородных чувств советского человека. В одной из своих статей Горький приводит слова из письма к нему Марии Демченко:

«Свободный труд на пользу нашего социалистического отечества — величайшее счастье и радость для меня».

По Горькому, — «хорошо делать — значит, хорошо жить».

Изображение этого нового человека, деятеля, строителя коммунистического общества, строителя всеобщего счастья — основная задача нашей единой советской многонациональной литературы.

Б. БРАЙНИНА.

## Два потока

Чем дальше развивалась советская поэзия на своём историческом пути, тем всё очевиднее выяснялось её кровное, органическое родство с классической поэзией русского реализма. С каждым годом становилось ясней и ясней, что борьба за метод социалистического реализма в поэзии неизбежно означает активное утверждение многих поэтических принципов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, что эта борьба есть одновременно ниспровержение и отрицание так называемых «условных» поэтических приёмов символической, акмеистической, футуристической поэзии и всякой иной разновидности декаданса. Это подтверждали и общие тенденции развития советской поэзии, и пути отдельных крупнейших её мастеров. Таков был и путь Николая Тихонова, год от году всё с большей решительностью преодолевавшего те элементы декаданса, тот распад формы, который столь болезненно сказался в его книгах «Поиски героя», «Поэмы», в ряде других его довоенных произведений. Приветствуя победу реалистического начала в его «Стихах о Кахетии», советская критика справедливо усматривала в другой предвоенной книге Николая Тихонова — «Тень друга» — наряду с победами, одержанными художником при помощи метода социалистического реализма, — отдельные стихи, отмеченные явно ущербной печатью условного, антиреалистического искусства. Не прост, не гладок был путь Н. Тихонова. Решительно возобладало реалистическое направление лишь в военной поэзии Николая Тихонова. Идейное содержание его стихов и поэм, созданных в годы героической ленинградской блокады, содержание, близкое советскому народу, определяло форму его поэзии — простую, ёмкую, демократическую. Серьёзно и глубоко прозвучали интонации и мотивы Лермонтова в замечательной поэме Н. Тихонова «Киров с нами», утверждавшей неспасаемое мужество советских патриотов, противопоставивших свою волю натиску гитлеровских орд.

Н. Тихонов. «Два потока» (стихи о Пакистане и Афганистане). Журнал «Знамя» № 8 за 1951 год. Главный редактор В. Кожевников.

Вот юность — гроза и отрада,  
Такую ничто не берёт.  
В железных ночах Ленинграда  
По городу Киров идёт...

Сборник стихов Н. Тихонова «Грузинская весна», вышедший в 1948 году, тоже способствовал укреплению представления о Тихонове, как поэте, овладевшем методом социалистического реализма и научившемся одерживать при помощи этого метода решающие победы в поэзии.

Казалось, давно остались позади те годы, когда мог Н. Тихонов поддаться мимическому обаянию чужеродной поэтической стихии, когда он мог заговорить с чужого голоса, увлечьшись «условностью» того или иного декадентского приёма.

И вот перед нами новый большой цикл Н. Тихонова «Два потока», состоящий из тридцати отдельных произведений и посвящённый Афганистану и Пакистану. В сущности, это целая книга стихов. Н. Тихонов выступает в ней как поэтический пересекатель — никто из русских стиховорцов никогда не был за Гималайским хребтом и тем более не писал стихи о тамошних народах. Огромный, пёстрый, противоречивый мир развернулся перед взором поэта, впервые посетившим эти далёкие страны. Он многое увидел верно, художественно зорко. Здесь есть прекрасные стихи — прозрачно ясные, простые, вдохновлённые той борьбой за мир, которую ведут люди всего мира. Среди других выделяется стихотворение «Коробка сигарет». В нём дан образ человека, живущего где-то в Гималаях и бережно хранящего случайно доставшуюся ему коробку от советских сигарет с изображением московского Кремля.

Здесь нарисована Москва,  
А это Кремль зовётся,  
А это в садике трава,  
А это речка льётся.

А как мы речку перейдём,  
Тут, видишь, мост поставлен,  
Так в этом доме, видишь дом.  
Вот тут живёт сам Сталин!

— Смотрю не раз,— сказал сосед.  
Беря коробку робко.  
— Ни у кого подобной нет.  
Чудесная коробка!

Н. Тихонов передаёт здесь наивную простодушную речь человека гор. Но его стих

не становится от этого примитивным, наоборот — он приобретает обаяние чудесного лиризма.

У Николая Тихонова, как и у других лучших советских поэтов, посвящавших свои стихи зарубежной жизни, остро высказано и рельефно выражено чувство своей принадлежности к великой семье советских народов. Оно не покидает поэта в самых разнообразных положениях и обстоятельствах. Вот женщина — со товарищ по делегации — рассказывает в Читтагонге о стране Советов.

Солнце джунглей становится жёлтым  
и тусклым  
Перед гордым сознанием, что здесь,  
в тишине,  
Что тебе довелось — первой женщине  
русской —  
В эту глушь говорить о Советской  
стране.

Говорить о великих работах, о счастье  
Быть собой, о любви, исполненных  
мечты...  
А сидела ты в синем, обычнейшем  
платье,  
Где по синему полю белели цветы.

• • • • • • • • • • •

Ты казалась такой им, что нету  
красивей,  
Им казалось, что в мире нет  
платья синей,  
И что синь эта — синее небо России,  
А белые цветы — цветы её полей.

Здесь всё хорошо. Вернее, почти всё, ибо мало понятно, почему заключительную строчку стихотворения («А белые цветы — цветы её полей») поэт построил совсем в ином ритмическом ключе, нежели всё стихотворение; это вносит ничем не оправданный разрыв в течение стихотворной речи. Да ещё, пожалуй, говорить лучше не «в эту глушь», а «в этой глуши». Но это мелочи. А в целом стихотворение безусловно удачно.

Кроме «Встречи в Читтагонге» и «Коробки сигарет», есть в этом цикле Н. Тихонова и другие удачи — искренние, глубокие мысли, яркие строчки и строфы, точные и выразительные словесные формулы, исполненные настоящей изобразительной силы. Так, например, в заключительном стихотворении цикла поэт, описывая трудный переход через пустыню, даёт картину, редкостную по энергии, по выразительности деталей:

Уже в темноте на барханах  
Шатало коней, словно пьяных.  
На гребнях, почти что у цели,  
Ремни на упряжках летели,  
И стоя над краем обрыва,  
Обрывками старых арканов  
Чинили мы их торопливо.

Эти строчки написаны настоящим поэтом-реалистом, написаны выразительно, gusto; образы здесь почти осязаемы.

Но далеко не всегда такое впечатление оставляют новые стихи Н. Тихонова. К сожалению, в целом книга стихов о Пакистане и Афганистане у Н. Тихонова не получилась. В ней не оказалось той центральной поэтической идеи, вокруг которой мог бы стройно сгруппироваться образный материал. В ней нет чёткого, ясного политического рисунка — противопоставления мира социализма, откуда прибыл поэт, и мира колониального гнёта и произвола, который царит по ту сторону Гималайского хребта. Эта величавая тема, которая могла и должна была стать центральной в книге стихов Н. Тихонова, нашла себе выражение лишь в отдельных строфах и строчках, но она не составила её поэтического фокуса. И потому отдельные удачи поэта растворились в хаосе случайно подобранных и неудачно решённых образов, эпитетов, определений. Очень часто рядом с реалистическими, чеканно выполненными строфами и строками мы вдруг читаем строфы и строки, поражающие своей искусственностью, своей зависимостью от книжных (причём далеко не лучших) образцов. Временами кажется, что в поэзии Н. Тихонова текут, не сливаясь, два потока — один, чистый и ясный, берущий свои истоки в реализме, и другой, в котором ясно различимы и мутные растворы хлебниковщины, и символизма, и акмеизма. Взять, к примеру, стихотворение «Другу». По некоторым признакам можно догадаться, что оно посвящено той же советской женщине, которая так хорошо и вдохновенно была изображена в качестве вестника советской правды в стихотворении «Встреча в Читтагонге». Вот это небольшое стихотворение целиком:

Это смесь из огней и рокошущей  
лавы  
Расплескавшихся улиц, цыновок и  
крыш,  
Это небо, где только планетам  
и плавать  
Чёрной ночью, когда ты невольно  
не спишь,

Звон и гомон базаров в вечернюю пору,  
Непонятной листвы говорящая мгла...  
Ты должна хоть раз в жизни пройти  
по Лахору!..

Ты сказала: — Пройду! — и прошла.

Вот и всё. В этом стихотворении странно и даже попросту непонятно очень многое. Прежде всего неясна его мысль. Разве пройти по Лахору так опасно? Может быть, опасно для советской женщины? Но от кого грозит ей эта опасность? И почему её решительное заявление «Пройду!» звучит как вызов? Впечатление такое, что Н. Тихонов опубликовал в данном случае черновик, набросок, не более того. К сожалению, смутному содержанию этого стихотворения в полной мере соответствует и его условная форма, его художественные средства. Почему Лахор назван смесью огня и лавы? Ведь лава сама огненная, сама огонь, раз она в движении. А здесь именно и дан образ лавы как раскалённого потока. Что означает зыбкий, условный образ «непонятной листвы говорящая мгла»?.. Почему небо над Лахором таково, что в нём «только планетам и плавать»? А разве небо над другими городами менее приспособлено для этой цели?

Рядом со стихотворением «Другу» — «Святой человек». В нём поэт описывает какого-то изувера, который, весь в шрамах, немой и грязный, «в изодранных тряпках, пятнистых, как тиф», сидит перед гостиницей. Но друг, который знал все тонкости ислама, объясняет советским людям, что это вовсе не религиозный изувер, за которого они принимали его.

И к небу был взор,  
Как всегда, вознесён,  
Молитвенно сложены лапы.  
— Кто это? — спросили мы друга  
И он  
Ответил: — Кто это? Гестапо!

Если поэт хотел изобразить тайного агента английского или американского империализма и показать сходство их методов с методом немецко-фашистского гестапо, — что ж, такая поэтическая задача была бы вполне возможна, и её Н. Тихонов мог бы решить с успехом. Но просто так бросить памёк и оставить читателя в недоумении, — нет, это не в традициях самого поэта и уж никак не согласуется с понятием массовости и народности советского поэтического творчества.

Смысловые противоречия в новом цикле Н. Тихонова, к сожалению, встречаются слишком часто. Вот поэт описывает заснувший Лахор:

Ночной Лахор в покое.  
И в мой, наверно, сон  
Ворвётся пёстрый, броский  
Его водоворот...

Но раз ночной город (Лахор в данном случае) находится в покое, — никак не может ворваться в сон поэта его «пёстрый», «броский» водоворот. Если поэт хотел дать в своём сне картину пёстрого, то есть дневного водоворота города, нельзя было тут же ставить строчку о ночном покое. Строфа рассыпается, будучи дробной и противоречивой по смыслу.

В удачном стихотворении «Коробка сигарет», описывая, как горцы целовали коробку, Н. Тихонов говорит: «её касались иногда их каменные губы». Как случайно выбран эпитет! Как неверно он характеризует описываемых людей, их чувство, их переживания. Каменные! Трудно подобрать определение менее подходящее.

В другом стихотворении: «будто сразу ветер свежий взмыл из тонкого окна». Опять неверно найденный эпитет. Ведь окна различаются не по тому, что они тонкие и толстые. Думается, тонкое окно просто невозможно себе представить, настолько это нереалистичский образ.

«Разве лишь последний нищий, что от голода ослеп...» Как мог такие неправдивые строки написать Н. Тихонов, перенесший все ужасы ленинградской блокады? Уж он-то знает, что от голода люди и худеют, и пухнут, и сходят с ума, и лишаются возможности ходить, но только не слепнут.

Запахивали кладбище под поле,  
Чтоб рос ячмень, а не камней куски.—

пишет Н. Тихонов, рассказывая о нехватке пригодной для посевов земли у горцев Бунира. Но при каких же условиях могут расти в поле куски камней? Сослаться на то, что здесь поэт прибегает к метафорической речи, тоже нельзя. Ведь поэт говорит не в переносном, а в прямом смысле. А именно этого прямого смысла строчка и не выдерживает.

Какой странный, несвойственный русскому языку синтаксис:

А навстречу плывя, желтолице,  
Нарастала барханов гряда...

Поставить рядом деепричастие и усечённое прилагательное — это непоэтично, это неуклюже.

С поворота внезапно крутого  
Дальних гор я увидел кайму...

К чему относится слово *внезапно*? Увидел поэт внезапно или *крутизия* гор оказалась внезапной (неожиданной)? Слово поставлено так неточно, что об этом догадаться невозможно.

Уже высью последнего душит  
Гиндукуш, точно согнями рук...

Не оправдано это сочетание одной выси и согнй рук, которые избраны для её метафорического воплощения.

Мы пройдем... сквозь твои ледяные  
ножи,—

обращается поэт к Гималайской вершине. Но разве даже иносказательно можно пройти сквозь ножи?

И так — почти в каждом стихотворении.

Чем больше вчитываешься в новую книгу Н. Тихонова, тем всё досаднее становится, что она неряшливо, как бы наспех написана, что поэтом в значительной мере утрачена языковая и стилистическая ответственность перед читателем. Какая-то торопливость чувствуется в этих стихах, где больше случайных и беглых дорожных впечатлений, нежели отстоявшейся мысли, больше разрозненных эскизов, чем зрелой картинной образности. Слишком часто инверсия заменяет в этих стихах прямую и ясную речь, слишком часто витиеватость подменяет реалистическое изображение предмета.

Чувствуется, что выбор поэтических средств — и образных, словесных, и синтаксических — был подчас у Н. Тихонова случаен, непродуман, невзвешен той высшей поэтической мерой, которая одна только способна создать поэтическую классику.

А вот целое стихотворение «Бычок», построенное на таких случайных ассоциациях, на таких необязательных, нереалистических мотивировках. Стихотворение это, по замыслу автора, должно рассказать о смерти бычка, как о трагедии крестьянской семьи. Но полярно противоположны этому

замыслу избранные поэтом художественные средства:

В поле sereneйкий бычок  
Повалился на бочок.  
То ли он укушен гадом,  
То ли съел не то, что надо.  
Он лежит, как бы усталый,  
Два венка из мелких роз,  
Те, что он на шее нёс.—  
Два венка лежат с ним вялых.

И под жаркою луной  
Бирюзишки амулетов  
Голубым играют светом  
С жёлтой бляшкой костяной.

Если этот бычок — подлинная принадлежность трудовой крестьянской семьи, у него должны быть совсем иные признаки, а не розы, не амулеты из бирюзы. Так описать смерть бычка, как это сделал Н. Тихонов в этом стихотворении, — значит показать не грудую, бедствующую, голодающую под сапогом колонизаторов страну, а просто дать ещё одну эстетскую побрякушку на экзотическом материале.

Что же сказать о ещё более странном и таком нехарактерном для всего гражданского облика Н. Тихонова стихотворении «Лирическое»?

На приёме раз в Лахоре  
И в семье передовой  
Господин один, историк,  
Познакомился со мной.

Всё сначала было ясно:  
Как тут принято в домах,  
Тут ходили дамы в красных,  
В белых шелковых штанах.

И спросил меня он прямо —  
Мы знакомы были с час:  
— Как вам нравится та дама,  
Что глядит сейчас на час?

Эти строки звучат совсем пародийно Но, к сожалению, это никак не пародия. Дамы в красных и белых шелковых штанах оказываются материалом вовсе не для юмористических — в стиле Козьмы Пруткина — ассоциаций, а... для воспоминаний лирических и вполне серьёзных. На вопрос своего случайного лахорского собеседника поэт отвечает, что ему нравится дама в синей шапочке в полоску и в зелёной шубке. И когда собеседник недоумевает по поводу бессмысленности такого ответа, выясняется, что это полемический ход, что поэт не хочет видеть дам в красных и белых штанах, а видит в своём воображении некую доро-

гую его сердцу москвичку. Таким образом, по замыслу это стихотворение патристично. Причём патриотизм его — опять-таки по замыслу — должен быть лирически окрашен.

Но этому замыслу противоречит его конкретное литературное воплощение. Юмор здесь не смешон, а лирика не лирична, ибо весь смысл принесён в жертву приёму. Красные и белые шёлковые штаны лахорских дам образуют такое кричащее пятно на картине, что все её пропорции исказились, а художественное впечатление от целого начисто пропало.

Поэзия социалистического реализма необычайно широка и многогранна по разнообразию художественных приёмов. Она знает и возвышенную патетику, и скромную непритязательность повседневной житейской детали; она не чурается гипербола и романтических образов, но не отбрасывает в сторону и бытовой шутки. Ей свойственен и политический призыв, и лирическая задушевность. Ей доступен весь мир во всём его многообразии. Но одно она откидывает наверняка — дробный субъективизм изображения, случайность в выборе слов и красок, зыбкий импрессионизм, которым столь часто и много грешили поэты переходной поры, нёсшие на себе родимые пятна декаданса.

Разве не сказался этот субъективизм творческого зрения при выборе эпитетов и метафор, которые приведены выше, и разве он не искажил зрение поэта в стихотворении «Джалалабад», написанном по всем традициям старинного цветистого восточного письма, но столь далёком от той мрачной колонизаторской действительности, которую нам изобразил сам Н. Тихонов в соседних с «Джалалабадом» строфах. Вот стихотворение «Джалалабад»:

Лимонные, миндальные,  
Деревья апельсиновые,  
И ночи, как хрустальные,  
И дни такие синие.

Невянущими красками  
Сверкают просто адскими,  
Как те ковры ширазские,  
Сады джалалабадские.

Здесь наслаждаться можете  
Шелками богдыханскими,  
По цвету точно схожими  
С горами нуристанскими.

Аллеями проследовать,  
В пальмы разодетыми,—  
Здесь только и беседовать  
С восточными поэтами!

Природа? Да, только природа. Но её «роскошь» нарисована так самозабвенно, с таким «лимонно-миндальным» упоением, что, право, как-то странно прочесть под этим стихотворением подпись того же самого поэта, который с такой правдивостью и страстью изобличает британский империализм в стихотворениях «Чили», «В хайберском проходе» и ряде других. Как здесь всё заэстетизировано и засахарено и как это не похоже на Н. Тихонова!

Когда-то Н. Тихонов написал замечательную статью «Школа равнодушных», направленную против холодного эстетского безразличия к поэзии и поэтическому языку. Больно сознавать, что ныне многие из этих упреков Н. Тихонова приходится обратить к их автору. Но лучше это сделать во-время.

На своём честном и мужественном пути большого художника, верного заветам социалистического реализма, Н. Тихонов должен беспощадно разделаться с теми элементами декадентской поэтики, поэтики случая и того, что дали себя знать в его последней поэтической работе.

А. ТАРАСЕНКОВ.

## Малое заслонило большое

**А**прель 1946 года. Одиннадцать месяцев, как окончилась вторая мировая война, но жизнь в Вене не начинает налаживаться. Особенно тяжело приходится трудящемуся населению. И советское командование приходит ему на помощь. Оно делает всё возможное, чтобы возродить город и вдохнуть в него новую жизнь.

Эта деятельность явно не по душе американско-английским оккупационным властям. Они не останавливаются ни перед чем, чтобы сорвать её, а заодно оклеветать, очернить Советский Союз, разжечь к нему ненависть среди населения Вены. Но австрийский народ против войны, — он с теми, кто отстаивает мир во всём мире.

Это стремится показать в повести «Апрель» молодой писатель И. Шутов на материале, связанном с борьбой вокруг строительства советскими сапёрами моста через Шведен-канал.

Разумеется, показать большое через малое — приём вполне правомерный. Однако Шутов не сумел дать читателю почувствовать, что строительство моста через Шведен-канал является только частицей той помощи, которую оказывает Советская страна австрийским трудящимся, а борьба вокруг моста — лишь эпизодом в битве между двумя мирами. У И. Шутова получается, что строительство моста является не только главным, но и единственным событием, определявшим в тот период пульс политической жизни Вены.

...Советскими сапёрами, восстанавливающими мост, руководит инженер-майор Лазаревский. Писатель характеризует его как человека волевого, энергичного и вдумчивого. Однако в действиях Лазаревского эти качества почти никак не выявляются. В решающих моментах Лазаревский проявляет непростительную пассивность.

Строительство моста находится в тяжёлом положении — нет чугунных перил художественного литья, которые должны достойно завершить его оформление. Поставить простенькие перила нельзя — это нарушило бы архитектурный ансамбль.

Какие же шаги предпринимает Лазаревский, чтобы раздобыть перила? Никаких. Хорошо, что его шофёр принимает близко

к сердцу судьбу строительства. По своей инициативе он разыскивает мастерскую, в которой после её пустякового ремонта можно отлить перила.

Весьма странно Лазаревский обращается с врагами. Ему приходится сталкиваться с неким Гольдом, который обязался было поставить для моста чугунные перила. В конце концов Лазаревский опознаёт в нём скрывающегося гитлеровского провокатора и шпика Магнуса. Более того, Лазаревскому сообщают, что в портфеле у этого Гольда-Магнуса лежит клеветническая статья о строительстве, которую американцы собираются использовать в провокационных целях. Что же делает Лазаревский? Передаёт его в руки правосудия? Нет. Он «схватил Гольда за воротник пиджака и, подведя к двери... вышвырнул во двор».

Остальные советские люди проходят в повести вторым планом и, за исключением шофёра Лазаревского, не играют никакой роли в развитии сюжета. Они мало индивидуализированы, и трудно сказать, чем отличается солдат Бабкин от солдата Игната Пушкаря, а Пушкарь от Самоварова.

Много внимания уделяет автор идейно-политическому прозреванию различных слоёв австрийского народа. Процесс этот очень сложен и протекает не всегда гладко. Известно, что поджигатели войны, стремясь привлечь на свою сторону симпатии народов, нередко драпируются в тогу миротворцев. Однако после чтения повести приходишь к такому заключению: реакционеры либо ничего не делают, чтобы обмануть и опутать народные массы, либо стремятся их от себя оттолкнуть. Когда, скажем, домовладелец Лаубе разговаривает с рабочим Гельмом или музыкантом Катчинским, то кажется, будто он нарочно старается разозлить их, спровоцировать на протест.

В конце повести в боевую шеренгу строителей новой демократической Австрии становятся рабочий Гельм, интеллигент музыкант Катчинский, хозяин литейной мастерской дядюшка Вилли и крестьянская девушка Роза. Однако рост самосознания почти всех этих героев происходит с чрезмерной, неправдоподобной быстротой. Взять хотя бы дядюшку Вилли. Стоило лишь ему увидеть, с каким энтузиазмом отливают



венские рабочие перила для моста, как ему сразу становится совестно, что он собирается использовать строительство для рекламы своей мастерской.

Катчинский входит в повесть искалеченным физически и надломленным морально человеком. Но тотчас же по возвращении в Вену он почему-то проникается ненавистью именно к Лаубе, к человеку, который в прошлом помог ему выдвинуться, дал ему заимообразно деньги на женитьбу, а теперь хочет «поднять его на ноги». Это тем более необоснованно, что в глазах Катчинского Лаубе не был связан с Гитлером.

Лучше других удался И. Шутову образ Гельма. В прошлом рабочий, затем солдат гитлеровской армии, он под Сталинградом потерял руку. На полях сражений в России Гельм начал понимать всю лживость и гнилость тех лозунгов, во имя которых его заставляли воевать. Он постепенно добирается до правды и становится страстным её защитником. Мы видим, как под влиянием коммунистов он превращается в бойца передового отряда, сражающегося за мир и демократию.

Постройка моста на Шведен-канал вызывает ненависть и злобу у представителей западных держав. Иначе и не может быть. Строительство моста наглядно показывает честное отношение советского государства к взятым на себя обязательствам, демонстрирует мирные и дружелюбные намерения советского народа. Это строительство наносит удар по спекуляциям заместителя американского коменданта Вены — капитана Хоуелла. И, наконец, мост, как с тревогой думает Лаубе, «соединит два крупных пока что разобщённых района, содействуя объединению красных сил».

Из всех этих причин, вызывающих озлобление американцев и их прихвостней, наиболее важной является, безусловно, первая. Однако в повести вторая причина заслонила собою все остальные. Но каким образом постройка моста может влиять на спекуляции вином? Сообщение между отдельными частями Вены никогда не прерывалось. Речь могла идти поэтому лишь о том, чтобы сделать это сообщение более удобным, сократить объезд на несколько километров. Такой крюк, конечно, затруднял передвижение горожан, но не мог всерьёз повлиять на снабжение Вены вином, а стало быть и на стоимость вина.

Борьбу против строительства моста возглавляет капитан Хоуелл. «Типичный представитель «золотой молодёжи», он заявляет, что для него «самый блистательный из всех возможных бизнесов — это война. Сочащийся кровью, блистающий золотом, великолепный бизнес». Но так как пушки отгрели, он занимается спекуляциями. Борьбу против моста Хоуелл должен вести с особым рвением, так как в ней, по его собственным словам, превосходно сочетаются личные интересы и «большая политика». Как же Хоуелл направляет борьбу? Вначале он добивается, чтобы Гольд-Магнус расторг с Лазаревским договор на поставки перил художественного литья. Но затем ему приходится в голову, что лучшее средство задержать строительство — это подкупить Лазаревского. И Хоуелл приказывает Гольду-Магнусу вернуть (!) перила Лазаревскому. Зачем же Хоуеллу отдавать перила обратно, когда именно их отсутствие и грозит затормозить постройку моста?

Далее Хоуелл решает поднять клеветническую кампанию в печати. Он хотел бы «доказать» населению, что «мост строится из плохих материалов, недобросовестными, мнимо скоростными методами», что «мост — это трюк, блеф коммунистов», что он «не простоят и полугода».

По замыслу Хоуелла, кампания должна привести к созданию «авторитетной комиссии для обследования строительства». Он мечтает, что «дело затянется», а тем временем вино выгодно продадут. Что же предпринимает Хоуелл для реализации своего плана? Он ограничивается тем, что поручает Гольду-Магнусу написать статью, за которую предлагает ему гонорар в сорок тысяч шиллингов. Такую большую ставку на эту статью Хоуелл делает, оказывается, потому, что верит в чудодейственную силу имени Гольда, «инженера, с точки зрения русских, ничем себя не запятнавшего». Но ведь ранее автором было сказано, что Гольд приобрёл себе в Вене громкую известность (в том числе и у русских), как «делец» чёрного рынка.

Недоумение вызывает образ домовладельца Лаубе. Автор характеризует его как честолюбивого дельца, ещё не оставившего надежды стать «некоронованным королём Вены». Лаубе сам о себе говорит, что он «один из хозяев жизни». Однако в повести

Лаубе ведёт себя не как делец, а как австрийская разновидность Манилова. Целыми днями он просиживает у подвалов с вином, выпивает, предаётся мечтам и ведёт разговоры, нужные лишь автору — и только для разоблачения «хищного нутра» Лаубе.

Обеднив тему, сведя всё к борьбе вокруг моста, Шутов не сумел создать стройного и целостного произведения. Повесть перегружена разговорами и эпизодами, не связанными с её темой, уводящими в сторону от развития сюжета и ничего не добавляющими к характеристике действующих лиц. Таковы описание подвига Юры Большакова при взятии Праги, сцена в нотном магазине, разговор Гольда с дочерью Лазаревского.

Мало индивидуализирован язык действующих лиц. Трудно уловить разницу между языком рабочего Гельма, музыканта Катчинского и шофёра Хоуелла — негра Джо. Всем им присуще стремление к выпренности и «красивости».

«Я принёс тебе сердце, полное радости, а ты не выслушал меня», — говорит Гельм коммунисту Люстгоффу.

«И вдруг во мне, сначала тихо и робко, как родник из-под земли, начала пробиваться мелодия», — рассказывает Катчинский тому же Люстгоффу.

А вот жалуется негр Джо, избитый капитаном Хоуэллом: «Что же я принесу своей матери, возвратясь домой? Только эту горечь! Она услышит мои шаги на звонкой дорожке, встанет с порога, протянет навстречу руки...»

Значительно лучше, чем обрисовка характеров, Шутову удаются лирические места, описание пейзажей. Некоторые из них подкупают своей свежестью (например, рассказ об уральских лесах, в которых протекало детство солдата Бабкина). Но и здесь, к сожалению, у автора много стилистических погрешностей. Вот он описывает вечер на строительстве моста: «На берегу реки, у костра, под ясными звёздами разговор приобретает особенную прелесть. В нём ширина и спокойствие ночной реки, глубина раскинувшегося над степью неба, курганы, синиеющие у горизонта». В разговоре — «ширина и спокойствие... глубина...» — это

понятно. Но какую же черту разговора должны выражать «курганы»?

В повести часто попадают небрежные, неточные выражения. Вот несколько примеров:

«Господин Рааб... произнёс на открытии речь, смысл которой сводился к тому, что им, вождам социализма, нет нужды призывать рабочих к тому, чтобы поливать своё дело кровью. Оно должно расти мирно, как дуб, нуждающийся только в воде и удобренности» (подчёркнуто мною. — Ю. Б.);

«Оркестрион грохотал металлическими тактами»;

«Вы стали тем, кто оторвал вам руку, то есть врагом самого себя!»;

«Лида юркнула в чёрный провал фонаря»;

«В клёпке есть свои вершины».

И. Шутов несколько раз употребляет выражение «эмпи милитар полис». «Эмпи» и означает «милитар полис» (военная полиция). Следовательно, надо говорить или «эмпи», или «милитар полис».

В повести часто встречается слово «хеймверы», в то время как следует говорить «хеймверовцы».

Иногда автор употребляет слова, имеющие отнюдь не тот смысл, который он хотел бы им придать:

«Старый президент отсиживает в своём кабинете... Здесь он договаривается с агентами Уолл-стрита... даёт согласие на сооружение в стране военных баз... продаёт кровь...» Вот так «отсиживается!»

«Я не намерен входить в психологические мотивы вашего противостояния строительству на Шведен-канале», — говорит советский комендант Вены представителям западных держав. Очевидно, здесь должно быть: «вашего противодействия».

Повесть Шутова «Апрель» явно недоработана. Из повести нельзя получить правильного представления ни о поведении советских людей за рубежом нашей Родины, ни о процессе консолидации и укрепления сил лагеря демократии, ни о действиях его врагов.

Ю. БАРТЕНЕВ.

## Избранные стихи Е. Трутневой

Книга стихов Е. Трутневой «Избранное» верно передаёт чистую, радостную, трудовую атмосферу, в которой растут наши дети. Евгения Трутнева — настоящий детский поэт. Занимательность, образность, поэтическая конкретность лучших её стихов несомненны. Вот, например, она пишет:

Человек с лопатой, с ломом  
Колет зиму перед домом  
И кладёт в грузовики  
Полосатые куски.

(«Конец зимы»)

На стене висит домик —  
Маленькая будка,  
Там закрыта на замок  
Каждая минутка.

(«Часы»)

В этих стихах — не выдуманная взрослым человеком специальная занимательность для маленьких, а глубокое проникновение в детскую психологию, умение видеть мир таким, каким он может представляться ребёнку. Один из путей, по которому охотно следует детское восприятие, — путь воображения. Е. Трутнева это знает, и потому даже традиционный дед Мороз в её стихах выглядит по-новому:

Только нам не удаётся  
Встретить деда у берёз:  
Он залез на дно колодца;  
Белый пар оттуда вьётся —  
Это дышит дед Мороз.

(«Дед Мороз»)

В стихах Е. Трутневой часто слышна интонация народной поэзии; поэт вводит в стихи считалку, детскую игру.

Это вовсе не ворота  
Для пролёта самолёта!  
Это радуга-дуга  
Закрывает облака  
Ключиком-замочком  
Шёлковым платочком.

(«Радуга»)

Самолёт, поставленный рядом «с ключиком-замочком», делает новой примелькавшуюся в стихах для детей радугу.

Многие считают, что без юмора нет стихов для детей. Конечно, у наших ребят должна быть весёлая, острая книжка, но

Е. Трутнева. «Избранное». Редактор Н. Арбенева. Молотовиздат, 1950.

не только такая. Слова Маяковского — больше поэтов хороших и разных — целиком относятся и к детской литературе. Уже по первым стихам Евгении Трутневой, опубликованным в 1939 году, было видно, что она идёт не проторённой дорогой. У неё свой лирический голос.

Это не тот камерный мягкий лиризм, который допускает только небольшую тему. Трутневой удаётся разговор с читателем о самом главном, она умеет вложить в ум и сердце ребёнка большую мысль. Темы её стихов многообразны: она пишет о труде, о школе, о родном крае, о советских людях. Поэт не рассуждает, а чувствует, и это неподдельное чувство любви к Родине трогает, волнует юного читателя. Содержательны и поэтичны такие строчки из стихотворения «Утро»:

Утром солнце пробудилось рано,  
Распахнуло белые туманы,  
Искупалось в речке, возле роши,  
Озарило городскую площадь;

У трибуны, в праздничных колоннах,  
Вспыхнуло кострами на знамёнах,  
Заискрилось в ярком, ясном свете  
Высоко на сталинском портрете..

Шли ряды весёлой молодёжи;  
Взмыло знамя, на крыло похоже,  
И на нём слова зажглись огнями:  
«Сталин — мир народов!»  
«Сталин — с нами!»

Тут поэтическое зрение соединено с глубоким патриотическим чувством. При этом стихи Трутневой — сердечный рассказ; просто, не напрягая голоса, говорит она со своим читателем.

Зримо встаёт в стихах её родной край — Урал, прославленные заводы, горы, леса, реки.

Вот уральский ветер:

На Ильмене забрался в запсведник..  
И на высоком камском берегу  
Все нефтьвышки, с первой до последней,  
Пересчитал, потрогал на бегу.

(«Урал»)

Существует мнение, что дети не любят читать стихи о природе. Это неверно! Они не любят «литературные» описания; одна юная читательница так и пишет: «Я не люблю читать про природу, когда с ней ничего не случается»; но стихи о природе активной не могут оставить равнодушными

наших ребят — юннатов, мичуринцев, мечтающих перестраивать, по примеру взрослых, природу. У Трутневой — природа, с которой «многое случается», природа, оживлённая дыханием сегодняшнего дня. Она реалистична и в то же время она неожиданно становится сказочной, наполняясь романтикой, взятой из жизни.

Поэт-воспитатель, Трутнева ясно видит цель, во имя которой пишет, — растить нового человека, направлять его, формировать его характер. Её стихи не дидактичны, в них нет назидательного нажима, — но они педагогичны по самой своей сути.

О чём бы ни рассказывал поэт — о рядовом школьном дне («В сентябре»), о сборе лечебных трав («Лесная аптека»), о красном пионерском галстуке («Красный галстук»), — мы узнаём у героев стихов черты, свойственные нашим детям, — стремление быть полезными обществу, любовь к знаниям, к труду.

Тема труда, важная, необходимая в литературе для детей, органична, естественна для творчества Трутневой. Поэт прививает своему читателю уважение к труду, рассказывает о нём радостно, свежо:

Сосчитай, попробуй, зёрна!  
В каждом — солнце, в каждом — труд.  
**(«Мир труда!»)**

И всё же хотелось бы, чтобы тема труда заняла в стихах Трутневой ещё большее место, звучала бы полнее, конкретнее.

Многие её стихи, посвящённые пионерской жизни, по-настоящему романтичны. В них передано биение пионерского сердца. Но некоторые стихи этого цикла не лишены отвлечённой риторики:

Ждут нас походы с кострами,  
Летние радости ждут.  
Летом всегда перед нами  
Дружный и радостный труд.  
**(«Далёкий товарищ»)**

Героям стихов иногда не хватает индивидуальных, живых характеристик; есть атмосфера, в которой они живут, чувствуется детский коллектив, но отдельные образы нужно было бы рисовать смелее и острее.

Сборник «Избранное» Е. Трутневой — при всех его достоинствах — оставляет неровное впечатление. Что такое «Избранное»? Не просто сборник стихов за несколько лет (в данном случае за одиннадцать). «Избранное» — лучшие стихи поэта; а здесь рядом

с содержательными стихами, ясными по мысли и точными по форме, стоят стихи слабые, многословные, незавершённые, их можно произвольно продолжить или оборвать («Лучи-братишки», «На лугу», «Колёса»). В стихотворении «Мама» тон сладкий, неожиданно старомодный:

Кто же, кто глядит с улыбкой  
Утром к сыну в колыбель?

Трудно узнать Трутневу в таких строчках:

Агрономы, инженеры,  
И строитель, и герой  
Тоже были пионеры,  
Начинали путь игрой.  
**(«Вожатая»)**

Почему попали в сборник строчки бледные, бесстрастные, горюпливые? Трутнева часто повторяется: в сборнике слишком много дождиков, муравьёв, ручейков, грибов и грибочков. Хорошее стихотворение «Утро» — и слабое «Утро в огороде»; есть ещё «Утро в деревне» и просто «Утром». Есть стихи, где совпадают строчки:

В небе, выше самолёта  
Встали круглые ворота,  
Это радуга-дуга...  
**(«Радуга»)**

Встали круглые ворота,—  
Это радуга-дуга!  
**(«Радуга-дуга»)**

Неизвестно почему строчки кочуют, переходят из одного стихотворения в другое:

Это первый шаг к науке,  
Первый класс и первый труд.  
**(«Букварь»)**

И первый труд, и первый класс,  
И первый наш урок.  
**(«Наш отряд»)**

Неудачно подобранные или повторяющиеся друг друга стихи портят сборник. Вина в этом не только поэт, но и редактор книги. По оглавлению видно, что стихи подобраны по годам. Мне такой принцип составления сборника в данном случае кажется неудачным.

Хотелось бы, чтобы при повторном издании поэт строже отобрал стихи, чтобы книга была тщательнее отредактирована — недостатки, о которых идёт речь, легко устранимы.

А. БАРТО.

## Испытание характера

... Три случайных спутника во время ледохода оказались на маленьком пустынном острове отрезанными от всего мира. Шесть суток прожили они вместе. Эти шесть суток из жизни трёх советских людей, неожиданно попавших в беду, и описаны в повести молодого куйбышевского писателя В. Баныкина «Весной в половодье».

Люди, отрезанные от всего мира на пустынном острове, — да ведь это старый приключенческий сюжет, давно знакомая всем робинзонада! — скажет даже мало-мальски искушённый в литературе человек. Но В. Баныкин в своей повести не рассказывает об особо опасных приключениях, невероятных происшествиях, толкающих героев на край гибели. Не этим старается он увлечь юного читателя. Даже остров, на котором оказались герои повести, отнюдь не является тем традиционно-таинственным, обязательно необитаемым, заброшенным где-то в неведомых широтах Тихого океана или Арктики, каким он должен быть в соответствии с давно испытанными схемами развития приключенческого сюжета. Герои В. Баныкина оказываются на совершенно прозаическом и реальном острове Середыше, на который жители Куйбышева или окрестных сёл, вероятно, выезжают летом на лодках за тем, чтобы половить рыбу или выкупаться в жаркий день. И того, что местом действия повести избран волжский островок, автор не стремится скрыть какими-нибудь уловками.

Замысел автора прост и благороден: напомнить юному читателю великолепную горьковскую мысль о том, что в жизни всегда есть место для подвига, внушить ему сознание того, что к свершению подвига надо быть постоянно готовым.

Повесть начата скупым, деловым описанием случая, положенного в основу сюжета. После уроков Лёня пошёл в больницу проведать друга, передать ему учебники и раздобытую увлекательную книгу.

Дома мальчик оставил записку о том, что к вечеру он вернётся. Путь из больницы домой лежал по льду Волги. А весна была дружная, снега таяли быстро. Выйдя к реке, Лёня понял, что переправляться

сейчас через неё небезопасно. Но в этот момент мальчик заметил, что в сторону противоположного берега по льду осторожно пробираются два человека. Это придало Лёне смелости, и он двинулся в путь. Однако едва спутники прошли часть реки и добрались до Середыша, как началась подвижка льда...

До сих пор распространено мнение о том, что дети терпеть не могут никаких описаний, что это их, будто, утомляет, что юного читателя увлекает лишь стремительно развёртывающийся сюжет, быстрая смена событий. Это мнение убедительно опровергается повестью В. Баныкина, который развёртывает сюжет неторопливо, обстоятельно, знакомя читателя главным образом с мыслями и переживаниями героев. Повесть В. Баныкина потому и убедительна, что в ней действуют живые люди с ясно очерченными характерами. А замысел её потому и доступен юному читателю, что основные мысли автора составляют основу естественных и несомненно поучительных поступков героев повести.

В повести всего три героя. Автор не спешит представить их читателю. В начале повести мы ещё не знаем, кто эти два спутника мальчика, чем они занимаются, что их заставило рискнуть пересечь Волгу в столь опасную пору. Но мы их уже отчётливо видим, перед нами живые люди, которых мы можем отличить друг от друга по тонко подмеченным особенностям характера. Умение индивидуализировать героев, с самого начала подчеркнуть не только то, что отличает одного от другого, но и добиться, чтобы характеры героев представляли живыми, зримыми, чётко очерченными, — свидетельствует о творческой зрелости молодого автора.

В. Баныкин не сразу называет героев повести по именам. На первой странице сообщено лишь имя мальчика; взрослые же герои представлены читателю следующим образом: «На обсохшем бугорке, поросшем прошлогодней ломкой осокой, стояли его (мальчика. — *Вл. Н.*) случайные спутники: невысокий полный мужчина с провратными серыми глазами в мелких добрых морщинках и большеголовый парень в зелёном пиджаке из чёртовой кожи». Сами по себе эти приметы — «невысокий

полный мужчина» и «большоголовый парень» в сущности не очень выразительны.

«Невысокий полный мужчина» начинает однако оживать, как только автор заставляет его произнести первую реплику. Задумчиво, неторопливо говорит он о том, какая нынче быстрая весна, как одним разом всё кончилось.

«— Вы, ребята, чего же это?.. Волга ждать не будет.

Он хотел добавить: «По всему видать, завязли мы тут по уши!», но промолчал...»

Из этого мы уже можем заключить, что «невысокий полный мужчина», видимо, скуп на слова, что он умеет трезво оценить обстановку. А затем, когда автор даёт возможность читателю «увидеть», как движается герой, рассказывает о ходе размышлений, о переживаниях, мы ещё отчётливее начинаем представлять себе бригадира колхоза «Волга» Ивана Савельевича Савушкина — человека, прожившего долгую трудовую жизнь, много знающего и много умеющего. Иван Савельевич как-то само собой с молчаливого согласия своих спутников (и, что очень важно: читателю это кажется вполне естественным) становится за старшего.

К концу первой главы мы отчётливо видим и розовощёкого мальчика Лёню, в силу своей естественной неопытности не со знающего опасности, которой подвергается он сам и его спутники; нам понятна его затаённая мальчишеская гордость тем, что в то время, как его товарищи по школе сейчас мирно спят, он наравне со взрослыми является непосредственным участником опасного приключения. О, как ему будут завидовать ребята, когда он в школе расскажет обо всём случившемся! И верно передано движение детского сердца, когда вслед за этим мальчик вдруг мрачнеет и с грустью думает о том, что дома, вероятно, о нём тревожится мать, что, возможно, его разыскивают, а когда он вернётся домой, то, может быть, за самовольство его и не поглядят по головке.

Ясно очерчен в первой же главе и «большоголовый парень» — тракторист МТС Андрей Набоков. Он спешил перейти Волгу для того, чтобы успеть во-время доставить в свою тракторную бригаду подшипник, которого нехватает для ремонта трактора. Андрей Набоков горяч, нетерпелив, вспыльчив. Всей душой он болеет за своё дело,

и можно предположить, что работник он хороший.

Оказавшись в беде, герои, как и подобает советским людям, деловито, собранно и спокойно встречают внезапно вставшие перед ними трудности. Поступки их, в сущности, довольно обычны: Иван Савельевич и Набоков спешат до наступления темноты соорудить шалаш, а Лёне поручают собрать дрова для костра. Кажется, простое дело поручено мальчишке, но и это для него испытание. Вот Лёня подходит к оврагу: «С берёзы неожиданно взлетела какая-то чёрная птица и, лениво взмахивая большими крыльями, медленно пролетела над оврагом. Птица пропала в сиреневой мгле. За каждым деревом по-прежнему таилась насторожённая гишина.

У мальчика по спине вдруг пробежали мурашки, и он засуетился, собираясь в обратный путь». И всё же Лёня стойко сумел побороть чувство страха.

Юный герой постиг цену бескорыстия, диктуемого чувством товарищества открытых и честных советских людей. Голод и холод испытали герои повести, прожившие шесть суток на острове. Они поддерживали друг друга в тяжёлые минуты, не давали гаснуть чудесному огоньку бодрости и веры в свои силы.

...С Большой земли заметили героев, самолёт сбросил им продукты, а затем при первой же возможности за ними пришёл катер.

Повзрослевшим, закалившимся в борьбе с перенесёнными испытаниями вступает на берег Лёня. Мы уверены в том, что он не спасует перед трудностями, что пребывание на острове его многому научило, что он немало полезного перенял от своих взрослых товарищей. Ещё более близким, понятным стал для нас Иван Савельевич Савушкин, человек большого сердца, мужественный, скромный и простой. Но какое-то чувство неудовлетворённости испытываешь при расставании с Андреем Набоковым. Отчётливо изображён он лишь в начале повести. В дальнейшем же автор к облику этого героя почти ничего не добавил. На острове Андрей Набоков оказывается просто лишним; образ этот явно недорисован.

Повесть написана просто и свежо. Естественно вошёл в неё цельный и яркий герой — Иван Савельевич Савушкин. Эта

частная удача принципиально важна для нашей детской литературы, ибо во многих произведениях детских писателей взрослый герой — чаще всего некая абстрактная условность, а не живой человеческий характер.

Автор скромнен, лаконичен в описаниях, ему чужда погоня за эффектами, за громкими словечками. В повести нет цветистых фраз. В. Баныкин редко употребляет яркие эпитеты, избегает метафор, но при этом язык его пластичен, выразителен. Он умеет не только тонко подчеркнуть интонацию в

голосе героя, передать жест, но и осознанно выписать фактуру предмета. Читая повесть, сначала и не замечаешь той скупости и той тщательности, с какими подобраны не бьющие в глаза детали и чёрточки, так естественно вплетённые в ткань повествования и позволившие чётко, выпукло, а главное жизненно-правдиво охарактеризовать героев. Это свидетельствует о том, что молодой писатель умеет ценить слово и пользоваться им.

Вл. НИКОЛАЕВ.



### Творения народного поэта

Литература нашей многонациональной Родины развивается, как литература единая. Она единая своим социалистическим содержанием, получающим многообразное выражение на языках братских народов Советского Союза. Именно это единство литературы, достигнутое в тесном содружестве социалистических наций внутри Советского государства, обеспечивает расцвет литературы в нашей стране. Наглядно в этом отношении творчество основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа.

В прошлом сельский учитель, а ныне учёный, писатель и общественный деятель, Дмитрий Гулиа — человек, принявший участие в разработке первого абхазского алфавита и написавший первое художественное произведение на абхазском языке. До него поэтическое творчество абхазов было только изустным. И вот перед нами скромный томик избранных произведений первого абхазского писателя, поэта и драматурга, в начале революции поставившего свою первую абхазскую пьесу в первом абхазском драматическом кружке, пьесу, над которой поднялся самодельный занавес, сшитый руками жены автора-постановщика.

Этот томик включает в себя роман «Камачич», пьесу «Призраки», стихи и цикл маленьких новелл, настолько своеобразных по своей национальной форме, что трудно сравнить их с каким-либо из известных нам литературных явлений.

Дмитрий Гулиа. «Избранное». Перевод с абхазского. Редактор А. Чеснокова. «Советский писатель», М. 1950.

Многообразие жанров, присущее литературному творчеству Д. Гулиа, — обычно для писателей, основополагающих литературу в период бурного исторического перелома в жизни своего народа. Народу в его обновлённой жизни нужно всё новое: и песня, и стих, и рассказ, и то, чего у него никогда не было: драма, как один из наиболее действенных пропагандистских способов обобщения действительности в искусстве, роман, как поэтическая форма, позволяющая раскрыть путь движения человека в народе.

Д. Гулиа смело опирается как учёный-лингвист и фольклорист на творческий опыт своего народа, на опыт, не застывший в своих традициях, а окрылённый передовой традицией великой русской литературы и всего мирового искусства, познанного и признанного через русский язык и русскую общественную мысль, осветившую путь вперёд в широкий мир многим и многим народам.

Вместе с Абхазией я стоял  
У колыбели нового века,  
Вместе с Абхазией благословляя  
Ленина — мудрого человека...—

пишет о себе народный поэт.

Истинную правду этих слов подтверждает всё его поэтическое творчество, созданное во имя благоденствия родной Грузии и счастья народа в семье народов Советского Союза.

Ученик великого грузинского поэта Акакия Церетели, Д. Гулиа рано воспринял у него тяготение к русской литературе. Это

помогло ему создать первый абхазский роман, раскрывающий положение абхазских народных масс в канун Великой Октябрьской социалистической революции.

Роман «Камачич», на первый взгляд бесхитростно повествующий о горестной юности дореволюционной абхазской крестьянки Камачич, является произведением ярко выраженной национальной традиции. Сила обобщения в романе, глубина проникновения в самую природу общества говорят о плодотворной учёбе у корифеев русской литературы и о серьёзной работе автора над овладением марксистско-ленинским пониманием истории.

Форма романа «Камачич» очень несложна. Это неторопливый и незатейливый рассказ о том, как родилась у крестьянина девочка, а соседи не знали, кто именно родился (домик родителей Камачич был отделён от них рекой), и потому выбрали имя, подходящее и для девочки, и для мальчика. Потом девочка выросла в красивую девушку и приглянулась вздорному, злому и глупому князьку Татластану. Князёк этот разорял деревню и семью Камачич за то, что не отдавали ему девушку, и в конце концов Камачич добровольно пришла к нему, жертвуя собой для спасения родной деревни. Защиты у неё не было: побратим отца девушки, русский большевик Иуана, сам вынужден был скрываться от властей, а жених Камачич был посажен в тюрьму и там отравлен приспешниками князька. Спасая деревню, девушка приняла на себя подвиг унижения и молча ушла от князька, когда, наскучив ею, он её выгнал. Однако, когда муж отнял у неё ребёнка, она убила злого Татластана, подкараулив его на лесной тропе. Вот и всё. Казалось бы, совсем просто. И язык повествования такой же неприхотливый и простой, и заголовки у маленьких главок чётко, без обиняков и литературных претензий определяют их содержание: «Камачич выдают за Алхаса», «Алхаса арестовывают, свадьба отдалается», «Алхас умер» или «Иуане пришлось уйти от Аляса», «Камачич вышла замуж за Татластана», «Татластан бросил Камачич», «Камачич убила Татластана». По заголовкам этих главок можно отчётливо проследить драматическое нарастание сюжета. Просто, — а в этой простоте, в безыскусном показе быта абхазов вскрывается новое в нашей литературе

обобщение, — изображается этап окончательного загнивания запоздалого феодализма, выродившегося в прямой разбой и державшегося только попустительством царских властей с их колонизаторской политикой.

Сцены «освящённого» традицией грабежа населения местными князьками, грабежа, замаскированного под добровольное приношение даров благодарным населением, сцены тайной деревенской сходки под руководством русского подпольщика; простодушного ликования соседей по поводу рождения дочки старого Аляса, Камачич, — волнуют своей искренней прямой, напоминающей непосредственный рассказ умного и доброго крестьянина о своих близких родичах и друзьях. Эта безыскусная поэтическая речь Д. Гулиа — проявление большого искусства, растущего от крепких национальных корней под солнцем самой передовой в мире социалистической культуры.

Не менее интересна пьеса Д. Гулиа «Призраки», показывающая внутренний распад сильного кулацкого гнезда, родоначальник которого, жадный стяжатель Гудим, готов идти по трупам родных детей, лишь бы захватить в свои руки как можно больше драгоценной в этих каменистых горах земли. Рушится дом, младшие обитатели которого, ещё не видя ясного пути, готовы погибнуть, но только не оставаться в этих постылых стенах. Рушится семья, где отец и сыновья в лютой вражде между собой, где брат отбивает любимую у брата, где молодая жена старика вступает в связь с обираемым мужем соседом

Но в момент крушения дома, виляя перед собой соперника, старый Гудим может и хочет сказать одно: «Если о земле — я не стану говорить с тобой. Не стану! Земля — моя!»

Финалу такой эмоциональной насыщенности и вместе — такой силы обобщения мог бы позавидовать любой драматург, имеющий за своими плечами старую драматургическую традицию. И эта традиция есть у Д. Гулиа. Его «Призраки» — пьеса «настроенный», заставляющая вспомнить об Ибсене. А трактовка образов и событий говорит о том, что глубокое знание жизни и плодотворная учёба у великого Чехова помогают писателю преодолеть ибсеновский символизм и усилить обличительную силу произведения.



Своеобразны и яркие стихи Д. Гулиа: они то лиричны, то сатирически остры, то романтичны, но всегда открыто сердечны и прозрачны по мысли. Однако наиболее интересны его маленькие новеллы, являющиеся результатом чудесного сплава традиционно-народного, глубокого и прямого лаконизма с чеховской сдержанной ясностью и теплотой. Вот полностью рассказ «Мац хочет иметь собственный пароход».

«В Очемчирах происходил уездный сход. Народ собрался на берегу моря. В это время к пристани подошёл большой пассажирский пароход. Как бы желая покрасоваться перед народом, он развернулся вдоль берега во всём своём величии.

И все любовались им.

— Ах, если бы этот пароход принадлежал мне, как этот башлык! Сколько богатства нашёл бы я! — сказал Мац.

Слова его услышал сосед.

— Ай, Мац, как же ты заблуждаешься! — воскликнул он. — Если бы пароход принадлежал тебе, князь Григорий Чачба каждый праздник одалживал бы его у тебя, чтобы отвезти в город каплунов, ягнят, козлят, которых он забирает у крестьян себе в подарок. Князь пользовался бы твоим пароходом, а ты только и делал бы, что чистил да мыл его. Вот и весь твой доход!

— Да, не очень-то велик мой доход с парохода... — произнёс Мац с таким огорчением, словно пароход уже принадлежал ему».

Здесь нарисованы характеры двух собеседников: сельского прожектёра Маца, только в мечтах выбивающегося из нищеты, и его соседа — трезвого человека, возвращающего приятеля с неба на землю. В считанных словах раскрыта здесь система общественных отношений феодально-патриархального строя, при котором эксплуатация прикрыта фикцией семейных и добрососедских услуг. Жанр короткой новеллы редок у нас, и эта сторона творчества Д. Гулиа заслуживает пристального изучения.

Говоря о книге избранных произведений Д. Гулиа, нельзя умолчать об отдельных её недостатках.

В романе «Камачич» слишком рано обрывается описание судьбы героини — переводой для своей среды девушки, стремящейся к самостоятельной мысли, к смело-

му решению основных для неё вопросов жизни; так и остаётся неясным, как пойдёт Камачич к революции. Словно автор, освободив любимую героиню от ненавистного угнетателя, не пожелал дольше ею заниматься. А жаль: символическая заключительная сцена романа, изображающая, как Камачич, совершив акт справедливой мести врагу своего народа, выезжает из тёмного ущелья на залитую солнцем горную дорогу, написана свежо и ярко, но не может заменить реалистического показа социального возрождения угнетённой абхазки.

Неравноценны также стихи и маленькие рассказы Д. Гулиа. Рядом с такими глубокими по мысли и своеобразными по форме поэтическими вешами, как стихотворение о пастухе Дамее, есть и риторические строки и строфы — правильные, но суховаато-рассудочные.

Не все маленькие новеллы так сильны обобщением и чётки словесно, как новелла о Маце. В некоторых случаях автор натуралистичен в показе действительности, как, например, в рассказе о бедном крестьянине, детей которого, голых и исхудалых, сосед принял за куски мяса только что зарезанного тощего буйвола.

Переводчик прозаических произведений книги А. Дроздов пошёл по правильному пути, не «улучшая» и не подкрашивая текст, не внося в него ничего «от себя». Однако язык повествования местами мог бы быть более живым и менее пунктуальным. Это особенно наглядно в маленьких рассказах, которые должны звучать, как бытовая крестьянский разговор. В основном так они и подаются переводчиком, но внесённые им кое-где официальные обороты речи, вроде: «если бы пароход принадлежал тебе» или «князь пользовался бы твоим пароходом» — несколько сушат речь рассказчика.

Правильно сделал бы редактор книги, если бы устранил недостаточно сильные произведения из сборника, а также предложил бы автору включить в «Избранное» больше маленьких новелл (на абхазском языке выпущен целый сборник их). Не следовало бы также дублировать новеллы; некоторые из них (как, например, рассказ «Дворянин горюет») приводятся в книге дважды: отдельно и в романе «Камачич».

Нельзя не отметить также, что в обстоятельном предисловии к сборнику, написанном К. Зеллинским, содержится неверное положение о том, что в романе «Камачич» показ быта абхазов заслоняет изображение социальной жизни общества. Это неверно потому, что именно через безыскусственное повествование о жите-бытье простых людей автор раскрывает нам характер

своего народа и его социальное порабощение князьями и царскими чиновниками.

Своеобразный опыт основоположника абхазской литературы является ярким доказательством благотворности творческого взаимообмена между литературами братских народов Советского Союза.

**З. КЕДРИНА.**

★

### Очерк о Мартине Андерсене-Нексе

Велик интерес советского читателя к зарубежным демократическим писателям, которые оружием художественного слова и всей своей общественной деятельностью отстаивают дело мира, демократии и социализма. Однако книг о таких писателях пока ещё мало, и большой интерес читателя во многом остаётся неудовлетворённым. Хочется приветствовать поэтому выход критико-биографического очерка «Мартин Андерсен-Нексе», принадлежащего перу ленинградского литературоведа и критика Александра Дымшица.

Автор строго придерживается скромных рамок критико-биографического очерка. После коротких вступительных абзацев он вводит читателя в биографию Нексе. Тяжёлое детство в пролетарской семье, где отец и мать неустанно работают, чтобы прокормить одиннадцать детей; с самых юных лет непосильный подённый труд, жизнь впроголодь. Потом — уход «в люди»; и вот юный Мартин — ученик сапожника, затем подручный каменщика... Даже беглый и краткий рассказ о детстве и отрочестве Андерсена-Нексе заставляет подумать о том, что путь его был сходен с путём Горького (не для того ли, чтобы подчеркнуть это сходство, Нексе назвал одну из своих автобиографических повестей «В чужих людях?»). Но рассказ этот, к сожалению, слишком бегл и краток. Несомненно огромная роль ранних впечатлений в творчестве художника, особенно такого, как Нексе, всегда тяготевшего к автобиографическому жанру. Его в значительной степени автобиографические очерки, рассказы, наконец, романы — всё это даёт столько живого, образного, конкрет-

ного материала для исследователя и биографа, что картина детства и отрочества Нексе могла бы быть написана в очерке несомненно более полно и, главное, более ярко. Думается, что, стремясь к сжатости изложения, А. Дымшиц сам лишил себя в характеристике юности Нексе многих интересных возможностей.

Первые главы книги содержат не только анализ начального этапа пути Нексе — от вступления в жизнь (1869) до создания романа «Ценою жизни» (1899); они дают также картину общественно-политических условий, которые сформировали Нексе как писателя, и состояния датской литературы в то время, когда он начинал свою творческую работу.

Ленинский анализ социально-экономической структуры Дании семидесятых и девяностых годов XIX века («Аграрный вопрос и критики Маркса») со всей непреклонностью показал, что Дания — отнюдь не страна прочного мелкого земледелия и «крестьянского процветания», а страна крупного и среднего капиталистического земледелия. Опираясь на этот анализ, А. Дымшиц даёт краткую характеристику расстановки социально-политических сил в стране. Датская буржуазия, угодничавшая перед империалистами Германии и Англии, от которых она зависела экономически, создала антипатриотическую, космополитическую идеологию, ориентируясь на зарубежный империализм; но та же самая буржуазия всячески поощряла создание живого мифа о Дании, как стране идеального процветания и прочного патриархального быта.

Социал-демократическая партия Дании рано выродилась в партию социал-оппортунистическую. С первых шагов на своём общественном пути Нексе понял, что бороться надо не только с буржуазией, но и

**Александр Дымшиц.** «Мартин Андерсен-Нексе». Критико-биографический очерк. Редактор К. Держачин, Гослитиздат, М.—Л. 1951.

с её замаскированными агентами в рабочем движении.

Набрасывая в этих главах картину литературного движения в Дании конца прошлого века, А. Дымшиц должен был преодолеть серьёзные трудности. Нашему широкому читателю история датской литературы известна далеко не достаточно; книг, посвящённых истории скандинавских литератур, в последние годы, к сожалению, почти не издавалось. Между тем, принципы советского литературоведения требуют, чтобы творчество Нексе было охарактеризовано не как замкнутое в себе явление истории литературы, а как этап в общем развитии литературного процесса Дании. Это означает, что нужно показать и ту национальную традицию, из которой Нексе исходил, которую он развил и продолжил; нужно показать и те течения в литературе, которым он противостоял, с которыми он боролся.

В критико-биографическом очерке даны краткие характеристики классиков датской литературы Адама Эленшлегера, Ханса-Кристиана Андерсена и Фредерика Палудан-Мюллера, с лучшими прогрессивными традициями которых был тесно связан во всем творчестве Нексе. Даёт исследователю и характеристику декадентской литературы Дании, с её проповедью индивидуализма, мистики и неверия в человека.

При краткости работы особое значение приобретает соотношение её частей. Поэтому нельзя не удивиться тому, что характеристика датского декаданта сделана автором не только несколько подробнее, но и конкретнее, чем характеристика реалистического направления в датской литературе.

Так, здесь упомянут и роман Йенса-Петера Якобсена «Нильс Луне» — мажорная декларация индивидуализма; охарактеризованы основные темы и мотивы декадентского творчества Германа Банга; перечислены чуть не все книги «певца свободной любви» Петера Хансена; не забыто и реакционно-мистическое творчество Карла Гьеллерупа и Сёрена Киркегора. Конечно, идейного противника, с которым боролся Нексе, нужно знать. В том обстоятельстве, что А. Дымшиц даёт довольно подробную характеристику реакционного направления в датской литературе, нет ничего предосудительного, поскольку эта характеристика

сделана с достаточной политической остротой. Плохо то, что наследие классиков датской литературы представлено в книге вяло и невыразительно.

Говоря о творчестве А. Эленшлегера, Х. Андерсена и Ф. Палудан-Мюллера, А. Дымшиц не упоминает не только ни одного созданного ими образа, но даже не приводит ни одного названия произведения.

Об Андерсене А. Дымшиц пишет, что Нексе увидел в нём «замечательного художника-демократа, влюблённого в жизнь, нашедшего великую поэзию в жизни и труде народа, в родной природе, в душе простого человека-бедняка, — писателя, проникнутого твёрдой верой в конечное торжество добра над злом, правды и справедливости — над несправедливостью и ложью».

Всё это, пожалуй, справедливо. Но здесь даже не упомянуто, что Андерсен прежде всего известен своими сказками. А, право же, одно только упоминание «Гадкого утенка» или «Нового платья короля» многое сказало бы читателю, сразу наполнило бы эту общую характеристику конкретным содержанием.

Думается, что этот недостаток связан не только с краткостью работы, но в какой-то мере и с излишне академической манерой автора. Критико-биографический очерк о Нексе по своему объёму и характеру — работа скорее популярная, и своеобразное академическое шегольство, при котором малоизвестные данные приводятся как широко известные, без пояснений и примеров, — в подобной работе неуместно. А многие сведения из истории датской литературы в первых главах книги подаются А. Дымшицем именно таким образом.

Рассказав о влиянии на Нексе великой русской реалистической прозы и о воздействии на него прогрессивных норвежских писателей, А. Дымшиц переходит к разбору ряда первых произведений Нексе. Конкретный анализ творчества писателя является наиболее сильной стороной книги.

Темы, основная проблематика, образы и даже некоторые стилистические особенности таких книг, как «Мать», «Семейство Франк», «Пыль», раскрываются перед читателем достаточно отчётливо. Хорошо также, что творческий путь писателя рассматривается в связи с его биографией. Говоря

об отдельных произведениях первого этапа творчества Нексе, А. Дымшиц постоянно отмечает уже и на этом этапе признаки близости Нексе к русской классической литературе и, прежде всего, к Горькому, близости, которая с годами возросла и окрепла.

Центральное место в творчестве Нексе — и в монографии о нём — занимает цикл романов, через которые проходит автобиографическая фигура пролетарского писателя Мортена Красного: «Пелле-завоеватель», «Дитте — дитя человеческое», «Мортен Красный» и «Потерянное поколение».

А. Дымшиц характеризует роман «Пелле-завоеватель» как «одно из замечательнейших эпических произведений нашего времени, произведение опромной жизненной, социальной и исторической правды».

Новаторское значение романа несомненно не только для датской, но и для всей западноевропейской литературы. А. Дымшиц правильно связывает это значение с благотворным влиянием русской революционно-демократической литературы, у которой Нексе научился страстности социального обличения, реалистическому бесстрашию и правдивости.

Анализируя роман «Пелле-завоеватель», исследователь высказывает много интересных и справедливых замечаний. А. Дымшиц не ограничивается тем, что характеризует Мортена как ещё только формирующегося революционера. Он показывает, что, в силу конкретно-исторических датских условий, Нексе и не мог создать образ зрелого революционера, подобный образу Павла Власова. Социальные условия в Дании и состояние рабочего движения были таковы, что они обусловили появление подобных Мортену, ещё не окончательно сформировавшихся, революционеров.

Рассматривая образ Пелле, в котором разоблачены корни социал-реформизма, А. Дымшиц приводит весьма любопытный факт. Он цитирует запись В. И. Ленина в тетрадах по империализму, где в перечне книг, показывающих ренегатство социал-демократических лидеров, есть следующая строка: «Нексе. Пелле-завоеватель. IX. Стр. 263». «Нам неизвестно, — пишет А. Дымшиц, — по какому.. изданию отметил В. И. Ленин заинтересовавшую его страницу, но указание на IX главу позволяет

думать, что внимание Ленина привлекла одна из IX глав, имеющихся в третьей («Великая борьба») и четвёртой («Заря») книгах романа. Характерно, что в обеих этих главах Нексе резко критикует предательский реформизм социал-демократических «вождей».

Из других частей книги А. Дымшица следует отметить главу под названием «Тема Пера-Голяка», характеризующую связь Андерсена-Нексе с народным творчеством, с фольклорными мотивами. Пожалуй, именно здесь наиболее удачно раскрыто своеобразие манеры Нексе.

Главы «Путь к коммунизму», «Верный друг Советского Союза», «В борьбе против фашизма» и «Борец за мир, демократию и социализм» заключают в себе развёрнутую характеристику основных этапов яркого и боевого политического пути выдающегося датского писателя. А. Дымшиц показывает позицию Нексе в годы первой империалистической войны, его борьбу против предательской политики датских социал-демократов, его решительные антимилитаристские выступления, его горячую поддержку Великой Октябрьской социалистической революции.

Самой значительной вехой на этом пути является конец 1917 года, когда Нексе под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции выходит из социал-демократической партии Дании и становится одним из основателей датской коммунистической партии.

Многие страницы очерка, насыщенные богатым фактическим материалом, рассказывают о многолетней дружбе Андерсена-Нексе с народами Советского Союза, о его поездках в Советскую Россию, о его переписке с советскими людьми, о тех вдохновенных строках, которые посвятил он Ленину и Сталину.

Рассказ о пути коммуниста и художника Андерсена-Нексе закономерно увенчивается последней главой книги, главой, посвящённой активному и страстному участию писателя в самом неодолимом движении современности — движении борьбы за мир во всём мире.

Как и весь очерк в целом, главы, содержащие характеристику политического пути Нексе, привлекают точностью, знанием материала, использованием многочисленных данных из периодической прессы,

переписки и т. д. Но в этих главах особенно сильно ощущается и немаловажный недостаток книги: её суховатость, излишний академизм изложения. А ведь именно здесь хотелось бы увидеть живой, со всеми его привлекательными чёрточками, портрет Нексе, весь образ которого дышит внутренним здоровьем, оптимизмом, лукавым, земным, подчас грубоватым, юмором.

Следует отметить ещё некоторые недостатки книги. В главе «Нексе-поэт» приведён удручающий по своему низкому качеству перевод одного из стихотворений Нексе:

И чтоб ни случилось, мы бодры, как  
прежде,  
Мы смотрим в великой надежде  
На этот будущий новый год.  
Он скоро, скоро мир принесёт.  
И мы в гнездо своё, в дом свой  
вернёмся  
И раны залечим, печаль задушив:  
Ведь мир не погиб, он цветёт, он жив..:

Подобные строки особенно неприятно читать в главе, в которой содержится

утверждение о том, что Андерсен-Нексе — «один из видных представителей современной датской демократической поэзии» и что он «принадлежит к школе, вершиной которой является В. В. Маяковский».

Другие стихотворные цитаты переведены не многим лучше. Так как фамилия переводчика не указана, эти небрежные переводы приходится отнести за счёт автора книги.

Странно, что в очерке нет необходимой библиографии переводов произведений Нексе на русский язык и что библиография журнальных и газетных статей разбросана в постраничных примечаниях, а не сведена воедино.

Мы начали статью с того, что хочется приветствовать выход критико-биографического очерка А. Дымшица. Можно закончить её пожеланием, чтобы автор продолжил работу над книгой, требующей серьёзного улучшения.

С. ЛЬВОВ.

★

## Германия вчера и сегодня

Быть может, ни в один период истории в Германии не издавалось такое большое количество различных книг, как за последние шесть лет. Сразу же после освобождения страны от ига гитлеризма её книжный рынок заполнила демократическая и антифашистская литература. Большое место в ней занимали книги антифашистов-эмигрантов, издававшиеся за пределами Германии и совершенно не известные немецкому читателю, и произведения классиков немецкой литературы, чьи книги были или под запретом, или фальсифицировались фашистскими «теоретиками»; появились книги писателей, которые принуждены были молчать в годы фашистского рейха; стали выходить книги тех, кто только в дни освобождения от нацистского рабства, под влиянием пережитого начал понимать истинную природу фашизма.

Среди этих книг, написанных с самых

«На переломе». Рассказы и повести современных немецких писателей. Редактор В.С. Розанов. Издательство иностранной литературы, М. 1951.

«Поэты демократической Германии». Редактор-составитель и автор вводных очерков И. Фраднин. Детгиз, М.—Л. 1951.

различных идейных позиций, можно найти много случайного и ошибочного, много и враждебного интересам немецкого народа. Родились теории, которые прямо вели к оправданию гитлеризма; они сразу же были подхвачены врагами немецкого народа и сегодня взяты на вооружение американо-английскими поджигателями войны и их боннскими марионетками. Но большая и лучшая часть литературы этих лет, прежде всего — творчество последовательных антифашистов, рассказала немецкому народу правду о гитлеризме, помогла разоблачить ту ложь, на которой фашизм строил своё господство.

Немалую роль в этом сыграла документальная литература, рассказавшая правду о Советском Союзе, о немецких коммунистах, героях Сопротивления в самом немецком народе.

С литературой, которая отражает жизнь новой, возрождающейся Германии, и не только осмысляет прошлое, но и стремится активно помочь в строительстве Германской демократической республики, советского читателя знакомят сборники «На переломе» и «Поэты демократической Германии».

В произведениях немецких поэтов и прозаиков, представленных в сборниках, нашли своё выражение тяжёлая и славная борьба демократических сил немецкого народа на протяжении последних трёх-четырёх десятилетий и тот бурный расцвет, который немецкая демократия переживает сегодня.

В годы жесточайшего террора внутри Германии, в годы грабительских походов гитлеровских полчищ Йоганнес Бехер писал:

Я — немец. Но не значит немцем быть —  
Пытать людей, топтать чужую землю.  
Германию от зла освободить —  
Вот лозунг наш, и я его приемлю!

Настанет день — Германия моя  
Своих любимых сыновей разбудит.  
И я живу, надежду затаю:  
Настанет день — и мглы ночной не будет.  
(Перевод Н. Ушакова)

Много светлых образов героев-антифашистов создали в своих произведениях немецкие писатели — таких образов, как нестигаемый Торстен из «Испытания» Вилли Бределя, как Гейслер из «Седьмого креста» Анны Зегерс. В рассказе Яна Петерзена «Среди молчания», опубликованном в сборнике «На переломе», мы снова встречаемся с борцами за свободу немецкого народа. Ян Петерзен писал свои рассказы, сам находясь в подполье гитлеровской Германии; он хорошо знал по совместной борьбе своих героев — Оскара, Эриха, Руди, — людей высокого морального облика, которые, не задумываясь, отдавали жизнь ради победы правого дела.

С волнением читаются страницы сборника «Поэты демократической Германии», которые рассказывают о жизни и творчестве поэтов-борцов, героев антифашистского Сопротивления, павших в застенках гестапо, — Харро Шульце-Бойзене и Адаме Кукхофе. Люди, подобные им, — живой прообраз героев антифашистской литературы, — пронесли незапятнанным знамя пролетарской солидарности и интернационализма; неугасимы были их вера в светлые идеалы коммунизма, ненависть к войне и фашизму, любовь к своему отчеству, означавшая для них борьбу за его освобождение. Зная, что большая часть немецкого народа обманута и втянута гитлеровцами в преступную игру, они сохраняли стойкость борцов, уверенность в конечной победе правого дела. Перед казнью, в одиночке геста-

повской тюрьмы, Харро Шульце-Бойзен писал:

Спокойно сердце бьётся,  
Спокойно дышит грудь.  
Ответить остаётся: «Да!  
Ты выбрал верный путь!»

И жизнь со всею силой  
Любить не перестал,  
И на краю могилы ты  
Бороться не устал.

И веришь, умирая.  
Что иаш посев взойдёт!  
Пусть мы умрём. Но знаю я:  
Проклятый «райх» падёт!

(Перевод Л. Гинзбурга)

Передовая немецкая литература проникнута чувством благодарности к советскому народу, освободившему Германию от гитлеризма. С именем Сталина немецкий народ связывает свои победы в строительстве новой жизни, самое существование Германии как государства. В поэме «Сталин» Стефан Хермлин пишет:

И мысль его вдаль проникала.  
В суровый военный год  
В приказе своём писал он,  
Что гитлеры — не народ.  
Советский солдат в походе  
Внимал словам полководца:  
«Гитлеры приходят и уходят,  
А народ германский,  
А государство германское —  
остаётся!»

(Перевод Л. Гинзбурга)

«Вот что мне дали Советский Союз и Германская демократическая республика!» — доску с такой надписью прикрепил переселенец Антон Гамбош к возу с зерном, направляясь на празднование Урожая Мира (рассказ Анны Зегерс «Новосёл»). Много сомнений он преодолел, многому научился, глядя на новую рождающуюся жизнь, прежде чем написал эти простые и ясные слова, живущие сегодня в сердцах немцев.

Ощущение широкой перспективы и уверенности в будущем с большой силой звучат в новой немецкой литературе.

Сегодня эта литература рассказывает об исторических преобразованиях, проведённых на территории Германской демократической республики — о создании Социалистической единой партии Германии, которое положило конец расколу немецкого рабочего класса; о земельной реформе; о переходе промышленности в соб-

ственность народа; о возникновении новых общественных форм жизни; о борьбе немецкого народа за мир.

В передовую немецкую литературу уверенно вошёл новый герой немецкой действительности — человек труда, создатель. Крестьянская беднота, бывшие батраки и переселенцы, получившие земли барона (повесть Пауля Кернер-Шрадера «Новь»), и рабочие народного предприятия, на котором работает инвалид войны Петер Боланд из повести Герберта А. Лангера «Человек нашёл себя», молодёжь из рассказа Петера Виппа «Двадцать тысяч кирпичей...» — все они приходят к осознанию нового смысла своего труда. Эти люди поняли, что отныне они хозяева в государстве. В этом — источник того уверенного тона, настроения обновляющейся и побеждающей жизни, которое характерно для всех лучших произведений современной немецкой литературы.

Герои этих книг ни на минуту не забывают, что их страна разорвана на две части, что на западе Германии враги народа готовятся к тому, чтобы отнять у него все завоевания, за которые проливали кровь и народы Советского Союза и лучшие сыны немецкого народа. В Западной Германию бегут изгнанные из немецкой деревни кулаки и юнкера (повесть Пауля Кернер-Шрадера «Новь»); туда же тянутся нити заговора на предприятиях («Человек нашёл себя» Герберта А. Лангера); прямому столкновению западногерманских вооружённых сил с миролюбивой немецкой молодёжью посвящён документальный рассказ Дитера Нолля «Проба сил».

Немецкая молодёжь — активная сила восстановления, надежда и будущее страны — занимает большое место в современной немецкой литературе. О судьбе молодых немцев в Германской демократической республике и о той роли, которую молодёжь играет в её жизни, хорошо рассказывает Карлаугуст Курт («Новый рабочий»). На автомобильный завод пришёл новичок — вернувшийся из плена Фриц Круль. Его ставят к группе сверлильных станков; это — самое узкое место производства, оно задерживает все остальные участки. Фриц начинает думать над тем, как ускорить работу, рационализировать процесс, чтобы завод мог дать Республике больше жизненно необходимой продукции. Он скоро при-

ходит к выводу, что надо обрабатывать детали одновременно, не дожидаясь, пока будет проведена первая операция на всех деталях. Нововведение Фрица сразу же увеличивает выработку продукции. Главный инженер завода Бургхард принимает решение о перестройке всего процесса производства. «Мы сможем намного перевыполнить план!» — говорит он. Между главным инженером и Фрицем Круллем происходит знаменательный разговор.

«— Скажите, как вы попали на эту мысль? — спросил он.

— Вы ведь мне тот раз сказали: «Шевели мозгами», — усмехнулся Фриц. — Ну, я и пошевелил! — Он всё ещё не отрывался от работы.

— Да нет, без шуток, — настаивал инженер. — Где вы раньше-то работали?

— На советском автозаводе, — ответил Фриц Круль, новый рабочий».

Литература играет в жизни Республики огромную роль, она становится сильнейшим оружием в деле перевоспитания немецкого народа, в борьбе за единую, независимую, миролюбивую, демократическую Германию. Она рассказывает всем немцам, на Востоке и Западе Германии, об успехах и победах Республики — прообраза будущего единого немецкого государства. Она ясно показывает, какое большое будущее у Германской демократической республики, занявшей своё место в великом и непобедимом лагере мира.

В гимне Республики, которым открывается сборник «Поэты демократической Германии», сказано:

Мир и счастье для народа —  
Вот Германии оплот!  
Всем народам честно подал  
Руку дружбы наш народ.  
Если мы едины будем,  
Все враги нам не страшны!  
Мы стоим за мир, чтоб людям  
Не терять своих детей  
На полях  
Войны.

(Перевод А. Безыменского)

Сборник «Поэты демократической Германии» содержит произведения шестнадцати немецких поэтов — людей разных поколений и разных судеб. Здесь представлены поэты-демократы Веймарской республики (Курт Тухольский и Эрх Мюзам); поэты — герои антигитлеровского подполья (Харро Шульце-Бойзен и Адам Кукхоф); предста-

вители старшего поколения антифашистской немецкой поэзии (Йоганнес Бехер, Эрих Вайнерт, Фридрих Вольф и др.); молодые поэты, чьи голоса окрепли только в последние годы (Куба, Стефан Хермлин и др.).

Сборник «Поэты демократической Германии», предназначенный для детей старшего возраста, не может, конечно, дать полной картины современной немецкой поэзии. Но, благодаря правильному в общем подбору произведений, он даёт ясное представление о ней. Разобраться в творчестве поэтов юному читателю помогают краткие биографические заметки, написанные живо и доступно, на основе богатого фактического материала.

В работе над сборником принял участие большой коллектив и зрелых мастеров, и молодых начинающих переводчиков. Можно сказать, что коллектив успешно справился со своей задачей: многие переводы сборника сделаны на высоком идейно-художественном уровне. Идеинная близость между поэтами и переводчиками была здесь залогом и предпосылкой верного раскрытия мысли подлинника. Стихотворения «Разговор моих двух «Я» на тюремных нарах» Адама Кукхсфа (перевод В. Левика), «Сонет строителям» Йоганнеса Бехера (перевод М. Зенкевича), «Героическая песнь об Александре Войкове» Эриха Вайнерта (перевод С. Кирсанова), «Кровь коммунистов» Кубы, баллада «Гранит Ленинграда» Стефана Хермлина (переводы Л. Гинзбурга), «Что ж получила в посылке жена» Бертольда Брехта (перевод Е. Эткинда) и ряд других по праву займут своё место в русской переводной поэзии.

Надо сказать, однако, что в сборнике проявилось то снисходительное отношение к переводной поэзии, которое ещё не до конца изжито в среде редакторов и самих переводчиков. Очевидно, ещё существует неверное в корне мнение, что переводное стихотворение не может — и не должно — звучать, как полноценное произведение русской поэзии. Только такой точкой зрения, поощряющей нетребовательность редактора к переводной поэзии и переводчика — к своему творчеству, можно объяснить появление некоторых небрежных переводов, которые стоят много ниже общего уровня сборника. Только этим можно объяснить

появление неграмотных выражений, вроде: «И скорбно ветер дул ему вослед. А он стоял, облокотясь на камень», «Кто, с фланга атакован, свой «максим» навёл, не дрогнув, по фашистской роте», «шёл на плаху, твёрдый, как скала» и др.; или таких неряшливых, недоработанных строчек, как «Он требует театров, санаторий», «Любовь, очищенная на её огне» и т. п.

Иногда переводчик облегчает себе задачу, и вместо того, чтобы, проникнувшись идеей стихотворения, найти нужные средства выражения для передачи русским стихом мыслей и образов подлинника, пишет что-то «похожее», «близкое», стремясь только заполнить недостающие строки, подставить недостающие рифмы. В переводе стихотворения Эриха Вайнерта «В Кремле не гаснет свет» (переводчик Л. Гинзбург) есть вычурная, вызывающая недоумение строка — «...приходит ночь, крылами шевеля». Ничего похожего на этот образ в подлиннике нет и не могло быть у такого поэта, как Эрих Вайнерт; эта придуманная строка портит хороший перевод. Подобная «отсебятина» недопустима — она легко приводит к идейному обеднению и даже искажению подлинника. В качестве примера можно указать на перевод стихотворения Бертольда Брехта «К демократии! К свободе!» (переводчик В. Бугаевский). В этом стихотворении Бертольд Брехт создаёт обобщённую сатирическую картину, рисуя процессию различной фашистской нечисти, возрождающейся в Западной Германии и требующей для себя «свободы и демократии». Резкую, всегда имеющую точный адрес, сатиру Бертольда Брехта переводчик подменил общим ироническим тоном; конкретные характеристики переданы далёкими от подлинника, расплывчатыми выражениями; острые политические места сглажены. Например, в подлиннике говорится о римском папе, который, «как известно, глубоко обеспокоенный, смотрит на Восток», а у переводчика:

С кротостью необоримой  
Рим взирает на Восток  
И молитвы шепчет впрок.

В подлиннике сказано: «удары хлыста щёлкают по мостовой: эсэсовцы делают это за деньги», а у переводчика:

А эсэсовским ягням,  
С опытом их столь богатым,  
Отчего не дать бы ходу? —



(причём редакция даёт к выдуманному переводчиком выражению «эсэсовские ягнята» примечание: «Так Б. Брехт называет фашистских бандитов...»).

В подлиннике сказано: «с ними шли учителя — почитатели власти, опустошители умов, — ради права воспитывать немецкую молодёжь в духе добродетели бойни», а у переводчика:

Был здесь также и учитель,  
Наш рачитель, душ растлитель,  
Что готов хоть в англоманов  
Юных превращать баранов.

В переводе допущена и более серьёзная ошибка. Бертольд Брехт ясно даёт понять и дважды прямо говорит, что эта фашистская вакханалия не встречает сочувствия у населения Западной Германии. В переводе эта важнейшая мысль исчезла. В подлиннике: «солдатские вдовы, невесты лётчиков, сироты, контуженные, калеки — все они стояли с открытым ртом», а у переводчика:

Пять-шесть венчанных условно  
Вдов солдатских и сиротки  
Хором надрывали глотки.

В подлиннике: «Извещённое прессой, голодное, среди остовов своих домов стоит смятенное население», а у переводчика:

И, откликнувшись на зов,  
Стоя у своих домов,  
Их встречали жёны, тещи —  
Падаль и живые мощи...

Стихотворение «К демократии! К свободе!» наглядно показывает, как небрежный, недостаточно продуманный перевод при внешней гладкости и «похожести» может исказить самую идею подлинника.

В сборнике «На переломе» также представлены писатели различных поколений и судеб — от Генриха Манна и Бернгарда Келлермана до начинающих писателей. Сборник составлен таким образом, чтобы каждое произведение рассказывало о каком-нибудь этапе в истории Германии. «...При всех идейных (в границах платформы Национального фронта) и художественных различиях произведений, входящих в предлагаемый сборник, — пишет автор предисловия И. Фрадкин, — их объединяет одно: каждое из них с большей или меньшей силой реалистического проникновения воспроизводит борьбу социальных сил,

узловые события и проблемы в германской истории XX столетия и тем самым помогает понять место и значение этих вех в пути, пройденном немецким народом до великого перелома, — от империи кайзера Вильгельма до Германской демократической республики».

Однако собранные в книге произведения не могут дать достаточно полного представления ни о пути, пройденном немецким народом, ни о прогрессивной немецкой литературе. В сборник включены только те рассказы, повести и отрывки из романов, которые неизвестны или мало известны советскому читателю. Такой отбор понятен и возражений вызвать не может, хотя в связи с этим из книги выпали лучшие достижения немецкой прозы — именно те, в которых с наибольшей силой была воплощена судьба немецкого народа (например, романы Анны Зегерс и Вилли Бределя). Но недоумение вызывает отсутствие не издававшихся на русском языке антивоенных произведений крупнейшего немецкого писателя Арнольда Цвейга, прозаических произведений Иоганнеса Бехера и Фридриха Вольфа, сатир Бертольда Брехта, рассказов Эдуарда Клаудиуса и т. п. Вследствие этих пробелов сборник неполно отражает героическую борьбу коммунистической партии Германии, неглубоко показывает процессы, происходившие в немецком народе, недостаточно ярко раскрывает социальную природу фашизма. И самый перелом в жизни немецкого народа не предстаёт в должной исторической перспективе.

Всё это привело к тому, что первая половина книги «На переломе», охватывающая период немецкой истории до разгрома гитлеризма, производит впечатление случайного подбора образцов немецкой прогрессивной прозы; только в части, посвящённой литературе новой Германии, сборник даёт то лучшее, что создано за послевоенные годы немецкими прозаиками.

Перед переводчиками, работавшими над книгами молодых немецких писателей, стояла особенно трудная задача. Среди этих книг ещё много незрелых, недоработанных, даже художественно слабых произведений. Это — первые шаги литературы новой Германии. От редактора и переводчиков требовалось много умения и внимания для того, чтобы донести до советского читателя всё то действительно ценное и важное, что есть в этих книгах. Однако

именно эти произведения переведены небрежно, слабее других. В них много смысловых неточностей и ошибок, погрешностей против русского языка, буквализмов. Так, например, в повести Пауля Кернер-Шрадера «Новь» (перевод А. Гончарова) постоянно встречаются фразы и выражения, вроде: «люди с сердцем и оптимизмом», «стаканы выпиваются до дна», «пару костей», «пару запряжек», «лишнюю пару недель» и т. п. Недосдача хлеба кулаком-саботажником названа «недоимка», хотя слово это в русском языке имеет совершенно иной социальный смысл. В переводе много произвольных изменений в ритмическом и интонационном рисунке текста. Речам персонажей придан фальшивый псевдопростонародный тон, которого нет в подлиннике (вроде: «ребятишки ихние, прямо как шпионят»). Основной мотив повести, рисующей земельную реформу как осуществление вековых чаяний немецкого крестьянства, выражен в словах престарелого бапрака Гебеля, который часто повторяет: «Der Schrei der Gerechtigkeit» (дословно: «крик справедливости»). А переводчик вкладывает в уста героя безграмотно звучащее, искажающее образ выражение «вопиющая справедливость». Подобные примеры далеко не единичны.

В текстах этих произведений есть много зачастую неоправданных и никак не ого-

воренных сокращений; так, например, в повести Пауля Кернер-Шрадера «Новь» сильно сокращена сцена крестьянского собрания и речь оратора из города, в которой он разъясняет смысл земельной реформы; в повести Герберта А. Лангера «Человек нашёл себя» полностью снята хотя и наивная, но очень важная для понимания идеи произведения сцена, в которой герой прокликает милитаристское прошлое Германии.

Неряшливо редакционное оформление книги: даты написания указаны только в предисловии, и то не для всех произведений; нет хотя бы кратких биографических данных о писателях, несмотря на то, что с большинством из них советский читатель знакомится впервые.

Издательства, взявшиеся за нелёгкую и весьма ответственную задачу — ознакомить советского читателя с поэзией и прозой Германской демократической республики — сделали большое и важное дело. Но, к сожалению, даже в удачном сборнике «Поэты демократической Германии» не обошлось без серьёзных переводческих ошибок; относительно же сборника «На переломе» приходится сказать, что пробелы и недостатки, имеющиеся в нём, намного снижают ценность этой очень нужной и своевременно изданной книги.

П. ТОПЕР.



## Политика и наука

### В новой Албании

Книга «Новая Албания» — это рассказ о большой судьбе маленького народа, сбросившего иго империалистических колонизаторов и получившего возможность благодаря великой победе Советского Союза над фашизмом начать новую жизнь — светлую и свободную.

Буржуазные исследователи и путешественники писали об Албании как о диком уголке Европы, каком-то своеобразном «заповеднике средневековья». Для них эта страна, изнывавшая под ярмом чужеземного гнёта, была неким экзотическим краем (вроде Сан-Марино, где богатые туристы

могли ознакомиться с окаменелыми обычаями и нравами древнего Рима, или Андоры, сохранившей до наших дней отношения средневекового вассалитета).

Империалистов Албания привлекала своими природными богатствами и особенно стратегическим положением «адриатической двери на Балканы».

Автор книги воскрешает страницы двухтысячелетней истории албанского народа. Поистине трудно назвать другую европейскую страну, которая бы так хищнически нагло эксплуатировалась иноземными капиталистами и чьи национальные интересы попирались бы так цинично и прубо.

Албанский народ, насчитывающий немногим более миллиона человек, в годы вто-

Н. Шмелёв. «Новая Албания». Редакторы К. Орлова, Д. Дрясев. «Молодая гвардия», М. 1951.

рой мировой войны и в послевоенное время показал, что в нём живёт дух свободолюбия. Пятивековое деспотическое владычество турок, как и варварское хозяйничание итальянских колонизаторов, не сломили его стремления к независимости, его веры в лучшее будущее. «Орлятами» называют себя жители этой маленькой горной страны.

Многие десятилетия понадобились бы Албании, жестоко пострадавшей от фашистского нашествия, для восстановления своего хозяйства. Может быть, столетие потребовалось бы ей, чтобы преодолеть средневековую отсталость, которую искусственно насаждали империалистические державы, рассматривавшие Албанию как разменную монету в своей дипломатической игре.

Народная революция, ликвидация монархического режима Ахмеда Зогу, установление народно-демократического строя открыли перед Албанией широкий путь к поразительно быстрому экономическому и культурному подъёму. Многострадальная Албания, впервые завоевавшая свободу и независимость — наглядный и очень яркий пример огромной революционной преобразующей силы, заложенной в строе народной демократии.

Один из иностранных наблюдателей, ознакомившись с великими переменами, происшедшими в этой отсталой стране, заявил, что ему кажется, будто какая-то чудесная «машина времени» перенесла Албанию из одной эпохи в другую.

Нет, не фантастическая «машина времени», а сам албанский народ, ставший хозяином своей судьбы, руководимый Трудовой партией, меняет облик страны, закладывает основы социалистического хозяйства.

Албания строит новую жизнь, осуществляет социалистические преобразования, находясь в кольце реакционных враждебных государств. На севере и северо-востоке её соседом является титовско-фашистская Югославия, на юге и юго-востоке — монархо-фашистская Греция, на западе (через пролив Отранто) — Италия — участница агрессивного Северо-атлантического союза. Титовские диверсанты, подсланные из Афин шпионы, убийцы в сутанах — агенты Ватикана, остатки разгромленной феодально-капиталистической реак-

ции — все они, действуя по указке англо-американской разведки, пытаются помешать экономическому прогрессу Албании, отнять у народа его революционные завоевания, вновь заковать страну в цепи империалистического рабства. За последнее время в печать проникают сообщения о разрабатываемых империалистами планах расчленения Албанской республики и раздела её территории между Югославией, Грецией и Италией.

Но албанский народ не поддается ни на провокации, ни на угрозы. Он уже познал радость независимой жизни и свободного труда и готов на любые жертвы во имя защиты своих завоеваний.

«Наш народ возродился, живёт и будет жить, — пишет вождь албанского народа Энвер Ходжа. — Он борется и побеждает потому, что его путь освещён Великой Октябрьской социалистической революцией, идеями Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, потому, что наша народная республика родилась благодаря блестящим победам советских народов над фашизмом и международной реакцией. Наша республика крепнет и расцветает потому, что она живёт в светлую сталинскую эпоху».

В книге рассказано о подвиге, совершённом албанским народом во время второй мировой войны. Отважным и непреклонным показал он себя в героической борьбе против итало-немецких захватчиков. Достаточно напомнить, что Албания выставила (в процентном отношении) не меньше войск, чем Канада, и потеряла больше человеческих жизней, чем Южно-Африканский Союз и Новая Зеландия, вместе взятые.

Подвиг, совершаемый ныне албанцем-пужеником, не уступает подвигу албанца-воина.

Автор рассказывает об огромном строительстве, развернушемся на албанской земле, приводит многочисленные примеры, показывающие, как быстро Албания развивает свою собственную промышленность, как меняется характер вчера ещё допотопно-примитивного сельского хозяйства, как энергично албанцы овладевают наукой, развивают свою национальную литературу и искусство.

Всё, что делается народом, исполнено глубочайшего, поистине исторического значения и смысла. Проложены первые в стране железные дороги. Открыты первые

высшие учебные заведения — педагогический, сельскохозяйственный и политехнический институты. Впервые албанцы положили конец племенной вражде, кровной мести. Албанские женщины в огромном большинстве начали снимать паранджу. За несколько лет, прошедших с момента освобождения страны, около 200 тысяч мужчин и женщин научились грамоте. Указом президиума Народного Собрания введено обязательное обучение всего населения в возрасте от 12 до 40 лет. В Албании — вчера ещё стране «сплошной неграмотности» — ныне работает две тысячи начальных и более ста средних школ. В Тиране — столице Албании — возникли артистический и художественный лицеи. Открылся первый в стране национальный театр. Создан институт наук с отделениями экономики, геологии, истории, естественных дисциплин, языка и литературы.

Большими тиражами издаются книги современных писателей Мусарая, Шутерки, Чачи, Силичи, Гята и других. В первой половине 1950 года в Албании вышло около ста названий книг общим тиражом в полтора миллиона экземпляров, — цифра для Албании небывалая! На албанский язык переведены труды Ленина и Сталина, произведения М. Горького, В. Маяковского, М. Шолохова, А. Фадеева и других советских писателей. На албанской сцене идут пьесы А. Островского, Н. Гоголя и советских драматургов: А. Корнейчука, К. Симонова, Л. Леонова, Н. Вирты. Всё это знаменует собой начало новой эры в албанской культуре.

Специальная глава в книге посвящена росту благосостояния албанского народа. Расширение посевных площадей, применение удобрений повысило производительность сельского хозяйства, привело к значительному увеличению урожая. Албания впервые в своей истории начала обеспечивать себя собственным хлебом. Правительство проводит политику увеличения реальной заработной платы трудящихся, снижения цен на товары.

Важнейшее завоевание народной власти в Албании — широкая бесплатная медицинская помощь. В королевской Албании народные массы по сути были совершенно лишены медицинской помощи. В стране свирепствовали болезни. Особенно много жизней уносила малярия — этот бич Алба-

ни. Из каждых пяти албанцев — трое болели малярией. В результате большой работы, проведённой органами здравоохранения, заболеваемость малярией снизилась в несколько раз. Главным очагом малярии в стране было озеро Малик (близ города Корчи), окружённое болотами и топями. Крупные осушительные работы привели к ликвидации этого малярийного очага, от которого страдали многие поколения албанцев. На месте непролазных болот раскинулись ныне свекловичные плантации.

Много нового, радостного, светлого в жизни албанского народа. Впервые получил он дома отдыха и рабочие клубы, родильные дома и ясли, детские сады и летние лагеря для школьников.

Автор подробно рассказывает о той помощи, которую оказывает Советский Союз албанскому народу. Огромной искренней любовью окружено в Албании имя вождя всего трудового человечества И. В. Сталина. Повсюду можно слышать слова популярной поэмы Алеко Чачи «Сталин с нами»:

Мы жизнь своими  
руками строим.  
Мы мир наполним своей борьбой.

С ударной песней,  
Могучим строем  
Идём мы, Сталин,  
Идём с тобой!

Всю страну — от края до края — облетели слова одного албанского крестьянина: «Мы — маленький народ? Нет. Вместе с советским народом нас 201 миллион».

Небольшая по размеру своей территории и по численности населения Албания является равной среди равных народно-демократических стран. На её примере можно лишний раз убедиться, какой могучей и надёжной гарантией свободы и независимости малых народов является великий лагерь мира и демократии, возглавляемый несокрушимой страной Советов.

Нетрудно себе представить участь Албании в условиях капиталистического мира. Достаточно обратиться к незавидной судьбе таких малых западноевропейских государств, как Дания, Голландия, Бельгия, превратившихся по существу в колониальные провинции заокеанской «империи доллара», чтобы понять, какая страшная судьба постигла бы отсталую Албанию под империалистическим гнётом.

«Если бы Албания,—справедливо отмечает автор,—оказалась одиночкой перед лицом окружающих врагов, они не замедлили бы ринуться на неё и разорвать на куски».

Книга Н. Шмелёва, в целом интересная и полезная, не лишена недостатков. Странно, что в главе, озаглавленную «Закладка фундамента социализма», автор включил только факты и цифры, касающиеся промышленности. В действительности же построение фундамента социализма предполагает революционные перемены и в других областях народного хозяйства, в частности, в сельском хозяйстве.

Автор правильно сделал, посвятив отдельную главу Конституции Албанской республики. Но, говоря подробно о Конституции 1946 года, Н. Шмелёв, к сожалению, не нашёл нужным остановиться на дополнениях и изменениях, которые были внесены в Конституцию в 1950 году.

Напрасно автор приукрашивает фигуру типичного буржуазного деятеля Фа Нолли, торжественно именуя его «прославленным епископом». В самой книге справедливо говорится, что албанская буржуазия, чьи интересы он представлял, больше боялась народных масс, нежели феодалов и иностранных империалистов. Естественно, это нашло своё проявление и в политике правительства, возглавлявшегося Фа Нолли в 1924 году.

Нельзя пройти и мимо того, что язык книги страдает сухостью. Отдельные страницы её напоминают статистическую справку. Книги, рисующие жизнь народно-демократических государств, рассчитанные на молодого читателя, должны представлять собой более живой рассказ о замечательных победах стран, строящих социализм.

Кандидат юридических наук  
Л. САВИНСКИЙ.

★

## Народы Африки в борьбе за мир и свободу

Огромный африканский континент издавна привлекал к себе внимание хищников Старого и Нового света. Богатые природные ресурсы и дешёвый невольничий труд закабалённого населения служили источником безудержной наживы капиталистических метрополий. Значение Африки особенно возросло во время второй мировой войны, когда эта часть света стала поставщиком значительного количества стратегического сырья.

Важную роль играет Африка и в нынешних замыслах американско-английских империалистов. Ещё в феврале 1948 года журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» цинично заявил: «Этот континент занимает большое место в военных планах Англии и США как источник военных ма-

териалов и как потенциальная база против русских».

Однако стремление империалистов создать в Африке плацдарм для войны против Советского Союза наталкивается на серьёзные затруднения и, прежде всего, на возрастающее сопротивление широких трудящихся масс африканских народов.

За последние годы вышли сборники документов о положении в Африке, изданы книги и брошюры видных негритянских общественных деятелей. Авторы этих работ разоблачают захватнические стремления вековых угнетателей африканских народов и, прежде всего, агрессивные планы США.

Известно, что монополисты США, не имея собственных баз в Африке, в полной мере использовали затруднительное положение колониальных держав (Англии, Франции, Бельгии) для своего проникновения в их обширные африканские владения. В 1944 году американцы фактически захватили Алжир, Марокко и хозяйничают в бывших итальянских колониях Ливии и Триполи. Во Французской Западной Африке США сохраняют под своим контролем Дакар — важнейшую военно-морскую и воздушную базу, через которую осуществляется интенсивная авиасвязь Европы со странами Южной Америки.

„Africa fights for Freedom“ by A l p h a e u s H u n t o n with an introduction by E s l a n d G o o d e R o b s o n. New York, 1950. (Альфёус Хантон. «Африка борется за свободу». Предисловие Эсленд Гуд Робсон. Нью-Йорк, 1950).

„Nigeria. Why we fight for Freedom“ by A m a n k e O k a f o r. Foreword by Paul Robson. London, 1950. (Аманке Окафор. «Почему мы боремся за свободу Нигерии». Предисловие Поля Робсона. Лондон, 1950).

„Tragedy in Africa. A Warning and a Challenge“. London, 1950. («Трагедия в Африке. Обвинение и предупреждение». Лондон, 1950).

При содействии своих англо-французских «младших партнёров» американские империалисты развернули в Африке широкое военно-стратегическое строительство. Особенно большой размах оно приняло в Алжире и Тунисе. В Мере-эль Кабире и Бизерте расширяются и модернизируются военные порты. В глубине пустыни Сахары американцы строят десятки крупных аэродромов и установок для летающих снарядов. По сообщениям французской печати, американцам переданы ещё пять хорошо оборудованных аэродромов в Коломб-Вешар, Бискра, Уаргла, Рхадамас, Форт-Флаттес, которые образуют как бы мост между главными американскими базами в Перт-Лиоте и Триполи.

Бесцеремонно вытесняя своих европейских союзников, американские империалисты овладевают по существу всей экономикой африканских стран.

В коммюнике совещания министров иностранных дел США, Англии и Франции (май 1950 года) указывалось, что государства, имеющие владения в Африке, должны впредь «установить тесное сотрудничество» с США и совместно с ними проводить свою колониальную политику. Смысл этого «сотрудничества» разъяснил помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока и Африки Мажги, заявив, что «США хотят сохранить своё право на равные экономические возможности на африканских территориях». Иначе говоря, заправили Уолл-стрита намерены установить своё господство также и в Африке.

Американские монополисты, проникнув в англо-бельгийское общество, наложили лапу на урановую руду Бельгийского Конго, прибрали к рукам добычу ванадия и кобальта Северной Родезии, захватили каучуковые плантации Либерии. Нефтяные монополии США всё более вытесняют своих конкурентов из Северной и Восточной Африки; горно-рудные предприятия Южно-Африканского Союза — британского доминиона — также переходят в собственность Уолл-стрита.

Сдают свои позиции в Африке и французские колонизаторы. Американские монополии захватили алюминиевое сырьё французской Гвианы, свинцовые рудники в Юго-Западной Африке, медедобывающую промышленность Северной Родезии.

Не смогла избежать общей участи и формально независимая Эфиопия. Она вынуждена была передать в распоряжение американцев нефтяные месторождения и предоставить свою территорию для военных баз.

Журнал «Нью-Африка» сообщает, что американские империалистические хищники рыскают по всем уголкам Африки в поисках ценных ископаемых, которые ещё можно прибрать к рукам. В течение длительного времени по Египту, Судану, Кении и другим районам разъезжает «научная» экспедиция, составленная из американских офицеров. 50 американских геологов и топографов получили задание в течение ближайших трёх лет произвести изыскания новых источников сырья.

Однако, справедливо замечает Альфеус Хантон, «Африка 1950 года — это уже не Африка 1920 года или даже 1940 года». Новоявленным претендентам на мировое господство приходится считаться с тем фактом, что народы Африки вступили на путь активной борьбы за свободу и независимость, за демократию и мир.

Пробуждающемуся национально-освободительному движению империалисты противопоставляют «испытанные» средства колонизаторов — полицейские пулемёты и кнут рабовладельца.

Авторы брошюры «Трагедия в Африке» констатируют, что Южно-Африканский Союз — это сплошной застенок для негров, индийцев, китайцев и вообще для всех «неевропейцев». Они загнаны в резервации и гетто, обречены на каторжный труд и наделены волчьими паспортами, введёнными со специальной целью полицейского надзора над «бунтующими рабами». Коренные жители Южно-Африканского Союза фактически лишены всяких демократических прав. Не лучше положение и во Французской Западной Африке, где, по словам Уфуэ Буаны, председателя Африканского демократического объединения, «нет ни политической, ни личной свободы, ни свободы слова и свободы союзов».

Борьба бесправного населения Африки с насильниками-колонизаторами всё чаще перерастает в открытые боевые выступления, забастовки и восстания. Колониальные власти жестоко расправляются с африканскими народами, требующими свободы и независимости.

«Нынешнее империалистическое правительство Франции... с удвоенным ожесточением преследует наше движение, — пишет известный африканский борец за мир Габриэль Д'Арбусье. — Десятки наших товарищей уже пали жертвой кровавых репрессий, тысячи других брошены в тюрьмы. Наше руководство подвергается преследованиям».

Альфёус Хантон приводит факты кровавых злодеяний империалистов: «В Алжире французские власти убили после войны шестьдесят тысяч человек, а много тысяч других было брошено за решётки и в концентрационные лагеря. При подавлении восстания на Мадагаскаре два года тому назад было убито девяносто тысяч патриотов. Во Французском Марокко, Тунисе и в Западной Африке забастовки тысяч шахтёров и железнодорожников были подавлены войсками при помощи бронемашин и танков».

Такой же террор царит в английских колониях, управляемых лейбористскими сатрапами. В Енугу (Нигерия) в ноябре 1949 года полиция убила двадцать человек при подавлении забастовки шахтёров, требовавших повышения заработной платы. С помощью вооружённой силы была подавлена также забастовка служащих «Юнайтед Африка компани» в Буруту. На Золотом Берегу, в этой «образцовой» английской колонии, полиция открыла огонь по мирной демонстрации ветеранов войны, направлявшихся ко дворцу губернатора для изложения своей просьбы. В результате 26 человек было убито и 227 ранено. Подобные расправы имели место за последние годы в Судане, Кении, Родезии и других колониях. Всё это свидетельствует о том, что империалисты уже не в состоянии приостановить рост народного движения.

«Нас обвиняют, — пишет Уфуэ Буаньи, — что мы сеем смуты, что мы антифранцузы, «подкупленные Москвой»... На этом основании тысячи демократов брошены в тюрьмы. Своими свирепыми репрессиями французские власти хотят запугать борцов за мир и свободу. Напрасный труд! Ни клевета, ни террор, — ничто не заставит нас отступить от нашего дела!»

Народы Африки всё более решительно заявляют американо-английским поджигателям войны, что они не желают стать «пушечным мясом» для своих вековых угне-

тателей, что они не будут участвовать в агрессивной войне империалистов против Советского Союза и стран народной демократии. «Во второй мировой войне, — заявляет Обафеми Аволово в своей книге «Путь к свободе Нигерии», — мы проливали свою кровь не ради Британской империи, а во имя защиты цивилизованного мира против фашизма, и пусть империалисты не питают более никаких иллюзий на сей счёт».

Несмотря на свирепый полицейский террор, почти во всех уголках африканского континента проходил сбор подписей под Стокгольмским Воззванием. Сейчас трудящиеся массы Африки присоединяются к требованию народов всего мира о заключении Пакта Мира между пятью великими державами. На недавно проведённом заседании исполкома Лиги национальной защиты и гражданских свобод Западной Африки во Фритауне (британская колония Сиерра Леоне) была принята резолюция о том, что «народы Африки не примут больше участия ни в одной войне, не затрагивающей их собственных интересов и имеющей целью поддержать интересы европейских финансистов и сохранить империалистическое господство над каким бы то ни было народом любой расы, религии или цвета кожи».

Гневный голос протеста народов чёрного континента слышится всё чаще в заявлениях таких прогрессивных организаций как Национальный совет Нигерии и Камеруна, Народная партия на Золотом Берегу, Ассоциация африканцев Танганьики, Суданский конгресс, Союз африканцев Кении и других.

Организованный в 1943 году Национальный совет Нигерии и Камеруна выступает представителем широкой коалиции почти 200 организаций: политических партий, профсоюзов, ассоциаций торговцев, крестьян, молодёжи и культурных объединений. Национальный совет Нигерии и Камеруна борется под лозунгом полного освобождения и независимости страны и сплачивает народы вокруг этого требования. Примкнувшая к нему Национальная федерация труда, созданная в 1949 году, устами своего секретаря Ндука Эзе недавно решительно заявила, что «рабочие составляют стеновой хребет движения за независимость Нигерии».

Активно участвуют в национально-освободительном движении прогрессивные организации: центральное крестьянское объединение «Кикую» в Кении и Союз африканских фермеров в Уганде. Обе эти крестьянские организации вынуждены работать нелегально, так как они поставлены вне закона, а многие их руководители брошены в тюрьмы.

К политической жизни пробуждаются не только широкие массы мужчин, но и женщины Африки. На съезде Африканского демократического объединения в Абиджане было немало женщин-делегаток. «Женщины Африки, — пишет Альфеус Хантон, — осознали, что необходимо действовать, бороться за свободу и мир».

Большую поддержку демократическому фронту народов Африки оказывают коммунистические партии Франции и Великобритании. Недавно опубликованная программа компартии Великобритании подчёркивает, что все отношения между народами Британской империи, основанные на политическом, экономическом и военном порабощении, должны быть прекращены и заменены отношениями, основанными на полной национальной независимости и равноправии.

Компартия Великобритании требует отрыва всех вооружённых сил с территорий колониальных и зависимых стран и передачи суверенитета правительствам, свободным избранным народами этих стран.

Всемирно-историческая победа советского народа над фашизмом и успешное строительство коммунизма в СССР вдохновляют колониальные народы, в том числе и народы Африки, в их борьбе против империалистических поработителей.

Правда о Советском Союзе, возглавляющем великий лагерь мира и демократии, приходит в самые отдалённые уголки африканского континента. «Наша народная пословица говорит, — пишет Габриэль Д'Арбусье, генеральный секретарь Африканского Демократического Объединения, — что истина подобна восходящему солнцу: когда оно появляется на горизонте, от него ладонью не закроешься... Ни-

какая ладонь не скроет от народов всего земного шара волю Советского Союза к миру. Нет такой ладони, даже если она принадлежит Трумэну или Черчиллю, которая была бы достаточно широка, чтобы скрыть от всех угнетённых на земле звёзды Кремля».

Аманке Окафор указывает в своей книге «Почему мы боремся за свободу Нигерии?» на страну социализма, как на «превосходный образец многонационального государства». «В Советском Союзе, — пишет он, — грузины остаются грузинами, а туркмены туркменами, так же, как армяне армянами и т. д., но все они объединены вокруг одного государства, могучего Советского Союза».

Жена замечательного певца и борца за мир Поля Робсона, Эсленд Робсон заявляет, что для всех угнетённых народов мира существование могучего Советского Союза — это «единственный обнадеживающий маяк на горизонте». «Народы Африки, как и Азии, — говорит Эсленд Робсон в предисловии к брошюре Альфеуса Ханта, — не хотят, чтобы их страны служили военными базами чужеземцев, объектом иностранных капиталовложений или резервуаром сырья, используемого иностранцами в других странах. Они хотят сами планировать, строить и управлять собой... Они стремятся жить в мире и дружественном сотрудничестве со всеми другими народами мира, как равные с равными».

Нарастающее национально-освободительное движение народов Африки служит ярким и наглядным подтверждением тому, что политика агрессии и расовой дискриминации терпит крах, вызывая ненависть сотен миллионов людей и их активное сопротивление.

Чем больше империалисты неистовствуют, стараясь затянуть петлю на шее африканских народов, тем сильнее поднимается волна недовольства и народного гнева на «Чёрном континенте», тем решительнее встают его народы на борьбу за свою свободу и независимость, за мир во всём мире.

**Б. ВЛАДИМИРОВ, Д. ДАВЫДОВ.**





## Американцы в Испании

Буквально за несколько дней до того, как на пленарном заседании 5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН американско-английская машина голосования проштемпелевала позорную резолюцию относительно франкистской Испании, палач Франко заявил в интервью корреспонденту итальянской газеты «Рома», что его внешняя политика заключается в «выжидании, когда река возвратится в своё обычное русло».

Испанскому «фюреру» пришлось ждать недолго. 4 ноября 1950 года Генеральная Ассамблея ООН приняла большинством американско-английского блока проект, внесённый Филиппинами и семью латиноамериканскими странами, об отмене резолюции Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1946 года, предлагавшей государствам — членам ООН отозвать из Мадрида своих послов и посланников и рекомендовавшей не допускать франкистскую Испанию в специализированные органы ООН.

О том, как «река возвращалась в своё обычное русло», то есть о том, как американский империализм с помощью Франко превратил Испанию в свою полуколонию, рассказывается в работе члена политбюро испанской компартии Висенте Урибе «Империализм янки в Испании».

На основе богатого фактического материала автор показывает процесс постепенного превращения Испании в плацдарм американской военщины.

«Ещё 5 декабря 1945 г., — пишет Урибе, — в своём докладе на пленуме Центрального Комитета, состоявшемся в Тулузе, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури следующим образом охарактеризовала политику существующего в Испании франкистского режима: «Когда побеждал германский империализм, Франко сдал ему в кабалу Испанию, а сейчас, в надежде удержаться у власти, он продаёт её новым хозяевам».

Факты, приводимые в работе В. Урибе, а также события последнего времени полностью подтверждают правильность этих слов.

**Висенте Урибе. «Империализм янки в Испании».** Перевод с испанского А. Гладковой. Редактор Л. Телешева. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

Уже с первых дней образования под эгидой США агрессивного Северо-атлантического блока был взят курс на вовлечение франкистской Испании в так называемое «содружество атлантических наций».

Однако на первых порах американским империалистам приходилось считаться с тем фактом, что Франко скомпрометировал себя перед лицом мирового общественного мнения как ярый фашист и союзник Гитлера и Муссолини. Американским империалистам приходилось считаться также и со своими младшими партнёрами по Северо-атлантическому пакту. Некоторые из них боялись агрессивных притязаний Франко: Англия — на Гибралтар, Франция — на Французскую Северную Африку.

Призывы включить Испанию в Североатлантический блок раздавались в США уже давно. Сенаторы Маккарэн, Брюстер, Маккарти, представители Пентагона Маршалл и Брэдли, губернатор штата Нью-Йорк мракобес Дьюи и другие с пеной у рта вопили о настоятельной необходимости включить Франко и его сподручных в число североатлантических ландскнехтов.

Принятая большинством американскоанглийского блока резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, отменяющая ранее установленные в отношении франкистской Испании дипломатические ограничения, окончательно развязала руки американским поджигателям войны. События в Корее, во время которых американские империалисты потерпели ряд сокрушительных поражений, вынудили их форсировать политику сколачивания наиболее реакционных сил, среди которых, наряду с немецкими реваншистами, титовской кликой и греческими монархофашистами, «почётная» роль отводится и палачу Франко.

Выступая 16 февраля 1951 года на совместном заседании сенатской комиссии по иностранным делам и сенатской комиссии по делам вооружённых сил, государственный секретарь США Ачесон торжественно заявил, что отношения США с Испанией вступают в новую фазу.

Собственно говоря, ничего «нового» в этой фазе не было, если не считать того, что американские империалисты, отбросив фиговый лист «идеологических разногласий» с Франко, повели с ним непосред-

ственные переговоры о путях и методах вовлечения Испании в орбиту агрессивных планов США.

Обе стороны развили бурную дипломатическую деятельность. В марте 1951 года происходили переговоры между Франко и новым послом США в Мадриде Гриффисом. В то же время Лекерика, испанский посол в Вашингтоне, совещался с высокопоставленными чиновниками государственного департамента и Пентагона. Если в то время европейский гаулейтер Эйзенхауэр ещё не решался посетить Франко и ограничился ведением тайных переговоров с посредником — недавно умершим португальским президентом Кармона, то теперь он официально требует включения Испании в Северо-атлантический блок в качестве равноправного члена. «Политическая неблагонадёжность» Западной Европы заставляет американских военных руководителей во всё большей мере ориентироваться на Франко и ему подобных. На этом настаивали все без исключения военные руководители США, выступавшие в сенате в связи с отставкой Макартура, — Маршалл, Брэдли, Коллинс, Ванденберг и Ведемейер.

Намечаются и конкретные пути вовлечения Испании в Северо-атлантический союз. Это, во-первых, прямое, непосредственное включение Испании в Северо-атлантический блок, за что ратуют Дьюи и Маккарти. Во-вторых, создание Средиземноморского блока в составе Испании, Турции и Греции в качестве дополнения к системе Северо-атлантического блока, о чём в июне 1951 года сенаторы Никсон, Маккарен, Брюстер и другие внесли в конгресс США соответствующую резолюцию. И, наконец, в-третьих, заключение двустороннего военного договора между США и Испанией, к которому впоследствии может присоединиться и Португалия. Именно этот последний вариант и обсуждался во время переговоров между Франко и Гриффисом.

Американские официальные лица долго и упорно отрицали наличие таких переговоров, и только в мае нынешнего года Гриффис вынужден был признать, что происходят предварительные переговоры по вопросу о «заключении договора о помощи, дружбе, торговле и судоходстве» между США и Испанией.

В первых числах июля в Мадрид прибыл начальник штаба военно-морских сил США адмирал Форрест Шерман. В результате переговоров между Шерманом и Франко было достигнуто окончательное соглашение по вопросу о предоставлении испанских военно-морских и военно-воздушных баз США в обмен на долларовую помощь, а также по вопросу о заключении испано-американского «оборонительного» пакта и, предположительно, о включении Испании в Северо-атлантический союз.

Одним из основных условий включения Испании в Северо-атлантический блок, которое выставляет или, вернее, делает вид, что выставляет, Франко, является оборудование Соединёнными Штатами Америки морских и авиационных баз Испании и вооружение её наземных и военно-воздушных сил. Политика, проводимая США в отношении Испании, показывает, что в действительности это условие ставится не Франко — американцам, а наоборот, американцами — Франко. Так, например, орган американских монополий журнал «Бизнес уик» в статье, опубликованной в июле этого года, писал, что Пентагон видит в Испании «громадный авианосец, который обеспечил бы прикрытие с воздуха армиям генерала Эйзенхауэра».

В работе Висенте Урибе приведена чрезвычайно интересная карта военного строительства в Испании с пояснительным списком всех аэропортов, аэродромов, баз для гидросамолётов и морских портов. Таким образом, наглядно, на конкретных фактах, разоблачается истинная политика США в отношении Испании, политика, рассчитанная на превращение страны в одну сплошную казарму, а испанцев — в марширующих солдат.

Милитаризация Испании проводится форсированными темпами. Если в 1949 году Испанию с разными «инспекционными» целями посетило 206 офицеров, генералов и адмиралов США, то в 1950 году число «визитов» удвоилось. Американские военные атташе, аккредитованные при американском посольстве в Мадриде, инспектировали северную границу Испании. По их приказу испанский генеральный штаб срочно принял меры по укреплению оборонительного пояса на Пиринейских перевалах.

Сразу же после принятия большинством американско-английского блока резолюции

4 ноября 1950 года, — Франко, как бы в знак признательности, издал приказ об увеличении численности корпуса офицеров запаса. По сообщению корреспондента «Де фолькскрант», переданному из Мадрида 16 ноября 1950 года, офицеры франкистской армии осваивают под наблюдением американских инструкторов реактивные истребители и радарные установки. Вышие офицеры испанской армии и флота инструктируются американским штабом оккупационных войск в Германии.

Сейчас в Испании насчитывается около ста аэродромов, модернизированных или построенных вновь под руководством американских инструкторов. Многие из этих аэродромов, как, например, мадридский аэродром Барахас и международный аэродром в Сарагоссе, специально рассчитаны для приёма и обслуживания тяжёлых американских бомбардировщиков стратегической авиации.

Огромное внимание уделяют американские империалисты усилению военно-морских баз и военно-морского флота Испании. При этом они не опривчиваются только «визитами вежливости», вроде визита эскадры адмирала Конноли летом 1949 года и эскадры вице-адмирала Баллентайна в январе 1950 года. За последние годы в Испании построено, расширено и модернизировано 8 баз морской авиации и 44 морских порта.

В то время как американская военщина берёт в свои руки контроль над вооружёнными силами Испании, американские монополии всё более открыто проникают в испанскую экономику, захватывают в ней командные высоты, опутывают своими щупальцами все отрасли испанского народного хозяйства и превращают страну в свою полуколонию и рынок сбыта залежалой продукции своих трестов и концернов. Висенте Урибе указывает, например, что вся нефтяная и сталеплавильная промышленность Испании уже находится в руках американских монополистических объединений.

В июне 1951 года французская газета «Се суар» сообщила, что президент Трумэн направил в Испанию начальника разведывательной службы военно-морского

флота вице-адмирала Джексона и начальника разведывательного управления министерства авиации генерала Кэбелла, которые должны на месте определить отношение испанского народа к политике подготовки войны.

События, разыгравшиеся в Испании за последний период, показывают, что это мероприятие американского президента было излишним, ибо отношение испанского народа к политике подготовки войны яснее ясного.

Мощная волна забастовочного движения против полицейского режима Франко и его проамериканской политики прокатилась по всей Испании и всколыхнула все слои испанского народа.

Забастовочное движение, зародившееся в крупнейшем промышленном центре Испании Барселоне, — не единичное проявление недовольства испанского народа франкистским режимом. Забастовки в Мадриде, в которых участвовало около трёхсот тысяч человек, а также в ряде других городов, показывают, что земля горит под ногами Франко. Даже французская буржуазная газета «Монд» вынуждена была признать, что «экономический кризис в Испании может постепенно переродиться в политический кризис».

Борьбу испанского народа против режима Франко и его американских хозяев возглавляет авангард испанских трудящихся — коммунистическая партия Испании. — писала Долорес Ибаррури в «Правде» от 7 июля 1951 года, — опираясь на уроки борьбы рабочего класса и народа, обратилась в своём Первомайском манифесте с призывом к единству всех демократических сил, к созданию национального демократического и республиканского фронта, как основы ещё более широкого объединения всех антифранкистских сил в борьбе за отвоевание Испании для демократии и мира».

Упорная и самоотверженная борьба испанских трудящихся за свои человеческие права, за мир неопровержимо доказывает, что ни Франко, ни его хозяевам с Уолл-стрита не удастся поработить свободолобивый испанский народ.

**М. СТУРА.**

## Империя мошенников и гангстеров

Недавно специальная комиссия сената США, занимавшаяся изучением вопроса преступности, опубликовала свой «окончательный» отчёт, в котором категорически заявила, что организованная преступность не может быть полностью устранена из американского общества. Организованная преступность представляет, по мнению комиссии, «широко распространённое социальное, экономическое и политическое зло». И вот в качестве единственной эффективной меры борьбы с этим злом комиссия предложила обязать преступников... вести «соответствующие книги по учёту доходов» в целях обложения налогами!

Почему же органы юстиции США, беспощадно преследующие коммунистов и прогрессивных деятелей, подавляющие движения сторонников мира, так беспомощны перед лицом организованной преступности?

Обратимся к недавно вышедшей в США книге профессора «социальной администрации» Охайского университета Уолтера Реклисса. «Проблема преступления» — так многообещающе называет свою «работу» Реклисс. Однако уже с первых её страниц становится ясно, что автор сознательно стремится уйти от основной проблемы — социальных условий, порождающих преступление. По мнению Реклисса, до последнего времени «чрезмерное увлечение изучением причин преступности задерживало развитие криминологии и препятствовало реалистическому изучению преступного поведения... В настоящем труде, — заявляет он, — дискуссия о весьма спорных причинах преступности сведена до минимума. Ударение сделано на том, как поведение человека становится преступным, как оно становится известным официальным органам и как действуют должностные лица при задержании и аресте».

В этом откровенном заявлении отчётливо проглядывает стремление во что бы то ни стало умолчать о социальных причинах преступности, завуалировать её политическое содержание, умолчать о том, что разбойничья деятельность больших и малых грабителей внутри страны является точным сколком с разбойничьей политики США во всемирном масштабе.

Walter C. Reckless. „The Crime Problem“. New York, 1950. (Уолтер Реклисс. «Проблема преступления». Нью-Йорк, 1950).

И всё же книга Реклисса представляет определённый интерес. Большой фактический материал, собранный в книге, отражает, помимо желания автора, колоссальный рост организованной преступности в США. Приводимые Реклиссом данные даже заведомо фальсифицированной полицейско-судебной статистики не могут скрыть масштабов организованной преступности, являющейся, как вынужден признать сам автор, господствующей формой преступности в Америке.

Организованная преступность в США имеет несколько основных форм: преступления всякого рода «деятели», занимающих различные должности в государственных и частных учреждениях и предприятиях (преступность «белых воротничков»), рэкет — способ вымогательства денег посредством шантажа, насилия и террора, и гангстеризм — вооружённый бандитизм.

Автор вынужден признать, что доказательств широкого распространения преступлений «белых воротничков» и рэкетиров нельзя найти ни в полицейских отчётах, ни в судебных протоколах. Лишь кое-что попадает в материалах Федеральной комиссии по делам торговли, где установлено, что обман покупателей начинается с изготовления негодных акушерских инструментов, бутылочек и сосок для младенцев, с подделки молока для них и кончается... гробами, сделанными с нарушением установленных законом правил. Потери населения от этих редко уловимых преступлений, отмечает автор, достигают колоссальной величины.

По данным официальной статистики средний «масштаб» краж со взломом исчисляется в 100 долларов. Сообщения о краже в 500 тысяч долларов — чрезвычайно редкое явление, а кражи имущества на один миллион долларов вообще не фигурируют. Между тем в течение года в капиталистических странах бывает немало растрат на суммы в несколько миллионов долларов. Но всё это — мелкие грешки по сравнению с преступлениями, совершаемыми концернами, корпорациями и трестами. В 1938 году «обычные», «неорганизованные» преступники получили путём краж и грабежей 130 тысяч долларов, а один только шведский «спичечный король» Крегер похитил 250 мил-

лионов долларов. «Приблизительная сумма потери вкладчиков от преступных манипуляций одного треста, занимающегося инвестициями, — пишет автор, — составила в 1929—1935 годах 580 миллионов долларов».

Рэкетеры в США преследуются только... за «уклонение от обложения подоходным налогом». Они опираются на гангстеров, имеют поддержку правительственных чиновников, прокуроров, которые нередко сами оказываются членами шайки рэкетиров. А если дело доходит до суда, редкий американец решится выступить свидетелем против этой могущественной невидимой силы, всегда готовой жестоко отомстить. Против рэкета американская карательная система практически беспомощна.

Разновидности организованной преступности неразрывно связаны между собой. Разбойники-политики, гангстеры и рэкетеры — из одной волчьей стаи, они братья по крови, по духу и, что важнее всего, по бизнесу.

В настоящее время, когда внутренняя и внешняя политика заправил Уолл-стрита окончательно зашла в тупик, американские политики и бизнесмены перешли к откровенно фашистским методам утверждения своего господства в стране. Одним из этих методов и является гангстеризм, который сам автор характеризует как вооружённую силу организованной американской преступности.

Гангстер — наиболее популярная «профессия» в Америке. Газеты уделяют гангстерам целые полосы, полные кровавых сенсаций. Радио посвящает много передач их «подвигам», кинотеатры переполнены картинами об их «блестящей» карьере. Не удивительно, что преступления становятся любимыми сюжетами детских игр, а бандитские шайки постоянно пополняются за счёт американских юношей. Люди становятся на преступный путь, чувствуя, что епособы, которыми добывают деньги преступники, принципиально ничем не отличаются от любого другого «бизнеса» в американском обществе.

Уолтер Реклисс менее всего склонен подчёркивать, что «престигированный» рэкет и организованный гангстеризм — две стороны одного и того же явления. Если рэкет является своеобразным «нелегальным» продолжением экономической эксплуатации

трудящихся, то гангстеризм — террористическое средство устрашения масс. В настоящее время гангстеров широко используют предприниматели не только против своих конкурентов, но и в борьбе с забастовочным движением рабочих, а также для охраны штрейкбрехеров.

Организация гангстеров весьма сходна с организацией отрядов фашистских гомини, и трудно сказать, где кончается уголовная бандитская организация гангстеризма и где начинаются фашистские политические организации Ку-Клукс-Клана, «Американского легиона» и т. п. Деклассифицированные элементы из гангстерских и фашистских организаций США мало чем отличаются от молодчиков Гитлера и Муссолини.

Преступные организации в США строятся по феодальному принципу, начиная от простого договора между боссом и его «оруженосцами» и кончая сложной иерархической связью объединённых в преступное сообщество групп. Отдельные группы выполняют волю своего вожака, который, в свою очередь, подчинён более могущественному главарю. Единство и сила такой организации поддерживаются властью её босса и звериным кодексом гангстерской «морали». Так подонки общества создают «свою» империю, совершенно подобную той, которую магнаты бизнеса создали в промышленности, в финансах и торговле. «В обществе, основанном на свободной конкуренции, — заключает автор, — стремление к власти наблюдается в преступном мире так же ясно, как при создании трестов и синдикатов».

Организаторы шаяк «недоступны» для уголовной полиции. Если и происходит арест членов преступной организации, то они всегда оказываются только второстепенными, незначительными соучастниками. Главари никогда не подвергаются преследованию и наказанию. Американская юстиция, защищая боссов гангстеризма и свирепо расправляясь с прогрессивными элементами, верой и правдой несёт службу «ночного сторожа» буржуазии. Ведь начав преследование гангстеров, юстиция США неизбежно должна была бы сорвать покров «законности и добропорядочности» с «большого бизнеса» своих хозяев, мечтающих об установлении разбойничьего «американского образа жизни» во всём мире.

Сила преступных организаций — в их связях с государственной политической машиной, в полном слиянии преступных элементов с политическими дельцами. Организованные преступники и политические дельцы создали в Америке нерасторжимый «священный союз». Зачастую преступные организации настолько могущественны, что они направляют деятельность политической машины. Они осуществляют контроль над полицией, судебными органами, провинциальными комиссарами, шерифами, депутатами и мэрами городов. Иногда этот контроль восходит и до федерального правительства.

В обрисовке взаимоотношений между преступным миром и правящей верхушкой автор особенно осторожен. Но советскому читателю хорошо известны факты прямой связи правящих кругов США с преступниками.

В вопросе о социально-политических причинах существования организованной преступности в среде буржуазии американские «теоретики» занимают крайне уклончивую позицию. Зато там, где речь идёт о правонарушениях неимущих, американская криминология с готовностью начинает брызгать ядовитой слюной своих био-социологических доводов. В этих случаях криминологи объясняют правонарушение не социальными условиями, не безработицей, нуждой и нищетой, а тем, что правонарушитель биологически неполноценен, тем, что он негр, негроид, иммигрант, славянин, короче говоря, — не стопроцентный америка-

нец. На основе «теоретических» предложений криминоборзописцев в современной Америке возникают драконовские законы Маккарэна-Вуда, Смита, Тафта-Хартли и многие другие.

Достопочтенный проф. Реклисс ещё в 1941 году предлагал судить людей не на основе закона, а на основе «рабочих правил... тех или иных социальных групп» (читай — правящей буржуазии. — *А. Н.*). Проф. Сатерленд в своих «Принципах криминологии» прямо пишет о том, что в США «общественное положение правонарушителя и отношение к его действиям со стороны влиятельной части общества имеют весьма существенное значение для того, чтобы решить, составляют ли эти действия преступление или нет».

Фашистские изыскания американских криминологов всецело направлены на «теоретическое» оправдание террора, осуществляемого юстицией США в отношении трудящихся. Представляя в ложном свете причины правонарушений в среде неимущих классов, они тем самым объявляют правомерной самую дикую расправу над трудящимися, расправу без закона и суда. Американские фашисты-гангстеры, фашисты-судьи и фашисты-«теоретики» верно служат своим хозяевам — законам Уолл-стрита. Гангстеры грабят и терроризируют трудящихся, судьи сажают за решётку... ограбленных, а криминологи кропят святой водичей «теорией» кровавые руки гангстеров и палачей в судейских мантиях.

**А. НИКИФОРОВ**

★

## Атомная дипломатия США

В решениях Второго Всемирного конгресса сторонников мира нашла своё выражение боязнь всего передового человечества: обуздать поджигателей новой войны, добиться безусловного запрещения атомного оружия. Под этими лозунгами всё более мощно развёртывается борьба миллионов простых людей против угрозы мировой войны, против чудовищного призрака атомной бомбы. Поэтому большой

интерес представляет работа прогрессивных французских журналистов Доминики Дезанти и Шарля Арош «Атомная бомба или атомный мир?», вышедшая в Париже.

Авторы вводят читателя за кулисы атомной дипломатии США, обнажая её скрытые пружины и цели. Книга показывает, что с момента взрыва атомной бомбы в Хиросиме и до наших дней внешняя политика американского империализма остаётся неизменной. Эта политика, опирающаяся на грубую силу и шантаж атомной монополией, служила правящей клике США важнейшим средством в её стремлении к мировому господству.

Dominique Desanti et Charles Arosh. «Bombe ou paix atomique?» Paris, 1950. (Доминика Дезанти и Шарль Арош. «Атомная бомба или атомный мир?». Париж, 1950).

Первая глава книги целиком посвящена ответу на вопрос — почему применили атомную бомбу? Читатель находит в этой главе ряд высказываний военных и политических деятелей, подчёркивающих тот факт, что бомба была сброшена в момент, когда вопрос о капитуляции Японии был уже предreshён. Подлинную подоплёку этой атомной пробы лишний раз разоблачают прикладываемые авторами документы, из которых многие в достаточной степени красноречивы.

В воспоминаниях Стимсона, бывшего военного министра США, содержится откровенное признание того, что главари американского империализма были напуганы Потсдамской конференцией, что распад армий оси показался им слишком стремительным, но ещё более опасным им представлялся рост международного влияния СССР. Всему этому надо было что-то противопоставить...

Стимсон раскрывает, какую роль отводил американско-английский блок атомной бомбе. Этот «деятель», оценивший атомную бомбу как решающий «идеологический аргумент», выразил надежду, что она сможет «заставить советский народ отказаться от социализма и восстановить капитализм».

Не менее выразительным является и заявление реакционного французского журналиста Жеро-Жув, который в своё время писал, что «...атомная бомба с самого начала была направлена против Советского Союза; её подлинное назначение было не в разгроме Японии, а в у страшении Красной Армии и Советского Союза».

Подобные свидетельства позволяют авторам сделать вывод, что атомная бомба, независимо от того, где и когда её применяли, всегда косвенно была направлена против СССР. С полным правом они заключают, что на другой же день после Потсдамской конференции стало ясно, что «атомную энергию используют в политических целях».

Нелишне будет напомнить цитируемое в книге послание Трумэна конгрессу в октябре 1945 года. В этом документе президент весьма категорически заявил, что «атомное превосходство Америки может быть реализовано в полной мере только при условии, если Америка будет постоянно поддерживать своё пре-

восходство на земле, на море и в воздухе». Тем самым Трумэн сразу и весьма недвусмысленно определил отношение американского правительства к атомной энергии как к фактору военного и только военного значения. Эра атомной дипломатии, пишут авторы, открылась этой программой. Её основные принципы правящие круги США подтверждали неоднократно. Она сформулирована и в демагогическом заявлении Трумэна накануне подписания Атлантического пакта: «Я готов использовать атомную бомбу в интересах всеобщего мира». Приводя это высказывание, Дезанти и Арош иронически замечают: «Атомная диктатура пыталась внушить, что страх перед атомной бомбой поможет под руководством Трумэна достигнуть прочного мира...»

Производство атомной энергии США старались засекретить даже от своих союзников. Известно, что Америка, прежде чем выступить с обсуждением вопроса об атомной бомбе на международной арене, договорилась с Англией и Канадой о выработке совместной декларации, которая и была опубликована в ноябре 1945 года. Однако перед совещанием по обсуждению этой декларации Трумэн предупредил собравшихся «союзников», что «вопросы технологии производства атомной бомбы затронуты не будут». Естественно, что ни у одного здравомыслящего человека ничего, кроме смеха, не вызовет лицемерная резолюция сената и палаты представителей США, направленная Трумэном Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Швернику, в которой говорится, что «Соединённые Штаты предложили (?) поделиться всеми благами, обеспечиваемыми атомной энергией, потребовав в обмен только гарантию против зла, которое она может причинить».

Позиция атомного диктата и атомной тайны, на которой неизменно стояли заповеди Уолл-стрита, привела к тому, что работа комиссии по атомной энергии при ООН была сорвана. Американский план международного контроля над производством атомной энергии, так называемый план Лидженталя-Баруха, представленный на обсуждение этой комиссии, по определению А. Я. Вышинского, вовсе не имел в виду прекращение производства атомного оружия. Очень точно охарактеризовал

план Баруха известный английский физик профессор Бернал. «Соединённые Штаты и Англия, — писал он, — цепляются за этот план лишь как за средство помешать введению каких бы то ни было ограничений в производстве бомб».

Весь мир знает, что только Советский Союз неоднократно предлагал в ООН действительно реальные меры для устранения угрозы атомного оружия и учреждения международного контроля над атомной энергией. Но американско-английский блок, ничего не противопоставляя конкретным предложениям СССР, срывал одну за другой все попытки советских представителей добиться соглашения по этому вопросу. Собранные в книге факты и документы ясно говорят о том, что представители США и Англии искусственно создавали в ООН атмосферу недоверия и вражды к Советскому Союзу. Вследствие этого, констатируют авторы, «атомная комиссия ООН не могла добиться ни запрещения атомного оружия, ни запрещения создавать запасы бомб, ни установления эффективного международного контроля».

Специальная глава книги посвящена атомному шпионажу. В ней показано, что в ряду тех средств, к которым прибегали правящие круги США для раздувания атомного психоза, большое место занимали провокационные процессы по поводу мнимой кражи «атомного секрета». «США, — читаем мы, — прозили миру своим «секретом», дрожали за свой «секрет», возбуждали так называемые дела о шпионаже, кричали о краже этого «секрета» каждый раз, когда возникали затруднения внутреннего или внешнего порядка, ...когда атомная политика терпела поражения, а мировое общественное мнение склонялось в пользу Советского Союза...» Так были состряпаны процессы ряда американских деятелей, близких в своё время к Рузвельту. Подобными примитивными методами американская пропаганда пыталась ввести в заблуждение мировое общественное мнение.

После того как государственный департамент США объявил, что «русские владеют секретом», срочно понадобились новые методы. Сенатор Эдвин Джонсон объявил по радио о существовании в США бомбы, в шесть раз более мощной, и о том, что готовится бомба в тысячу раз

более мощная, чем атомная. Он уточнил: «Это заявление предназначено для того, чтобы успокоить американцев». Комментируя это заявление Джонсона, Франсуа Мофриак, французский писатель и журналист, которого уж никак нельзя упрекнуть в прогрессивности, писал: «Едва ли матери в Америке и Европе скажут сегодня вечером, укрывая своих младенцев в кроватках: «Ты можешь спать спокойно, малютка, появилась новая бомба!»

Казалось бы, официальное сообщение ТАСС о производстве атомной энергии в Советском Союзе должно было положить конец атомному шантажу со стороны США. Однако начальник американского генерального штаба генерал Брэдли откровенно заявил: «Никаких изменений в наших основных военных планах».

И действительно, очень скоро новая, ещё более сильная волна атомной пропаганды Уолл-стрита захлестнула мир. Пресса и радиопередачи США были наводнены сообщениями о «водородной» бомбе, о «супербомбе» и тому подобными сенсациями, подопревавшими военную истерию в стране.

Разбойничью политику американского империализма, политику бешеной гонки вооружений, авторы поясняют следующим примером: «Бюджет 1951 года, — пишут они, — показывает направленность всей американской политики на интенсивную милитаризацию и перевооружение». «Достаточно одной цифры, — говорится далее, — чтобы проиллюстрировать программу Трумэна: за 15 дней американское правительство расходует на вооружение больше, нежели оно расходует за целый год на народное просвещение и здравоохранение».

В свете этих цифр особенно смейно выглядит пресловутая резолюция сената США, в которой говорится: «...мы перевооружаемся с неохотой и предпочли бы посвятить нашу энергию мирным целям»...

Через всю книгу проходят яркие сопоставления. Прожжённым дельцам, строящим свою политическую карьеру на гибели миллионов, «людям бомбы», как их называют авторы, противопоставят люди мира, люди, отдающие всю свою энергию, ум, волю для защиты интересов всего человечества, для его счастья.

Особенно отчётливо выступает сопостав-



ление лагеря демократии и социализма с лагерем империализма в главе «Атомная энергия побеждает пустыню». Показав, что заатлантический мир даже не ставит перед собой задачу использования атомной энергии для мирного хозяйственного строительства, что величайшее достижение человеческой мысли используется империалистическим лагерем только в военных целях, авторы раскрывают перед читателем иной мир — мир социализма, где внутриатомная энергия служит для победы над природой, для создания материально-технической базы коммунизма, для дальнейшего прогресса человечества.

Среди других актуальных проблем, поднятых на страницах книги, следует отметить оценку позиции Франции в атомном вопросе. Осуждая политику французского правительства, как антинародную, противоречащую национальным интересам страны, Дезанти и Арош показывают её прямую связь с общим политическим курсом маршаллизованной Франции, утратившей свой суверенитет. Изобличая постыдное поведение Шовеля и Пароди — представителей Франции в ООН, — высмеивая их якобы «независимую» позицию, авторы пишут: «Основная проблема, которую господин Шовель пытался ловко скрыть — это проблема запрещения атомного оружия, оружия агрессии и массового уничтожения. Поведение французской делегации напоминало тех византийских докторов теологии, которые рассуждали о половой принадлежности ангелов в то время, когда турки осаждали Византию».

Заключительная глава книги рассказывает о простых людях мира, о тех людях, над которыми поджигатели новой войны занесли своё страшное, смертоносное оружие. Яркие и убедительные цифры говорят читателю о новом подъёме движения за мир во всём мире.

От имени сотен миллионов людей авторы обращаются к поджигателям войны с грозным предупреждением: «Все мужчины и все женщины мира отказываются погрузиться в ночь!» Сотни миллионов подписей, собранных под Обращением о заключении Пакта Мира между пятью великими державами, являются ярким подтверждением этих слов.

Содержательная, богато документированная книга Дезанти и Ароша убедительно разоблачает подлинную политику правящих кругов США и доказывает, что эта политика ничего общего не имеет с той фальшивой личиной мнимого миролюбия, которую они пытаются на себя натянуть. Книга «Атомная бомба или атомный мир?» поможет людям доброй воли понять, что «гитлеровскую опасность в наши дни заменил атомный шантаж США». Никакими ханжескими воплями, никакими лицемерными резолюциями, вроде резолюции сената, американским поджигателям войны не удастся обмануть мировое общественное мнение и скрыть своё подлинное лицо.

Д. МИЛЮТИНА, Л. ЛУНГИНА.

★

## Покорение энергии рек

Строительство величественных сооружений коммунизма — грандиозных гидроэнергетических узлов и каналов — близкое, кровное дело всех советских людей. К великим стройкам на Волге, Днепре, Дону и Аму-Дарье прикованы взоры миллионов. В этих стройках, идея которых принадлежит гению Сталина, воплощена неиссякаемая мощь нашего народа-творца, его богатырский революционный размах, его исполинский созидательный талант.

С особенным интересом и вниманием со-

В. Д. Галактионов. «Жизнь рек». Редактор Н. Веригин. Госэнергоиздат, 1951.

ветские читатели встречают сейчас книги, помогающие понять, осмыслить, изучить всё, что связано с проблемой покорения могучей силы водных потоков, использованием её на благо человека. Несомненно, и работа В. Д. Галактионова «Жизнь рек» найдёт широкий круг читателей.

Реки играют огромную роль в жизни земли. По ним, точно по кровеносным сосудам, разносится живительная влага, они производят колоссальную работу, изменяя форму материков и морей. Реки разрушают горы, дробят камень, переносят на большие расстояния огромное количество из-

мельчённой породы. Например, из однодневного отложения реки Ганг может образоваться отмель длиной в километр, шириной в пятьдесят и высотой в одиннадцать метров. Китайская река Хуанхэ выносит в Жёлтое море вдвое больше ила, чем Ганг. Реки порой образуют огромные пространства суши. Рейн, например, отвоёвал у моря Голландию, Нил — весь Нижний Египет, наши могучие реки Обь, Енисей и Лена своими отложениями в Ледовитом океане образовали плоскую северную часть Сибири.

Титаническая работа рек тысячелетиями затрачивалась преимущественно на преобразование земной коры, причём значительная часть этой работы служила не созиданию, а разрушению. Люди издавна задумывались над проблемой обуздания рек, сооружали плотины, создавали оросительные системы. Но всё, проделанное за многие века, было лишь «предисторией» овладения человеком силой водных потоков.

«Условия жизни, окружающие людей и до сих пор над ними господствовавшие, теперь подпадают под власть и контроль людей, которые впервые становятся действительными и сознательными повелителями природы, потому что они становятся господами своей обобществленной жизни»<sup>1</sup>, — писал Ф. Энгельс, характеризуя социалистическое общество. Это предвидение Энгельса стало в нашей стране реальностью.

Советский Союз обладает величайшими в мире речными бассейнами и самой обширной системой рек. Мощность только лишь 1500 больших рек нашей страны исчисляется в 300 миллионов киловатт, что соответствует 2700 миллиардам киловатт-часов ежегодно воспроизводимой энергии. А потенциальная мощность гидроэнергоресурсов Соединённых Штатов составляет немногим более 80 миллионов, Франции — около 9 миллионов, Германии — 3,7 миллиона киловатт.

Дореволюционная Россия почти не использовала свои огромные водные богатства. В 1913 году в стране было всего 78 мелких гидроэлектростанций с общей мощностью в 8392 киловатта. Количество орошаемых земель в том же году составляло немногим более 4 миллионов гектаров.

<sup>1</sup> Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг». Госполитиздат, 1950, стр. 267.

Только после Великого Октября в нашей стране началось победоносное покорение энергии рек. От плана ГОЭЛРО до великих строек коммунизма — таков замечательный путь, пройденный за короткий исторический срок советским гидроэнергостроительством, поставившим реки на службу социализму. Достаточно привести несколько цифр, чтобы оценить тот революционный скачок, который произошёл в области использования гидроэнергоресурсов нашей Родины.

Мощность самой большой гидроэлектрической станции дореволюционной России — Гиндукушской — определялась в 1500 киловатт. Волховская ГЭС, сланная в эксплуатацию в 1926 году, имела мощность в 56 тысяч киловатт, а Днепровская ГЭС — самая крупная станция в Европе, вступившая в строй в 1932 году, — 560 тысяч киловатт. Мощность же сооружаемой Куйбышевской гидроэлектростанции запроектирована в 2 миллиона киловатт!

Автор книги справедливо подчёркивает, что характерной особенностью гидротехнического строительства в СССР является комплексность решения народнохозяйственных проблем — одновременное использование реки для целей энергетики, орошения, водоснабжения, транспорта. На примере Куйбышевского и Сталинградского гидроэнергетических узлов автор подтверждает эту мысль. Он находит яркие сравнения, показывающие огромный экономический эффект этих великих строек. В одном лишь Волжском бассейне наша страна будет ежегодно получать гидроэнергии больше, чем Англия и Канада, вместе взятые. Чтобы получить такое же количество энергии на тепловых станциях, необходимо ежегодно сжигать 25 миллионов тонн высокосортного угля и 70 миллионов тонн горючих сланцев, торфа и т. д. Чтобы перевезти это топливо, нужно не меньше 100 тысяч поездов. Если учесть, что до войны Донбасс давал в год 76 миллионов тонн угля, а Кузбасс — 17 миллионов тонн, то станет ясным, что сооружение каскада гидроэлектростанций по схеме Большой Волги равносильно открытию и освоению нового мощного угольного бассейна.

Говоря об успехах Советского Союза в области гидроэнергетики, орошения и создания новых водно-транспортных путей, автор не ограничивается рассказом о том,

что сделано в прошлом и что делается сейчас в нашей стране для покорения неисчислимых водных ресурсов. Он бросает взгляд и в будущее. В частности, В. Галактионов подчёркивает, что перед советскими учёными и инженерами стоит задача использования колоссальных запасов энергии, таящихся в водах могучих сибирских рек — Оби, Енисея и других.

В то же время на убедительных примерах В. Галактионов показывает, как в капиталистических странах система хищничества и стяжательства тормозит технический прогресс, мешает разумной эксплуатации водных ресурсов. Даже такой источник дешёвой энергии, как водопады, и тот пропадает зря. Величайший на земле водопад Виктория на реке Замбези, развивающий мощность около 10 миллионов лошадиных сил, остаётся неиспользованным. Ниагарский водопад, таящий огромные запасы механической энергии, используется в незначительной степени. Осуществлению гидроэнергетического строительства на Ниагаре препятствуют крупные теплоэлектрические компании, которые видят в гидроэнергетике своего конкурента. Мощный водопад является лишь средством для привлечения туристов и для устройства оттапливающих зрелищ, столь присущих «американскому образу жизни». Некая Анна Теймор, например, движимая стремлением молниеносно разбогатеть, на глазах зрителей, жаждущих острых ощущений, бросилась с пятидесятиметровой высоты Ниагарского водопада в дубовую бочку. Любительница сенсации была извлечена из бочки с переломанными руками и ногами.

Большое место в книге отведено популярному изложению технических вопросов. Здесь мы находим характеристику различных видов подземных вод, речного стока, пояснение физических законов, управляющих работой водных потоков и т. д. Поэтические описания волюжских просторов соседствуют со схемой разбивки гидротехнических створов, яркий рассказ о наступлении на засуху сменяется математической формулой горизонтального давления воды на плотину. Но книга от этого отнюдь не страдает, не теряет своей целостности и единства. Проблемы техники настолько тесно связаны с содержанием книги и в большинстве случаев столь доходчиво изло-

жены, что никакого разрыва между публицистической и чисто научной частью не ощущается. Больше того, нам кажется, что появление книг, в которых публицистика органически сливается с техникой, — явление закономерное и знаменательное для нашей научно-популярной литературы, призванной раскрыть массовому читателю сущность больших технических и научных проблем нашего времени.

Книга написана хорошим, образным языком, в ней ощущается патриотическая взволнованность автора.

«Мы хотим, — пишет он, — чтобы вся наша страна стала цветущей нивой. Уже занялась над Советской землёй заря новой весны, новой жизни, о которой мечтали ещё сто лет назад творцы научного социализма. Мы заняты мирным трудом. Мы не опоясываем землю цепью военных баз, не вовлекаем в кабалу народы. Мы отвоевываем у засухи опалённую суховеями землю и опоясываем её гигантскими зелёными стенами лесных полос».

Книга В. Д. Галактионова содержит большой познавательный материал, помогающий глубже понять величие и значимость гидротехнического строительства, осуществляемого в Советской стране.

Автору следовало бы больше места уделить каждой из великих строек коммунизма, соединив с их описаниями и разъяснением ряда технических вопросов. В главе об орошении недостаточно подробно показаны новые методы орошения, применяемые в нашей стране. Более обстоятельной должна быть глава «Климат и реки». В ней нужно показать значение воды, как фактора, утепляющего или охлаждающего (в зависимости от географической среды), осветить влияние водохранилищ на микроклимат, раскрыть значение водооборота и его роль в экономической жизни страны.

«Жизнь рек» издана хорошо, снабжена многочисленными фотографиями, рисунками и схемами. В введении автор пишет, что, если его работа «пробудит у читателей интерес к нашим рекам и к более глубокому познанию науки об управлении реками — назначение её будет оправдано».

Книга В. Галактионсва несомненно достигает своей цели.

*Инженер М. ДАВЫДОВ.*

## По дорогам медицинской науки

Книга Л. С. Фридланда не может не привлечь внимания широких кругов наших читателей. В ней рассказывается об успехах и достижениях в ряде областей медицины, но главная тема её — это искания учёных-медиков, борцов за здоровье и жизнь людей. Автор стремится дать читателю прежде всего представление о тех путях, на которых разрешались в течение веков и разрешаются в наше время важнейшие проблемы медицинской науки, рассказать о сложных и трудных поисках действенных методов лечения и предупреждения различных болезней. Прекрасная и благодарная тема для писателя и для учёного-популяризатора, которых вдохновляют как славное прошлое нашей медицинской науки, представленной именами Самойловича, Пирогова, Боткина, Мечникова, Гамалея и многих других, так и самоотверженный труд советских учёных-медиков!

Содержание книги складывается из одиннадцати глав, являющихся по существу отдельными очерками, посвящёнными различным вопросам медицины: переливанию крови, борьбе со старостью, оживлению организма и т. д.

«В нашей книге, — пишет автор, — рассказывается о том, какими новыми способами восстанавливаются если не все, то многие нарушения физиологических свойств организма; рассказывается о том, кто и как в наше время сумел открыть эти новые способы. Эти открытия не являются результатом случайности, непредвиденности, неожиданности. Нет. Они подготовлены всем ходом развития науки, ходом научных событий».

Автор делает ряд экскурсов в историю науки и показывает, что истинный расцвет медицины и здравоохранения возможен только в стране победившего социализма. Непрерывное улучшение материально-бытовых условий жизни, пишет автор, и повышение культурного уровня трудящихся составляет в нашей стране важнейшую, главную часть борьбы с болезнями.

В заключительной части книги автор развивает это правильное положение и сравнивает состояние здравоохранения и

медицинской науки в Советском Союзе и в странах капитала, особенно в США, где десятки миллионов трудящихся по существу лишены медицинской помощи, где наука находится на службе у кучки капиталистов, заинтересованных в подготовке новых агрессивных войн. «Могут ли, — спрашивает автор, — в капиталистических странах открытия учёных-медиков способствовать осуществлению благородной, гуманнейшей цели — продлению человеческой жизни? Нет, никоим образом».

Книга проникнута здоровым оптимизмом, верой в могущество научного знания. Это одна из характерных черт духовной культуры советского народа. Автор правильно указывает на огромное значение психики в выздоровлении человека, на то, что врачи называют «волей к выздоровлению». В главе «Побеждённая судьба» автор напоминает читателю о лётчике Мересьеве из «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого и об офицере Воропаеве из романа П. Павленко «Счастье» и спрашивает, какой лечебный препарат вернул к жизни этих людей. «Этот препарат — душевная сила советского человека». Так на живых и близких читателю примерах иллюстрируется научный тезис об огромном значении коры головного мозга, о влиянии психики на физиологические процессы.

Читатель знакомится с блестящей плеядой отечественных учёных, преимущественно наших современников, с их вкладом в науку. Именно нашей науке принадлежит бесспорное первенство в изучении нервной системы, в области переливания крови, хирургии сердца, восстановления зрения и во многих других областях медицины. Новаторская мысль советских медиков, опирающихся на выдающиеся труды своих предшественников, совершенно по-новому осветила проблему старости и долголетия, оживления организма. Победа мичуринской биологии позволила нашим учёным ответить на важнейшие вопросы, касающиеся изменения свойств болезнетворных микроорганизмов и взаимодействия одних микробов с другими (антагонизм микробов).

Автор в общем хорошо и интересно освещает эти темы. В частности, содержательна глава «Перед победой», где речь идёт об изучении злокачественных новообразований, о лечении и профилактике рака.

Трудами советских исследователей в последние годы уже достигнуты такие успехи, которые позволяют говорить о недалёкой победе над раковой болезнью — этим бичом человечества.

Хорошая в целом книга Л. С. Фридланда не лишена всё же недостатков. Рассказывая о вирусной теории рака, автор ни слова не сказал об основоположнике этой теории — Н. Ф. Гамалея. Почётный академик Н. Ф. Гамалея ещё в 1899 году выдвинул микробную теорию происхождения рака и в книге «Основы общей бактериологии» писал о возможности инфекционной природы рака, дав анализ сходства и различия между инфекционным и раковым процессами. Что касается интереснейших работ Л. А. Зильбера, успешно развивающего в наши дни мысли Гамалея, то автор рецензируемой книги не сказал о самом главном — о том, что Л. А. Зильбер нашёл в злокачественных клетках специфические вещества — антигены и впервые в науке наметил пути предупреждения рака путём иммунизации. Таким образом намечается возможность вести борьбу с этой болезнью такими же методами, какими мы боремся с другими заразными болезнями, то есть путём прививок.

Вообще микробиологическая тематика, видимо, наименее знакома автору. Возможно поэтому — богатейший материал, характеризующий успехи нашей науки в борьбе с заразными болезнями, мало использован в рецензируемой книге. А здесь было о чём рассказать читателю! Ведь именно в борьбе с инфекциями в Советской стране имеются особенно значительные достижения. Впервые в истории у нас в государственном масштабе поставлен важнейший вопрос о ликвидации заразных заболеваний.

Каким ярким контрастом рядом с этим выглядит подготовляемая агрессивными правителями США бактериологическая война против свободлюбивых народов!

Глава «Перед большими событиями» посвящена известным работам Г. М. Бошняна о природе микроорганизмов. Оригинальные теории и гипотезы советского учёного заслуживают большого внимания, им посвящён ряд статей, они вошли в учебники. Однако Л. С. Фридланд сначала излагает концепции Бошняна как нечто уже совсем

доказанное (превращение антибиотиков, например пенициллина, в микроорганизмы и обратно; получение кристаллов из вирусов и микробов и т. п.) и говорит, что «все сомнения и возражения отпали» (? — Ю. М.), а в заключение вдруг пишет: «Конечно, работы Бошняна ещё требуют длительной и очень серьёзной проверки. Возможно, что их значение велико. Но возможно, что понадобятся крупные поправки и исправления, что в них окажутся серьёзные ошибки». Подобное неясное и противоречивое освещение важных вопросов, волнующих современную науку, недопустимо, особенно в научно-популярной книге.

Недостаточно глубокое знакомство автора с вопросами медицинской микробиологии проявляется и в некоторых других местах книги. Так, в главе «Микробы против микробов» мы читаем: «А до пенициллина и сульфамидов как обстояло дело? Боролись ли тогда с микробами, с теми инфекционными болезнями, которые микробы вызывали? Боролись. Боролись вакцинами и сыворотками». Не говоря о плохом языке, здесь налицо одностороннее и потому неправильное освещение вопроса. И «до пенициллина и сульфамидов» с заразными болезнями боролось, как борются и теперь, многими способами и прежде всего при помощи проведения санитарно-гигиенических мероприятий, то есть путём применения профилактики. Этот путь был и остаётся главным.

То, что автор не совсем складно называет «целью введения вакцины», охарактеризовано неточно и неполно. Неподготовленный читатель так и не поймёт, в чём смысл вакцинации — мероприятия, давно и с успехом применяемого против оспы, бешенства, туберкулёза и ряда других заразных болезней человека и животных. Читателю книги Л. С. Фридланда остаётся непонятным механизм действия лечебных сывороток: ведь явно недостаточно сказать, что в крови, в сыворотке имеются «вещества, обладающие способностью бороться с микробами или с их ядами — токсинами». Не сумел автор объяснить, в чём заключается действие пенициллина и чем отличается оно от действия вакцин и сывороток.

Ошибочно утверждение: «пенициллин открыл нам, что в царстве микробов идёт борьба». Это было установлено задолго до открытия пенициллина работами Манас-

сеина, Полотебнова и особенно Мечникова и его учеников. Туберкулёз автор называет «непобедимым до сих пор врагом человека». Это заявление, внушающее читателю пессимистические мысли, разумеется, совершенно неверно. Не говоря уже об установленной эффективности санитарно-гигиенических и диететических методов, являющихся основой всякого лечения туберкулёзных заболеваний, серьёзные достижения имеются в хирургическом лечении туберкулёза, в применении специальных препаратов (стрептомицин, паск и др.).

В книге имеются и некоторые фактические ошибки. Возбудитель возвратного тифа был открыт в 1868 году и описан в 1873 году, а не в 1879 году, как пишет автор. Антимикробное вещество лизоцим описано не «недавно», как полагает автор, а в 1909 году гомским учёным П. Н. Лашенковым и в 1928 году Флеммингом.

Книга читается с неослабевающим интересом, хотя общего, объединяющего стержня в ней нет. Она написана без единого плана, и отдельные главы её, выходявшие

ранее в виде самостоятельных очерков и брошюр, можно как угодно переставлять. В целях занимательности изложения автор разбивает каждую главу на многие подглавы, давая им интригующие названия. Так, глава «Микробы против микробов» имеет такие подглавы: «Экскурсия в историю», «Ещё один мир», «Удивительные превращения», «Зелёное пятно», «Рождение порошка», «Новое оружие», «Дом с миллиардами жильцов» и т. п.

Основной недостаток изложения — многословность и отсюда известная растянутость. Встречаются в книге неудачные выражения: «Организм человека представляет собой очень сложное физиологическое явление», «пропагандист активного вмешательства в травму центральной нервной системы» и т. п.

Несмотря на все эти недостатки, книга Л. С. Фридланда в целом — полезная научно-популярная работа. Она обогащает читателей знаниями, вызывает гордость за нашу замечательную медицинскую науку, верно служащую советскому народу.

**Ю. МИЛЕНУШКИН.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Август — сентябрь 1951 года)

★

## ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Ф. Энгельс.** Развитие социализма от утопии к науке. 84 стр. Цена 1 р.

**В. И. Ленин.** Империализм, как высшая стадия капитализма. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. И. Ленин.** О продовольственном налоге. 40 стр. Цена 45 к.

**В. И. Ленин.** Развитие капитализма в России. 584 стр. Цена 9 р. 50 к.

**В. И. Ленин.** Социализм и война. 52 стр. Цена 60 к.

**В. И. Ленин.** Статьи 1923 г. 48 стр. Цена 50 к.

**И. Сталин.** Марксизм и национальный вопрос. 64 стр. Цена 1 р.

**И. Сталин.** Международный характер Октябрьской революции. 16 стр. Цена 20 к.

**И. Сталин.** Росийская социал-демократическая партия и её ближайшие задачи. 64 стр. Цена 1 р.

**А. Аракелян.** Использование основных средств промышленности СССР. 160 стр. Цена 2 р.

**А. П. Гагарин.** Американская буржуазная философия и социология на службе империализма. 114 стр. Цена 1 р. 40 к.

**М. Гильгулин.** Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б). 68 стр. Цена 1 р.

**Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.** Москва, 16—18 октября 1950 года. 172 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Е. Денисов, Я. Бучилов.** Советская Армия — надёжный оплот мира и безопасности нашей родины. 112 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. Иванов, Ю. Тодорский.** Ложь и лицемерие американской буржуазной демократии. 112 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Первая сессия Всемирного совета мира.** Берлин, 21—26 февраля 1951 года. 224 стр. Цена 5 р. 30 к.

**М. Рыбченкова и Д. Свиридов.** В борьбе за снижение себестоимости промышленной продукции. 120 стр. Цена 1 р. 30 к.

**А. Сучков.** Роль электрификации в колхозах. 56 стр. Цена 55 к.

**Ц. Степанян.** О постепенном переходе от социализма к коммунизму. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

**А. Т. Фёдорова.** Роль социалистического труда в коммунистическом воспитании трудящихся масс. 208 стр. Цена 4 р. 25 к.

**Н. Г. Чернышевский.** Избранные философские произведения. Том III. 916 стр. Цена 15 р.

**И. Д. Ширинский.** Народнохозяйственное планирование в СССР. 100 стр. Цена 1 р. 25 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Н. Байтемиров.** В одном совхозе. Повесть. Авторизованный перевод с киргизского К. Горбунова. 224 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Виктор Бершадский.** Вымпел мира. Стихи. 106 стр. Цена 2 р.

**Всеволод Иванов.** Пархоменко. Роман. 624 стр. Цена 13 р. 50 к.

**Иван Кратт.** Избранное. 732 стр. Цена 16 р.

**Алексей Кожевников.** Живая вода. Роман. 516 стр. Цена 10 р.

**Михаил Луконин.** Дорога к миру. Поэма. 124 стр. Цена 3 р.

**Мирмухсин.** Ферганская весна. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с узбекского. 162 стр. Цена 3 р.

**Иван Новиков.** Пушкин и «Слово о полку Игореве». 128 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Николай Островский.** Как закалялась сталь. Рождённые бурей. 580 стр. Цена 12 р.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**Ф. В. Гладков.** Сочинения в пяти томах. Том четвёртый. Повесть о детстве. 435 стр. Цена 12 р.

**М. Горький.** Собрание сочинений в тридцати томах. Том II. Рассказы. 1912—1917. 423 стр. Цена 12 р.

**С. Диковский.** Рассказы. 300 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Якуб Колас.** Собрание сочинений в четырёх томах. Перевод с белорусского под редакцией П. Бровки, М. Исаковского, Е. Мозолькова. Том первый. Стихотворения. Рассказы в стихах. Хата рыбака (поэма). 680 стр. Цена 12 р. Том второй. Новая земля (поэма). Симон-музыкант (поэма). 451 стр. Цена 12 р.

**Альберт Мальц.** Избранное. Перевод с английского. 568 стр. Цена 10 р. 75 к.

**Георгий Марков.** Строговы. Роман. 600 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Лесь Мартович.** Избранные произведения. Перевод с украинского. 484 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Сергей Михалков.** Басни. 64 стр. Цена 50 к.

**Нарты. Кабардинский эпос.** Перевод Веры Звягинцевой, Семёна Липкина, Сергея Обрадовича, Марии Петровых и Веры Потаповой. 503 стр. Цена 15 р.

**Мартин Андерсен Нексе.** Собрание сочинений. Том I. Пелле-завоеватель. Роман. Перевод с датского А. В. Ганзен и С. Г. Займовского. 560 стр. Цена 11 р.

**С. П. Подъячев.** Повести и рассказы. 656 стр. Цена 12 р. 50 к.

**Константин Симонов.** В эти годы. Публицистика 1941—1950. 420 стр. Цена 8 р. 50 к.

**Марк Твен.** Рассказы и памфлеты. 148 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Л. Н. Толстой.** Собрание сочинений в четырнадцати томах. Том третий. Повести и рассказы (1857—1863). 444 стр. Цена 10 р. Том четвёртый. Война и мир (Том первый). 364 стр. Цена 10 р.

**А. И. Эртель.** Горденины, их дворня, приверженцы и враги. Роман в двух частях. (Библиотека русского романа). 624 стр. Цена 9 р. 50 к.

### ДЕТГИЗ

**А. Бармин.** Руда. Исторический роман. 540 стр. Цена 12 р. 85 к.

**Л. Дроздов и М. Тетерина.** Юные натуралисты, готовьтесь к всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 72 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Жёлтый аист и гора солнца.** Китайские народные сказки. Перевод с китайского Ф. Ярилина и Л. Позднеевой. 12 стр. Цена 2 р.

**Китайские народные сказки.** Под редакцией Эми Сяо. 32 стр. Цена 60 к.

**Н. Леонов.** Впервые в Алай. 192 стр. Цена 6 р.

**П. Павленко.** Молодая Германия. Книга очерков. 96 стр. Цена 3 р. 30 к.

**Л. Пантелеев.** На ялике. 96 стр. Цена 2 р. 70 к.

**О. Рогова и А. Чернышева.** Юным рукодельницам. 120 стр. Цена 6 р. 15 к.

**Своему народу.** Стихи. Перевод с бурят-монгольского. 128 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Тараторки.** Русские народные песенки, сказки, потешки, загадки. Составила А. Кудряшова. 32 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Н. Тихонов.** Рассказы о Пакистане. 96 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Э. Шим.** Лето на Корбе. Рассказы. 48 стр. Цена 1 р. 35 к.

**А. Якубенко.** Кровь и кровообращение. 120 стр. Цена 3 р. 45 к.

### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**М. Алексеев.** Солдаты. Роман. 336 стр. Цена 8 р. 25 к.

**Л. Лещинский.** Банкротство военной идеологии германских империалистов. 344 стр. Цена 12 р.

**А. Листовский.** Конармия. 372 стр. Цена 12 р. 25 к.

**Е. Штейнберг.** История британской агрессии на Среднем Востоке. 212 стр. Цена 7 р. 70 к.

### ГЕОГРАФГИЗ

**Н. В. Колобков, В. А. Мезенцев.** Грозные явления атмосферы. 149 стр. Цена 2 р. 70 к.

**В. А. Обручев.** Плутония. 309 стр. Цена 7 р.

**А. В. Соколов, Е. Г. Кушнарев.** Три кругосветных плавания М. П. Лазарева. 205 стр. Цена 4 р. 90 к.

**Б. В. Юсов, В. И. Роборовский.** 38 стр. Цена 70 к.

### ГОСКИНОИЗДАТ

**Н. Барская.** Заслуженный артист РСФСР Евгений Валерианович Самойлов. (Мастера советского кино). 27 стр. Цена 1 р. 80 к.

**В. Ждан.** Народный артист СССР Владимир Ростиславович Гардин. (Мастера советского кино). 40 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Б. Т. Иванов.** Стереоскопическое кино. (Популярная кинотехническая библиотека). 56 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Избранные сценарии советского кино.** Том IV. 666 стр. Цена 25 р.

**И. Маневич.** Мусоргский. О фильме и его создателях. (Библиотека советского кинозрителя). 38 стр. Цена 1 р. 10 к.

**А. Марьямов.** Всеволод Пудовкин. 238 стр. Цена 16 р. 50 к.

**А. Разумовский.** Александр Попов. (Библиотека кинодраматургии). 88 стр. Цена 2 р. 30 к.

### ГОСТЕХИЗДАТ

**Г. Н. Абрамович.** Прикладная газовая динамика. 512 стр. Цена 14 р. 85 к.

**М. А. Ковальский.** Избранные работы по астрономии (Библиотека русской науки). 208 стр. Цена 8 р. 60 к.

**М. Корнфельд.** Упругость и прозрачность жидкостей. 108 стр. Цена 5 р.

**Ш. Е. Микеладзе.** Новые методы интегрирования дифференциальных уравнений. 292 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Б. Н. Окунев.** Свободное движение гироскопа. 380 стр. Цена 14 р.

**С. И. Пекар.** Исследования по электронной теории кристаллов. 256 стр. Цена 10 р. 50 к.

**А. В. Погорелов.** Изгибание выпуклых поверхностей. («Современные проблемы математики»). 184 стр. Цена 6 р. 75 к.

**В. Рассохин и Н. Целинский.** Занимательные задачи по проекционному черчению. 80 стр. Цена 85 к.

**Е. Титчмарш.** Теория функций. Перевод с английского В. А. Рохлина. 508 стр. Цена 22 р. 90 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Ж. Бомье.** От Гитлера до Трумэна. Перевод с французского. 134 стр. Цена 2 р. 80 к.



**Рено де Жувенель.** Тито — главарь предателей. Перевод с французского. 147 стр. Цена 3 р.

**Михаил Садовяну, Митря Кокор.** Перевод с румынского. 144 стр. Цена 4 р. 35 к.

**Юань Цзин и Кун Цзюэ.** Повесть о новых героях. Перевод с китайского. 303 стр. Цена 10 р. 60 к.

### МЕДГИЗ

**М. М. Бремер.** Гигиена труда. 48 стр. Цена 70 к.

**П. Л. Исаев.** Лечебное питание при язвенной болезни. 40 стр. Цена 30 к.

**В. Г. Надеждин, Н. В. Виноградов.** Коммунальная гигиена. 280 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Н. Н. Плотников.** О комаре и малярии. 48 стр. Цена 30 к.

**Т. И. Юдин.** Очерки истории отечественной психиатрии. 480 стр. Цена 28 р. 50 к.

### «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»

**В. Архангельский.** В гостях у Курбана. 108 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Е. И. Быкова.** Советские шахматистки. 184 стр. Цена 6 р.

**А. Колгановский.** Художественная гимнастика. 153 стр. Цена 21 р. 20 к.

**Н. Кукуев.** 125 шашечных этюдов. 88 стр. Цена 2 р. 60 к.

**П. Ф. Лесгафт.** Собрание педагогических сочинений. Том 1. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста. Часть первая. 444 стр. Цена 18 р.

**Н. Панин-Коломенкин.** Страницы из прошлого. Том 1. 212 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Правила спортивных соревнований.** 92 стр. Цена 4 р. 85 к.

**И. Саркизов-Серазини.** Спортивный массаж. 277 стр. Цена 6 р. 40 к.

**А. Сидлин.** Как научиться играть в шашки. 188 стр. Цена 5 р. 65 к.

**А. Толстой.** Охотничьи ружья и боеприпасы к ним. 164 стр. Цена 6 р. 50 к.

**А. Хинчук и Г. Михайлова.** Лёгкая атлетика в СССР (справочник). 480 стр. Цена 12 р. 90 к.

**Шахматы за 1947—1949 гг.** Сборник под редакцией гроссмейстера В. Рагозина. 459 стр. Цена 15 р.

### КРЫМИЗДАТ

**В. Колесников.** Плодоводство Крыма. Биология, агротехника, породы и сорта. 576 стр. Цена 14 р. 50 к.

**Солнечный край.** Краткий очерк о Крыме. 256 стр. Цена 8 р.

### НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Г. В. Крылов.** Сокровища сибирской тайги. (Библиотечка школьника-краеведа). 112 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Ю. Леонова, И. Леонов.** Сорта плодовых и ягодных растений в Сибири. 288 стр. Цена 7 р. 35 к.

**И. Молчанов-Сибирский.** В школе и дома. Стихи. 40 стр. Цена 1 р. 25 к.

**М. Ф. Петров.** Кедр сибирский. (Библиотечка школьника-краеведа). 64 стр. Цена 1 р. 40 к.

### ОДЕССКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Л. Земляков.** В океане. 104 стр. Цена 3 р.

**П. Иванченко.** Академик Гамалея. 32 стр. Цена 1 р. 60 к.

**А. Ковалёв.** Мои методы и приёмы штукатурных работ. 80 стр. Цена 3 р. 25 к.

**В. Цесевич, Э. Шульберг.** Академик Ляпунов. 60 стр. Цена 1 р. 50 к.

### УЗБЕКСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**М. Бабаев.** Гимн радости. Стихи. 128 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Сергей Данилов.** Кремлёвские зори. Стихи. 116 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Султан Джура.** Избранные стихи. 68 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Ким Цын Сон, Ен Сен Нен.** Строки дружбы. Стихи. Перевод с корейского. 68 стр. Цена 3 р. 60 к.

---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**  
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**  
**С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов**

---

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К-5-06-96.

Сдано в набор 18/VIII-51 г.

А 06156.

Объём 20 печ. л.

Подписано к печати 20/IX-51 г.

Тираж 104.000

Заказ № 1619.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.